

ГОРОД И МИР

Иосиф БРОДСКИЙ
Сергей ДОВЛАТОВ
Игорь ЕФИМОВ
Марк ЗАЙЧИК
Вадим НЕЧАЕВ
Винтория ПЛАТОВА
Марина РАЧКО
Людмила ШТЕРН

час пик
ЛЕНИЗДАТ-1991



ГОРОД
И МИР

СОДЕРЖАНИЕ



ГОРОД И МИР

Я. Гордин

Литература и пространство
5

Иосиф Бродский

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАМБУЛ

Путевая проза
11

Игорь Ефимов

КАК ОДНА ПЛОТЬ

Роман
49

Людмила Штерн

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЛЕГИИ

Повесть
158

Виктория Платова

ОБИТАТЕЛИ

Рассказ
245

Марк Зайчик

КРАНОВЩИЦА ГЛАДБАХ

Рассказ
258

Марина Рачко

ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ

Повесть
287

Сергей Довлатов

ЛИШНИЙ

Рассказ
349

ВСТРЕТИЛИСЬ, ПОГОВОРИЛИ

Рассказ
381

Вадим Нечаев

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ КУДА-НИБУДЬ

Повесть
397



ГОРОД И МИР

ЧАС ПИК

ЛЕНИЗДАТ-1991

Город и мир / Сост. Я. А. Гордин. — Л.: «Час пик», Лениздат, 1991. — 416 с.

ISBN 5-7600-0011-X

ISBN 5-289-01408-X

Сборник прозы ленинградских писателей, которых судьба разбросала в разные концы света — в Европу, Америку, на Ближний Восток. Но, оказавшись по стечению обстоятельств, под давлением карательных органов, под влиянием несправедливости вне своего города, духовно они остались ленинградцами.

Большинство вещей написаны уже в эмиграции. Яркость сборника определяется индивидуальными чертами его авторов — стилистическая оригинальность и острота мысли Иосифа Бродского — прозаика, углубленный психологизм Игоря Ефимова, трагическая ирония Сергея Довлатова, гуманность и стоицизм Марины Рачко, раскованный юмор Людмилы Штерн, добрый и грустный взгляд Марка Зайчика, безжалостная наблюдательность Виктории Платовой, горестный сарказм Вадима Нечаева...

Г $\frac{4702010201-206}{M171(03)-91}$ без объявл.

84 P2

Составитель **Я. А. Гордин**

Художник **В. Г. Гузь**

ГОРОД И МИР

Составитель Яков Аркадьевич ГОРДИН

Редактор С. А. Прохвятилова. Художественный редактор А. А. Власов.
Технический редактор В. И. Демьяненко. Корректор З. Б. Булис

ИБ № 5883

Сдано в набор 10.06.91. Подписано к печати 10.09.91. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага газетная. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,84.
Усл. кр.-отт. 22,26. Уч.-изд. л. 23,40. Тираж 200 000 экз. Заказ № 812.
Цена 5 руб.

«Час пик». 191040, Санкт-Петербург, Невский пр., 81. Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Г $\frac{4702010201-206}{M171(03)-91}$ без объявл.

ISBN 5-7600-0011-X

ISBN 5-289-01408-X

© Я. А. Гордин, составление,
предисловие, 1991

© В. Г. Гузь, оформление, 1991

*Уехав, ты выбрал пространство.
Но время не хуже его.*

А. Кушнер

Нет ни смысла, ни возможности писать в качестве предисловия к данному сборнику литературоведческую статью, анализировать включенные в него повести и рассказы, как нет смысла и демонстрировать биографии их авторов. Все это дело завтрашнего дня.

Сегодня же должно представить читателю прозу тех, кто жил в одном городе с нами, а затем волею судеб был разбросан по миру — США, Франция, Израиль... Просто представить прозу.

Задача сборника — показать, как эти люди, оказавшиеся в принципиально ином психологическом, политическом, экономическом контексте, смотрят в свое прошлое, показать, как дети города, странствующие по безграничному миру, оглядываются на свой город. Причем совершенно необязательно, чтобы они писали именно о Ленинграде. Иосиф Бродский летит в Стамбул не столько из Нью-Йорка, Парижа или Рима, сколько из Петербурга. И в его памяти — история бесчисленных войн России и блистательной Порты.

Осмелюсь предположить, что для человека, прочно связанного с русской культурой, Ленинград есть город особый. Предполагаю, что психологические отношения со своим городом у человека культуры, эмигрировавшего из Петербурга — Ленинграда, по чертам принципиальным напоминают отношение античных греков к родным полисам, когда насильственное изгнание воспринималось как прижизненная смерть. Изгнанники жили, дей-

ствовавали — иногда плодотворнее и активнее, чем на родине, но некий душевный пробел, психологическая каверна постоянно ими ощущалась, подспудно напоминая о «незаконности», неестественности их бытия.

Позже — тоска Данте по Флоренции была тоской не по оставленному имуществу и положению, но тоской по органичности существования.

Разумеется, не может быть никаких прямых аналогий между столь отдаленными эпохами. Различны причины изгнания и самоизгнания. Мир раздвинулся, и степень его интегрированности сегодня гораздо выше. Но суть проблемы остается — вне зависимости от удачности или неудачности конкретной эмигрантской судьбы.

Эмиграция писателя, человека языка, перемещение его в иноязычную стихию — это, безусловно, ситуация, с особенной жестокостью выявляющая драматические черты смены контекста.

Анна Андреевна Ахматова, которая предпочла миру — город, что был для нее средоточием России, в 1924 году, в момент душевного кризиса, после которого она надолго оставила поэзию, написала стихотворение «Лотова жена» — об эмиграции в самом высоком и широком смысле.

Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула — и, скованы смертной болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.

Проблема эмиграции была для Ахматовой отнюдь не безразлична. Проблема эта стояла перед нею и в смысле практическом — в годы гражданской войны и позже. Безжалостность и нервность стихов, обращенных к друзьям-эмигрантам, свидетельствуют о том, что принятое Ахматовой решение давалось ей мучительно.

В 1924 году все это было позади. И стихи о жене Лота полны сострадания. Окаменевшая беглянка — жертва невозможности оторваться от единственно естественной для нее жизни. Для Ахматовой 1924 года это был реквием по самой себе. Люди ее круга, не переместившись в пространстве, тем не менее оказались эмигрантами, насильственно отторгнутыми от естествен-

ной для них жизни. Духовная невозможность расстаться с «родным Содомом», какие бы грехи ни тяготели на нем, приводит к невольному самоубийству. Окаменевшие глаза навек остаются обращенными к необоримому в своей органичности прошлому — «Где милому иужу детей родила...».

Это, разумеется, развернутая метафора, в чистом виде в жизни не реализуемая. Даже для приближения к ней необходимы особые условия — стремительный и всеобъемлющий катаклизм, разрушающий привычный мир, — как это было в эпоху революции. Авторы данной книги эмигрировали в принципиально иной ситуации. Но есть фундаментальная общая черта — тяжелое напряжение разрыва жизненной фактуры. Однако для писателя-эмигранта это напряжение, к счастью, оказывается чаще драматическим фоном, причем скорее плодотворным, чем подавляющим. Неизбежно встающая перед писателем-эмигрантом задача — средствами своей профессии снять этот разрыв — есть дополнительный и сильный творческий импульс. А само наличие этой задачи с несомненностью прочитывается едва ли не во всей эмигрантской литературе. Быть может, с особой ясностью, — в автобиографической прозе Бродского и Довлатова, в романах Ефимова, написанных уже в Америке.

Русский писатель-эмигрант всех времен есть в той или иной степени персонаж ахматовского стихотворения, но его «окаменелость» проявляется именно в принципиальной психологической обращенности — о чем бы он ни писал — к «другому прошлому», к выполнению вышеуказанной задачи. Пространственное перемещение в иной контекст, в качественно иную материальную среду должно компенсироваться особой плотностью, особой нерасторжимостью временной ткани. Полагаю, что это есть неременное условие минимального душевного равновесия, необходимого для жизни в эмиграции. Подтверждение тому — направленное усилие «эмигрантских» по сюжету повестей Марины Рачко и Марка Зайчика.

(Предвижу возражения «с того берега». Даже представляю себе конкретных оппонентов — людей мною ценимых и уважаемых. Но полагаю, что и в моих наблюдениях со стороны есть некий смысл.)

Тут нужно сделать три существенные оговорки.

Во-первых, эти соображения не накладываются жестко на всю прозу данного сборника. Тем более что некоторые вещи, в него включенные, написаны еще до эмиграции, другие — начаты в России, а закончены уже «в другом мире». Речь здесь идет о тенденциях общих; о направленности взгляда.

Во-вторых, любые, самые плодотворные в основе своей тенденции реализуются в литературе только при условии соответ-

ствующей меры таланта. Сами по себе разъезды по миру, смена подданств, самые тяжкие психологические и физические испытания не значат в литературе решительно ничего.

В-третьих, еще раз хочу напомнить, что речь идет о писателях-эмигрантах 70—80-х годов. У литературной эмиграции «первого призыва» был иной во многих отношениях масштаб, иные надежды, иная ориентированность, иные стимулы. И — соответственно иной результат.

Смысл издания подобных сборников, как и вообще книг русских писателей, живущих в других странах, — восстановление единства русского культурного процесса. Это законно и необходимо. При том — не надо впадать в крайности и видеть в той или иной книге особые достоинства только потому, что она — эмигрантская. Важность для нас эмигрантской литературы — в особенностях взгляда, а не в ее тотальной гениальности. Думаю, что таланты распределились по обе стороны государственной границы вполне пропорционально.

Я говорю это не из самоутверждения «оставшегося». Большинство авторов сборника мои близкие друзья. Я люблю их и уважаю всех под этой обложкой. И в моем отношении нет и тени дурной соревновательности...

Причины, по которым авторы этой книги уехали из Ленинграда, из России, — многообразны. Некоторые из них стояли перед реальной угрозой политических преследований или прошли через них. Некоторых тяжело травмировали постоянные черкосотенные флуктуации. Других психологически изнуряло ощущение нарастающей общественной деградации. Возникало сложное сочетание внешних и внутренних факторов.

Два примера.

Честный и талантливый прозаик Игорь Ефимов печатался много, выпустил десяток книг, был ценим умной критикой. Но его главный труд шестидесятых годов — большой роман «Зрелища» — остался неопубликованным. Писатель, естественно, эволюционировал и знал: те книги, которые ему предстоит написать, не только не могут быть изданы в СССР, но и сам факт их написания (не говоря уже о публикации за рубежом), «хранение и распространение» этих книг в рукописях чреваты тяжелыми последствиями. Параллельно с художественной прозой Ефимов занимался в семидесятые годы философской и историософской эссеистикой, с точки зрения коммунистической идеологии совершенно неприемлемой и подрывной. Эта эссеистика вместе с жадной личной независимости и увела его из Ленинграда в США, где он теперь не только пишет и печатает собственные книги, но издает и других русских писателей, будучи владельцем и директором маленького русского издательства «Эрмитаж».

Честный и талантливый прозаик, Сергей Довлатов на родине не печатался вовсе. Его прозу знал достаточно ограниченный круг друзей, знакомых, читателей самиздата. Довлатов был писателем по преимуществу с обостренным миро- и самовосприятием. Отсутствие должного — по заслугам, по таланту — числа читателей, обидная полуизвестность, невозможность увидеть свою прозу воспроизведенной в нормальном для литературной вещи облици — типографски изданной книги или журнальных страниц — все это рождало изнуряющий душевный дискомфорт, который не снимался форсированной самоиронией.

Литературное честолюбие — явление законное и необходимое. Но движет литературу не оно. У настоящего писателя — помимо таинственных творческих импульсов — в основе главных поступков лежит иногда смутное, иногда пронзительно отчетливое ощущение своего личного долга. Писатель с выраженным литературным сознанием стремится не просто к самореализации. Эта самореализация — есть выполнение своего долга. Осознание того, что свой литературный долг можно выполнить, только оказавшись на свободе — со всеми ее издержками, — было, насколько я понимаю, достаточно частым стимулом к отъезду.

Об успехе или неуспехе литературы третьей эмигрантской волны — как цельного процесса — говорить еще рано. Живое развивающееся явление надо и воспринимать как таковое. Если Виктория Платова, не печатавшаяся на родине, эмигрировала сложившимся, много написавшим прозаиком, то Людмила Штерн только в эмиграции и начала писать. А превосходная повесть Марины Рачко, ее первая прозаическая вещь, была написана после многих лет эмигрантской жизни.

Но время подробного анализа и уверенных оценок процесса еще впереди. Во всяком случае, в России. Для этого должно произойти накопление читательского знания. Ибо ошибаются те, кто думает, что литературная критика действует сама по себе. Литературная критика в ее многообразии — от ясного и честного анализа до аморальных подтасовок и невежественной самонадеянности — есть в основе своей порождение многообразного читательского сознания.

Эмигрантскую литературу должен узнать и освоить читатель. Все остальное взойдет на силовом поле читательского восприятия.

Выходят книги Игоря Ефимова, Сергея Довлатова, вслед за стихами появляется в нашей печати проза Иосифа Бродского. За ними последуют и другие. Болезненный разрыв культуры шестидесятых — восьмидесятых зарастает, затягивается.

«Город и мир» — одна из первых попыток представить ка-

шему читателю панораму процесса, пускай и ограниченную Ленинградом.

Они всматриваются в нас — как в себя. Мы должны ответить тем же. Мы — это они. Наше культурное сознание, как и, в конечном счете, наши судьбы, — едины. Мы можем осознать себя только вместе.

Я. Гордин

ГОРОД

Иосиф БРОДСКИЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАМБУЛ

ПУТЕВАЯ ПРОЗА

Веронике Шильц

1

Принимая во внимание, что всякое наблюдение страдает от личных качеств наблюдателя, то есть что оно зачастую отражает скорее его психическое состояние, нежели состояние созерцаемой им реальности, ко всему нижеследующему следует, я полагаю, отнестись с долей сарказма — если не с полным недоверием. Единственное, что наблюдатель может, тем не менее, заявить в свое оправдание, это что и он, в свою очередь, обладает определенной степенью реальности, уступающей разве что в объеме, но никак не в качестве наблюдаемому им предмету. Подобие объективности, вероятно, достижимо только в случае полного самоотчета, отдаваемого себе наблюдателем в момент наблюдения. Не думаю, что я на это способен; во всяком случае, я к этому не стремился; надеюсь, однако, что все-таки без этого не обошлось.

2

Мое желание попасть в Стамбул никогда не было желанием подлинным. Не уверен даже, следует ли вообще употреблять здесь это понятие. Впрочем, ни капризом; ни подсознательным стремлением этого тоже не назовешь. Так что оставим «желание» и заметим, что частично оно объясняется обещанием, данным

мною себе самому по отъезде из родного города навсегда, объехать обитаемый мир по широте и по долготе (т. е. по Пулковскому меридиану), на которых он расположен. С широтой на сегодняшний день все уже более или менее в порядке. Что до долготы, тут далеко не все так благополучно. Стамбул же находится всего лишь на пару градусов к западу от названного меридиана.

3

Своей надуманностью вышеприведенная причина мало чем отличается от несколько более серьезной, главной, я бы сказал, причины, о которой — чуть ниже, и от ряда совершенно уж легкомысленных и второстепенных, о которых — немедленно (ибо они таковы, что о них либо сейчас, либо никогда): а) в этом городе в начале века провел как-то два решающих года своей жизни мой любимый поэт, грек Константин Кавафис; б) мне почему-то казалось, что здесь, в домах и в кофейнях, должен был сохраниться исчезающий повсюду дух и интерьер; в) я надеялся услышать здесь, на отшибе у истории, тот «заморский скрип турецкого матраца», который, как мне казалось, я слышал однажды ночью в Крыму; г) услышать обращенное к себе «эфенди»; д) но, боюсь, для перечисления этих вздорных соображений не хватит алфавита (хотя лучше, если именно вздор вас приводит в движение — ибо тогда и разочарование меньше). Поэтому перейдем к обещанной «главной» причине, даже если она и покажется многим заслуживающей, в лучшем случае, «е» или «ж».

4

«Главная» эта причина представляет собой верх надуманности. Состоит она в том, что несколько лет назад в разговоре с одним моим приятелем, американским византинистом, мне пришло в голову, что крест, привидевшийся императору Константину во сне, накануне его победы над Максентием, — крест, на котором было начертано «Сим победиши», был крестом не христианским, но градостроительским, т. е. основным элементом всякого римского поселения. Согласно Эвсебию и прочим, вдохновленный видением этим, Кон-

стантин немедленно снялся с места и отправился на Восток, где, сначала в Трое, а потом, внезапно Троию покинув, в Византии он учредил новую столицу Римской империи — т. е. Второй Рим. Последствия это перемещение имело столь значительные, что независимо — прав я был или не прав, мне хотелось взглянуть на это место. В конце концов, я прожил 32 года в Третьем Риме, примерно с год — в Первом. Следовало — для коллекции — добрать Второй.

Но — займемся всем этим по порядку, буде таковой нам по силам.

5

Я прибыл в этот город и покинул его по воздуху, изолировав его таким образом, в своем сознании, как некий вирус под микроскопом. Учитывая эпидемический характер, присущий всякой культуре, сравнение это не кажется мне безответственным. Составляя эту записку в местечке Сунион, на юго-восточном берегу Аттики, в 60 км от Афин, где я приземлился четыре часа назад, в гостинице «Эгейская», я ощущаю себя разносчиком определенной заразы, несмотря на непрерывную прививку «классической розы», которой я сознательно подвергал себя на протяжении большей части моей жизни. Меня действительно немного лихорадит от увиденного; отсюда — некоторая сбивчивость всего нижеследующего. Думаю, впрочем, что и мой знаменитый тезка ощущал нечто похожее, пытаюсь истолковать сны фараона. И одно дело заниматься интерпретацией сакральных знаков по горячим — точнее, теплым — следам; другое — полторы тысячи лет спустя.

6

О снах. Сегодня под утро в стамбульской «Пера Палас» мне тоже привиделось нечто — вполне монструозное. То было помещение где-то на филологическом факультете Ленинградского университета, и я спускался по ступенькам с кем-то, кто казался мне Д. Е. Максимовым, но внешне походил более на Ли Марвина. Не помню, о чем шел разговор — но и не в нем дело. Меня привлекла бешеная активность где-то в темно-буром углу лестничной площадки — с весьма низким при

этом потолком: я различил трех кошек, дравшихся с огромной — превосходившей их размером — крысой. Глянув через плечо, я увидел одну из кошек, задранную этой крысой и бившуюся и трепыхавшуюся в предсмертной агонии на полу. Я не стал досматривать, чем сражение кончится, — помню только, что кошка затихла, — и, обменявшись каким-то замечанием с Максимовым-Марвином, продолжал спускаться по лестнице. Еще не достигнув вестибюля, я проснулся.

Начать с того, что я обожаю кошек. Добавить к этому, что не выношу низкие потолки. Что помещение только казалось филологическим факультетом — где и всего-то два этажа. Что серо-бурый, грязноватый его цвет был цветом фасадов и интерьера почти всего и, в частности, нескольких контор Стамбула, где я побывал за последние три дня. Что улицы в этом городе кривы, грязны, мощены булыжником и завалены отбросами, в которых постоянно роются голодные местные кошки. Что город этот — всё в нем — очень сильно отдает Астраханью и Самаркандом. Что накануне решил уехать — но об этом позже. В общем, достаточно, чтобы засорить подсознание.

7

Константин был прежде всего римским императором, главой Западной Римской империи, и «Сим победиши» означало для него прежде всего распространение его власти, его — лично — контроля над всей Империей. В гадании по внутренностям петуха накануне решительного сражения или в утверждениях о небесном содействии при успешном его исходе нет, разумеется, ничего нового. Да и расстояние между беспредельной амбицией и неистовой набожностью тоже, как правило, не слишком велико. Но даже если он и был истинно и истово верующим — а насчет этого имеются разнообразные сомнения, особенно если учесть, как он обращался со своими детьми и родственниками, — «победиши» должно было для него быть равнозначным завоеванием, т. е. именно поселениям, селтльментам. План же любого римского селтльмента именно крест: центральная магистраль, идущая с севера на юг (как Корсо в Риме); пересекается такой же магистралью, идущей с Запада на Восток. От Лептис Магны до Ка-

стрикума, таким образом гражданин Империи всегда знал, где он находится по отношению к метрополии.

Даже если крест, о котором он толковал Эвсебию, был крестом Спасителя, составной частью его во сне — без- или подсознательной — являлся принцип сеттльментовой планировки. К тому же в IV веке крест вовсе не был еще символом Спасителя: им была рыба, греческая анаграмма имени Христа. Да и самый крест распятия скорей напоминал собою русское (да и латинское заглавное) Т, нежели то, что изобразил Микеланджело, или то, что представляем себе сегодня мы. Что бы там Константин ни имел в виду, осуществление инструкций, полученных им во сне, приняло прежде всего характер территориального расширения Империи на восток, и возникновение Второго Рима было совершенно логическим этого расширения последствием. Будучи, судя по всему, натурой деятельной, Константин рассматривал политику экспансии как нечто абсолютно естественное. Тем более, если он действительно был истинно верующим христианином.

Был он им или не был? Вне зависимости от правильного ответа, последнее слово принадлежит всегда генотипу: племянником Константина оказался не кто иной, как Юлиан Отступник.

8

Всякое перемещение по плоскости, не продиктованное физической необходимостью, есть пространственная форма самоутверждения, будь то строительство империи или туризм. В этом смысле мое появление в Стамбуле мало чем отличается от константиновского. Особенно — если он действительно стал христианином, т. е. перестал быть римлянином. У меня, однако, больше оснований упрекать себя за поверхностность, да и результаты моих перемещений по плоскости куда менее значительны. Я не оставляю по себе даже фотографий «на фоне», не только что стен. В этом смысле я уступаю только японцам. (Нет ничего кошмарнее мысли о семейном фотоальбоме среднего японца — улыбающиеся коротконогие он и она на фоне всего, что в этом мире есть вертикального: статуи — фонтана — мечети — собора — башни — фасада — античного храма и т. п.; меньше всего там, наверное, будд и пагод.) Когито

эрго сум уступает «фотография эрго сум»: так же, как «когито» в свое время восторжествовало над «созидаю». Иными словами, эфемерность моего присутствия — и моих мотивов — ничуть не менее абсолютна, чем физическая осязаемость деятельности Константина и приписываемых (или подлинных) ему соображений.

9

Римские элегики конца I века до н. э., особенно Проперций и Овидий, открыто издеваются над своим великим современником Вергилием и его «Энеидой». Это можно, конечно, объяснить духом личного соперничества, завистью к успеху, противопоставлением понимания поэзии как искусства личного, частного, понимания ее как искусства государственного, как формы государственной пропаганды. Последнее ближе к истине, но далеко не истина, ибо Вергилий был не только автором «Энеиды», но также и «Буколик» и «Георгик».

Истина, вероятно, в сумме перечисленных соображений, к числу которых следует прежде всего добавить соображения чисто стилистические. Вполне возможно, что, с точки зрения элегиков, эпос — любой, в том числе и Вергилиев, — представлялся явлением ретроградным. Все они, т. е. элегики, были последователями александрийской школы в поэзии, давшей традицию короткого лирического стихотворения в том объеме, в котором мы знаем поэзию сегодня. Александрийцы, говоря короче, создали жанры, которыми поэзия пользуется по сей день.

Предпочтение, оказываемое александрийской традицией краткости, сжатости, частности, конкретности, учености, дидактичности и тому подобным вещам, было, судя по всему, реакцией греческой изящной словесности на избыточные формы греческой литературы архаического периода — на эпос, драму, мифологизацию, — если не просто на мифотворчество. Реакцией, если вдуматься — но лучше не надо, — на Аристотеля. Александрийская традиция вобрала в себя все эти вещи и сильно их ужала до размеров элегии или эклоги, до иероглифичности диалога в последней, до иллюстративной (экземпла) функции мифа в первой. Т. е. речь идет об известной тенденции к миниатюризации — конденсации (хотя бы как средству выживания поэзии во

все менее уделяющем ей внимание мире, если не как средству более непосредственного, немедленного влияния на души и умы читателей и слушателей), — как вдруг, изволите ли видеть, является Вергилий со своим гигантским социальным заказом и его гекзаметрами.

Я бы еще добавил здесь, что элегики — почти все без исключения — пользовались главным образом элегическим дистихом и что опять же почти все без исключения пришли в поэзию из риторических школ, готовивших их к юридической (адвокатской, т. е. аргументирующей — в современном понимании этого дела) профессии. Ничто лучше не соответствует риторической системе мышления, чем элегический дистих с его гекзаметрической тезой и ямбической антитезой. Элегическое двустишие, говоря короче, давало возможность выразить, как минимум, две точки зрения, не говоря уже о всей палитре интонационной окраски, обеспечиваемой медлительностью гекзаметра и функциональностью пятистопного ямба с его дактилической — т. е. отчасти рыдающей, отчасти самоустраняющейся второй половиной.

Но все это — в скобках. За скобками же — упреки элегиков Вергилию не метрического, но этического характера. Особенно интересен в этом смысле ничуть не уступающий автору «Энеиды» в изобразительных средствах и психологически куда более изощренный — нет! одаренный! — Овидий. В одной из своих «Героид» — сборнике вымышленных посланий героинь любовной поэзии к их погибшим или покинувшим их возлюбленным — в «Дидона — Энею» — карфагенская царица упрекает оставившего ее Энея примерно следующим образом. «Я бы еще поняла, — говорит она, — если бы ты меня покинул, потому что решил вернуться домой, к своим. Но ты же отправляешься невесть куда, к новой цели, к новому, еще не существующему городу. Что бы, видимо, разбить еще одно сердце», — и т. д. Она даже намекает, что Эней оставляет ее беременной и что одна из причин самоубийства, на которое она решается, — боязнь позора. Но это уже не относится к делу.

К делу относится следующее: в глазах Вергилия Эней — герой, ведомый богами. В глазах Овидия Эней — по существу, беспринципный прохвост, объясняющий свое поведение — движение по плоскости — божественным промыслом. (На этот счет тоже у Дидоны имеются конкретные телеологические соображения, но

опять-таки не в них дело — как и не в предполагаемой нами чрезвычайно охотно антигражданственности Овидия.)

Александрийская традиция была традицией греческой: традицией порядка (космоса), пропорциональности, гармонии, тавтологии причины и следствия (Эдиповский цикл): традицией симметрии и замкнутого круга. Элегиков в *Виргилии* выводит из себя именно концепция линейного движения, линейного представления о существовании. Греков особенно идеализировать не стоит, но в наличии принципа космоса — от небесных светил до кухонной утвари — им не откажешь.

Виргилий, судя по всему, был первым, в литературе по крайней мере, предложившим принцип линейности. Возможно, это носилось в воздухе; скорее всего, это было продиктовано расширением Империи, достигшей масштабов, при которых человеческое перемещение и впрямь становилось безвозвратным. Потому-то «*Энеида*» и не закончена: она просто не должна — точнее, не могла — быть закончена. И дело вовсе не в «женственности», присущей культуре эллинизма, как и не в «мужескости» культуры римской — и даже не в мужеложестве самого *Виргилия*. Дело в том, что принцип линейности, отдавая себе отчет в ощущении известной безответственности по отношению к прошлому, с линейным этим существованием сопряженной, стремится уравновесить ощущение это детальной разработкой будущего. Результатом являются либо «пророчество задним числом» а ля разговоры *Анхиса* у *Виргилия*, либо социальный утопизм, либо — идея вечной жизни, т. е. Христианство.

Одно не слишком отличается от другого и третьего. Во всяком случае, именно в связи с этим сходством — а вовсе не за 4-ю эклогу — *Виргилия* вполне можно считать первым христианским поэтом. Пиши я «*Божественную комедию*», я поместил бы данного автора именно в Рай. За выдающиеся заслуги перед принципом линейности — в его логическое завершение.

Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени Пророка. Здесь ничего не

растет, oprичь усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света. Заливаемые мочой угли костра. Этот запах! С примесью скверного табака и потного мыла. И исподнего, намотанного вокруг ихних чресел что твоя чалма. Расизм? Но он всего лишь форма мизантропии. И этот повсеместно даже в городе летящий в морду песок, выкальвающий мир из глаз — и на том спасибо. Повсеместный бетон, консистенции кизяка и цвета разрытой могилы. О, вся эта недалновидная сволочь — Корбюзье, Мондриан, Гропиус, изуродовавшая мир не хуже любого Люфтваффе! Снобизм? Но он лишь форма отчаяния. Местное население, в состоянии полного ступора сидящее в нищих закусовых, задрав головы, как в намазе навыворот, к телеэкрану, на котором кто-то постоянно кого-то избивает. Либо — перекидывающееся в карты, вальты и девятки которых — единственная доступная абстракция, единственный способ сосредоточиться. Мизантропия? Отчаяние? Но можно ли ждать иного от пережившего апофеоз линейного принципа: от человека, которому некуда возвращаться? От большого дерьмотолога, сакрофага и автора «Садомихии».

12

Дитя своего века, т. е. IV в. н. э. — а лучше: п. В. — после Виргилия, — Константин, человек действия уже хотя бы потому, что — император, мог уже рассматривать себя не только как воплощение, но и как инструмент линейного принципа существования. Византия была для него крестом не только символическим, но и буквальным — перекрестком торговых путей, караванных дорог и т. п.: с востока на запад не менее чем с севера на юг. Одно это могло привлечь его внимание к месту, давшему миру (в VII веке до н. э.) нечто, что на всех языках означает одно и то же: деньги.

Деньги тоже интересовали Константина чрезвычайно. Если он и обладал определенным гением, то скорее всего финансовым. Этому ученику Диоклетиана, так никогда и не научившемуся разделению власти с кем-либо, удалось, тем не менее, то, чего не могли добиться его предшественники: стабилизировать, выражаясь нынешним языком, валюту. Введенный при нем римский «солид» впоследствии на протяжении почти семи

столетий играл роль нынешнего доллара. В этом смысле перенесение столицы в Византию было переездом банка на монетный двор, прикрытием идеи — купюрой, наложением лапы на принцип.

Не следует, наверно, также упускать из виду, что благотворительность и взаимопомощь Христианской Церкви в данный период представляла собой если не альтернативу государственной экономике, то, по крайней мере, выход из положения для значительной — немимущей — части населения. В значительной мере популярность Христианства в эту пору зиждилась не столько на идее равенства душ перед Всевышним, сколько на осязаемых нуждающимися плодах организованной системы взаимопомощи. То была своего рода помесь карточной системы и красного креста. Ни культ Изиды, ни неоплатонизм ничего подобного не организовывали. В чем и была их ошибка.

Можно только гадать о том, что творилось в душе и в уме Константина в смысле христианской веры, но, император, он не мог не оценить организационной и экономической эффективности данной церкви.

Кроме того, помещение столицы на самом краю империи как бы превращает край в центр и предполагает равновеликое пространство по «ту» сторону, от центра считая. Что равняется на карте Индии: объекту всех известных нам имперских грез, до и после Рождества Христова.

13

Пыль! эта странная субстанция, летящая вам в лицо. Она заслуживает внимания, она не должна скрываться за словом «пыль». Просто ли это грязь, не находящая себе места, но составляющая самое существо этой части света? Или она — Земля, пытающаяся подняться в воздух, оторваться от самой себя, как мысль от тела, как тело, уступающее себя жаре. Дождь выдает ее сущность, ибо тогда у вас под ногами змеятся буро-черные ручейки этой субстанции, придавленной обратно к булыжным мостовым, вниз по горбатым артериям этого первобытного кишлага, не успевающей слиться в лужи, ибо разбрызгиваемой бесчисленными колесами, превосходящими в своей сумме лица его обитателей, и уносимой ими под вопли клаксонов через мост куда-то в Азию, в Анатолию, в Ионию, в Трапезунд и в Смирну.

20

Как везде на Востоке, здесь масса чистильщиков обуви, всех возрастов, с ихними восхитительными, медью обитыми ящичками, с набором гуталина всех мастей в круглых медных же контейнерах величиной с «маленькую», накрытых куполообразной крышкой. Настоящие переносные мечети, только что без минаретов. Избыточность этой профессии объясняется именно грязью, пылью, после пяти минут ходьбы покрывающей ваш только что отражавший весь мир шгиблет серой непроницаемой пудрой. Как все чистильщики сапог, эти люди — большие философы. А лучше сказать — все философы суть чистильщики больших сапог. Поэтому не так уж важно, знаете ли вы турецкий.

14

Кто в наше время разглядывает карту, изучает рельеф, прикидывает расстояния? Никто, разве что отпусники-автомобилисты. Даже военные этого больше не делают, со времен изобретения кнопки. Кто пишет письма с детальным перечислением и анализом увиденных достопримечательностей, испытанных ощущений? И кто читает такие письма? После нас не останется ничего, что заслуживало бы названия корреспонденции. Даже молодые люди, у которых, казалось бы, вдоволь времени, обходятся открытками. Люди моего возраста прибегают к открыткам чаще всего либо в минуту полного отчаяния в чужом для них месте, либо чтоб просто как-то убить время. Существуют, однако, места, разглядывание которых на карте на какой-то миг роднит вас с Провидением. Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие,— места, чья география вызывает историю к жизни. Таков Стамбул, он же Константинополь, он же Византия. Спятивший светфор, все три цвета которого загораются одновременно. Не красный-желтый-зеленый, но белый-желтый-коричневый. Плюс, конечно, синий, ибо это именно вода — Босфор — Мармора — Дарданеллы, отделяющие Европу от Азии... Отделяющие ли? О эти естественные пределы, проливы и уралы! Как мало они значили для армий или культур — для отсутствия последней — тем более. Для кочевников даже, пожалуй, чуть больше, чем для одушевленного принципом линейности и заведомо оправданного захватывающей картиной будущего государя.

Не оттого ли Христианство и восторжествовало, что давало цель, оправдывающую средства, т. е. действительность; что временно — т. е. на всю жизнь — избавляло от ответственности. Что следующий шаг — любой, в любом направлении — становился логическим. В духовном смысле, по крайней мере, не оказалось ли оно антропологическим эхом кочевничества: метастазом одного в психологии человека оседлого. Или лучше: не совпадало ли оно с нуждами чисто имперскими? Ибо одной оплатой легионера (смысл карьеры которого — в выслуге лет, демобилизации и оседлости) не заставишь сняться с места. Его необходимо еще и воодушевить. В противном случае легионы превращаются в того самого волка, держать которого за уши умел только Тиберий.

Следствие редко способно взглянуть на свою причину с одобрением. Еще менее способно оно причину в чем-либо заподозрить. Отношения между следствием и причиной, как правило, лишены рационального, аналитического элемента. Как правило, они тавтологичны и, в лучшем случае, окрашены воодушевлением последнего к первому.

Поэтому не следует забывать, что система верования, именуемая Христианством, пришла с Востока, и поэтому же не следует исключать, что одним из соображений, побуждавших Константина после победы над Максентием и вышеупомянутого видения, было желание приблизиться чисто физически к победе этой и этого видения истоку: к Востоку. Я не очень хорошо представляю себе, что творилось об ту пору в Иудее; но, по крайней мере, понятно, что, отправься Константин туда по суше, ему пришлось бы столкнуться со значительным количеством препятствий. Создавать же столицу за морем противоречиво элементарному здравому смыслу. И не следует также исключать вполне возможной со стороны Константина неприязни к иудеям.

Забавна и немного пугающа, не правда ли, мысль о том, что Восток и впрямь является метафизическим центром человечества. Христианство было только одной, хотя и наиболее активной сектой, каковых в Империи было действительно великое множество. Ко времени воцарения Константина Римская империя, не в малой степени благодаря именно своему размеру, представляла собой настоящую ярмарку, базар вероисповеданий. За исключением, однако, коптов и культа Изиды, источ-

ником всех предлагавшихся систем верований и культов был именно Восток.

Запад не предлагал ничего. Запад был, по существу, покупателем. Отнесемся же к Западу с нежностью именно за эту его неизобретательность, обошедшуюся ему довольно дорого, включая раздающиеся и по сей день упреки в излишней рационалистичности. Не набивает ли этим продавец цену своему товару? И куда он отправится, набив свои сундуки?

15

Если римские элегики хоть в какой-то мере отражали мироощущение своей публики, можно предположить, что ко времени Константина, т. е. четыре века спустя, доводы типа «отечество в опасности» и «Рах Романа» силу свою утратили. И если утверждения Эвсебия верны, то Константин оказывается ни больше ни меньше как первым крестоносцем. Не следует упускать из виду, что Рим Константина — это уже не Рим Августа. Это уже и, вообще-то говоря, не Рим античный: это Рим христианский. То, что Константин принес в Византию, уже не означало культуры классической: то была культура нового времени, настоящая на идее единобожия, приравнявшая политеизм — т. е. свое же собственное прошлое со всем его духом законов и т. п. — к идолопоклонству. Это был уже прогресс.

16

Здесь я хотел бы заметить, что мои представления об античности мне и самому кажутся немножко диковатыми. Я понимаю политеизм весьма простым — и поэтому, вероятно, ложным образом. Для меня это система духовного существования, в которой любая форма человеческой деятельности, от рыбной ловли до созерцания звездного неба, освящена специфическими божеествами. Так что индивидуум, при наличии определенной к тому воли или воображения, в состоянии усмотреть в том, чем он занимается, метафизическую — бесконечную — подоплеку. Тот или иной Бог может, буде таковой каприз взбредет в его кучевую голову, в любой момент посетить человека и на какой-то отрезок

времени в человека вселиться. Единственное, что от последнего требуется,— если таково его, человека, желание,— это «очиститься», чтоб сделать этот визит возможным. Процесс очищения (катарсиса) весьма разнообразен и носит как индивидуальный (жертвоприношение, паломничество к священному месту, тот или иной обет), так и массовый (театр, спортивное состязание) характер. Очаг не отличается от амфитеатра, стадион от алтаря, кастрюля от статуи.

Подобное мироощущение возможно, я полагаю, только в условиях оседлости: когда Богу известен ваш адрес. Неудивительно, что цивилизация, которую мы называем греческой, возникла именно на островах. Неудивительно, что плоды ее загипнотизировали на тысячелетия все Средиземноморье, включая Рим. Неудивительно и то, что с ростом империи и островом не будучи, Рим от этой цивилизации в конечном счете бежал. И бегство это началось именно с цезарей, с идеи абсолютной власти. Ибо в сфере жизни сугубо политической политеизм синонимичен демократии. Абсолютная власть, автократия синонимична, увы, единобожию. Если можно представить себе человека непредвзятого, то ему, из одного только инстинкта самосохранения исходя, политеизм должен быть куда более симпатичнее монотеизма.

Такого человека нет, его и Диоген днем с огнем не нашел бы. Более памятуя о культуре, называемой нами античной или классической, чем из вышеупомянутого инстинкта исходя, я могу сказать только, что чем дольше я живу, тем привлекательнее для меня это идолопоклонство, тем более опасным представляется мне единобожие в чистом виде. Не стоит, наверно, называть вещи своими именами, но демократическое государство есть на самом деле историческое торжество идолопоклонства над Христианством.

Константин знать этого, естественно, не мог. Полагаю, что он догадывался, что Рима больше нет. Христианин в этом императоре естественным — я бы сказал, пророческим — образом сочетался с государем. В самом этом его «Сим победиши» слышна амбиция власти. И действительно: победиши — более, чем он даже

себе это представлял, ибо Христианство в Византии просуществовало еще десять столетий. Победа эта, однако, была, боюсь сказать, Пиррова. Качество этой победы и заставило Западную Церковь отложиться от Восточной. То есть Рим географический от Рима умышленного: от Византии. Церковь — Христову невесту от Церкви — жены государства. В своем движении на Восток Константин, возможно, руководствовался именно Востока этого политической конгениальностью — деспотий без опыта демократии — его собственному положению. Рим географический — худо-бедно еще хранил какие-то воспоминания о роли сената. У Византии таких воспоминаний не было.

18

Сегодня мне сорок пять лет. Я сижу голый по пояс в гостинице «Ликабетт» в Афинах, обливаясь потом и поглощая в огромных количествах кока-колу. В этом городе я не знаю ни души. Выйдя вечером на улицу в поисках места, где б я мог поужинать, я обнаружил себя в гуще чрезвычайно воодушевленной толпы, выкрикивающей нечто невразумительное, — как я понимаю, у них на днях — выборы. Я брел по какой-то бесконечной главной улице, с ревущими клаксонами, запруженной то ли людьми, то ли транспортом, не понимая ни слова, — и вдруг мне пришло в голову, что это и есть тот свет, что жизнь кончилась, но движение продолжается; что это и есть вечность.

Сорок пять лет назад моя мать дала мне жизнь. Она умерла в позапрошлом году. В прошлом году умер отец. Их единственный ребенок, я, идет по улицам вечерних Афин, которых они никогда не видели и не увидят. Плод их любви, их нищеты, их рабства, в котором они умерли, их сын свободен. И потому, что они не встречаются ему в толпе, он догадывается, что он неправ, что это — не вечность.

19

Что видел и чего не видел Константин, глядя на карту Византии. Он видел, мягко говоря, табулу расу. Правинцию империи, населенную греками, евреями,

персами и т. п. — публикой, с которой он давно уже привык иметь дело, — с типичными подданными Восточной части своей империи. Языком был греческий, но для образованного римлянина это было как французский для русского дворянина в XIX веке. Он видел город, мысом вдающийся в мраморное море, — город, который легко было защитить, стоило только обнести его стеной. Он видел города этого холмы, отчасти напоминавшие римские, и, если он прикидывал воздвигнуть там, скажем, дворец или церковь, вид из окон должен был быть сногшибательный: на всю Азию, и вся Азия взирала бы на кресты, церковь эту венчавшие. Можно также представить себе, что он развлекал себя мыслью о контроле над доступом в этот город оставленных позади римлян. Им пришлось бы тащиться сюда через всю Аттику или плыть вокруг Пелопонесса. «Этого пушу, а этого не пушу». Так, наверно, думал он об устраниваемом им на земле варианте Рая. О, эти таможенные грезы! И он видел, как Византия приветствует в нем своего защитника от Сасанидов и от наших с вами, милостивые государи и милостивые государыни, предкв с той стороны Дуная, и как она, Византия, целует крест.

Не видел же он того, что имеет дело с Востоком. Всевать с Востоком — или даже освободить Восток — и жить на Востоке — разные вещи. Византия, при всей ее греческости, принадлежала к миру с совершенно отличными представлениями о ценности человеческого существования, нежели те, что были в ходу на Западе, в — каким бы языческим он ни был — Риме. Хотя бы уже чисто в военном отношении Персия, например, была более реальной для Византии, чем Эллада. И разница в степенях этой реальности не могла не отразиться в мироощущении этих будущих подданных христианского государя. Если в Афинах Сократ был судим открытым судом, имел возможность произнести речь — целых три! — в свою защиту, в Исфагане или, скажем, в Багдаде такого Сократа просто бы посадили на кол — или содрали бы с него живьем кожу, — и дело с концом, и не было бы вам ни диалогов Платона, ни неоплатонизма, ни всего прочего — как действительно и не было на Востоке; был бы просто монолог Корана... Византия была мостом в Азию, но движение по этому мосту шло в обратном направлении. Разумеется, Византия приняла Христианство, но Христианству в ней

было суждено овосточиться. В этом тоже в немалой степени секрет последующей неприязни к Церкви Восточной со стороны Церкви Римской. Да, спору нет, Христианство номинально просуществовало в Византии еще тысячу лет — но что это было за Христианство и какие это были христиане — другое дело.

Не видел — точнее, не предвидел — Константин и того, что впечатление, произведенное на него географическим положением Византии, — впечатление естественное. Что подобное впечатление Византия сможет произвести на восточных властителей, стоит им взглянуть на карту. Что и возымело место. Не раз и не два, с довольно грустными последствиями для Христианства. До VI—VII вв. трения между Востоком и Западом в Византии носили, в общем, нормальный, типа я-с-тебя-шкуру-спущу, военный характер и решались силой оружия — чаще всего в пользу Запада. Что, если и не увеличивало популярности креста на Востоке, по крайней мере внушало к нему уважение. Но к VII в. над всем Востоком восходит и воцаряется полумесяц, т. е. Ислам. С этого момента военные действия между Западом и Востоком, независимо от их исхода, начинают оборачиваться постепенной, неуклонной эрозией креста, релятивизмом византийского мироощущения в результате слишком близких и слишком частых контактов между двумя этими сакральными знаками. (Кто знает, не объясняется ли конечное поражение иконоклазма сознанием недостаточности креста как символа и необходимостью визуального соперничества с антифигуративным искусством Ислама? Не бред ли арабской вязи подхлестывал Иоанна Дамаскина?)

Константин не предвидел, что антииндивидуализм Ислама найдет в Византии почву настолько благоприятную, что к IX веку Христианство будет готово бежать отсюда на Север. Он, конечно, сказал бы, что это не бегство, но распространение Христианства, о котором он, теоретически, мечтал. И многие на это кивнут головой в знак согласия, что да, распространение. Однако Христианство, принятое Русью, уже не имело ничего общего с Римом. Пришедшее на Русь Христианство бросило позади не только тоги и статуи, но и выработанный при Юстиниане Свод гражданских законов. Видимо, чтоб облегчить себе путешествие.

Приняв решение уехать из Стамбула, я пустился на поиски пароходной компании, обслуживающей линию Стамбул — Афины или Стамбул — Венеция. Я обошел несколько контор, но, как всегда на Востоке, чем ближе вы к цели, тем туманнее способы ее достижения. В конце концов я выяснил, что раньше начала июня ни из Стамбула, ни из Смирны уплыть мне на Запад не удастся, ни на пассажирском судне, ни на сухогрузе или танкере. В одном из агентств массивная турчанка, дымя жуткой папиросой, что твой океанский лайнер, посоветовала обратиться в контору компании, носящей австралийское, как я поначалу вообразил, название «Бумеранг». «Бумеранг» оказался прокуренной, грязноватой конторой с двумя столами, одним телефоном, картой — естественно — мира на стене и шестью задумчивыми брүнетами, оцепеневшими от безделья. Единственно, что мне удалось извлечь из одного из них, сидящего ближе к двери, это что «Бумеранг» обслуживает советские круизы по Черному и Средиземному, но что на этой неделе у них ничего нет. Интересно, откуда родом был тот старший лейтенант на Лубянке, придумавший это название? Из Тулы? Из Челябинска?

Благоприятность почвы для Ислама, которую я имел в виду, объяснялась в Византии скорее всего ее этническим составом, т. е. смешение рас и национальностей, ни врозь, ни тем более совместно не обладавших памятью о какой-либо внятной традиции индивидуализма. Не хочется обобщать, но Восток есть прежде всего традиция подчинения, иерархии, выгоды, торговли, приспособления — т. е. традиция, в значительной мере чуждая принципам нравственного абсолюта, чью роль — я имею в виду интенсивность ощущения — выполняет здесь идея рода, семьи. Я предвижу возражения и даже согласен принять их и в деталях, и в целом. Но в какую бы крайность мы при этом ни впали с идеализацией Востока, мы не в состоянии будем приписать ему хоть какого-то подобия демократической традиции.

И речь при этом идет о Византии до турецкого вла-

дичества: о Византии Константина, Юстиниана, Теодоры — о Византии христианской. Но вот, например, Михаил Пселл, византийский историк, рассказывая в своей «Хронографии» о царствовании Василия II, упоминает, что его премьер-министром был его сводный брат, тоже Василий, которого в детстве, во избежание возможных притязаний на трон, просто кастрировали. «Естественная предосторожность, — отзывается об этом историк, — ибо, будучи евнухом, он не стал бы пытаться отобрать трон у законного наследника. Он вполне примирился со своей судьбой, — добавляет Пселл, — и был искренне привязан к царствующему дому. В конце концов, это ведь была его семья». Речь, заметим себе, идет о царствовании Василия II, т. е. о 986—1025 гг. н. э. Пселл сообщает об этом походя, как о рутинном деле — каковым оно и было — при Византийском дворе. Н. э.? Что же тогда до н. э.?

22

И чем измеряется эта э.? И измеряется ли она вообще? Заметим себе, что описываемое Пселлом происходит до появления турок. То есть ни о каком там Баязете-Мехмете-Сулеймане еще ни слуху ни духу. Когда мы еще толкуем священные тексты, боремся с ересями, созываем соборы, сочиняем трактаты. Это — одной рукой. Другой мы кастрируем выблядка, чтоб у него, когда подрастет, не возникло притязаний на трон. Это и есть восточное отношение к вещам, к человеческому телу, в частности; и какая там э. или тысячелетье на дворе, никакой роли не играет. Неудивительно, что Римская Церковь воротит от Византии нос. И тут нужно кое-что сказать о Римской Церкви.

Ей, конечно, естественно было от Византии отвернуться. По причинам, перечисленным выше, но еще потому, что, объективно говоря, Византия, этот Новый Рим, бросила Рим подлинный на произвол судьбы. За исключением Юстиниана, Рим был полностью предоставлен самому себе, то есть визиготам, вандалам и всем прочим, кому было не лень сводить с бывшей столицей древние или новые счета.

Константина еще понять можно: он вырос и провел большую часть своей жизни именно в Восточной империи. Что касается последующих византийских импера-

торов, их отношение к Риму подлинному несколько менее объяснимо. Естественно, у них был хлопот полон рот дома, на Востоке, учитывая непосредственных соседей. Тем не менее, титул римского императора все-таки должен был накладывать некоторые географические обязанности.

Вся история, конечно, была в том, что римскими императорами после Юстиниана становились выходцы главным образом из Восточных провинций, являвшихся главным поставщиком рекрутов для легионов,— т. е. с нынешних Балкан, из Сирии, из Армении и т. п. Рим для них был, в лучшем случае, идеей. Как и большинство своих подданных, некоторые из них по-латыни не знали ни слова. Тем не менее, все считали себя, и назывались, и писались римлянами. (Нечто подобное можно наблюдать и сегодня в разнообразных доминионах Британской империи или — зачем далеко ходить за примерами — среди, допустим эвенков, являющихся светскими гражданами.)

Иными словами, Рим остался сам по себе, и Римская Церковь тоже оказалась предоставленной самой себе. Было бы слишком долгим занятием описывать взаимоотношения Церкви в Византии и Церкви в Риме. Можно только заметить, что, в общем, оставленность Рима пошла в известной мере Римской Церкви на пользу. Но не только на пользу.

23

Я не предполагал, что эта записка о путешествии в Стамбул так разрастется,— и начинаю уже испытывать раздражение: и в отношении самого себя, и в отношении материала. С другой стороны, я сознаю, что другой возможности обсудить все эти дела мне не представится, ибо, если она и представится, я ее сознательно упущу. В дальнейшем я обещаю себе и тем, кто уже дошел в чтении до этого места, большую сжатость — хотя более всего мне хотелось бы сейчас бросить всю эту затею.

Уж если довелось прибегнуть к прозе — средству именно тем автору сих строк и ненавистному, что она лишена какой бы то ни было формы дисциплины, кроме подобия той, что возникает по ходу дела, — уж если довелось пользоваться прозой, то лучше было бы сосре-

доточиться на деталях, на описании мест и характеров — то есть тех вещей, столкнуться с которыми читателю этой записки, возможно, и не случится. Ибо все вышеизложенное, равно как и все последующее, рано или поздно должно прийти в голову любому человеку: ибо все мы, так или иначе, находимся в зависимости от истории.

Польза изолированности Церкви Римской от Церкви Восточной заключалась прежде всего в естественных выгодах, связанных с любой формой автономии. То есть Церкви в Риме почти никто и ничто, за исключением ее самой, не мешало выработаться в определенную твердую систему. Что и произошло. Комбинация Римского Права, принимаемого в Риме более всерьез, нежели в Византии, и собственной логики внутреннего развития Римской Церкви действительно определилась в этико-политическую систему, лежащую в основе так называемой западной концепции государственного и индивидуального бытия. Как почти всякий развод, и этот, между Византией и Римом, был далеко не полным; масса имущества оставалась общей. Но, в общем, можно утверждать, что названная концепция очертила вокруг себя некий круг, который именно в концептуальном смысле Восток не переступал и в пределах которого — весьма обширных — и выработалось то, что мы называем или подразумеваем под Западным Христианством и вытекающим из него миропониманием.

Недостаток всякой, даже совершенной, системы состоит именно в том, что она — система. То есть в том, что ей, по определению, ради своего существования, приходится нечто исключать, рассматривать нечто как чуждое и постольку, поскольку это возможно, приравнивать это чуждое к несуществующему.

Недостатком системы, выработавшейся в Риме, недостатком Западного Христианства явилось его невольное ограничение представлений о Зле. Любые представления о чем бы то ни было зиждятся на опыте. Опытом Зла для Западного Христианства оказался опыт, нашедший свое отражение в Римском Праве, с добавлением опыта преследования христиан римскими императорами до воцарения Константина. Этого немало, но это далеко не исчерпывает его, Зла, возмож-

ности. Разведясь с Византией, Западное Христианство тем самым приравняло Восток к несуществующему и этим сильно и, до известной степени, губительно для самого же себя занизило свои представления о человеческом негативном потенциале.

Сегодня, если молодой человек забирается с автоматом на университетскую башню и начинает поливать оттуда прохожих, судья — если этого молодого человека удастся обезвредить, и он предстает пред судом — квалифицирует его как невменяемого, и его запирают в лечебницу для душевнобольных. На деле же поведение этого молодого человека принципиально ничуть не отличается от кастрации того царского выблядка, о котором нам повествует Пселл. Как и не отличается оно от Иранского имама, кладущего десятки тысяч животов своих подданных во имя утверждения его, Имама, представлений о воле Пророка. Или — от тезиса, выдвинутого Джугашвили в процессе все мы знаем чего, о том, что «у нас незаменимых нет». Общим знаменателем этих акций является антииндивидуалистическое ощущение, что человеческая жизнь — ничто, т. е. отсутствие — вполне естественное — представления о том, что она, человеческая жизнь, священна, хотя бы уже потому что уникальна.

Я далек от того, чтобы утверждать, что отсутствие этого понимания — явление сугубо восточное. Ведь ужас именно в том, что нет. Но непростительная ошибка Западного Христианства со всеми вытекающими из онога представлениями о мире, законе, порядке, норме и т. п. заключается именно в том, что, ради своего собственного развития и последующего торжества, оно пренебрегло опытом, предложенным Византией. Отсюда все эти становящиеся теперь почти ежедневными сюрпризы, отсюда эта неспособность — государственных систем и индивидуальная — к адекватной реакции, выражающаяся в оценке явлений вышеупомянутого характера как следствий душевного заболевания, религиозного фанатизма и проч.

В Топкапи — превращенном в музей дворце турецкого султана — в отдельном павильоне собраны наиболее священные для сердца всякого мусульманина

предметы, связанные с жизнью Пророка. В восхитительно инкрустированных шкатулках хранятся зуб Пророка, волосы с головы Пророка. Посетителей просят не шуметь, понизить голос. Еще там вокруг разнообразные мечи, кинжалы, истлевший кусок шкуры какого-то животного с различимыми на нем буквами письма Пророка какому-то конкретному историческому лицу и прочие священные тексты, созерцая которые невольно благодаришь судьбу за незнание языка. Хватит с меня и русского, думал я. В центре, под стеклянным квадратным колпаком, в раме, отороченной золотом, находится предмет темно-коричневого цвета, сущность коего я не уразумел, пока не прочел табличку. Табличка, естественно, по-турецки и по-английски. Отлитый в бронзе «Отпечаток стопы Пророка». Минимум сорок восьмой размер обуви, подумал я, глядя на этот экспонат. И тут я содрогнулся: Йети!

26

Византия была переименована в Константинополь, если не ошибаюсь, при жизни Константина. В смысле простоты гласных и согласных, это название было, наверное, популярней у турок-сельджуков, чем Византия. Но и Стамбул тоже звучит достаточно по-турецки; для русского уха, во всяком случае. На самом деле Стамбул — название греческое, происходит, как будет сказано в любом путеводителе, от греческого «стан полин» — что означает (ло) просто «город». «Стан»? «Полин»? Русское ухо? Кто здесь кого слышит? Здесь, где «бардак» значит «стакан». Где «дурак» значит «остановка». «Бир бардак чай» — один стакан чаю. «Дурак автобуса» — остановка автобуса. Ладно хоть, что автобус только наполовину греческий.

27

Человеку с одышкой тут делать нечего, разве что нанять на весь день такси. Для попадающих в Стамбул с Запада город этот чрезвычайно дешев. В переводе на доллары — марки — франки и т. п. некоторые вещи не стоят ничего. Точнее: оказываются по ту сторону стоимости. Те же самые ботинки или, например, чай. Странное это ощущение — наблюдать деятельность, не имеющую денежного выражения: никак не оцениваемую.

Похоже на некий тот свет, пре-мир, и, вероятно, именно эта потусторонность и составляет знаменитое «очарование» Востока для северного скряги.

Что воспоследствовало — хорошо известно: невесть откуда возникли турки. Откуда они появились, ответ на это не очень вняттен; ясно, что весьма издалека. Что привело их на берег Босфора — тоже не очень ясно, но понятно, что лошади. Турки — точнее: тюрки — были кочевниками: так нас учили в школе. Босфор, естественно, оказался преградой, и здесь-то тюрки, вместо того чтоб откочевать назад, решили перейти к оседлости. Все это звучит не очень убедительно, но мы это так и оставим. Что они хотели от Константинополя — Византии — Стамбула — это, по крайней мере, понятно: они хотели быть в Константинополе. Примерно того же, что и сам Константин. До XI века сакрального знака у них не было. В XI он появился. Как мы знаем, это был полумесяц.

Но в Константинополе были христиане, константинопольские церкви венчал крест. Тюркский, постепенно превратившийся в турецкий, роман с Византией продолжался примерно три столетия. Постоянство принесло свои плоды, и в XIV веке крест уступил купола полумесяцу. Остальное хорошо документировано, и распространяться об этом нужды нет. Хотелось бы только отметить значительное структурное сходство того, «как было», с тем, «как стало». Ибо смысл истории в существовании структур, не в характере декора.

Смысл истории! Что, в самом деле, может поделывать перо с этим смещением рас, языков, вероисповеданий — с этим принявшим вегетативный, зоологический характер падением вавилонской башни, в результате которого, в один прекрасный день, индивидуум обнаруживает себя смотрящим со страхом и отчуждением на свою руку или на свой детородный орган — не а ля Витгенштейн, но охваченный ощущением, что эти вещи принадлежат не ему, что они — всего лишь составные

части, детали «конструктора», осколки калейдоскопа, сквозь который не причина на следствие, но слепая случайность смотрит на свет. Можно выскочить на улицу — но там летит пыль.

Разница между духовной и светской властью в Византии христианской была чрезвычайно незначительной. Номинально государю следовало считаться с суждениями Патриарха — что нередко имело место. С другой стороны, государь зачастую не только назначал Патриарха, но, в ряде случаев, оказывался или имел основания считать себя бóльшим христианином, чем Патриарх. Мы уже не говорим о концепции помазанника Божьего, которая одна могла избавить государя от необходимости считаться с чьим бы то ни было мнением. Что тоже имело место и что, в сочетании с механическими чудесами, до которых Теофилий I был большой любитель, — и оказало, между прочим, решающее влияние на выбор, сделанный Русью в IX веке. (Между прочим же, чудеса эти: рыкающие искусственные львы, механические соловьи, поднимающийся в воздух трон и т. п. — византийский государь заимствовал, слегка их модифицировав, на Востоке, у своих персидских соседей.)

Нечто чрезвычайно схожее происходило с Высокой Портой, то бишь с Оттоманской империей, то бишь с Византией Мусульманской. Мы опять-таки имеем дело с автократией, несколько более деспотического, сильно военизированного характера. Абсолютный глава государства — падишах, он же султан. При нем, однако, существует Великий муфтий — должность, совмещающая — отождествляющая — власть духовную с административной. Управляется же все государство посредством чрезвычайно сложной иерархической системы, в которой преобладает религиозный (для удобства скажем — идеологически выдержанный) элемент.

В чисто структурном отношении расстояние между Вторым Римом и Оттоманской империей измеряемо только в единицах времени. Что это тогда? Дух места? Его злой гений? Дух порчи? И откуда, между прочим, «порча» эта в нашем лексиконе? Не от «Порты» ли? Неважно. Достаточно, что и Христианство, и бардак с дураком пришли к нам именно из этого места. Где лю-

ди обращались в Христианство в V веке с такой же легкостью, с какой они переходили в Ислам в XIV (и это при том, что после захвата Константинополя турки христиан никак не преследовали). Причины и того, и другого обращений были те же самые: практические. Впрочем, это уже никак не связано с местом; это связано с видом.

31

О все эти бесчисленные Османы, Мехметы, Мурады, Баязеты, Ибрагимы, Селимы и Сулейманы, вырезавшие друг друга, своих предшественников, соперников, братьев, родителей и потомство — в случае Мурада II или III — какая разница! — девятнадцать братьев кряду — с регулярностью человека, бреющегося перед зеркалом. О эти бесконечные, непрерывные войны: против неверных, против своих же мусульман-но-шиитов, за расширение империи, в отместку за нанесенные обиды, просто так, и из самозащиты. И о этот институт янычар, элита армии, преданная сначала султану, но постепенно выработывавшаяся в отдельную, только со своими интересами считающуюся касту, — как все это знакомо! О все эти чалмы и бороды — эта униформа головы, одержимой только одной мыслью: резать — и потому — и не только из-за запрета, накладываемого Исламом на изображение чего бы то ни было живого, — совершенно неотличимые друг от друга! Потому, возможно, и «резать», что все так друг на друга похожи и нет ощущения потери. Потому и «резать», что никто не бреется. «Рэжу» — следовательно, существую.

Да и что, вообще говоря, может быть ближе сердцу вчерашнего кочевника, чем принцип линейности, чем перемещение по плоскости, хоть в ту, хоть в эту сторону. И не оправданием, и не пророчеством ли одновременно звучат слова одного из них, опять-таки Селима, сказанные им при завоевании Египта, что он, как властитель Константинополя, наследует Восточную Римскую империю и, следовательно, имеет право на земли, когда-либо ей принадлежавшие! Не та же ли нота звучит четыреста лет спустя в устах Устрялова и Третьеримских славянофилов, чей алый, цвета янычарского плаща, флаг благополучно вобрал в себя звезду и полумесяц Ислама? И молот — не модифицированный ли он крест?

Эти непрерывные, на протяжении без малого тысячелетия, войны, эти бесконечные трактаты со схоластическими интерпретациями искусства стрельбы из лука — не они ли ответственны за выработавшееся в этой части света отождествление армии и государства, политики-как-продолжения-войны-только-другими-средствами, за вдохновенные, но баллистически реальные фантазии Циолковского?

И эта загадочная субстанция, эта пыль, летящая вам в морду на улицах Стамбула, — не есть ли это просто бездомная материя насильственно прерванных бесчисленных жизней, понятия не имеющая — чисто по-человечески, — куда ей приткнуться? Так и возникает грязь. Что, впрочем, тоже не спасает от сильной перенаселенности.

Человека с воображением, да к тому же еще и нетерпеливого, очень подмывает ответить на эти вопросы утвердительно. Но, может быть, не следует торопиться; может быть, надо повременить и дать им возможность стать «проклятыми» — даже если на это уйдет несколько веков. О эти «века!» — любимая единица истории, избавляющая индивидуума от необходимости личной оценки происшедшего и награждающая его почетным статусом жертвы истории.

32

В отличие от оледенения, цивилизации — какие они ни на есть — перемещаются с юга на север. Как бы стремясь заполнить вакуум, оставленный оледенением. Тропический лес постепенно одолевает хвойный и смешанный — если не с помощью листа, то с помощью архитектуры. Иногда возникает ощущение, что барокко, рококо, даже шинкель — просто бессознательная тоска вида о его вечнозеленом прошлом. Папоротник пагод — тоже.

В широтном направлении перемещаются только кочевники. И, как правило, с востока на запад. Кочевничество имеет смысл только в определенной климатической зоне. Эскимосы — в пределах Полярного круга; татары и монголы — в пределах черноземной полосы. Купола юрт и иглу, конусы палаток и чумов.

Я видел мечети Средней Азии — мечети Самарканда, Бухары, Хивы: подлинные перлы мусульманской архитектуры. Как не сказал Ленин, ничего не знаю

лучше Шах-И-Зинды, на полу которой я провел несколько ночей, не имея другого места для ночлега. Мне было девятнадцать лет, но я вспоминаю с нежностью об этих мечетях отнюдь не поэтому. Они — шедевры масштаба и колорита, они — свидетельства лиричности Ислама. Их глазурь, их изумруд и кобальт запечатлеваются на вашей сетчатке в немалой степени благодаря контрасту с желто-бурым колоритом окружающего их ландшафта. Контраст этот, эта память о цветовой (по крайней мере) альтернативе реальному миру, и был, возможно, поводом к их появлению. В них действительно ощущается идеосинкретичность, самоувлеченность, желание за(со)вершить самих себя. Как лампы в темноте. Лучше: как кораллы — в пустыне.

33

Стамбульские же мечети — это Ислам торжествующий. Нет большего противоречия, чем торжествующая Церковь, — и нет большей безвкусицы. От этого страдает и Св. Петр в Риме. Но мечети Стамбула! Эти гигантские, насевшие на землю, не в силах от нее оторваться застывшие каменные жабы! Только минареты, более всего напоминающие — пророчески, боюсь, — установки класса земля — воздух, и указывают направление, в котором собиралась двинуться душа. Их плоские, подобные крышкам кастрюль или чугунных латок, купола, понятия не имеющие, что им делать с небом: скорей предохраняющие содержимое, нежели поощряющие воздеть очи горе. Этот комплекс шатра! придавленности к земле! намаза.

На фоне заката, на гребне холма их силуэты производят сильное впечатление: рука тянется к фотоаппарату, как у шпиона при виде военного объекта. В них и в самом деле есть нечто угрожающе-потустороннее, абсолютно герметическое, панциреобразное. И все это того же грязно-бурого оттенка, как и большинство построек в Стамбуле. И все это на фоне бирюзы Босфора.

И если перо не поднимается упрекнуть ихних безмянных правоверных создателей в эстетической тупости, то это потому, что тон этим донным, жабо- и крабообразным сооружениям задан был Айя-Софией — сооружением в высшей степени христианским. Констан-

тин, утверждают, заложил ее основание; возведена же она при Юстиниане. Снаружи отличить ее от мечетей невозможно, ибо судьба сыграла над Айя-Софией злую (злую ли?) шутку. При не помню уже каком султани — да это и неважно — была Айя-София превращена в мечеть.

Превращение это больших усилий не потребовало: просто с обеих сторон возвели мусульмане четыре минарета. И стало Айя-Софию не отличить от мечети. То есть архитектурный стандарт Византии был доведен до своего логического конца. Это именно с ее приземистой грандиозностью соперничали строители мечетей Баязета и Сулеймана, не говоря уже о меньших братьях. Но и за это упрекать их нельзя — не только потому, что к моменту их прихода в Константинополь Айя-София царила над городом, но, прежде всего, потому, что и сама-то она была сооружением не римским, но именно Восточным, точнее — Сасанидским. Как и нельзя упрекать того, неважно-как-его-зовут, султана за превращение христианского храма в мечеть: в этой трансформации сказалось то, что можно, не подумав, принять за глубокое равнодушие Востока к проблемам метафизического порядка. На самом же деле за этим стояло и стоит, как сама Айя-София с ее минаретами и христианско-мусульманским декором внутри, историей и арабской вязью внушенное ощущение, что все в этой жизни переплетается, что все, в сущности, есть узор ковра. Попираемого стопой.

34

Это — чудовищная идея, не лишенная доли истины. Но попытаемся с ней справиться. В ее истоке лежит восточный принцип орнамента, основным элементом которого служит стих Корана, цитата из Пророка: вышитая, выгравированная, вырезанная в камне или дереве — и с самим процессом вышивания, гравировки, вырезания и т. п. графически — если принять во внимание арабскую письменность — совпадающая. То есть речь идет о декоративном аспекте письменности, о декоративном использовании фразы, слова, буквы; о чисто визуальном к ним отношении. Оставляя в стороне неприемлемость подобного взгляда на слово (как, впрочем, и на букву), заметим лишь неизбежно буквальное, пространственное — ибо только средствами пространства и

выражаемое — восприятие того или иного священного речения. Отметим зависимость этого орнамента от длины строки и от дидактического аспекта речения, зачистую уже достаточно орнаментального самого по себе. Напомним себе: единица восточного орнамента — фраза, слово, буква.

Единицей — основным элементом — орнамента, возникшего на Западе, служит счет: зарубка — и у нас в этот момент — абстракции, — отмечающая движение дней. Орнамент этот, иными словами, временной. Отсюда его ритмичность, его тенденция к симметричности, его принципиально абстрактный характер, подчиняющий графическое выражение ритмическому ощущению. Его сугубо не(анти)дидактичность. Его — за счет ритмичности, повторимости — постоянное абстрагирование от своей единицы, от единожды уже выраженного. Говоря короче, его динамичность.

Я бы заметил еще, что единицы этого орнамента — день — идея дня — включает в себя любой опыт, в том числе и опыт священного речения. Из чего следует соображение о превосходстве бордюрички греческой вазы над узором ковра. Из чего следует, что еще неизвестно, кто больший кочевник: тот ли, кто кочует в пространстве, или тот, кто кочует во времени. Идея, что все переплетается, что все лишь узор ковра, стопой попираемого, сколь бы захватывающей (и буквально тоже) она ни была, все же сильно уступает идее, что все остается позади, кэвер и попирающую его стопу — даже свою собственную! — включая.

О, я предвижу возражения! Я предвижу искусствоведа или этнолога, готовых оспорить с цифрами и с черепками в руках все вышеизложенное. Я предвижу человека в очках, вносящего индийскую вазу с бордюричком, только что мной описанным, и восклицающего: А это что? И разве Индия (или Китай) не Восток? Хуже того, ваза эта или блюдо могут оказаться из Египта, вообще из Африки, из Патагонии, из Северной Америки. И заструится поток доказательств несравненной ихней правоты относительно того, что доисламская культура была фигуративной, что таким образом Запад просто отстал от Востока, что орнамент вообще, по определению, нефункционален или что пространство

больше, чем время. Что я, в целях скорей всего политических, подменяю историю антропологией. Что-нибудь в этом роде или того похуже.

Что мне сказать на это? и надо ли говорить что-либо? Не уверен; но тем не менее замечу, что, не предвидя я этих возражений, я бы за перо не брался. Что пространство для меня действительно и меньше, и менее дорого, чем время. Не потому, однако, что оно меньше, а потому, что оно — вещь, тогда как время есть мысль о вещи. Между вещью и мыслью, скажу я, всегда предпочтительнее последнее.

И еще я предвижу, что не будет ни ваз, ни черепков, ни блюда, ни человека в очках. Что возражений не последует, что воцарится молчание. Не столько как знак согласия, сколько как свидетельство безразличия. Поэтому устервим наш довод и немного добавим, что ощущение времени есть глубоко индивидуалистический опыт. Что в течение жизни каждый человек, рано или поздно, оказывается в положении Робинзона Крузо, делающего зарубки и, насчитав, допустим, семь или десять, их перечеркивающего. Это и есть природа орнамента, независимо от предыдущей цивилизации или той, к которой человек этот принадлежит. И зарубки эти — дело глубоко одинокое, обособляющее индивидуума, вынуждающее его к пониманию если не уникальности, то автономности его существования в мире.

Это и есть основа нашей цивилизации. Это и есть то, от чего Константин ушел на Восток. К ковру.

36

Нормальный, душный, потный, пыльный майский день в Стамбуле. Сверх того, воскресенье. Человеческое стадо, бродящее под сводами Айи-Софии. Там, вверху, недостижимые для зренья, мозаики с изображением то ли царей, то ли Святых. Ниже, на стенах, достигаемые, но недоступные разумению круглые металлические щиты с золотыми по черному полю, весьма стилизованными цитатами из Пророка. Своего рода монументальные камни с литерами, напоминающими Джаксона Поллака или Кандинского. И тут я замечаю, что — скользко: сбор потеет. Не только пол, но и мрамор стен. Камень потест. Спрашиваю — говорят от сильного перепада температуры. И решаю — от моего присутствия; и выхожу.

Взглянуть на Отечество извне можно, только оказавшись вне стен Отечества. Или — расстелив карту. Но, как замечено выше, кто теперь смотрит на карту?

Если цивилизации — именно какие они ни на есть — действительно распространяются, как растительность, в направлении, обратном оледенению, с Юга на Север, то куда было Руси при ее географическом положении деваться от Византии? Не только Руси Киевской, но и Московской, а там уж и всему остальному между Донцом и Уралом? И нужно еще поблагодарить Тамерлана и Чингиз-хана за то, что они несколько задержали процесс, что несколько подморозили, точнее, подмяли цветы Византии. Это неправда, что Русь сыграла роль щита, предохраняющего Запад от татаро-монгольского ига. Роль щита этого сыграл Константинополь — тогда еще оплот организованного Христианства. (В 1403 году, между прочим, возникла под стенами Константинополя ситуация, которая чуть было не обернулась для Христианского — вообще для всего тогда известного — мира абсолютной катастрофой: Тамерлан встретился с Баязетом. По счастью, они обратили оружие против друг друга — сказалось, видимо, внутрисословное соперничество. Объединись они против Запада, т. е. в том направлении, в котором они оба двигались, мы смотрели бы нынче на карту миндалевидным, преимущественно карим оком.)

Деваться Руси от Византии было действительно некуда, подобно тому как и Западу от Рима. И подобно тому, как он зарастал с веками римской колоннадой и законностью, Русь оказалась естественной географической добычей Византии. Если на пути первого стояли Альпы, второму мешало только Черное море — глубокая, но, в конечном счете, плоская вещь. Русь получила — приняла — из рук Византии все: не только христианскую литургию, но, и это главное, христианско-турецкую (и постепенно все более турецкую, ибо более неуязвимую, более военно-идеологическую) систему государственности. Не говоря уже о значительной части собственно словаря. Единственно, что Византия растеряла по дороге на Север, это свои замечательные ереси, своих монофизитов, свой арианизм, своих неоплатоников и проч., составлявших самое существо ее духовного и литературного бытия. Но распространение ее на

Север происходило в период все большего воцарения полумесяца, и чисто физическая мощь Высокой Порты гипнотизировала Север в большей мере, нежели теологическая полемика вымирающих схоластов.

В конце концов, восторжествовал же Неоплатонизм в искусстве. Мы знаем, откуда наши иконы, мы знаем, откуда наши луковки-маковки церквей. Мы знаем также, что нет ничего легче для государства, чем приспособить для своих нужд максимум Плотина насчет того, что задачей художника должно быть не подражание природе, но интерпретация идей. Что же касается идей, то чем покойный Суслов или кто там теперь занимает его место — не Великий Муфтий? Чем Генсек не Падишах или, лучше того, Император? И кто, в конце концов, назначает Патриарха, как, впрочем, и Великого Визиря, и Муфтия, и Халифа? И чем Политбюро — не Великий Диван? И не один ли шаг — шах — от дивана до оттоманки?

Не Оттоманская ли мы теперь империя — по площади, по военной мощи, по угрозе для мира Западного. И не больше ли наша угроза оттого, что исходит она от обвосточившегося до неузнаваемости — нет! до узнаваемости! — Христианства. Не больше ли она, оттого что — соблазнительней? И что мы слышим уже в этом вопле покойного Милюкова: «А Дарданеллы будут наши!»? Эхо Катона? Тоску христианина по своей святыне? Или все еще голос Баязета, Тамерлана, Селима, Мехмета? И уж коли на то пошло, коли уж мы цитируем и интерпретируем, то что звучит в этом крике Константина Леонтьева — крике, раздавшемся именно в Стамбуле, где он служил при русском посольстве: «Россия должна править бесстыдно!» Что мы слышим в этом паскудном пророческом возгласе? Дух века? Дух нации? Или дух места?

Не дай нам Бог больше заглядывать в турецко-русский словарь. Остановимся на слове «чай», означающем именно чай, откуда бы оно и он ни пришли. Чай в Турции замечательный, лучше, чем кофе, и, как почистить ботинки, ничего не стоит в переводе на любые известные нам деньги. Он крепок, цвета прозрачного кирпича, но не будоражит, ибо подается в этом барда-

ке — стакан емкостью грамм в пятьдесят, не больше. Он — лучшее из всего попавшегося мне в Стамбуле, этой помеси Астрахани и Сталинабада.

Чай — и зрелище стены Константина, которой я бы не увидел, если бы мне не повезло и шофер такси, которому сказано было ехать в Топкапи, не оказался жуликом и не покатыл вокруг всего города.

По высоте, толщине и характеру кладки стены вы можете судить о серьезности намерений ее строителя. Константин был предельно серьезен: ее развалины, в которых теперь ютятся цыгане, козы и промышляющие телом молодые люди, и сегодня могли бы удержать любую армию, будь нынешняя война позиционной. С другой стороны, если признать за цивилизациями характер растительный, то есть идеологический, то возведение и этой стены было пустой тратой времени. От антииндивидуализма, во всяком случае, от духа подчинения и релятивизма ни стеной, ни морем не отгородиться.

Добравшись, в конце концов, до Топкапи и осмотрев большую часть его содержимого — преимущественно «кафтаны» султанов, и лингвистически, и визуально абсолютно совпадающие с гардеробом московских государей, я направился к цели моего во дворец этот паломничества — к сералю: только чтобы обнаружить на дверях этого главного на свете павильона табличку, сообщавшую по-турецки и по-английски «Закрыт на реставрацию». О если бы! — воскликнул я мысленно, пытаясь совладать с разочарованием.

39

Пора завязывать. Парохода, как я сказал, ни из Стамбула, ни из Смирны было не найти. Я сел в самолет и через два часа полета над Эгейским морем — сквозь воздух, не менее некогда обитаемый, чем архипелаг внизу, — приземлился в аэропорту в Афинах.

В 68 километрах от Афин, в Суньоне, на вершине скалы, падающей отвесно в море, стоит построенный почти одновременно с Парфеноном в Афинах — разница в каких-нибудь 50 лет — храм Посейдона. Стоит уже две тыщи с половиной лет.

Он раз в десять меньше Парфенона. Во сколько раз он прекрасней, сказать трудно, ибо непонятно, что сле-

дует считать единицей совершенства. Крыши у него нет.

Вокруг — ни души. Суньон — рыбацкая деревня с двумя-тремя теперь современными гостиницами — лежит далеко внизу. Там, на вершине темной скалы, в вечерней дымке, издали храм выглядит скорее спущенным с неба, чем воздвигнутым на земле. У мрамора больше сходства с облаком, нежели с почвой.

Восемнадцать белых колонн, соединенных белым же мраморным основанием, стоят на равном друг от друга расстоянии. Между ними и землей, между ними и морем, между ними и небом Эллады — никого и ничего.

Как и почти всюду в Европе, здесь побывал Байрон, вырезавший на основании одной из колонн свое имя. По его стопам автобус привозит туристов; потом он их увозит. Эрозия, от которой поверхность колонн заметно страдает, не имеет никакого отношения к выветриванию. Это — оспа взоров, линз, вспышек.

Потом спускаются сумерки, темнеет. Восемнадцать колонн, восемнадцать вертикальных белых тел, на равном расстоянии друг от друга, на вершине скалы, под открытым небом встречают ночь.

Если бы они считали дни, таких дней было бы шестьдесят миллионов. Издали, впрочем, в вечерней дымке, благодаря равным между собой интервалам, белые их вертикальные тела и сами выглядят как орнамент.

Идея порядка? Принцип симметрии? Чувство ритма? Идолопоклонство?

40

Наверное, следовало взять рекомендательные письма, записать, по крайней мере, два-три телефона, отправляясь в Стамбул. Я этого не сделал. Наверное, следовало с кем-то познакомиться, вступить в контакт, взглянуть на жизнь этого места изнутри, а не сбрасывать местное население со счетов как чуждую толпу, не отметать людей, как лезущую в глаза психологическую пыль.

Что ж, вполне возможно, что мое отношение к людям, в свою очередь, тоже пахнет Востоком. В кон-

це концов, откуда я сам? Но в определенном возрасте человек устаёт от себе подобных, устаёт засорять своё сознание и подсознание. Ещё один — или десяток — рассказ о жестокости? Ещё один — или сотня — пример человеческой подлости, глупости, доблести? У мизантропии, в конце концов, тоже должны быть какие-то пределы.

Достаточно поэтому взглянуть в словарь, установить, что «каторга» — тоже турецкое слово. Как и достаточно обнаружить на турецкой карте — то ли в Анатолии, то ли в Ионии — город, называющийся «Нигде».

41

Я не историк, не журналист, не этнограф. Я, в лучшем случае, путешественник, жертва географии. Не истории, заметьте себе, но географии. Это то, что роднит меня до сих пор с державой, в которой мне выпало родиться, с нашим печально, дорогие друзья, знаменитым Третьим Римом. Поэтому меня не слишком интересует политический курс нынешней Турции, реформы Ата-тюрка, чей портрет украшает засаленные обои самой последней кофейни, равно как и не поддающуюся никакому конвертированию и являющуюся нереальной формой оплаты реального труда турецкую лиру.

Я приехал сюда взглянуть на прошлое, не на будущее, ибо последнего здесь нет: оно, какое оно ни есть, тоже ушло отсюда на Север. Здесь есть только незавидное, третьесортное настоящее трудолюбивых, но ограбленных интенсивностью истории этого места людей. Больше здесь уже никогда ничего не произойдет, кроме разве что уличных беспорядков или землетрясения. Может быть, впрочем, здесь ещё откроют нефть: уж больно сильно воняет сероводородом Золотой Рог, с маслянистой поверхности которого открывается такой шикарный вид на панораму Стамбула. Впрочем, вряд ли, и вонь эта — вонь нефти, проливаемой проходящими через пролив ржавыми, только что не дырявыми танкерами. На ней одной, по-моему, можно было бы сколотить состояние.

Впрочем, подобный проект покажется, наверно, местному человеку чересчур предприимчивым. Местный человек по натуре скорей консервативен, даже если он делец или негоциант, не говоря уже о рабочем классе,

невольно, но наглухо запертом в традиционности, в консервативности нищенской оплатой труда. В своей тарелке местный человек выглядит здесь более всего под сводами бесконечно переплетающихся, подобно узору ковра или арабской вязи, мечетей, галерей местного базара, который и есть сердце, мозг и душа Стамбула. Это — город в городе; это и выстроено на века. Этого ни на Запад, ни на Север, ни на Юг не перенести. ГУМ, Бонмарше, Харрод, Мэйси, вместе взятые и в куб возведенные, суть детский лепет в сравнении с этими катакомбами. Станным образом, но благодаря горящим везде гирляндам желтых стоваттных лампочек и бесконечной россыпи бронзы, бус, браслетов, серебра и золота под стеклом, не говоря уже о собственно коврах, иконах, самоварах, распятиях и прочем, базар этот в Стамбуле производит впечатление именно православной церкви, разветвляющейся и извивающейся, впрочем, как цитата из Пророка. Плоский вариант Аяя-Софии.

42

Цивилизации двигаются в меридиональном направлении. Кочевники (включая войны новейшего времени, ибо война суть эхо кочевого инстинкта) — в широтном. Это, видимо, еще один вариант креста, привидившегося Константину. Оба движения обладают естественной (растительной или животной) логикой, учитывая которую нетрудно оказаться в состоянии, когда никого и ни в чем нельзя упрекнуть. В состоянии, именуемом меланхолией или — более справедливо — фатализмом. Его можно приписать возрасту, влиянию Востока; при некотором усилии воображения — христианскому смирению.

Выгоды этого состояния очевидны, ибо они эгоистичны. Ибо оно — как и всякое, впрочем, смирение — достигается всегда за счет немого бессилия жертв истории — прошлых, настоящих, будущих; ибо оно является эхом бессилия миллионов. И если вы уже не в том возрасте, когда можно вытащить из ножен меч или вскарабкаться на трибуну, чтобы проорать морю голов о своем отвращении к прошедшему, происходящему и имеющему произойти, если таковая трибуна отсутствует или если таковое море пересохло, — все-таки остается еще лицо и губы, по которым может еще

скользнуть вызванная открывающейся как мысленно-
му, так и ничем не вооруженному взору картиной,
улыбка презрения.

С ней, с этой улыбкой на устах, можно взобраться на паром и отправиться пить чай в Азию. Через двадцать минут можно сойти в Чингельчсе, найти кафе на самом берегу Босфора, сесть на стул, заказать чай и, вдыхая запах гниющих водорослей, наблюдать, не меняя выражения лица, как авианосцы Третьего Рима медленно плывут сквозь ворота Второго, направляясь в Первый.

*Стамбул — Афины, июнь 1985 г.
Континент, № 46.*

ГОРОД ИММЕР

Игорь ЕФИМОВ

КАК ОДНА ПЛОТЬ РОМАН

Часть первая

ЛЮБЛЮ, НЕ ЛЮБЛЮ...

1

Кажется, я совсем разучился переносить ее отмалчивания. Нет, она молчит не так, как тетя Ирина в детстве — казнила молчанием. Она не изображает обиду, не поджимает губ, она действительно не может выдавить из себя ни слова. «Да что случилось, в конце концов? — устало спрашиваю я. — Объяснишь ты или нет? Давай поговорим спокойно». Она мотает головой и показывает рукой на горло — «не могу, после». Но после она скажет «не надо, уже прошло», и я буду точно знать, что не прошло, а просто отложилось у нее внутри, добавилось к чему-то, пружина натянулась еще на один виток и когда-нибудь, наверное, сорвется.

В обед я все же поднимаюсь из цеха, где наш стенд, в лаборантскую, иду к телефону, набираю номер.

— Лидию Сергеевну, пожалуйста. Да, Гурбенко.

Девочки за кульманами перестают пить чай, притихают.

— А, это ты. — Голос ее в трубке звучит почти весело. — Какой везучий. Еще пять минут — и не застал бы.

— Слушай, мне сегодня придется задержаться. Часа на два. Так что за Тошкой не успею заехать. Пусть поживет еще день у теток, а? Ничего ему не сделается. Последнее время ему там даже нравилось, уезжать не хотел.

— Конечно. Ты вон все детство там провел — и ничего тебе не сделалось.

— Не язви.

— Да нет, ты же знаешь, я их люблю. Иногда. А к зубному сводишь его завтра?

— Почему — я? А ты?

— Я, пожалуй, закачусь в командировку. Дня на два, не больше. Можно?

— Как будто, если я скажу «нельзя»...

— Только не заводись. И не сердись по таким пустякам. Он теперь большой, ведет себя тихо. Ну, поплачет немного... Да, я уже готова — бегу... Ну, пока. Если будет очень неохота — не води. Завтра вечером позвоню по междугородному — хорошо?

Растяпа! Уже по первым ее словам, по ее радостному оживлению можно было догадаться, что ей снова подворачивается командировка. И что сегодня она ухватится за нее обеими руками. И что единственный способ удержать ее — именно забрать Тошку домой. А теперь...

Я выхожу из лаборантской, провожаемый сочувственным перешептыванием за кульманами. Откуда-то про нас все известно. И не только друзьям, но и здесь, на заводе. Доходило уже до того, что предлагали поделиться жизненным опытом, «просто жалко смотреть, как ты мучаешься» и «ты поставь себя потверже как мужчина», «требуй, требуй, если что». Господи, да чего мне требовать? Чего я от нее хочу? Только одного — чтобы у нее не саднило в горле, чтобы она засмеялась, чтобы не сидела в кресле, молча уставясь перед собой. Чтобы ей стало хорошо. Можно такое требовать от человека? Особенно, если ему становится хорошо, только когда появляется возможность уехать.

С приборным щитом я справлюсь за час, гидротормоз же все-таки придется полностью разбирать, механикам завтра на целый день работы — ничего не поделаешь.

Весенние сугробы во дворе заметно осели за день, заострились черными пиками в одну сторону — в солнечную. Но сейчас уже темнеет, и надо внимательно всматриваться в лужи под ногами, выбирать, где поменьше. Я иду неспеша (спешить мне теперь совсем некуда) и в который раз пытаюсь вспомнить, с чего оно началось, это ее последнее вчерашнее отмалчивание. Накануне собрались у приятелей, там все было нор-

мально, даже весело — обычное субботнее застолье. Потом шли домой... Может, тогда? Или все же раньше, когда сидели за столом? Там что-то мелькнуло такое — чья-то очередная история, все смеялись, да и она тоже, потом вдруг сказала: «а ведь подловато», громко сказала — на весь стол, так что возникла неловкая пауза, но я быстро замял, перевел на другое. Может быть, это — зачем замял? Она ведь и не про такой пустяк может сказать: предал. Ты меня предал. Но нет — потом на улице она и болтала по-прежнему, и передразнивала кого-то, смеялась. Так когда же?

Я чувствую, что мой мозг по привычке пытается и с этой путаницей управиться, как с приборами, трубками, проводами, пытается разложить ее на части и заново перевязать логическими тесемками. У него столько накопленных приемов, он так привык одолевать любое, а здесь... Здесь он не только не может добраться до сути, но даже сосредоточиться на чем-нибудь одном ему не по силам.

Пока автобус отсчитывает свои одиннадцать остановок от проходной до станции метро, я пытаюсь вспомнить два последних дня — только их, а меня уносит куда-то далеко, дальше институтских лет, дальше пароходика на реке, дальше большой госстраховской рекламы за окнами нашего класса, в пучину дошкольного детства.

И плывут, плывут не тускнеющие от времени картины.

Вот улица под солнцем, лето. Блестящие черные бок машины — мы куда-то едем. Машина кажется мне огромной, как дом, и именно как дом не страшной. Это не та машина, которая может задавить (я уже знаю это страшное — задавить), это просто такой необычный дом, в него можно войти, сесть или лечь — мягко. Мы влезаем в него, рассаживаемся (нужно бы добавить «наверно», потому что этого не помню), и вдруг я почему-то догадываюсь, что мы едем к доктору, то есть лечиться, то есть самое страшное, что только может быть. Я начинаю орать и вырываться, изворачиваясь, сползаю на пол. Меня удерживают, но удерживают осторожно, боясь что-нибудь поломать, я же не боюсь, я рвусь и ору во всю мощь, и это как-то уравнивает силы. Борьба затягивается. И вот (это я помню отчетливо), нога моя высовывается в приоткрытую дверцу, и ее чуть не прихлопывают. Нет, я ничуть не

пугаюсь — наоборот, счастливая догадка мелькает в моей голове: машина не может поехать, пока моя нога торчит наружу. И я забываю про доктора, про страх, у меня теперь одна цель — высунуть ногу. Мне это удастся, но, конечно, лишь на мгновение.

— Рома! Рома, прекрати!

— Как тебе не стыдно.

— Что с ним?

— Он испугался машины.

— Рома, прекрати сейчас же!

А я рвусь, визжу и плачу, колочу по захлопнутой дверце. Машина уже давно едет, но я не хочу смотреть в окно, я отталкиваю конфету, колочу вслепую руками и ногами. Мне так горько, так обидно чего-то, наверно, я кричу, но никто не может понять, что мне нужно.

Наконец машина останавливается, и дверцу открывают. Я замираю от счастья. Я утихаю — меня отпускают. Я делаю вид, что выхожу, и высовываю ногу на улицу. Застываю. Вот оно — дверца приоткрыта, моя нога просунута в щель. Машина стоит. Я счастлив. Меня выпихивают, ведут к дому, мне уже наплевать, к доктору или нет, я упираюсь совсем не потому — мне хочется обратно. Хочется попробовать еще раз.

— Что за противный ребенок, — говорят, наверно, про меня.

— Какой ты упрямый.

— То плакал, боялся машины, а теперь тянет обратно.

— Ну, объясни, наконец, чего ты хочешь?

Я молчу. Молчу и тяну назад. Объяснить нет никакой возможности. Но и драться, орать нет больше сил. Я упираюсь все слабее — меня уводят. Машина уезжает.

Почему именно эта сцена врезалась мне в память так сильно — на всю жизнь? Случайность или есть здесь какой-то особый смысл, первая вспышка сознания?

Все же нет: доктор — было не страшно, потому что он — люди. Плохо, неприятно, но не страшно. Страшно другое — темнота, например. Или светло, но нет людей. Без людей очень страшно. Еще страшно бывает во сне. «Не пойду спать! Я боюсь». — «Да чего ты боишься?» — «Там крокодил». Я вру, но без хитрости, просто, чтобы было понятней. У меня не хватает слов описать то, что снится. Это что-то такое белое, какая-то широ-

кая змеящаяся струя, которая заползает в комнату и вдруг начинает густо чернеть, пятнами, полосами, вот уже сплошь черное и блестящее — я кричу и просыпаюсь. Днем я брожу по всем углам и выискиваю места, откуда оно могло заползти. Я затыкаю все щели и вдруг вижу печку. Я знаю, что через печку можно пройти в трубу и на крышу, а значит, и назад, с крыши сюда. Что же делать? Я запикиваю в печку самую большую подушку с дивана. Меня страшно ругают, наказывают. Я плачу, но не так от горя и обиды, как от отчаяния, — теперь это белое снова заползет.

— Пойми, крокодил не может залезть на крышу, — успокаивают меня.

— А бе-е-е-ельй? — реву я.

— Белых крокодилов не бывает.

— Бывает! бывает! быва-а-е-е-ет!

— Ну, хорошо, бывает — не плачь, — говорит Тетуля (тетя Уля).

Значит, ты не веришь взрослым? — говорит, отесняя ее, Тетирина.

Я — жертва двух воспитательных систем, причем самых противоположных. Конечно, я не помню этого, я лишь изворачиваюсь между ними сколько хватает сил. Но сил не хватает. Единственное спасение — сталкивать их между собой, прятаться от одной за другую.

— Рома, застели кровать.

— Я не умею. Тетуля говорит, что я еще мал кровать стелить.

— Не умеешь — значит, надо научиться.

— Да ему же шести нет! — всплескивает руками Тетуля. — Только изомнет все.

— Опять?! — взрывается Тетирина. — Ты опять за свое? Это же разврат, пойми наконец — самый настоящий разврат. Чтоб в его возрасте, когда Шопен сочинял музыку...

Почти все, что делает со мной Тетуля, — разврат.

— Немедленно стели кровать!

Я с послушным видом иду к кровати и начинаю стелить. Я снимаю одеяло и оттаскиваю его на стул, по дороге наступая на волочащийся край. Потом берусь за простыни, тяну их то туда, то сюда, заходя с разных сторон, пока они не превращаются в безобразный морщинистый ком. В довершение всего я роняю подушку в открытый горшок. Тетуля торжествует:

— Ну, что?

— Да он же нарочно, назло! Ты посмотри на него, посмотри ему в глаза — он же все понимает. И все умеет, отлично умеет, а только из упрямства...

Но Тетуля не смотрит мне в глаза — она прижимает мою голову к своему животу и ждет, когда Тетирина убежит на работу. Та убегает, хлопнув дверью, и наступает Тетулин час. Она сажает меня завтракать.

Может ли быть на свете что-нибудь ужаснее еды? Передо мной тарелка каши, котлета, гренки, какие-то кружочки из творога и сметаны, бутерброды с колбасой и сыром, нарезанные тоже мелко, кубиками, чтобы удобнее было забрасывать мне в рот, когда я зазеваюсь, — съесть всю эту гору нет никакой возможности. Я запикиваю за щеку ложку каши, кусок котлеты и застываю, подперев голову ладонью. Это не упрямство и не капризы — я действительно не могу проглотить ни кусочка, так сухо во рту.

— Жуй, жуй, жуй! Не сиди как истукан — жуй.

Я принимаюсь лениво перекачивать во рту этот ком глины; и понемногу он начинает рассасываться, уменьшается в объеме, я чувствую, что теперь, кажется, можно приоткрыть рот, глотнуть свежего воздуха. Я открываю, и хлоп! — кусок творога влетает мне чуть ли не в самое горло.

Эта пытка тянется час, иногда два.

Может быть, если бы мне было сказано: ты должен съесть то-то и то-то, я бы нашел в себе какие-то силы и съел все, что поставлено. Но так никогда не бывает. Сколько бы я ни съедал, количество еды на столе не уменьшается, она появляется откуда-то из-за Тетулиной спины, и даже если я съем всю кашу и всю котлету, это не будет значить, что я совершил подвиг. Это будет значить, что ребенок хочет есть еще, что он голоден.

— Ты так ничего и не съел! — это будет сказано в любом случае.

После завтрака обычно наступал самый счастливый час.

Тетуля уходила на кухню мыть посуду, и я оставался один. Один! и вся комната, все игрушки и вещи — все мое. Сколько раз я видел потом такое же чудесное превращение в собственном сыне, и всякий раз это изумляло меня. Как?! Из этого скрюченного за столом существа с тупым осоловелым взглядом, с черепашьими движениями, с жвачно-покоряым лицом вдруг вы-

рывается какой-то вихрь энергии, такой клубок волнений, предприимчивости, надежд, с сияющими глазами, с цепкими ловкими пальцами, которые в одно мгновение переворачивают все вверх дном, сооружают посреди комнаты из кресла, стула и скатерти нечто, изображающее то ли поезд, то ли корабль, нахлобучивает на голову каску-абажур и вот уже плывет-едет куда-то, пыхтя, гудя и просто визжа от избытка жизни. При виде этого, сразу за радостным, отеческим изумлением, во мне просыпается какой-то протест и страх перед подобным избытком, завистливый голос взрослой омерзелости требует осадить, одернуть, отнять скатерть и абажур, разрушить чудесный корабль — я с трудом задавливаю в себе этот порыв.

Наша довоенная комната. Длинная, как вагон, и, как вагон, трясущая — посуда в буфете дребезжит на каждый проезжающий по улице грузовик. Квартира большая, но детей, кроме меня, нет. У меня вообще нет знакомых детей, и некому задать мне опасный вопрос про папу и маму — где они? Я, конечно, знаю, что папы и мамы бывают у всех, но мне не с кем сравнить себя, и я не чувствую никакой обездоленности, а потому и не тревожусь, не выпрашиваю. Я живу с тетками, так было всегда, сколько я себя помню, а родители... Где-то в отъезде, что ли? Я не интересуюсь. Слова «чистка», «арест», «лагерь» еще ничего не говорят мне.

Зато про теток я знаю все.

Они обе учительницы, Тетирина по географии, а Тетуля по иностранному языку, но она не работает, потому что ее язык сейчас никому не нужен — итальянский. Итальянцы же, известное дело, фашисты. Какой дурак станет учить их язык? Мне стыдно за Тетулю, и я только мечтаю, чтоб никто не узнал про этот наш позор.

Другое дело Тетирина.

Вот она возвращается с работы, просовывает голову в дверную щель, я вскакиваю, с радостным визгом бегу ей навстречу, повисаю на шее...

— Гулять пойдем? — спрашивает она меня улыбаясь.

— Нет, — говорю я со всей убежденностью.

И тут же кончаются улыбки и радостные визги — она обижается насмерть.

Это повторяется каждый день.

Она обижается горько, как на взрослого, у нее кричатся губы, она стряхивает меня со своей шеи и в сердцах отшвыривает портфель. Я стою ошарашенный, ничего не понимая. Тут же меня подхватывает Тетуля, залепляет уши привычным зудением: «Надо-гулять-свежий-воздух- скажи-спасибо- Тетирина- устала-а-идет-с-тобой — на-улице-хорошо-горки- покатайтесь- санки-будь-умницей-слушайся»,— и вот уже меня, одетого и полузадушенного шарфом, подталкивают к дверям. Мы выходим с Тетириной на улицу, я пытаюсь что-то лопотать, заговариваю с ней — напрасно. Она молчит, она еще долго будет казнить меня молчанием и обидой. Но за что же, за что? Ведь гулянье — это нечто неизбежное, я знаю, что меня все равно потащат гулять, как бы я ни упирался. Так зачем же она каждый раз дразнит меня, зачем *спрашивает*, а не говорит просто — идем. Странно, что я так помню это и что история тянулась так долго, с таким упорством и ожесточением с обеих сторон. Смутная, крохотная надежда, что хотя бы раз это мое «нет» будет принято, что оно сможет что-то изменить, не оставляла меня. Но этого никогда не происходило. Тетирина то ли понять не могла, то ли сама ждала с такой же надеждой, что я пойду наконец на обман и неизбежному, имя которому *гулять*, скажу фальшиво-свободное *да*. Конечно, ей хотелось этого! Будто своим «да» я был в силах превратить для нее гулянье из утомительного и тягостного, но необходимого насилия надо мной в нечто светлое и радостное, в прелестное маленькое путешествие вокруг квартала, путешествие двух друзей, двух любящих. Ведь и для нее была в этом неизбежность долга, которую я мог уничтожить, а я...

И так каждый раз мы бежали друг другу навстречу, полные радостных надежд:

— Пойдем гулять?

— Нет.

И надежды опять разлетались.

2

Автобус, не сбавляя скорости, начинает поворот, меня отжимает сначала на сидящих, потом откидывает назад. Ага, значит прсехали тот двойной виток под мостом. Половина пути.

Я больше не борюсь с собственной памятью, даю ей полную волю, и она переносит меня сквозь толстый пласт времени — война, эвакуация, возвращение, девочки во дворе, девочки в пионерском лагере, девочки на улице, в библиотеке, в музее, девочки на даче, на пляже, в институте и на пароходе — конечно же, на пароходе!

Он ползет вверх по реке, колотясь мелкой дрожью.

Бойкие звуки фокстрота далеко обгоняют его, и сонные лица загорающих на берегу приподнимаются навстречу из-под газетных треуголок, хозяйки распрямляются от пузырящихся на воде простынь, мальчишки скатываются по траве обрыва.

Но проплывающие берега и танцующие на палубе мало занимают меня.

Чуть продвигая руку вдоль спинки скамейки, подсаживаясь все теснее, понижая голос на очередной истории, я заставляю свою голорукую соседку склоняться ко мне все ниже, а сам подкладываю ладонь туда, куда ее сейчас (так я надеюсь) отбросит взрыв смеха. Мы еще сидим, не касаясь друг друга, мы знакомы едва ли полчаса, но анекдоты мои, эти пробные шары, становятся раз от разу все солонее, картонные стены условностей трещат, и ее веселая понятливость дает мне полное право забегать мыслями вперед — где? когда? каюты, кажется, все общие? может быть, на острове? вечером, когда причалим? может, заpastись одеялом?

Она не хочет отставать от меня, рассказывает что-то свое, из серии «муж пришел домой», и я в преувеличенном восторге, хохоча, приобнимаю ее на мгновение за плечи, и тут-то, случайно оглянувшись, вижу два глаза, уставленных на меня из танцевальной давки. Изумление, тоска, ужас — все, что может выражать взгляд, каким смотрят на грабителя, уносящего из дома самое дорогое, — настолько не могут относиться ко мне, что я поневоле начинаю озираться. Однако нет — ни на берегу, ни поблизости не происходит ничего необычайного. Взгляд явно устремлен на меня. Он выныривает из-за спин танцующих, отыскивает меня с некоторым подбием надежды, но тут же, словно убедившись, что грабеж продолжается, вспыхивает новым отчаянием.

Я пытаюсь вспомнить это лицо.

Да, похоже, что вчера вечером, сразу после отплытия, мы не то чтобы познакомились, но перебросились

парой тех фраз, которые независимо от слов всегда значат одно и то же: я — «да?», она — «да» или «нет, вот еще!» Здесь, кажется было «да», но такое туманно-неясное, «да» вообще, «да» далекого будущего, несоместимое с коротким студенческим уик-эндом, что я немедленно забываю о ней, вычеркиваю из памяти и ввинчиваюсь дальше в толпу юных медичек, зафрахтовавших с нами этот пароходик, жадно рыщу взглядом по лицам, по фигуркам в брючках и свитерах, отбираю, ловлю неуловимые приметы покладистости, делаю зарубки — эта... и эта тоже... ага, и еще вон та... Та, которая сидит теперь рядом со мной, нравится мне не больше других, но зато — как она все понимает! (О, это пресловутое «все».) И я мысленно с гаденьким злорадством отвечаю сверлящему меня взгляду той, другой: «А нечего было ломаться. Надо было раньше думать. Впредь наука».

Пароходик причаливает, мы сходим на берег. Что-то вроде похода, чей-то домик-музей.. В конце пути я уже открыто держу свою избранницу за голые локти, шепчу любые дерзости, а ей хоть бы что — знай заливается. Я почти увлечен ею, я в своей стихии, но какое-то неудобство нет-нет да и мелькнет в душе, какой-то жесткий беспокоящий след, заставляющий меня украдкой озираться — а где же та? Смотрит? Нет?

Нет, она больше не смотрит.

У нее, кажется, своя компания, и там, я вижу, мелькают мои приятели, некоторые из них — хваты почище меня. Немедленно губы мои сами собой складываются в горько-презрительную усмешку, означающую на языке извечной мужской последовательности — «все они таковы». Пышные не по моде, лежащие на плечах волосы делают ее сзади похожей на мальчика, нахлобучившего отцовскую шапку, поэтому всякий раз, когда она поворачивается в профиль, поражает, насколько она — женщина. Она красива той холодновато-надменной красотой, которая напоминала бы то ли героинь немого кино, то ли рекламу парикмахерской, если бы не спасительная неправильность чуть выставленного вперед подбородка — неправильность, тут же занесенная мною в арсенал возможного злословия. Непроизвольно я стараюсь держаться поближе к ним, вслушиваюсь в обрывки их болтовни, уже обкатываю на языке какую-то колкость из тех, какие лучше всего бросать походя, не давая возможности опомниться и ответить, и тут

снова напарываюсь на ее взгляд — только очень близко, лицом к лицу.

«Не надо. Пожалуйста», — говорит этот взгляд.

Но я уже не могу сдержаться. Уже жалея о слетающих с губ словах, успевая заметить ее страдальческую гримаску, слыша сдавленные смешки за спиной, я говорю их, прохожу мимо и в этот момент почти физически ощущаю тоненькую ниточную боль, возникающую у меня в затылке и будто протянутую туда, где осталась стоять она.

Весь остаток дня я хожу с ощущением этой бесконечно тянущейся, но не рвущейся нити. Пикник идет своим чередом, по отработанной невесть когда программе — волейбол, купание, костер, печеная картошка, снова купание, песни хором и соло.. Я во всем принимаю участие, даже подпеваю, даже самую ненавистную — «жаль нам тех, кого пугает веселый смех...», но мысленно все время скашиваю глаза назад — неужели еще не порвалось?

Потом я сижу в густой темноте, окружающей костер, колени мои немеют от волшебной раздвоенной тяжести, пристроившейся на них, пальцы скользят все выше по голым рукам и дальше на спину, под блузку, где их продвижение почти невозможно сдержать, но где, по чести говоря, нет ничего интересного; когда же они возвращаются назад, их встречают, как и положено, уже на подступах, и начинается столь знакомая и привычная мне борьба, я отвлекаю внимание длиннейшим поцелуем, прорываю первый заслон (который для того и предназначался), ладонь моя наполняется, теплеет, и тут я с тревогой замечаю, что мне скучно этим заниматься. Обеспокоенный, я пытаюсь взвинтить себя, изображаю страсть и желание — тщетно. Колени совсем затекли, куртка, пропитавшаяся сыростью, больше не отделяет меня от холодной земли, спина держится на одном самолюбии, но не эти мелкие неудобства сковывают меня. Невидимая тягучая нить — вот в чем все дело. Тогда, еще немного поборовшись для виду, я подло пользуюсь вдруг очередным, довольно пустячным сопротивлением, чтобы обидеться, встать и уйти.

И вот снова трясется пароходик. Ночь — часа, наверно, два, но спать неохота. Я осторожно прыгиваю со своей верхней койки, перешагиваю откинувшуюся во сне руку приятеля, выхожу из каюты. Поднимаюсь по внутренней лесенке на палубу. Пустые скамейки плывут

во мраке, освещенные слабым светом из рубки. Мне даже нет нужды вглядываться в закутанную в пальто фигурку на одной из них, настолько я уверен, что это та — другая. Она поднимает лицо на звук моих шагов и смотрит с какой-то беспомощно-вопросительной улыбкой, отдающейся во мне жалостью, нежностью, состраданием, но тут же и торжеством, и тщеславным удивлением — «надо же, как ее скрутило».

Я медленно подхожу к ней, исполненный сознания своего величия (хочу — казнь, хочу — помилую), я таю от собственной доброты и великодушия и, опускаясь рядом, говорю что-то масляным и снисходительным голосом, должно быть: «девушка-не-скучно-одной», или «девушка-не-холодно-одной», или «где-мы-с-вами-встречались», или еще что-нибудь почище. Я даю ей время прийти в себя, справиться со слезами счастья и благодарности, набраться духу и только после этого взглядываю на нее, да так и застываю со своей величественной ухмылкой.

Лицо ее не выражает теперь ничего, кроме брезгливого и холодного презрения.

Так смотрят на птичью гадость, капнувшую сверху на новое платье.

Так смотрел на меня экзаменатор, когда я ползал под столом, собирая рассыпавшиеся шпаргалки.

Так морщатся, разжевав вместе с земляникой лесного клопа и зная наперед, что мерзкий вкус и запах останутся во рту надолго.

Потом она поднялась и, ни слова не сказав, пошла прочь. Она шла, покачивая головой, ежась то ли от холода, то ли от омерзения, и, глядя ей вслед, чувствуя, как жар стыда проникает до кончиков пальцев, выдавливает слезы из глаз, как разбухает в горле обида, я все еще пытался удержать на лице нечто вроде насмешливого удивления: так-так, теперь, значит, истерики... ишь, какие мы тонкие... видали мы таких, обойдемся...»

Через месяц любой день, когда приходится и впрямь «обходиться», кажется мне пустым и пропащим.

Звонить ей можно только вечером, и это всегда мучение, потому что у телефона всегда торчит ее мамаша, а мне запрещено называть себя. И начинается.

— Лиду можно?

- А кто говорит?
- Знакомый.
- Кто-кто?
- Один знакомый.
- Александр?
- Нет, не Александр.
- А кто же?

Я мычу.

— Слушайте, это невежливо. Я Лидина мать и хочу знать, кто ей звонит.

— Так спросите у нее.

— Но она не говорит мне. (Тонем — «вы что, не знаете?»)

— Ну и я не скажу.

— Очень глупо.

— Пусть глупо.

Я вешаю трубку и через пятнадцать минут звоню снова.

— Алло.— (Слава Богу, это — она.)

— Слушай, это невозможно. У тебя не мамаша, а клещ какой-то.

Довольный смешок.

— В следующий раз я не выдержу — назовусь.

— Не смей.

— Ты что, стыдишься меня?

— Нет.

— Так в чем же дело?

— После объясню.— (Как же, объяснит она!)

— Ты свободна сейчас?

— Угу.

— Выйдешь? Я здесь на углу.

— Ни. За. Что.

— Так.— (Я весь терпение.) — Что-нибудь случилось? Я что-нибудь ляпнул опять обидное? Вчера в кино?

— Ох, перестань. Кстати, знаешь, Татьяну — (подругу) — сегодня опять вызвали в деканат и сказали...

Дальше вздох идет какая-то история с Татьяной, латинистом, взглядами, отношениями, другой женщиной, другим мужчиной, о которых я уже понятия не имею, да еще с намеками, с умалчиваниями из-за мамаша, типа «ну, ты понимаешь», пока я не взрываюсь и не ору:

— Может, хватит про Татьяну?

— Что ты кричишь?

— Я хочу тебя видеть — понимаешь! Хочу. Видеть тебя хочу.

— Я тоже. Вот то, что ты сейчас сказал,— я очень тоже. Но не могу.

— Почему?

— (Жалобно.) У меня ячмень.

— Что-что?

— Жуткий ячмень. Во весь глаз.

— И это все?

— Угу.

— Слушай — не сходи с ума.

— Нет-нет, такой ты меня не увидишь.

— Да по мне, ты хоть окривей вовсе, хоть охромей, хоть...

— «Хоть» что, типун тебе на язык? Ага, запнулся, испугался. Эх ты...

— Да я...

— Нет, пока. Позвони послезавтра — может, пройдет.

Если вопреки всем подругам, делам, ячменям, занятиям и тысяче других помех мне все же удастся вытащить ее на улицу, мы пускаемся в бесконечные блуждания по городу, которые обычно заканчиваются в зале какой-нибудь киношки. Она уже и тогда была жадна до зрелищ патологически — до зрелищ и до новых людей. При этом она так привередлива, что и того, и другого ей хватает лишь на зубок. Вернее, ей, чтобы утолить душевный голод, надо, как киту, пропустить сквозь себя тонны словесно-зрелищной воды.

Никогда нельзя знать заранее, что может вызвать столь знакомое мне, отбрасывающее выражение на ее лице, выражение, имя которому — «эх ты». «Эх ты» может относиться не только к окружающим, но довольно часто и к себе самой. Это такое особенное «эх ты», усиленное хныканьем и покусыванием губ, наполняющее меня всегда злорадным торжеством: «Ага, ага — видишь! И сама *такая*». Какая? Такая же, как мы все, как я, как мамаша, как все люди, которых ты за пустяк можешь зачеркнуть в душе и отбросить, окатить презрением и уйти со скамейки. Она смотрит на меня с жалобным недоумением, и я вижу, что она искренне не понимает того, что кажется мне столь естественным: прощать другим те слабости, каких не можешь победить в себе. Как же ты смеешь судить других, когда сама... И я с жарким красноречием кидаюсь разбирать

ее по косточкам, все слова и поступки, в которых можно (а можно всегда) отыскать мелкость, самодовольство, корысть, ограниченность, жестокость, претенциозность — что угодно.

Она смотрит на меня с мольбой, глаза полны слез, ей по-настоящему больно слышать такое от меня, и я, сжалившись, умолкаю — довольно с нее, теперь-то будет знать, запомнит. Запомнит? Как бы не так. Я на минуту расслабляюсь, упоенный своей победой, начинаю что-нибудь вещать в успокоительно-назидательном тоне и вдруг, скосившись, вижу гримасу такой откровенной, с закаченными глазами, скуки — «ну, завел свою волынку».

Проклятье!

Будто она не знает и знать не желает о всеобщем сговоре покладистости, на которой держится совместная жизнь людей.

Я умолкаю, вырываю у нее руку, ухожу на другую сторону улицы или даже совсем ухожу — куда придется. Но прежде чем свернуть за угол, я незаметно оглядываюсь. Мне хочется, чтобы она крикнула мне вслед что-нибудь из арсенала банальной «девичьей гордости», какое-нибудь «подумаешь», «больно надо!» — с каким облегчением я уверился бы тогда, что все это лишь приемы, кокетство, и ушел бы от нее навсегда. Она ничего не кричит, только смотрит мне вслед тем же взглядом сию минуту ограбляемого. Всегда, когда я ухожу от нее, даже если мы мирно расстаемся у дверей ее дома, она некоторое время смотрит мне вслед таким взглядом, мгновенно переполняющим мне сердце щемящей тоской, которая на следующий день с неодолимой силой гонит меня к телефону — к ней, к ней.

Невидимая нить, связывающая нас, день ото дня становится все больше похожей на живой, чувствительный нерв, и плохо лишь то, что она не боится больно натягивать его, а я боюсь. Я могу делать это только в отместку, с отчаяния, я знаю, что могу жестоко наказать ее словами, или молчанием, или просто своим уходом, но страх наказания так же мало может удержать ее, как и мои проповеди-уговоры — не судите, да не судимы будете».

3

Автобус делает большую дугу по площади, останавливается. Шипение дверей, машинально прикидываешь,

к какой ближе — к передней? к задней? — но прикидывать нет смысла, волна чужих плеч и спин сама вынесет тебя куда надо, на улице ненадолго отпустит и около эскалатора метро снова сомкнется вокруг.

Народу всюду еще очень много.

Толпа плавно вливается в наклонный туннель, мне нравится эта вечерняя толпа, в ней есть какая-то особая городская сноровка, умение разминуться друг с другом, чуть заметным движением освободить место на ползущей ступеньке, поделиться свободным пространством. За последние годы куда-то канули дядьки со страшными остроугольными чемоданами на плечах, оголтело несущиеся по переходу юнцы, коренастые старухи, ослепшие от собственной паники, остервенело работающие локтями и котомками. Ровный приветливо-равнодушный поток, ровное море движущихся голов, только изредка заметны среди них неравномерности, просветы, и понимаешь — там кто-то ведет детей, за руку ведет, не боясь, что затолкают.

— Не держите двери! Не держите двери! — проносится по всем вагонам автоматический голос.

Мне вдруг приходит в голову, что во всех этих картинах, застрявших в моей памяти, все же есть что-то похожее, одна общая черта. Невыразимость. В центре каждой картинки обязательно я сам, и обязательно в момент растерянности, полной невозможности высказать окружающим, что со мной происходит, чего я хочу, почему мне плохо. Будто тоже готов, как Лида, положить руку на горло и немо качать головой — «не могу, не спрашивайте, после».

Впрочем, нашел что сравнивать — ребенка, которому ни на что не хватает слов, и взрослую женщину, умеющую при желании переговорить кого угодно. Особенно если речь идет о чем-то дальнем, о чувствах чужих или книжно-экранных. Про себя же, про нас с нею она может нести совершенную околесицу, иногда туманную, иногда несправедливую, иногда обидную до слез. И все же это всегда лучше, чем молчание. Мы оба очень верим в произнесенные и написанные слова, в их соединяющую силу; и оставить их без ответа — что может быть хуже?

Наверно, и Тетирину в детстве я любил сильнее, чем Тетулю, именно за то, что она так верила словам, что и мги, ничтожные для других, слова для нее что-то значили. Пусть она возмущалась, пусть обижалась, пусть

ругала и отказывалась выполнять мои просьбы — я говорил, и это действовало на нее.

Для Тетули, например, всякое слово, произнесенное меньше чем десять раз подряд, было пустым сотрясением воздуха. Тетирина же, казалось, была уверена, что слово — единственная реальность в мире. Малейшая ложь приводила ее в такое искреннее изумление, такой гадливостью перекашивалось ее лицо, что соврать ей у меня никогда не хватало духу. Она не помнила, где у нее лежат очки, куда истратила деньги, когда открываются и закрываются магазины, но помнила, что я или кто-нибудь другой говорил месяц, два, год назад, и предьявляла эти давно отзвучавшие слова, как неоплаченные счета.

— Ты же говорил, что не любишь кошек.

— Купи! Купи котенка. Купи!

— Но ты же говорил, что не любишь.

— Купи, все равно купи!..

Не могу же я ей ответить: да, месяц назад я сказал, будто не люблю кошек, потому что мне нечем было оправдаться за ту белую, в которую я запустил гайкой. И я только ною, клянчу, бормочу какой-то вздор:

— Я белых не люблю... а этот полосатый... Белые заразные... купи... Я больше не буду — ну, пожалуйста...

Время от времени Тетирина берет меня с собой на соревнования.

Она — заядлая спортсменка, у нее даже есть спортивные значки, награды, на которых во всех видах изображена длинная лодка со щеточкой весел по бокам. Академическая гребля! Да, она ходит на работу, но это лишь для того, чтобы зарабатывать деньги на ненавистный мне творог (так объясняет Тетуля); да, она прочла массу книг, но опять же, чтоб научить кое-чему меня; да, она поднимает тяжелые чемоданы, но лишь для того, чтобы отвезти меня на дачу. Всюду я, для меня, всюду эта ничтожность конечной цели. И лишь гребет она не для меня. Гребут вообще ни для чего, без цели, упоенно, по кругу — и это прекрасно.

Мы долго едем на трамвае, потом идем через парк, и я уже знаю тот поворот, после которого открывается река и зеленый, похожий на маленький вокзал, павильон гребного клуба на берегу. Меня оставляют с кем-нибудь из знакомых, у всех этих знакомых руки и плечи такой твердости, что я легко взлетаю над толпой и вижу поверх голов под солнцем реку, проплывающие

крупные цифры на парусах яхт, спасательный катер, красные с белым круги, лодочную пристань и черную щель, отделяющую ее от берега. Вода в щели тяжело поднимается и опускается, натягивая канаты.

Потом выходят гребцы.

Каждая восьмерка несет свою лодку над головами, и я легко нахожу Тетирину по очкам и какому-то неповторимому гусиному профилю — фамильной черте всех Гурбенко. Этот профиль и маленькая головка ужасно не вяжутся с широкой, массивной спиной, с мощными ногами, но сейчас я прощаю ей и очки, и некрасивость, и «пойдем гулять», и обиды. Сердце мое заранее переполняется сладкой гордостью и волнением, я замираю в ожидании, солнце слепит глаза, я уже не вижу, где кто, и, когда лодки срываются с места, начинаю оглушительно, надсадно визжать. Я рвусь из рук того, кто меня держит, мне нужно истратить на что-то энергию, бушующую во мне, и я трачу ее, вырываясь, а держащий, удерживая меня, должно быть, тратит свою, но ему мало, и он еще припрыгивает со мною на плечах, бежит вдоль берега и, сунув в рот свободные пальцы, перекрывает мой визг режущим уши свистом. И радость этого беснования, сливаясь с беснованием толпы, разгорается еще пуще, весла взлетают все чаще и резче, я уже с трудом различаю вдали оранжевую восьмерку, и мне кажется, что она безнадежно отстает, и надо визжать и визжать, чтобы заставить ее двигаться быстрее.

Где-то там, вдали, лодки исчезают за поворотом и потом, вернувшись с другой стороны, достигают финиша, рев толпы постепенно стихает, но я еще повизгиваю и слабо вырываюсь, я совершенно опустошен и обессилен, но и горд собой — я сделал все, что мог. Откуда-то появляется Тетирина, потная, взбудораженная, мокрые волосы залепили лоб и очки, она подхватывает меня на руки, подбрасывает в воздух...

— Первые? — кричу я сверху. — Вы первые? Или какие?

Она пытается мне объяснить, что они третьи, но это очень хорошо, потому что они обогнали «Буревестника» и куда-то там вышли, в какую-то подгруппу, но я не могу ничего понять. Не первые? Такой позор! И она еще радуется?

Она смеется и убегает в раздевалку.

В трамвае на обратном пути я приваливаюсь к ней,

збнимаю ее и незаметно обнюхиваю — мне очень нравится этот горячий и острый запах, который идет от нее всегда после гонок. Я уже забыл, что они не первые, я помню только гордость за нее и сладкое волнение и люблю ее за это, я просто ввинчиваюсь головой и нюхаю откровенно, по-щенячьи, захлеб, но она! — она отталкивает меня. Рука ее жестко прижимает меня к спинке сиденья, какие-то злые, процеженные сквозь зубы слова доходят до меня — «сядь прямо, люди смотрят, ты опять так орал, что сорвал связки, сколько раз я тебя просила не визжать, больше ни за что не возьму...» Я еще тянусь к ней, но это уже не тот порыв, а скорее упрямство, я борюсь с отталкивающей меня рукой, точно это что-то чуждое, не относящееся к тому, что я люблю, и, не в силах победить, я вскакиваю и ухожу в другой конец вагона — стою там, закусив губу, отвернувшись.

Мне кажется сейчас — нет, я даже уверен, — что и тогда, семилетним, я все понимал, что с ней происходит. У меня бы, наверное, не хватило слов объяснить, но в глубине души я сознавал, что она относится к своей гребле, как к некой постыдной слабости, как к пороку, с которым она не в силах совладать, и каждый раз зарекается, обещает себе бросить, потому что вот опять время потеряно зря, и ребенок сорвал голос и, наверно, простужен, и сестра обрушит на нее ворох попреков, и она впервые (вот ужас!) не сможет усмехнуться на ее слова, это будут настоящие правильные слова, которые изъязвят ее справедливым укором, и она будет терзаться еще несколько дней, а потом порочная слабость снова возьмет свое.

И в таком состоянии раскаяния и презрения к себе вдруг увидеть, что я ее люблю — как? за что? за это? Она столько делает для меня, в ней столько хорошего, за что бы я мог и должен был любить ее, вместо того чтобы быть таким черствым, холодным и неблагодарным, каков я есть. Она не может добиться от меня теплого слова месяцами, а тут ни с того ни с сего такой взрыв, такие телячьи нежности?! Это должно было казаться ей оскорбительным, чуть ли ненарочно придуманным унижением.

При ее безраздельной вере в слова, казалось бы, не было для меня ничего проще, чем сказать ей с утра: «миленькая, любименькая, дорогая Тетириночка» или что-нибудь в этом роде, сказать — и отвязаться на весь

день. Уверен, что только это и было ей нужно. Так почему же это так мучительно шло у меня с языка, почему я никогда не говорил ей такого, даже если чувствовал? Не знаю. Скверный характер, упрямый, капризный — это ничего не объяснит. Ведь делал же я тысячу вещей, которые от меня требовали, гораздо более противных и тяжелых: умывался, готовил уроки, носил белый воротничок, открывал рот зубному врачу, терпел машинку парикмахера, ел гречневую кашу и прочее, и прочее, но это — ни за что. Здесь от меня требовали только слов — а я не мог сказать их. Правда, их не требовали впрямую, всегда лишь по поводу, когда проявлялось в очередной раз мое бессердечие, но я-то — я-то понимал, чего от меня хотят.

— Сегодня обязательно зайти к Андрей Илларионовичу. — (Это сосед.)

— Зачем?

— Он заболел.

— Ну и что?

— Как «ну и что»? Заболел Андрей Илларионович — ты разве не понял?

Я молчу.

— Так ты зайдешь?

— Зачем?

— Ты что, издеваешься?

— Нет.

— Когда заболел дорогой тебе человек, надо пойти к нему и спросить хотя бы, как он себя чувствует и не надо ли ему чего.

— Он мне не дорогой.

— Что?! — глаза расширяются как бы от ужаса, очки сползают на кончик носа. — Андрей Илларионович? Который так тебя любит? Когда ты болел, он так беспокоился, переживал, бегал для тебя в аптеку. А ты!.. Ты бессердечный, холодный, черствый эгоист — вот ты кто. Ты... Да есть ли вообще на свете кто-нибудь, кто тебе дорог?

Я молчу.

Я понимаю, что сейчас мне дается последний шанс, что стоит мне сказать одно короткое «ты», и все будет прощено, и меня засыпят ласками, поцелуями, конфетами — но я молчу. И дело кончается тем, что меня чуть ли не за шиворот тащат к дверям Андрея Илларионовича, вталкивают в комнату и я, потупясь и не глядя на изможденное и доброе личико старика, утопленное в

подушке, как сморщенная изюмина в тесте, бормочу это обязательное «как вы себя чувствуете?.. Тетуля сварила вам компот... выздоравливайте скорей» и сразу же пулей вылетаю назад в коридор. Мне мучительно стыдно чего-то, тоскливо. Тетирина же растрогана и довольна — у ребенка есть сердце.

Другая и гораздо более легкая для меня возможность доказывать наличие сердца — подарки. Весь ритуал поздравлений, проводов и встреч и, главное, праздничных подарков соблюдается в нашей семье свято и до сих пор. (Этот ритуал — единственное, к чему Лида так и не смогла притерпеться.) Даже Тетуля в праздничные дни получает неограниченную свободу говорить, ее терпеливо и снисходительно выслушивают, что бы она ни плела и сколько бы ни повторяла одно и то же.

Подарки готовятся заранее, держатся в секрете, заворачиваются в тысячу оберток, которые потом будут долго сниматься с радостными и изумленными взглядами, пока наконец не слетит последняя и одариваемый, сжимая в руках новенький кошелек, или шарф, или фарфоровую кошку и как бы изнемогая и не находя слов для выражения своего счастья, пойдет обнимать и целовать дарящих. Я тоже принимаю горячее участие в подготовке, что-то клею, рисую, вырезаю, мне нравится эта игра и нравится весь процесс дарения, и лишь в последний момент, то есть когда меня начинают тискать, поднимать на руки и целовать, я против воли сжимаюсь, упираюсь руками, отворачиваю лицо.

— Что с тобой? — говорят мне, все еще улыбаясь. — Какой ты все же неласковый.

Но я поскорее выскальзываю на пол, начинаю прыгать и скакать для отвода глаз, чтоб никто не заметил того вздоха облегчения, который вырывается у меня. Я действительно веселюсь, мне кажется, что я счастливо избежал какой-то опасности. Какой? О, я отлично знаю, какой. Сколько раз так бывало — я кидаюсь ей на шею в порыве той самой ласковости, которой она так ждет, а вернее, требует от меня, и в разгаре этих ласк и объятий слышу над ухом коварное: «Значит, любишь свою тетку? Скажи — любишь?» И, чувствуя, что я пойман, что сказать «нет» или даже промолчать сейчас невозможно, что меня отбросят на пол, закидают злыми словами, задушат молчанием, я цежу сквозь зубы

это вымученное, вырванное у меня «да», но тут же мой порыв умирает, мне стыдно, тяжело и тоскливо, я начинаю извиваться, сползать на пол — она вздыхает и выпускает меня.

— Какой ты неласковый.

Может, я и не помню всего этого так точно, но ведь у меня на глазах все это происходит еще раз, я вижу полное повторение тех отношений — с моим сыном. Когда я прихожу к моим милым, дорогим и искренне любимым теперь теткам, у которых он живет всякий раз, когда Лида уезжает (а иногда — и без того); когда сажусь в сторонке и, не вмешиваясь, наблюдаю: «ешь, прожевывай, питательно» — «не могу, тошнит», и «пойдем гулять?» — «нет», и «любишь?» — «да», но с тем же извиванием и выползанием из рук, я не просто вспоминаю себя тогдашнего — нет! Это во мне, во взрослом выдержанном человеке, вздрагивает что-то внутри, требует крикнуть все те «нет! отстань! замолчи!», которое я уже ни за что себе не позволю прокричать, а он — он кричит. Кричит так же упоенно, безнадежно, уверенный в какой-то необъяснимой своей правоте, не страшась ни наказаний, ни мучительного казнящего молчания взрослых, как кричал когда-то я.

— Толя, как тебе не стыдно! Вот папа тебе сейчас задаст.

Но что я могу сказать ему, что «задать»?

— Не скандаль, не базарь, — мямлю я для отвода глаз.

Но он даже не взглядывает в мою сторону, он уже чувствует, что в *этом* никто не станет на его сторону, никто не поможет. И может быть (разве это заметишь), он так же, как и я в его годы, знает уже, что такое — любить, «я тебя люблю», почему это так важно, почему нельзя говорить этого по пустякам, по неправде, по принуждению.

Ах, я-то знал всем сердцем, всем нутром своим.

Помню как сейчас: солнечные пятна на стене, я лежу в кровати, почему-то не в своей, а Тетулиной — высоко и мягко. День тянется бесконечно, полусонно, мне лень повернуться, лень открыть глаза, лень протянуть руку за печеньем, которое лежит рядом на стуле среди лекарств и ваты. Но вот откуда-то из глубины квартиры доносится дребезжание звонка, и вся сонливость слетает с меня разом. Я напрягаюсь, сердце начинает сту-

чать крепко и больно, жар заливает лицо, я сажусь в кровати и смотрю на дверь.

Там шаги, идут открывать.

Потом невнятный шум, голоса, все ближе, ближе, кто-то топчется у вешалки, да, у нашей, — и вот Она входит. С нею Тетуля, что-то лопочущая по своему обыкновению, что-то примиряюще-успокоительное, чего я не могу, не хочу слышать. Я не хочу, чтобы она вообще была здесь, в этой комнате, вместе с *нами*, и только она приближается ко мне, начинаю орать, отбиваться — «не хочу, не буду, уходи, с тобой не хочу, без тебя!»

— Что ты? Что ты? — Она круглит глаза, вытягивает губы, но все же послушно выходит, и я мгновенно успокаиваюсь.

Мы остаемся вдвоем.

Она подходит к кровати, садится на край. Я смотрю на нее, и белизна ее халата и шапочки режет мне глаза, остается только лицо, прекрасное улыбающееся лицо, которое склоняется надо мной, что-то говорит яркими красными губами, наверно — «ну-ну, разве можно так кричать, нехорошо», но я знаю, что слова ничего не значат, а главное — лицо, и то, что я смотрю на нее, и мы смотрим друг на друга, и что-то очень важное знаем про себя, невыразимое, несловесное.

У меня кружится голова от этого лица и от какого-то неповторимого лекарственно-цветочного запаха, который она приносит с собой. Руки ее привычно открывают чемоданчик, достают оттуда все, что нужно, расставляют на стуле, но я не слежу за этими приготовлениями, я боюсь пропустить хоть минуту блаженного глядения. Потом она оборачивается ко мне, стягивает с меня рубашку, укладывает на спину. Мне страшно немного, но нет ничего на свете, на что бы я согласился променять этот страх.

И вот желтое пламя вспыхивает у меня под носом, заслоняет на секунду ее лицо — раз! — и первая банка тяжело и плотно присасывается к моей груди. Она работает быстро, пламя то и дело мелькает передо мной, обдавая теплой волной, и с каждой новой банкой чувство сладкого и стыдного счастья все острее подкатывается к горлу, мне уже трудно дышать, я знаю, что эта тяжесть, которая сжимает мне грудь, и это счастье — все Она, ее лицо, я не могу больше сдержаться — слезы брызгают у меня из глаз и текут по вискам, в уши, на подушку.

— Ну, что ты? Разве больно? Потерпи,— успокаивает она меня и гладит по волосам, отирает слезы, а я незаметно прижимаюсь к ее руке, трусь об нее и трясу головой — нет! вовсе нет! Я хочу, чтоб она раздела меня совсем и с ног до головы залепила своими банками, чтоб я задохнулся до смерти, я уже ничего не соображаю и вдруг ловлю ее руку, мокрую и соленую от моих слез, и прижимаю к губам.

И после этого, после такого разве я могу кому-то по-другому сказать «я люблю тебя»?! Нет, ни за что, никогда!

Пусть они требуют от меня, пусть вымогают — все равно. А когда они понижают голос, когда начинают шептаться про что-то свое, взрослое, где можно разобрать только «а он», «а она», «и тут входят», «и представляете», — смешные, неужели они думают, что я не понимаю, о чем речь. Что я не знаю, что такое любовь, зачем двое остаются одни в комнате? Чтоб ставить банки — вот зачем. И когда три месяца спустя я снова заболеваю, заболеваю, нарочно вымокнув где-то и замерзнув, и по вызову вдруг приходит другая медсестра, старая и толстая, — неужели им не понять, почему я так отчаянно кричу и отбиваюсь руками и ногами, не даюсь ни за что и даже впиваюсь зубами в чьи-то пальцы, пытающиеся удержать меня?

Нет, не понимают.

Не понимают настолько, что я впервые в жизни получаю две крепкие оплеухи, но и они бессильны усмирить меня.

— Не дамся! Не дамся! — кричу я, мечась из одного угла кровати в другой, кидаясь на пол, визжа и брыкаясь с таким отчаянием, что они вынуждены наконец уступить. И потом, наказанный и обессиленный, с горящими от слез и оплеух щеками, я прячусь с головой под одеяло и долго беззвучно всхлипываю там от ужасного разочарования, от того, что Она не пришла, и лишь надежда, что это не насовсем, что, раз я не дался, еще не все потеряно, Она придет, — лишь это утешает меня и наполняет грустной и мечтательной гордостью — я засыпаю.

4

Поезд тормозит на очередной станции, мелькают знакомые мозаичные картинки на потолке. При виде их я невольно по старой привычке дергаюсь к дверям,

но тут же останавливаю себя — зачем? Да, здесь живут мои самые старинные друзья, муж и жена, да, было время, когда стоило мне не появиться у них неделю, как раздавался звонок — «куда пропал? что случилось?» Но за последние пять лет мы виделись раза четыре, не больше, и всегда где-нибудь на стороне, у общих знакомых.

В первые годы после своей женитьбы я упрямо водил Лиду к ним, стараясь не замечать их скованности, и как они переглядываются за ее спиной, и как все чаще забывают при прощании обронить обычное — «звоните, заходите». Так было не только с ними, и мне не в чем обвинить моих прежних друзей. Выносить незапные смены ее настроения, незаслуженные колкости, все эти «эх, ты», вылетающие по самому неожиданно поводу, — у кого хватит терпения на такое? Да и ради чего терпеть? Ради меня? Но мне они по-прежнему рады: «Рома, Ромочка, почему не заходишь?» Потому и не захожу, что не могу уже пропускать мимо ушей это назойливо повторяющееся единственное число — «не заходишь».

Мне приходит мысль, что сейчас-то я один, можно было бы воспользоваться случаем, выйти на следующей, вернуться, зайти и... И что? О чем бы мы ни заговорили, я за каждым словом буду слышать участливую, соболезнующую ноту, может, даже прямой вопрос — не прошло ли? не влюбился ли в кого-нибудь еще? не намечаются ли перемены в семейной жизни?

С друзьями у нее и тогда было не густо, зато вдруг обнаружилось, что есть жених. Несколько раз я видел их вместе, один раз даже прокрался через общих знакомых на ту вечеринку, где должны были быть они. Она снимала сапожки в передней, когда я выглянул из комнаты, да так и застыла, поджав ногу в чулке, сверля меня испуганно-негодующим взглядом. Жених оказался довольно крепким на вид и добродушно очкастым парнем (врачом-эндокринологом, как выяснилось впоследствии, старше ее лет на восемь), имевшим привычку большинство чувств выражать через нос — хмеканьем, угуканьем, удивленным мычаньем, а рот открывавшим только в крайнем случае.

На первый взгляд он показался мне таким скучным, что я лишь усмехнулся в душе, но к концу вечера мое пренебрежение почти испарилось. Во всем, что он делал, в манере держаться и говорить сквозил тот осо-

бый, неброский талант людей, которым природой отпущено всего понемногу, но которые зато из отпущенного умеют выжать все до предела, этакие бегуны на длинные дистанции, сильно отстающие на первых кругах от самых прытких и самоуверенных и вдруг, к всеобщему удивлению, перебирающиеся к финишу в ведущую группу, а там, глядишь, и... Но нет, в первые — никогда.

Он, например, не лез с остроумием, но, когда вставлял что-то негромко в застольный гвалт, сидевшие рядом закатывались так искренне, что остальные невольно начинали приставать к ним — «что? что он сказал?» Два умника в углу, какие всегда найдутся на любой вечеринке, с непонятным ожесточением решали шахматную задачу, и он, почтительно стоя над доской, глядел в рот то одному, то другому до тех пор, пока они не махнули рукой и не собрались уходить, — тогда он ткнул пальцем в одну из фигур и издал носом некий вопрошающий звук, на который они, подумав, вынуждены были ответить кислыми поздравлениями и похлопываниями по плечу.

Потом я узнал, что он и в работе был такой же — потихоньку практиковал, корпел себе в поликлинике, пока блестящие друзья выходили в люди, и накопел таки не очень большое, но безусловное и самостоятельное открытие из жизни щитовидной железы. К концу вечеринки по рукам поплыла гитара и, к моему удивлению, направилась опять же к нему. Голос у него был едва-едва, но он так знал его границы и возможности и так уверенно в этих границах владел им, что снова все выходило как-то очень ладно и хорошо.

И все же я не принимал его всерьез. Какими бы достоинствами он ни обладал, что бы там ни происходило между ними раньше и ни произойдет впредь, — той связующей нити, отзывающейся мгновенной болью в обоих, между ними не было, это я видел ясно. Не ревность, а скорее снисходительную жалость испытывал я к нему, опережающую события жалость любовника к мужу. Странно, что и она, Лида, подсознательно относилась к нему так же, то есть как уже к мужу, от которого ждать чего-нибудь нового и волнующего не приходится, но обманывать которого было бы подло и низко. Этот ее вечный страх, что он узнает, увидит, услышит про нас, эти прыжки в парадные, если казалось, что он идет навстречу, это непонятное мычание

по телефону, когда он стоял рядом, не только не злили меня, но, наоборот, представлялись естественными.

Не то чтобы я признавал за ним какие-то особые права — просто его нужно было щадить за его обездоленность. Ведь у нас было это, а у него? У него не было ничего, кроме призрачных прав первенства и старомодного жениховства.

Я даже пользовался им как оружием, когда она ловила меня на каких-то мелких обманах или узнавала что-то о моих прошлых похождениях. «А ты? — говорил я ей. — Ты не лжешь своему Александру? Может, он знает, где ты сейчас и с кем? И что мы с тобой делаем на этом пустыре-пляже-стройке-развалине? Может, позвоним ему и расскажем?» И она снова беспомощно умолкала и на несколько минут словно бы повисала, безвольная и обмякшая на том чужом, жестком и непримиримом, что жило в ней.

С наступлением холодов нам пришлось искать убежищ для встреч. Таких, как мы, неприкаянных влюбленных, были тысячи, и случались вечера, когда нам не удавалось втиснуться ни в кино, ни в кафе, ни даже в какую-нибудь библиотеку с читальней, где, по крайней мере, можно было шептаться, закрывшись журналами. Оставалось одно — Сева-фотограф, спаситель, приходившийся мне (редкий парадокс родства), несмотря на свои пятьдесят лет и свою абсолютную седину, то ли многоюродным братцем, то ли даже племянником. Он пускал нас в пустое ателье, а сам уходил работать в темную каморку, каждый раз хитро подмигивая мне и отмачивая несложные шуточки. Время от времени он появлялся оттуда, размахивая мокрым отпечатком чьей-то физиономии, и совал нам его с возгласами:

— Ну! Видали?! И этот тоже хочет иметь свой портрет! Он не заказывает себе маску — нет, он заказывает свой портрет. Я спрашиваю — можно это понять?

Среди его экземпляров попадались, и правда, довольно страховитые. Потом он снова исчезал в своей каморке, и мы оставались вдвоем среди выключенных ламп и белых экранов, сидели на полу, спрятавшись за деревянной лошадкой на колесиках, деля время между поцелуями и болтовней почти поровну.

В те мгновения жизни, когда она не чувствовала себя ограбляемой и когда чужой в ней не подавал голоса, она могла говорить без умолку.

Просто слушать ее было для меня наслаждением не потому, что она была какая-нибудь необыкновенная Шехерезада с даром рассказчика, но потому, что не было у нее ни к чему спокойного равнодушия, что она все на свете любила, презирала, обожала, жалела или ненавидела, — каждое слово, изливавшееся из нее, всегда было она, сама она, доподлинная. Говорила ли она о новой сумочке, о трупах в анатомичке, о случайном прохожем или о Шекспире, это никогда не были отдельно существующие вещи или мнения, но всегда кусочки ее жизни — она и сумочка, она и трупы, она и Шекспир.

— Папа вчера бритву искал целый час, нашел в мамином ящике — был жуткий скандал.

Ну что, казалось бы, можно вложить в подобную фразу? Но она успевала уже в скороговорке первых четырех слов уйти от расхожей манеры говорения, чуть сдвинуть обычные акценты в сторону невнятицы, из которой «целый час» выскакивал и звонко лопался, как пузырь, это был уже не общепринятый оборот, а настоящий, длинный-длинный час, и за ним мелькало едва уловимое «хм» с насмешливо-виноватым сочувствием к безнадежной папиной судьбе жить с двумя бестолковыми женщинами, и дальше «в мамином» с великим облегчением — не в моем! — а на месте тире она уже качала головой, как бы отрицая все понимание меры ужаса, и в «жуткий» прыгала на несколько ступенек выше того, что можно было вообразить, и вдруг на последнем слове тормозила весь разгон фразы, и оно звучало уже почти самостоятельно, по слогам, как название басни, объявленное актером с эстрады, — «скандал».

При своей полной неспособности быть к чему-то безразличной, она почему-то считала себя еще обязанной подводить логические объяснения под все свои любви и нелюбви, и в этих объяснениях могла доходить до откровенной глупости, но от своего не отступалась. Так она уверела, что крысы ей противны не сами по себе, а из-за каких-то микробов, попадавшихся у них под когтями, что индусы лучший народ в мире, потому что они единственные никого не завоевывали, и что самое жуткое изобретение цивилизации — рентген, ибо в нем есть что-то унижительное: тебя видят! насквозь!

Но какой бы вздор она ни несла порой и как бы я ни упивался им и всем ее обликом, когда она сидела

передо мной на кожаном диванчике, поставив локти на нарисованное седло, подперев кулачком свой неправильный подбородок, и как бы самозабвенно ни терзали мы друг друга посреди вороха сброшенной одежды в те разы, когда Сева оставлял нас совсем вдвоем, все же главным источником счастливого трепыхания в моей груди всегда оставался тот чужой, которого я знал в ней, вернее, его молчание, потому что это я — я заставлял его молчать тем, что я — был, и был с нею, и когда мы так бывали вместе, что-то происходило между нами, возносившее нас над его холодными и жесткими шипами. Но без сознания, что это не навсегда, что парение это такая редкость, мы, наверно, не могли бы быть так счастливы.

Кажется, она никогда от меня ничего не требовала, то есть ничего из тех легких вещей, каких обычно требуют женщины, — ласки, внимания, лести, развлечений, но всегда чего-то другого, безмолвно; словно я все время должен был чем-то стать, становиться, и как-то тащить ее за собой, хотя ни я, ни она не знали, чем именно, и лишь чужой, вонзая свои безжалостные язвительные шипы, время от времени показывал нам дорогу.

Я так был поглощен всеми этими новыми для меня тонкосплетениями отношений, так был уверен, что мы с ней уже совсем одно и никуда друг от друга не денемся, что как-то не снисходил думать о низменно-конкретных обстоятельствах ее и своей жизни, пускал их плыть по течению. И поэтому, когда весной во время очередного телефонного допроса ее мамаша сказала мне, что я могу больше не тратить времени на звонки, потому что Лида выходит замуж и через неделю свадьба, я в первое мгновение лишь усмехнулся про себя и довольно спокойно повесил трубку. Замуж? Она? Не за меня? Бросьте шутить. Смешно.

Однако к вечеру мне уже не было смешно. «Ведь может, — думал я. — Конечно, может. Разве поймешь заранее, что она способна выкинуть через минуту. Разве сама она знает, чего хочет? Но ведь это невозможно — мне не видеть ее. Не видеть совсем. И почему? Почему?»

С раннего утра я уже торчал у дверей ее института. Вся история еще казалась мне такой дикой, что, может быть, я отказался бы верить даже ей самой, ее подтверждениям. Но она ничего не подтверждала и не

отрицала — она просто метнулась в сторону при виде меня с таким отчаянием, с таким откровенным порывом спрятаться, исчезнуть, что это было красноречивее всяких слов. А я? В этот момент, когда мне все стало ясно, — испугался, озлобился, приревновал? Да ничего подобного. Я был *рад* — вот в чем ужас — рад застать ее, своего вечного обвинителя, такой виноватой и беспомощной передо мной.

— Значит, это правда? — сколько можно грознее сказал я, догоняя ее и хватая за руку. И немедленно из этого сжавшегося, чуть не скулящего комочка вылетело с автоматической безотказностью очередное словесное жало, больно впившееся в меня словом «мелодрама».

— А мне плевать, как это выглядит! — заорал я, свирепея наконец всерьез, упиваясь бешенством и безоглядностью. — Ты!.. Ты еще смеешь!.. Да знаешь, ты кто? Ты ханжа и лицемерка. Ломака и истеричка. Что ты мне плела еще вчера? Ага, не помнишь уже!.. Ах, какие мы тонкие, какие возвышенные!.. Скажешь, любишь его? Враки. Никого ты не любишь — не умеешь. А знаешь, зачем ты за него выходишь? Да по расчету! По самому невозвышенному — по квартирному и денежному. А я тебе знаешь зачем был нужен? Для щекотания нервов. Ох, ты любишь пощекотаться. Конечно, любить не дано, так хоть пощекотаться. Разыграть похоже. Скажешь, нет? Ты всех судишь, всех презираешь, а сама? Да ты... ты...

Она неслась по улице почти бегом, но я не отставал, нависал над нею то сбоку, то забегая вперед, чтобы увидеть ее расширенные от боли глаза, и осыпал изощренными оскорблениями, которые мне, оказывается, даже не было нужды придумывать, они, видно, давно кспились во мне и жили, тесно вплетенные в любовь и обожание. Она уворачивалась, мотала головой, затыкала уши: «Нет, неправда, за что?» — «Ах, ты не знаешь, за что?» И я обрушивал на нее новый поток желчи, так что у нее уже не было сил сдержать жалобного хнычущего звука, этого всегдашнего ее задавленного, не дающего облегчения плача.

Потом мы обессиленные идем вдоль бесконечной набережной. Она судорожно сжимает мой локоть и говорит, говорит — мы пытаемся «обсудить все спокойно». В нашем разговоре то и дело мелькают всевозможные «хорошо — нехорошо», «подло — неподло». Мы по-

грязаем в пучине моральных словопрений, и снова я тоскую по какому-нибудь ясному Закону, Закону для всех людей, способному подчинить себе и ее сумасбродство и доказать ей все безумие того, что она собирается сделать. Ибо я чувствую — она тоже жаждет такого Закона, она подчинилась бы ему с радостью и облегчением. Плохо лишь то, что ей кажется, будто она знает Закон, будто он давно известен ей, чуть не сам собой разумеется. Но мне жалки все ее аргументы, я разбиваю в прах ее доморощенные «хорошо-плохо», и она (о редкий случай!) даже соглашается, что да, они выглядят довольно куцыми, и тут же спрашивает — а где взять других? ты знаешь другие? нет? Вот видишь. У нее есть хоть какой-то закончик, а у меня ничего — и я беспомощен.

Ее версия выглядит примерно так: она любит меня, только меня одного (даже после того, что я наговорил ей), но обмануть Александра, изменить ему — ей даже подумать страшно о таком. Он так много сделал для нее, он такой умный, замечательный, добрый, а она мучает его уже столько лет, и это так подло, что она больше не может, она уже летом обещала ему, как раз накануне этой поездки на пароходике, и вот из-за нее и из-за нас дотянула теперь до весны — нет, у нее нет сил видеть, как он мучается.

— Обещала?! — взвизвался я. — Что ты ему «обещала»? Книжку почитать? В гости зайти? Она обещала. Она такая честная, что не может обмануть, подвести человека.

— Да, честная.

— А замуж за него выходить не любя — это честно?

— Честно. Потому что я не говорю ему, будто люблю. Я никому этого не говорила. Только тебе.

— Ну а меня мучить — это честно? Не подло?

— Но ведь с тобой я и сама мучаюсь. Еще хуже.

— Так зачем, зачем, зачем?

— Чтобы не было подло. Я знаю, что когда мне самой так больно, то уже не может быть подло.

— И ты хочешь, чтобы я тебе поверил? Что нормальный человек...

— Ну, конечно. По расчету — это тебе понятно. Ты же любишь простые объяснения. А так...

— А так — еще хуже. Если не по расчету, то, значит, это только извращенность твоя. Ты самая страшная извращенка из всех — вот ты кто.

И тут она вдруг отвечает задумчиво, не мне, а куда-то вдаль, другому берегу реки:

— Но ведь ты меня только такой и любишь.

Я хочу с разгона еще что-то возразить, но вдруг понимаю, что да, правда, только такой; и еще я чувствую, что гнев мой иссякает, что у меня нет сил больше тянуть это запутанное разбирательство, что все словопрения — вздор и суета, когда рядом она сама, живая. Мы спускаемся по каменным ступеням к воде и там, укрытые от глаз прохожих, кидаемся друг к другу, сплетаемся в каком-то отчаянно-прощальном объятии, целуемся до изнеможения, до потери дыхания, и все разделяющие нас «подло-неподло», «честно-нечестно» улетают куда-то в весеннее небо. Кажется, вся эта словесная шелуха только и нужна была, чтобы было нам сквозь что пробиваться друг к другу; она улетает, мы пробились, слились... А дальше что?

Всегда, даже потом, когда мы были совсем вместе, «а дальше что» оставалось где-то глубоко в норе, не смело высунуть змеиную голову. Всегда в ней оставалось что-то неподчинимое и неуловимое, тот чужой, извращенность, гордость, то, до чего добраться можно было бы разве что ножом, то, за что и убивали их всех — Кармен и Земфиру, Колдунью и Настасью Филипповну, Эсмеральду и гречанку из «Зорбы». И, может, эта их сердцевинная, главная сущность, зная свою неуничтожимость при жизни, охранно заставляет их подсовывать нашему гневу и ненасытности искусственные препоны, кажет себя под видом долга, обстоятельств, предрассудков, чтобы мы накидывались на эти вынесенные за стены крепости бастионы, чтобы утоляли там свою жажду захвата, расшибали лбы, теряли силы и забывали бы главную, извечную недостижимость, неслиянность нашу.

5

И я тоже поддавался этому обману — накидывался, расшибал, преодолевал.

Первое, что мне пришло тогда в голову, — что я должен сам немедленно жениться на ней. В памяти моей всплыли все слышанные мною рассказы житейских мудрецов о том, какие они все эти бабы хитрые, и как все хотят выскочить замуж, и «ты, парень, не слушай,

что они там плетут, есть ох языкатые, а гни твердо свое, чтобы жениться — ни-ни!» И я с тревогой припоминал, что сам-то ни разу не предложил ей того, чего она, может быть, втайне так страстно желала. Может, в этом все дело? Может, она потеряла надежду на меня? Ну, так я ей докажу...

— А что я такого сказал?! Что я сказал? — выкрикивал Сева-фотограф, пятясь от меня за лампы. — Женись! Хоть завтра женись — пожалуйста. Я только говорю, что беспокойная она. Понял? Неспокойная. Но ты женись, раз приспичило. Жениться теперь недорого. Разводиться — другое дело. Разводиться знаешь сколько стоит? А жениться — это же сушие гроши.

Но дело было в том, что у меня не наскребалось даже этих грошей. До получения диплома мне оставалось еще два года, стипендия была обычная, на повышенную я не тянул, жил по-прежнему в одной комнате с тетками, а снимать на стороне — об этом тогда и не мечтали. Складывалась классическая ситуация бедных влюбленных. Из ценностей у меня был только трофейный фотоаппарат, подаренный тем же Севой, и все мои подсчеты наличных средств каждый раз начинались с одного и того же: «Значит, продаю аппарат — раз...» — и на этом застревали.

Кроме всех практических затруднений я смутно ощущал еще что-то ничтожное в таком скоропалительном сватовстве, в этом жениховстве наперегонки. Что-то здесь было от детского сада, когда игрушка может долго лежать в углу никому не нужная, но стоит одному подойти и взять ее, как тотчас кто-нибудь накинется вырывать, отнимать, клянчить. И представить себе, чтобы она, Лида, не заметила этого, не усмехнулась хотя бы краем губ...

Убедившись, что пожениться нам нет никакой возможности, я, двигаясь по литературным канонам, перешел к следующему варианту — к похищению. Домик где-нибудь в деревне, река, козы, грибы, мы вдвоем с утра до вечера — нет, с утра до утра, и никто нас не знает, ни с кем не связаны. На месяц такого счастья вполне хватило бы даже фотоаппарата. Но до летних каникул было еще далеко, а действовать надо было немедленно. Бросить учебу и пойти работать? Но за порогом института меня, как и всякого, немедленно ждала солдатская шинель, сапоги и три года службы.

Наконец, после трех дней метаний, бессонницы, сочинения фантастических планов, тщетных звонков я решился на то единственное, что оставалось, а вернее, что сидело у меня в голове с самого начала и тихонько скреблось, будучи не в силах одолеть запреты самолюбия, гордости, мужского фанфаронства,— пойти к самому счастливому жениху, к Александру, и выложить ему все как есть.

Он слушал меня довольно спокойно, хотя давалось ему это явно нелегко. Видимо, он и сам догадывался по ней о чем-то подобном, но пытался до сих пор закрывать глаза. Я распинаясь как мог, безжалостно описывал ему все тонкости нашей любви, ее терзания и метания между «хорошо» и «плохо» и в конце концов твердо обещал, даже в случае их женитьбы, не кончать с собой, не уезжать в другой город, но преследовать ее повсюду, где только смогу, попадаться на каждом шагу, и здесь, кажется, ввернул цитату, что-то о преградах, которые для любви, что ветер для огня,— только раздувают.

На цитату он криво усмехнулся, в остальном же лицо его не выражало ни возмущения, ни досады, ни презрения ко мне, мальчишке перед ним, и сейчас мне кажется, что он хотя и поверил всему, что я говорил, отнесся к моему появлению не как к крушению всех надежд, но как к очередной отсрочке, и вся работа его мысли за стеклами очков сводилась к тому, на сколько теперь — на год? три? Надо отдать ему должное — ждать он умел. Говорят, и до сих пор не женился — ждет.

— Хорошо, я подумаю,— сказал он.— Обмозгую.

Не знаю, до чего он додумался и что именно сказал ей. Через общих знакомых до меня дошло, что свадьба как бы была отложена, но радоваться, торжествовать? Нет, я слишком уже знал ее. Целую неделю после разговора своего с Александром я не мог набраться духу, чтобы позвонить ей. Несчастный — с таким же успехом я мог бы не звонить и месяц, и два. Я предвидел что угодно: жуткие сцены, упреки, слезы, оскорбления — только не это. «Я больше не хочу тебя знать», — сказала она и повесила трубку.

Увы, это не было простой угрозой.

Она больше не отвечала ни на звонки, ни на письма, она избегала всех мест, где могла столкнуться со мной, а завидев на улице, переходила на другую сторо-

ну или, если убежать не удавалось, едва окинув меня презрительным взглядом, молча проходила мимо.

Мне все казалось: стоит лишь заставить ее заговорить, и тогда, цепляясь за ниточку слов, можно будет перебраться через стену, упавшую между нами. Казалось, она и сама так чувствует, потому и боится открыть рот, и именно молчание ее давало мне надежду, что стена непрочная, выдуманная, что надо лишь перетерпеть, дождаться, придумать что-то. Впервые презрение ее не причиняло мне боли, ибо я не мог разделить его, оно не попадало ни на какое из моих самопрезрений, отскакивало от меня, я чувствовал себя во всем правым перед ней — неуязвимым.

Но все же не слышать, не видеть ее так подолгу было мучением ужасным. То, что оно казалось не заслуженным наказанием, но вопиющей несправедливостью, ее ко мне несправедливостью, не давало почти никакого утешения. Все, что было связано с ней, что была она — ее лицо, ее голос, узор ее свитера, ее сумочка, ее дом, ее короткий смешок, — память теперь пыталась удержать с какой-то судорожной энергией, и я впервые на себе испытал всю тоскливую реальность этих слов — жить воспоминанием. Ибо это была действительно жизнь, единственно реальная для меня в те дни жизнь, а все остальное — занятия, друзья, разговоры, развлечения — досадной необходимостью, пустой тратой времени.

Тоска бывала иногда такой острой, а вся драма наших отношений такой безнадежной именно по принципу нелепости, что мне казалось, несчастнее я уже никогда не буду — невозможно. Но теперь, когда я вспоминаю долгие часы, выстаиваемые мною за ларьком с газетами, из-за которого можно было видеть заветные двери, вспоминаю резь в глазах, вглядывающихся в бесконечную толпу входящих и выходящих, щемящую боль, вспыхивающую в груди при виде всякой похожей шляпки, плащика, при виде фигурки — мальчик в нахлобученной шапке, боль, накапливавшуюся раз от разу, подступавшую к горлу и к глазам, так что, если везло и удавалось увидеть ее вдруг саму, это вызывало такую мгновенную спазму счастья, освобождения, блаженства, что я невольно спрашиваю себя теперь — да жил ли я когда-нибудь полнее, счастливее, чем в эти месяцы нашей первой размолвки? Ведь и вся обыденщина остального дня окрашивалась

уже этим кратким мигом узнавания ее в толпе, день приобретал центр и смысл, в нем уже не было пустот и провалов, когда на мысленный вопрос «чего я сейчас хочу?» можно было ответить: «не знаю, ничего».

Увидеть ее! Увидеть — и только это.

И оттого, что в этом желании возможное с невозможным переплеталось так тесно, что она могла мелькнуть в проезжающем автобусе, в зале кино, у стойки с пирожками, в магазинной очереди, среди библиотечных стеллажей, от этого и автобусы, и кино, и пирожки оказывались как бы пронизанными новым, мне одному заметным светом. Те же места, где я ждал ее встретить скорее всего, где ей нравилось или поневоле приходилось бывать, окутывались как бы сгущенной атмосферой возможности и, приближаясь к ним, я ощущал это сгущение почти физически, словно упругую струю воды на середине реки. Ее дом, ее окна, ее почтовое отделение, где, должно быть, лежали мои так и не востребованные письма, больница, где проходила ее практика,— все эти заурядные куски городского пейзажа обретали в моих глазах новую цену.

Я жил по-прежнему, то есть чем-то развлекался, сдавал экзамены, ездил работать в пригородных совхозах, разгружал вагоны ради карманных денег, скандалил с тетками, переживал за какие-то доли секунды, потерянные на беговой дорожке, повесничал на вечеринках, но поверх всего теперь жило во мне это главное, возвышающее, возможно-невозможное каждую минуту. То, что я чувствовал, можно, наверно, назвать грустью, томлением, взлетами и спадами надежды — но только не тоской, не отчаянием. Я слишком ощущал ту невидимую, с первого дня возникшую между нами нить, она по-прежнему жила, пульсировала, извилисто уходя от меня к ней через городские лабиринты, тянулась на любое расстояние, не резалась никакими стенами и трамваями — жила.

Отчаяние было скорее там, на другом конце, — я почувствовал это однажды, когда, выследив в очередной раз, шел за ней по улице, а она вдруг обернулась и закричала, чтобы я не смел, не смел за ней ходить, чтобы оставил ее в покое. Мое мгновенное остолбенение дало ей время тогда убежать и прыгнуть в троллейбус, но все равно с того случая я точно знал, что такое же томительное ожидание живет и в ней, что и она вы-

сматривает меня за газетным киоском (стою или нет?), ищет мое лицо в толпе, вздрагивает на любое случайное сходство и ждет, ждет... И поэтому, когда уже поздней осенью, после того как я уже свыкся и втянулся, пришло письмо, письмо всего в одну строчку — «Я больше так не могу. Л.», — невнятный то ли вопль, то ли стон радости, вырвавшийся из моей груди, в переводе на человеческий язык не мог бы значить «не верю!», или «не может быть!», или «за что?», а только — «наконец-то!».

Навеки, до гроба, рука об руку, неразлучно — какой вздор! Ведь уже тогда, в ту нашу встречу за кулисами пустой садовой эстрады, в самый разгар горячечных объятий, поцелуев и бормотания, когда она повисла, вжимаясь в меня, уже тогда я всем существом своим чувствовал, насколько неразрывно оно, это плавающее в сердце блаженство, слито с тем, что не навсегда, что это опять лишь недолгое парение, что чужой проснется снова со всеми своими стенами и шипами, но не будь его — и блаженства бы не было вовсе.

Все, что происходило с нами потом, до нашей женитьбы и после, было, в сущности, цепью таких же разрывов и встреч, и под конец я уже молча, не протестуя, выслушивал чьи-нибудь соболезнования моему ужасному существованию, не пытался защищать ее и доказывать, что это у нее не истерика, не жажда острых ощущений, а это невыразимость, чужой встает и расталкивает нас друг от друга, но сам-то был уверен: это он, и он знает, что делает.

И когда сегодня, доехав до последней станции — уже на поверхности, прямо среди новостроек, — пройдя квартал до своего дома, окинув взглядом его двенадцать этажей, я замечаю на девятом во втором окне справа свет, сердце у меня начинает болеть так же остро, как восемь лет назад за садовой эстрадой, я изо всех сил сдерживаю себя, чтобы не побежать (мало ли что? — забыли выключить с утра или кто-нибудь из теток заехал, у них свой ключ), но в глубине души знаю, что не забыли, что никакие не тетки, а она — она вернулась, и, поднявшись на лифте и войдя в квартиру, сразу вижу ее в дверях кухни, как она останавливается, смотрит на меня, комкая в руках передник, потом кидается на шею и — «милый, прости... прости... ну, не поехала, видишь, отвертелась и не поехала... как ты можешь... я говорю, как ты можешь меня терпеть... ой, как

мне хорошо... ты пришел, и ничего не надо... как мне с тобой хорошо... только терпи меня, слышишь... прошу тебя... о, мой милый...», и я, дурея от нежности, прижимаю ее к себе и не пытаюсь больше ничего выяснять и спрашивать, почему ей сегодня так хорошо, а вчера было так плохо со мной, и лишь бессмысленно, как в детстве, бормочу не ей, а неизвестно кому — друзьям старым и новым, родственникам, сослуживцам, собственной усталости,— бормочу счастливо и упоенно: «Не дамся... не дамся...»

Часть вторая

ТЯЖБА

1

Нет, что бы ты ни говорила, я верю, что память моя сохранила какие-то сцены детства не случайно, что в отборе этом есть своя, еще неведомая мне закономерность.

Закономерность? — скажешь ты. В детских слезах, просыхающих так быстро? В мимолетных драмах, не оставляющих никакого следа в важнейшем процессе поел-покакал? В капризах и истериках, против которых люди немудреные давным-давно открыли такое верное средство, как ремень?

И все же эта мысль не кажется мне дикой. Уж если мы каждый день и каждый век страдаем, терзаем друг друга и губим поодиночке и скопом, и если дьявол как простое и полное объяснение всех злодейств больше нас не устраивает, то почему бы не взглянуть на наше естество там, где оно проявляется столь полно и непосредственно, с такой чарующей откровенностью, еще не прикрытое ложью сознания, не задавленное тисками морали, и где, с другой стороны, наш взгляд не может быть искажен ни страхом, ни предрассудком, ни презрением. Ну, у кого хватит духу презирать или ненавидеть ребенка? И уж во всяком случае, если, не замахаясь на глубины, дьявола и естество человеческое, пытаться понять себя, свою отдельную жизнь и то место, где по ней прошла первая трещина, то разве не глупостью было бы так с ходу отбросить, может быть, самое главное, что в

ней было,— начало. Память умнее нас, и то, что она хранит как самое яркое, то и было самым важным для нас в тот момент, каким бы ничтожным оно нам ни казалось сейчас.

Я, например, совсем не помню тот день, когда началась война. Мы жили на даче, неподалеку от пионерского лагеря, где Тетирин работала воспитателем, и главным моим волнением в то лето было — заколют или не заколют поросенка?

Я уже догадывался, конечно, что все мясо, которое мы едим, еще недавно бегало, мычало, кудахтало, жевало траву, клевало зерна. Я даже видел своими глазами курицу без головы, которая неслась по двору, хлопая крыльями и брызгая кровью на дорожку. Но мой поросенок?! Нет, никогда. Ведь он уже знал меня, он бежал мне навстречу, хрюкал и терся об ноги, даже если я приходил без ведра с ботвой и картошкой, он так потешно валился на бок и хлопал белесыми ресницами, когда я чесал ему живот, так звонко и требовательно стучал копытцами по пустому корыту, так тыкался в мои руки своим перемазанным мягким пяточком. А главное — знал!..

Все же цыплята и телята, которых я съедал не задумываясь, не имели ко мне никакого отношения. Но убить кого-то, кто знает тебя и кого ты знаешь,— это казалось мне диким и несправедливым, хотя и, увы, вполне возможным в мире, захваченном взрослыми. Хозяйский Санька, рассказавший о приговоре над поросенком и заметивший мой ужас и отчаяние, бывал биг мною каждый день, но не унимался, не мог отказать себе в удовольствии увидеть, как меняется мое лицо, и дразнил меня с утра до вечера одними и теми же словами: «заколют! заколют!»

Чего я только не предпринимал! Я подрывал стену хлева и устраивал поросенку побеги, но этот балбес каждый раз возвращался. Я копил на мороженом, надеясь собрать достаточно денег и выкупить его. Я кланчил, требовал, умолял теток, чтобы они уговорили жестокую хозяйку не колоть поросенка. Тетирин на это только отмахивалась, Тетуля же, как всегда, шила белыми нитками свою воспитательную ложь — «хорошо, там видно будет, может, и уговорим, но для этого ты должен слушаться, есть побольше, чистить зубы...»

Ах, если б это не было таким бессовестным враньем! Как бы я слушался и сколько съедал.

Хозяйка же была такая суровая, насупленная и уса-
тая женщина, что попросить ее за поросенка у меня не
хватало духу,—она казалась мне способной заколоть
и меня самого. И все же отчаяние мое было так велико,
что пересилило страх. В какой-то момент, застав ее си-
дящей в задумчивости и такой усталой, что она явно
ничего не смогла бы мне сделать, я стал перед ней в
нескольких шагах и выпалил какую-то заготовленную
тираду, где были и «пожалуйста», и «так нельзя», и «я
вам куплю другого», и «очень прошу», и «как не стыд-
но»...

Она подняла на меня глаза, долго смотрела, не по-
нимая, так что я уже начал потихоньку пятиться, и
вдруг, уразумев, сказала с неожиданной растерянностью
и тоской в голосе:

— Где уж теперь колоть... Война ведь. Где уж...
Все теперь приберегать да приберегать... — и махнула
рукой.

Война? Какая война? Финская, что ли? Или эта, но-
вая? Я слышал что-то три дня назад, тетки говорили
между собой, и потом передавали по радио, но разве
я думал, что это так важно. Значит, поросенок спасен?
Его не заколют? И все это лишь потому, что началась
война? Какое счастье, как вовремя она началась!

Я замечал уже, что Тетуля, ни в грош не ставя сло-
ва, произнесенные меньше чем десять раз подряд, свя-
то верила во все, что говорилось по радио или писалось
в газетах. (Может быть, опыт всей жизни уже доказал
ей: радио — такая вещь, что если что-нибудь скажет,
то обязательно повторит это потом раз двадцать на все
лады.) Тут они с Тетириной вполне сходились, и их
убежденность в правильности всего, что там сообщалось,
для меня превращалась уже в такую несомненную
очевидность, которую нельзя даже назвать верой — это
была просто достоверность того же порядка, как белое
и черное, громкое и тихое, верх и низ. Радио и тетки с
такой уверенностью говорили о скорой и легкой победе,
что нечего было и надеяться так подрасти, чтобы ус-
петь принять участие в этой войне.

Когда же я узнал, что немцев, этих тощих, красно-
носых, трусливых немцев, всего лишь 70 миллионов, в
то время как нас — 200 (неумолимость арифметики, да
еще таких гигантских чисел, просто гипнотизировала
меня), вся история с войной представилась мне не стоя-
щей выведенного яйца. Мысль о том, что надб было быть

совершенными идиотами, чтобы в такой безнадежной ситуации решиться напасть на нас, ничуть не смущала меня, а, наоборот, являлась только в своем обратном значении, то есть: надо же быть такими идиотами!

И вообще — стоит ли интересоваться делом, в котором тебе не отведено никакой роли и исход которого так явно предрешен?

Нет, на свете было слишком много вещей поважнее такой ерунды (тот же поросенок, например). Ни сообщения о сданных городах, ни помрачневшие лица взрослых, ни первые раненые, которых на моих глазах переносили по пружинящим мосткам с парохода на берег, не в силах были нарушить моего легкомысленного равнодушия. Наоборот! Чем ближе подходила к нам война, тем больше удовольствий появлялось в моей жизни. Тетулю сразу по возвращении в город приняли на работу, а это значило для меня лишь одно — освобождение. Я получил разрешение выходить во двор, гулять по улице (по своей стороне) и даже бегать в булочную, которая была за квартал от нас. Понятно, что голова моя кружилась от обилия новых впечатлений и от гордого сознания своей самостоятельности. Бомбоубежища, сирены, затемнения, изредка серебряная точка немецкого разведчика в небе — это тоже было совсем не страшно и вызывало лишь радостное возбуждение своей непривычностью и новизной.

Среди всех волнений я даже не сразу заметил главное счастье, свалившееся на меня: меня перестали заставлять есть!

Нет, я решительно недооценивал пользы войны. А когда началось то первое в моей жизни большое путешествие, сначала на пароходе, потом на поезде, на машине и на телеге, в которое взрослые собирались с глупо растерянными лицами и которое носило дивно-заумное название — «эвакуация», — восторгу моему не было границ. Поистине, это было самое счастливое, самое прекрасное лето в моей жизни — страшное лето сорок первого года.

2

После тебя приходил следователь из ГАИ, приносил крупно вычерченную схему: поворот шоссе, проселок, молоковоз, «виллис» со счетоводом, мой «москвич». Кажется, все верно, все — как было. Он спрашивал, успел

ли я увидеть задние огни «виллиса» — почему-то ему это очень важно знать, но я действительно не мог вспомнить. Вообще ему, видимо, не нравилось то, что я говорил, и он время от времени вставлял «да бросьте вы!». А может, ему просто приказали выгораживать счетовода? У них ведь в райцентрах круговая порука, говорят, не хуже, чем в мафии. Все же нелегко это будет: счетовод пьяный, молоковоз под мухой, один пострадавший — трезвый, и он же — виноват?

Ну да ладно, черт с ними.

Ты иногда просила меня рассказать, как я жил до тебя, но слушать долго не выдерживала — начинала морщиться, и я умолкал. Видимо, эти недорассказанные оборванные истории накапливались во мне давно, и вот сейчас, в больничном безделье, нашли выход — хлынули на бумагу. И даже если я никогда не покажу тебе эти записи, все равно чувствую, что мысленно-то обращаюсь к тебе, всегда к тебе — к кому же еще.

Эвакуация забросила нас в глухую татарскую деревушку, где мы и прожили всю войну, не услышав ни одного настоящего выстрела, не видав ни одного взрыва.

Глухая, глушь — как не вяжутся эти слова с тем, что я помню. Наверно, я должен был бы написать «далеко от города, от шоссе и железных дорог, без телефона и водопровода» — все, что мы привыкли понимать под словом «глухая», но не писать его самого. Разве может быть глушью то, что помнится только как бескрайний солнечный свет, как бездонность озера внизу и неба наверху, как вечно открытый на все стороны горизонт, как далекое, уставленное радугами поле, как трепещущий жизнью лес.

Может быть, для какого-нибудь случайного прохожего, который в дождь и слякоть, пробираясь по размытым лесным дорогам, после долгого пути (ни одного человека навстречу) выбрался бы вдруг на пригорок и увидел бы темные, затерянные в ненастье крыши домов, такие крохотные и беззащитные перед бушующей природой, — у того бы сдвинуло сердце от жалости и сострадания. Но для меня наша деревня была, наоборот, центром, средоточием того озерно-лесного пространства, я не мог увидеть ее со стороны и пожалеть. Даже в те редкие разы, когда я бежал к ней, застигнутый непогодой, она уже с пригорка открывалась мне как дом, как свет и тепло, как спасительная, недостижимая никаким

бурям и сотрясениям сердцевины этого взбесившегося мира. Так мне ли называть ее «глухой»?!

Лес, и озеро, и лес... С непостижимой яркостью лежит перед моими глазами длинное, вытертое до блеска бревно рядом с дорогой, на которое мы спешили пригнаться перед входом в лес, — счастливая примета.

— Вот видишь! видишь! Это все бревно, — кричит мне возбужденная и растрепанная Тетуля, ползая по краю вырубке, сплошь усеянной пучками коричневых опят. Мы срезаем их и сносим в середину на расстеленный Тетулин халат — они лежат на нем прохладной, колышущейся горой.

Полные бидоны земляники, мешочки, набитые орехами, корзинки с малиной, вообще вся эта еда, которая росла в лесу или плавала в озере, которую надо было искать, ловить, добывать, казалось, ничего общего не имела с застольным кошмаром моей городской довоенной жизни — «ешь! ешь! ешь!» Для меня до сих пор остается что-то загадочное в том всем известном наслаждении, которое спрятано в полужеленых яблоках, если они украдены из чужого сада, в орехе, добытом с самых верхних веток, в недопеченной картошке, выкаченной палочкой из горячей золы, — какой-то неуловимый, невидимый фермент, недоступный никаким ресторанным яствам. Конечно, я что-то ел и за столом, и ел, наверно, с удовольствием или просто не замечая, но я точно помню, что вкуснее того пескаря — первого, пойманного мною и тут же насаженного на палочку и «изжаренного» в костерке, не было ничего на свете.

Ведь это была добыча — моя добыча!

Я понимал ее ничтожность, я видел уже настоящую добычу рыбаков — шук и окуней, разложенных кучками на травяном берегу для продажи, — но это ничуть не унижало, а, наоборот, придавало моему пескарю некий ореол возможного, той добычи, которую я еще смогу поймать. Ведь смог же я поймать этого!

Странно: что бы я ни вспоминал сейчас, любая картинка природы, врезавшаяся мне в память, обязательно содержит внутри себя это корыстное зерно, этот элемент добычи, — ни одного воспоминания о какой-то чистой и бесполезной красоте, которая (я знаю) на самом деле всегда имела надо мной большую власть. Может даже показаться, что мы попросту голодали и жили только подножным кормом. Так нет же — тетки мои работали, получали зарплату и даровое питание, мы были

настолько обеспечены, что какая-нибудь неделя без сахара воспринималась как серьезная драма. И все же дух полезно-съедобного пронизывал все наши отношения с лесом и озером. Может быть, именно тогда и укоренилось во мне то тайное преклонение перед всем утилитарным, перед наглядной пользой дела, все оправдывающей материальностью результата, достигнутой цели, избавиться от которого мне не удавалось потом всю жизнь, — даже ты ничего не смогла с этим поделать, хотя старалась на совесть.

Я забыл сказать, что рядом с деревней располагалась колония для «трудновоспитуемых» (для малолетних преступников) — она-то и была местом работы моих теток, источником нашего относительного благополучия. Да и не только нашего: вся деревня так или иначе была связана с колонией, работала на нее, кормила ее и кормилась за ее счет. Из-за нехватки педагогов тетки вынуждены были вести по несколько предметов (Тетирина вела даже физкультуру); кроме того, там были какие-то дежурства, дополнительные часы, собрания, расследования всевозможных проделок с уголовным душком — тетки пропадали за колючей проволокой с утра до вечера. Охранники знали меня в лицо и пропускали к ним в любое время, но сами они запрещали мне ходить в колонию без особой нужды — дурное влияние.

Честно сказать, ребят, по-настоящему затронутых уголовщиной, там было совсем немного. Основную массу составляли осиротевшие, потерявшиеся, попавшиеся на краже нескольких морковок или куска мыла. В военное время колония была не наказанием, а скорее спасением. Правда, от войны и голода они спасались и выживали там, но капля яда неизбежно оставалась в них. Ибо те двадцать человек, которые по достоинству именовались малолетними преступниками, как водится, держали верх и исподволь сводили на нет все воспитательные и гуманные усилия моих теток и их коллег. Клеймо этого мирка было слабым, но и души, к которым оно припечатывалось, — мягкими, как воск. Видимо, на них, как на благодатной почве, и расцвел после войны тот культ блатного героя с его песнями и преданиями, с призрачными законами и реальным насилием, с формой одежды, обязательно включавшей кепочку, брюки-клеш и потайной карман с бритвой или заточенной отверткой, с жаргоном, разделявшим весь мир на *людей*,

то есть воров, *чертей* — тех, кто борется с ворами, и *бакланов* — пустая и ничтожная порода, практически — все остальное человечество. Я слишком хорошо познакомился впоследствии с таким героем, сам страстно мечтал дорасти до него и кое в чем даже преуспел.

Так что — увы! — мои бедные дорогие тетки, и здесь ваши усилия пропали даром. Впрочем, может быть, я и заблуждаюсь. Вполне возможно, что без вас и вам подобных кругом могло бы начаться уже совсем черт знает что. Во всяком случае, жизнь колоний и мест заключения теперь описана достаточно и описана так, что не мне тягаться. Меня опять унесло куда-то в сторону. Обстоятельства, обстоятельства — разве сами по себе они смогут что-нибудь объяснить мне, как бы старательно я ни вспоминал их. Мне нужно...

3

Сегодня следователь явился чем-то очень довольный, разговор повел издалека: бывали ли в моей жизни раньше такие же опасные ситуации, критические обстоятельства? что я чувствовал, оказавшись в них? Например, эта история, когда я заплыл слишком далеко в Черном море во время шторма и за мной выслали катер? (Кто ему рассказал — Тетирина? ты?) Гордился я собой после этого или что? А помню ли я, что говорил, когда меня вынули из смятого под молоковозом «москвича»? Ну да, когда врач «скорой» уже делал укол и приговаривал, что все обойдется, все заживет? Не помню? А вот врач запомнил, потому что очень странно услышать от нормального человека, вытщенного с того света: «жаль, ах как жаль...»

Тут только я понял, к чему он клонит, и закатил ему жуткую истерику. Кричал, что вижу его насквозь, что выгородить своих дружков у него не выйдет, что не дам ему представить меня ни психом, ни самоубийцей, что слова человека с расплющенной ступней, тремя сломанными ребрами и отбитой почкой никакой суд во внимание не примет. На мой крик прибежала сестра, потом — больничная «психичка», следователя прогнали, но я хочу, чтобы вы все знали, что у него на уме, и были поосторожнее, не подыграли бы ненароком.

Так вот, возвращаясь к тем годам в эвакуации: мне нужно понять, чем я жил тогда, что было реальностью

моего существования. Есть что-то кощунственное в скрупулезном рассматривании одного себя посреди бушевавшей тогда трагедии, но что же делать? Война не только не задела меня, но, наоборот, разметала ту оболочку налаженного уклада, традиций, твердых правил и еже-часного надзора, тот кокон, в котором обычно вызревает личинка человеческой жизни. Я знал названия сданных и отвоеванных городов, наших и немецких самолетов, читал книжки о войне, видел картинки и фотографии, на которых наши солдаты бежали в атаку, отправлял вместе с тетками посылки в какой-то госпиталь в Казани, но все это волновало меня лишь постольку, поскольку могло стать предметом разговора или игры.

Игра! — вот что, пожалуй, ощущалось мною тогда как единственно возможное счастье. Причем даже самые обидные проигрыши и поражения в игре, доводившие меня до слез и истерик, не были несчастьем. Несчастьем, кошмаром, ужасом было другое — скука.

Да, видимо, так сказать будет вернее всего: не счастье и несчастье, но игра и скука были полюсами, между которыми протекала моя жизнь. И пусть обе эти вещи считаются чем-то общеизвестным и маловажным, пусть мне говорят, что в детстве все играют и все скучают, но не все потом приходят к душевному тупику, — я даже не стану приводить в виде возражения всех пьяных и трезвых мерзостей, творимых людьми от скуки, всех скучающих литературных героев, всех живых донжуанов, для которых разврат — лишь спасающая от скуки игра, не стану указывать на поразительное сходство многих так называемых серьезных дел с той же игрой... Я просто скажу: так я жил, и, наверно, это было недаром.

Кажется невероятным, что можно запомнить скуку — ведь это ничто. И все же я ее помню. Это была какая-то особенная, ни на что не похожая тяжесть в голове, ощущавшаяся почти как физическая боль, будто стягивались какие-то ткани, соединявшие глаза и горло, — болело посредине, примерно там, где кончается небо. Была скука болезни, скука школы, скука плохой погоды, скука ожидания, скука работы. Даже скука игры. И у каждой было свое лицо: замерзшее окно класса, или тропинка к озеру — взад-вперед — вода для огорода, или пол нашей избы с неизменными щелями и сучками.

Вот я сижу о окна, на улице дождь — не выйти. Тетуля, засучив рукава, рубит в деревянной миске капусту, я же слоняюсь из угла в угол и ною самым занудным голосом:

— Тетуля-что-мне-делать?.. Тетуля-что-мне-делать?..

— Замолчи,— умоляет Тетуля. — Ради Бога. Возьми книжку и почитай.

— Читалуже, читалуже, читалуже...

— Иди помогай рубить — я устала.

— Не хочу.

— Не хочешь — тогда молчи.

— Что-мне-делать, что-мне-делать, что-мне-делать?..

— О Господи!.. Ну, подмети хотя бы.

— Это работа.

— Конечно, работа.

— А ты скажи игру.

— У тебя же столько всяких игр.

— Да-а, все с самим собой.

— Ну и что?

— Неинтересно.

— А что тебе интересно?

— В шашки, в шашки, в шашки!

Тетуля, не в силах вынести больше мое нытье, соглашается. Я достаю шашки, выточенные малолетними преступниками в мастерских колонии (даже шашки у нас — собственного производства), расставляю, подвигаю доску к прыгающей от ударов миске — мы начинаем играть. Тетуля делает ходы, не выпуская сечки из рук, почти не глядя, быстро проигрывает и, лицемерно поахав, снова накидывается на капусту.

— Так нечестно,— ною я. — Ты нарочно поддаешься.

— Уж как умею.

— Не буду с тобой играть.

— Вот и прекрасно.

— Что-мне-делать, что-мне-делать, что-мне-делать?..

Но когда есть Тетуля или еще кто-нибудь, кто хотя бы отвечает на мое нытье, это еще не так страшно. Хуже, когда остаешься один и точно знаешь, что до вечера никто не придет. В тишине тикают ходики, кошачья морда на них катает глаза справа налево. Все игрушки лежат мертвые, надоевшие, книжки перечитаны по нескольку раз, картинки пересмотрены, бороды и усы пририсованы всем, у кого их не было,— что еще? В окно можно смотреть час — и все равно ничего не увидишь, кроме луж.

От нечего делать я принимаюсь рыться в чемоданах теток. С изощренностью детектива я перебираю вещь за вещью, обшариваю карманы, заглядываю под бумагу, которой застелено дно, развязываю пачки писем, стараюсь запомнить, как выглядел узелок, чтобы потом восстановить его в прежнем виде. Не то чтобы я боялся их гнева, но так интереснее — чтобы не заметили. От чемодана я перехожу к комоду. Понятно, что самое интересное должно быть внизу, в дальних углах — например, вот эти испещренные дырочками резиновые трубки, надетые на жесткую проволоку (бигуди) — они кажутся мне чем-то очень смешным и неприличным. Или иностранные открытки с киноартистами. Тетуля прячет их особенно тщательно, но я уже знаю, что они запихнуты в шерстяные чулки и что среди киноартистов там спрятана фотография настоящего нашего офицера — он стоит у дерева, держа в отведенной руке папиросу, а на обороте надпись: «Увидимся ли вновь, не знаю, но помнить вечно обещаю». И число. Мне очень хочется пририсовать ему усы и бороду, но лень искать карандаш — я аккуратно опускаю его назад в чулок.

Белье, пуговицы, клизма, какие-то лекарства...

Почетные грамоты и благодарности, изукрашенные на все лады красными знаменами...

Снова письма...

Я знаю, что то, что я делаю, «нехорошо», но ведь если делать только «хорошее», то все давно бы уже перемерли со скуки — это ясно. А так все же целый час прошел незаметно.

Час?

Я взглядываю на ходики — большая стрелка едва-едва проползла три цифры. Всего лишь пятнадцать минут?!

Тик-тик, тик-тик — катаются кошачьи глаза.

Мне становится по-настоящему страшно. Время налетает на меня, как густая тягучая каша, я чувствую, что задыхаюсь, тону в нем — не выплыть! Знакомая боль стягивает мне глаза и небо, и чтобы хоть как-то заглушить ее, я хватаю ножницы и начинаю стричь скатерть по краю, делаю бахрому. Вот скатерть готова — прошло еще пятнадцать минут. Хоть бы заглянул кто-нибудь из соседей за солью или спичками, хоть бы по улице проехал. Никого.

Хорошее?!

Да я готов изрезать всю одежду, разбить стекла, спа-

лить дом, лишь бы кончилась эта мука, особенный ужас которой состоит в том, что от нее нельзя даже заплакать. Есть, конечно, куча полезных дел по дому, меня бы похвалили за них, я знаю. Можно почистить картошку, наколоть щепок про запас, заткнуть щель в полу. Но что-то мешает мне сделать это. Что-то говорит, что это не спасет, что не я сам, а кто-то — мною — делает все эти полезные дела — тетки, «хорошее», только не я. Не хочу! Да и все похвалы их такие нетрудные, такие готовые, давно известно, сколько за что. Добиваться, заслуживать их — есть ли что скучнее?

Сука засасывает меня все глубже, казалось бы, в такой тоске можно схватиться за что угодно. Так нет же! Чем глубже ты погружаешься, тем крепче должна быть веревка, вытаскивающая тебя, тем острее и неожиданней игра. Пострелять из рогатки по спичечным коробкам, выстроить башню из табуреток — еще час назад это казалось мне вполне возможным, но сейчас вызывает лишь отвращение.

Я будто цепенею, скорчившись на скамейке с ножницами в руках, у меня нет сил ни встать, ни повернуть голову, ни придумать что-то — абсолютная, тупая, ноющая пустота. В зеркале перед собой я вижу лицо с осовелыми, остановившимися глазами, что-то блестящее появляется справа у виска... До меня слабо доходит звяканье, шуршание сыплющихся волос. Лишь через некоторое время, чуть повернувшись, я замечаю, что выстриг себе с правой стороны уродливую плешь. Смешно? Но я, может, и по тому шоссе ехал в состоянии, очень близком к этому. Я помню...

Впрочем, и это будет смешно для всякого, кто твердо знает, во что он будет играть завтра, и послезавтра, и через неделю, и какие замечательные игры ждут его летом, а потом и зимою, и сколько есть еще на свете игр, которых он не знает, не пробовал, но, может быть, научится когда-нибудь, и его примут: игра власти, игра охоты, игра любви, игра путешествий, игра измены, тщеславия, творчества, беседы, проповеди, игра игры — сколько их! Хватит — хватит счастливцу на всю жизнь.

Вчера, прослышав про мою историю, из соседней палаты притащился дядька в гипсовом воротнике — шо-

фер самосвала. Он подробно выпрашивал про детали аварии, ласково хлопал меня по руке, но, казалось, вся его ласковость и приветливость держались на том, что он имел возможность много раз повторить на все лады «ох, ты и дурак же парень, ну и дурак». От него я узнал, наконец, почему следователь так допытывался про задние огни «виллиса»: если я их видел, значит, счетовод уже успел выехать на шоссе, закончить поворот и начал набирать скорость. То есть в этом случае получается, что, резко затормозив, я мог бы и так избежать столкновения — не было нужды кидаться налево под налетающий молоковоз. Но я действительно не помню — какие там огни? Все было как одна мгновенная ослепляющая вспышка. Потом удар, страшная боль и — провал. Правда, может, еще вспомню — до суда-то далеко. Когда следователь попробовал заговорить о сроках, мой хирург на него только руками замахал. И хорошо. Не тянет сейчас думать про это.

Лучше про игру. Номо ludens — человек играющий.

Помню, мне приходили в голову какие-то обобщения на этот счет, когда я был на последних курсах института и впервые по-настоящему увлекся техникой. Я сам на себя тогда удивлялся: с такой жадностью накинута на книги, на технические журналы, просиживал в библиотеке часами, участвовал в конференциях, успевал за неделю то, на что раньше ушел бы семестр. Нет, я понимал, что порыв мой не Бог весть что. Он изумлял меня лишь тогда, когда я ставил его рядом с многолетними усилиями всех, кто заставлял меня учиться-работать, с тем мощным учительско-родительским хором, который всю жизнь кричал мне в уши одно: занимайся, занимайся, те, кто занимается, — хорошие, и им все будет и все простится, а тем, кто ленится, — ничего. И вот хор смолк, вернее, я вышел наконец из сферы его неистового повседневного напора, и как по волшебству со мной случилось именно то, чего он тщетно пытался добиться пятнадцать лет.

Разве не удивительно?

Был маленький и глупый, а теперь стал взрослый и умный, был ленивый, стал трудолюбивый — эти ходячие объяснения казались мне липовыми, изобретенными тем же хором. Я был я, все тот же, только раньше это мое Я было несправедливо засажено в бесправные рамки возраста, а теперь наконец несправедливость кончи-

лась. Я выпустили во взрослые, но уж кто-кто, а я-то знаю, что «маленьким» оно никогда себя не ощущало.

То же самое и с объяснением ленивый-трудолюбивый: для нас эти понятия были пустым звуком, выдуманной эксплуататоров-воспитателей, ибо мы знали и видели самых отъявленных «лентяев» в их нешкольные часы, взмокшими от тяжелой добровольной работы, с руками, перемазанными тавотом и ржавчиной, цепко сжимающими результат всех усилий — какую-нибудь железную трубку, набитую спичечными головками, все назначение которой — трахнуть со взрывом разок об стену. («То-то славный был бы треск! То-то громкий был бы плеск!»)

Нет, на свете не было ни маленьких, ни ленивых, а были лишь какие-то загадочные обстоятельства, при которых заряд, заложенный в каждом человеке и тихо тлеющий иногда до самой смерти, вдруг срабатывал, вырывался на волю. И если кому-нибудь бы пришло в голову поставить эксперимент для демонстрации этого феномена, то что могло быть нагляднее, проще и убедительней, чем наши игры у Катькиных пеньков?

Почему Катькины, никто не знал, зато всем было понятно, зачем здесь спилили липы: в пяти метрах за пеньками проходил забор колонии, с колючей проволокой наверху, и густые деревья, конечно же, могли бы помочь побегам малолетних. (Бежать им было некуда, но как же не попытаться, если тебя засадили за забор и сторожат с вышек, с ружьями и прожекторами? Конечно, они бегали время от времени, правда, недалеко.)

Игры процветали простейшие, то есть те же, наверно, что и во всем мире: прятки, колдуны, лапта круговая и с битой, пятнашки, штандарт и, конечно же, футбол — чудовищно изуродованный, в одни ворота и без аутов, но настоящим единственным мячом, который принадлежал мне и ставил меня очень высоко в мире, замыкавшемся Катькиными пеньками.

Высокое положение? Да разве оно было главным, разве спасало оно от томительной ежевечерней тревоги — а вдруг сегодня не соберутся, вдруг не с кем будет играть? И если не хватало народу для игры, разве не становился самым главным какой-нибудь шестилетний Севка, которого все окружали и умоляли сыграть, а он ни за что не соглашался, «потому что вы все бегаете швыдче и куетесь сапожищами». Что было делать? Мы послушно разувались и обещали бегать по-

тише, и лишь тогда хитрый Севка, надуваясь от важности, выходил на поле — делал нам такое одолжение.

Когда я вспоминаю этого сопливого Севку, мне невольно начинает казаться, что великие идеалы равенства и свободы нигде не воцарялись так естественно и неизбежно, как у Катькиных пеньков. Причем это не просто красивая фраза — я ничуть не преувеличиваю. Севкино с нами равенство не было придумано и потом обеспечено традицией или законом — оно вытекало естественно, рождалось каждый день заново, оно было нам необходимо. Можно ли представить себе такое нелепое понятие — «заставить играть»? (Засушить воду? Заморозить огонь?) Если бы захотели, мы могли бы угрозами или тумаками заставить Севку чесать нам пятки, ползать на четвереньках, есть муравьев, но заставить его играть мы не могли.

Играть он должен был сам. В игре он нужен был нам свободным.

Свобода была не просто необходимым условием всякой игры, она была ее духом и содержанием, она вырывалась из нас в игре, как в единственной оставленной отдушине. Не оттого ли все человечество в возрасте примерно до двенадцати лет ощущает игру как самое большое и, может быть, единственно возможное счастье, не оттого ли, что здесь, и только здесь, оно — свободно? И не пора ли переделать известный афоризм Достоевского: «Отцы и учителя, вопрошаю вас: что есть ад?.. Ад есть невозможность далее играть». И не этой ли упорной враждебностью ко всякой игре ты шаг за шагом подвигала меня...

5

Этого следовало ожидать — писание мое навлекло на себя всеобщее любопытство и подозрительность. (Чего это он там строчит с утра до вечера? Ишь ты... Надо бы с ним разобраться.) С тех пор, как стало ясно, что я выкарабкаюсь, мое упорное отмалчивание начало заметно тяготить всех. А уж писание... Молчит и пишет!

Я давно замечал, что присутствие молчаливого наблюдателя всегда оказывает необычайно гнетущее действие на людей, занятых одним делом, даже если дело то все — праздные больничные разговоры. Это какая-

то раздражительная неприязнь, легко переходящая в ненависть к свидетелю-неучастнику, — не доказывает ли она, что в каждом живет необъяснимое предощущение Суда и надежда, что оправдаться на нем можно будет простейшим «как все, так и я»? И если не все, если остался кто-то в стороне, кто-то не вовлеченный — о, такому мы не прощаем.

Среди лечащего персонала тоже возникла тревога — видимо, решили, что я пишу бесконечную жалобу-донос. Снова приходила «психичка», кокетливая толстая дама, поминутно сдвигающая шапочку на лоб, чтобы прикрыть седину в корнях крашенных волос. Она хитро наводила разговор на мои записки, я, боясь, как бы их не отобрали у меня совсем во время сна, показал ей несколько страниц. Это успокоило ее, но, с другой стороны, кажется, и огорчило. Видимо, она где-то уже вписала свою версию о психическом состоянии человека, жалеющего, что остался жив, и то, что она прочла, как-то не совпало с диагнозом. Так или иначе, меня оставили в покое, даже принесли из канцелярии хорошей бумаги (вот этой самой).

...Что же было дальше? Война кончилась, да, мы вернулись в город, в тот же дом и ту же квартиру, тетки получили работу более или менее по специальности, я начал ходить в городскую школу (слава Богу, не ту, где преподавали они), у меня появились новые приятели, новые игры спасали меня от приступов все той же скуки, но главное — главное было не это. Не грохот и пестрота большого города, не кино, не эскимо на палочке, не поток машин и запах сгоревшего бензина — первые в моей жизни *люди, которых страшно*, вот что было самым новым и ошеломляющим для меня. Ведь малолетние преступники за колючей проволокой, немцы, которых я увидел только после войны на строительных лесах, под охраной часовых, мифические грабители из Тетулиных рассказов не имели ко мне никакого отношения, ничем мне не угрожали. Но эти, могущие появиться в любую минуту, из-за любого угла, в своих натянутых на глаза кепочках, готовые сделать с тобой что угодно и тут же исчезнуть — эти были неотъемлемым и реальным кошмаром новой жизни.

Вырваться, плакать, кричать, звать на помощь?

Да им, казалось, только этого было и надо.

Спрятаться, исчезнуть?

Но куда?

Я оказался вдруг тем, кого принято называть дворцовым, уличным мальчишкой, и хотя это не значило ничего другого, кроме того, что мне, за невозможностью запереть меня в четырех стенах, разрешено было ходить во двор и на улицу,— все опасности, вся жестокость и зыбкость этой жизни, которые лишь смутно мерещились родительским умам, а нам представлялись самым нормальным порядком вещей, стали надолго моим миром.

Нет, нехорошо.

В том, что я написал сейчас, есть какая-то претензия на страшность, на запугивание. Я не о том. Один удар поленом, сломавший мне хрящ в носу, и один глубокий порез — бритвой по шее — вот и все мои серьезные дела за пять лет. Конечно, это немного. Были, разумеется, десятки мелких стычек, было кулаком в живот и палкой по голове, были железные рогаточные скобки, впивавшиеся где-то неподалеку от глаз, и коричневые ожоги от спичек, сунутых за шиворот, и падение с дворовых поленниц, и пинки коньком, и ученическая ручка со знаменитым 86-м пером, воткнутая в мякоть ноги, и прочее, и прочее. Но с кем этого не было? Именно нормальность, естественность всего этого в наших глазах — вот о чем стоило бы поразмыслить сейчас из своей больничной безопасности.

Неважно, что сам я не носил в кармане ножа, не воровал, не насиловал, даже не выпивал до поры до времени. Во мне жила глубокая убежденность, что я не делаю этого только из-за страха расплаты, из собственного ничтожества, а если бы хватило духу, так делал бы — наверняка. Что же еще как не страх может удерживать человека от всех этих замечательных подвигов, дающих такую власть, такой ореол? Ведь не родительско-школьное же хорошо-плохо, воспитанный-грубый. Смешно!

Именно школа и была чем-то ненормальным, насильственным, тяжким, не дающим ни шелки, ни просвета. Да, ее стены огораживали и защищали тебя от всех угроз, но так же могли защитить бы и стены тюрьмы. Двор же, а особенно улица, казалось, были населены существами хотя и страшными, дикими и бессмысленно свирепыми, но зато такими упоительно свободными, что не желать сделаться одним из них, таким же сильным, таким же свирепым, с такими же фиксами и окурками в зубах, с походочкой, сутулой спиной и руками в карманах, жить среди них, упиваться их свободой — нет,

невозможно было не мечтать об этом. Они возникали из темноты подворотен и парадных, вдруг пронеслись с гиком и свистом, недостижимые, неизвестно где живущие, вольные пираты, наводящие ужас на всех вокруг. Это было страшно, очень страшно, именно ты мог оказаться жертвой их дикого налета, но все равно! Ужас лишь придавал нашему восхищению особую неповторимость, ни с чем не сравнимый трепет.

Знать кого-нибудь из главных героев хотя бы по имени, чтобы когда-нибудь предупредить его об опасности криком: «Артем, атанда!» — это одно уже представлялось необычайным счастьем. И Артем, который был всего лишь профессиональный вор из бездарных, и Шурик-Фимоза, законченный подонок пятнадцати лет, и его приятель Косой, по малейшему знаку Шурика бывший человека сапогом в пах, и все остальные в том же роде представлялись нам, мелкой уличной сошке, черни, совершенно легендарными личностями. Разве мог кто-нибудь из взросло-родительского мира сравниться с ними?

Может, они, взрослые, и были где-то там значительными людьми, даже героями — войны, труда, спорта, науки, — чего еще? — но мы не видели этого. К нам они всегда оборачивались одной и той же воспитательно-удерживающей стороной, заговаривали с нами лишь для того, чтобы что-нибудь запретить, обругать, остановить, и оттого все были на одно лицо — неинтересны. Даже если кто-нибудь из них, спеша по своим делам, вдруг вмешивался в нашу жизнь и в последний момент удерживал занесенную руку Артема или даже разгонял всю шайку, он не казался нам сильнее их. Мы воспринимали его просто как счастливое, но малоодушевленное обстоятельство, как какое-то дерево, за которое на этот раз посчастливилось спрятаться, как порыв ветра, помешавший стервятникам взять верный прицел — не больше. Всем было ясно, что он уйдет, а эти останутся, и вместе с ними останется в сердце то противное, щемящее трепыхание, колеблющееся между ужасом (когда они рядом) и преклонением (когда они далеко).

Кто не жил так, тот может по моим запискам подумать, будто весь культ насилия и жестокости держался только на нескольких злых гениях, на их дурном влиянии. В действительности же они были лишь на самом верху бесконечной лестницы, невидимой иерархической системы, выстроенной в душах по единственному прин-

ципу: кто кого? «Я его или он меня?» — таков был единственный смысл оценивающих взглядов, которыми обменивались двое незнакомых подростков, проходя друг мимо друга в уличной давке. В установившихся же кланах, в дворовых компаниях или шайках каждый довольно быстро занимал какую-то ступень в неписаной табели о рангах, и впоследствии надо было совершить нечто невероятное, да и не один раз, чтобы перейти с одной ступени на другую.

Отношения эти были точная копия тех, которые описывают натуралисты, наблюдавшие многие годы стадных животных, например буйволов, моржей, даже домашних куриц, с их обязательным и строгим разграничением особей на альфа, стоящих непосредственно рядом с вожаком, бета, гамма и так далее, вплоть до жалкого, забитого и всеми презируемого омега. Причем так же, как там, драки и соперничество могли возникнуть лишь между близстоящими, дальние же и не пытались перешагнуть разделявшую их пропасть. Японские ученые, четыре года пролежавшие с биноклями в руках на холмах, под которыми жила стая обезьян, очень красочно описывают то неуловимое, едва обнажающее клык движение верхней губы альфа-макаки, которого было вполне достаточно, чтобы несчастный омега отскочил, как ужаленый, и с таким видом, будто вовсе не он только что подкрадывался к банановому объедку, валявшемуся неподалеку от альфы.

Так и на нас едва слышное цыканье Артема производило впечатление выстрела. Если же он когда-нибудь и не ленился дать нам затрещину, то она не воспринималась как обида и несправедливость, а была лишь конкретным проявлением общего порядка вещей и могла оставить какой-то след на затылке, но не в сердце. Зато малейшая насмешка того, кого ты считал равней себе, малейшее покушение на твои права или собственность вызывали в душе такую бурю возмущения, такую злобу, что каждый готов был скорее драться в кровь с утра до вечера, чем уступить какой-нибудь грязный аптечный пузырек, или бумажную птичку, или еще какую дрянь, олицетворявшую для него в данный момент богатство.

Даже у самых забитых и сопливых был неуловимый предел обид и унижений, ниже которого они ни за что не желали опускаться. Каждый, наверно, видел хоть раз в своей жизни эти непонятные и трогательные сцены,

когда здоровый верзила пятится перед взъерошенным, окрысившимся существом, смущенно убирая в карман тюбик зубной пасты, который он собирался выдавить ему в ноздри или еще как-нибудь пошутить в этом роде. И пожалуй, именно эта бесконечная, ежедневная и ежечасная борьба, это отчаянное отстаивание самого себя и было главным наполнением жизни каждого, и моей в том числе — я не был исключением. Да, конечно, все мы ходили в школу, участвовали в драматических, спортивных и фотокружках, сажали деревья, собирали металлолом, мотались строем по театрам, учили уроки, даже огорчались или радовались отметкам, но сердце — сердце всерьез волновалось только там, в той борьбе.

6

Все же поразительно не то, что эта дамочка нашла тебя — адрес узнать не проблема, — а то, что почуяла: из нас двоих идти надо именно к тебе. Или это следовательно ее навел? Если он со счетоводом действительно стакнулся, то жене его вполне мог посоветовать надавить на жалость. И на кого лучше давить — тоже мог подсказать.

Не могу передать, какой тяжелый осадок остался у меня на душе после твоего ухода. Да, ты старалась рассказывать посуше, почти равнодушно, но я-то видел, как тебя проняло. Неужели ты не понимаешь, что все эти трогательные истории про больную дочь, запутавшегося сына, беспомощных стариков-родителей, единственного кормильца — все сочиняются в твердой уверенности: ни ты, ни я не поедем их проверять? Что понастоящему эти люди хотели бы от нас только одного: чтобы я отправился на тот свет, а уж без меня, без единственного свидетеля, они бы обстряпали судебную комедию как им надо. И счетовод снова смог бы гонять после пьянок на казенном «виллисе», развозя начальство и давя заезжих лопухов вроде меня. Как ты могла слушать ее, пускать в дом, приглашать к столу? Я не знаю, любишь ли ты еще меня, но знаю, что, по крайней мере, сердце-то у тебя болит за меня, как и раньше, если не больше. Так почему же ты во всех моих стычках и счетах с окружающим миром как-то невольно тянешься принять не мою сторону? И даже сейчас, в этой истории, где все так ясно...

Нет, лучше назад, назад, назад.

Среди всего хаоса воспоминаний, обрывочных картин и отголосков волнений тех послевоенных лет я пытаюсь сейчас выделить три основных направления, три периода или три пути к вожделенной победе, которые я вслепую, постепенно нащупывал тогда и, напрягая все силы, кидался на завоевание того призрачного Нечто, которое я лишь сейчас, с сознанием всей условности и оговорками, решился именовать — свободой.

Бороться собственными кулаками и смелостью — вот что казалось мне самым естественным и единственно возможным на первых порах.

Кажется, я был довольно здоров для своих лет, прекрасно, хотя и против воли, откормлен — не помню, чтобы я когда-нибудь чувствовал себя заморышем среди сверстников. Наоборот, теткам довольно часто жаловались на меня за то, что я кому-то поставил синяк, вывернул руку, сбросил с дерева. Был даже анекдотический случай, когда я, выбегая из подворотни, столкнулся лоб в лоб с кем-то из дворовых, едва заметил это и побежал дальше, а вечером его мамаша устроила у нас дикий скандал, уверяя, что ее сынок лежит с сотрясением мозга.

— Изверги! — кричала она на кухне. — У вашего Ромки башка чугунная. С такой башкой надо взаперти держать. Ведь он убить может!

Если б дома была Тетирина, которая тоже всегда брала не мою сторону, мне наверняка был бы устроен разнос. Тетуля же лишь вбежала в комнату, быстро оглядела мою «чугунную башку» и, убедившись, что она никак не пострадала, погладила несколько раз с какой-то смесью облегчения и гордости.

Возможно, что для кого-то я был такой же грозой и героем, как для меня Артем или Косой. Но что мне было за дело до тех, стоявших внизу? Я так же не замечал ни их, ни побед над ними, как те, верхние, не замечали меня. Вырасти наконец, стать еще сильнее, еще грознее, добиться, чтобы уже никого не оставалось надо мной, — вот была моя постоянная мечта.

И я боролся за нее.

Я занимался во всех, каких можно было, спортивных кружках, боксом, гимнастикой, борьбой, я поднимал утюги, отжимался на руках от пола, приседал на одной ноге. Каждый вечер, засыпая, я пробовал свои мускулы и радовался ноющей боли в них. Как я мечтал о

том дне, когда, встретясь с Косым, я не перейду на другую сторону улицы, а пойду прямо на него и, если он что-нибудь сделает мне, схвачу и буду бить его, бить, бить, бить... Он снился мне, но во сне все было по-другому: он шел на меня, а я не мог двинуть ватными руками, пытался бежать, а ноги не слушались — я просыпался в поту.

Эта смесь ужаса и ненависти к Косому, именно к нему, была тем тягостнее, что я уже и тогда видел: он никак не сильнее меня. Его власть и ореол представлялись мне загадочными. Казалось, он чувствовал за собой какую-то страшную силу, когда с такой безоглядностью пускал в дело нож, гасил окурок о чью-то ладонь, плевал в лицо, даже если рядом не было никого из его покровителей. Он не боялся никого и ничего — вот в чем секрет, думал я. А я? В глубине души я считал себя трусом. Разве не я первым удрал с крыши, когда появились дворники? А с подножки кто прыгает, наоборот, последним, когда трамвай уже почти стоит? А история с сорванной ушанкой, которую я даже не попытался отнять у воров?

Но все эти случаи и сознание собственной трусости так терзали меня, это была такая острая, казнящая ежечасно тоска, что постепенно я сделался каким-то храбрецом от отчаяния, от *страха страха*. Стоило мелькнуть подозрению, что я боюсь, и я кидался вперед — пусть будет, что будет, лишь бы не казнитья потом.

Помню какой-то эпизод, когда я шел по незнакомой улице, шел задумавшись, в неясных книжно-картинных мечтах, и уже видел себя вооруженным всадником неясной эпохи, под взглядом той, что жила на втором этаже окнами во двор, и уже сочинял за нее какие-то слашаво-нежные слова,— в этот момент мокрый ком снега разлетелся на моей щеке.

Боль, обида, разбитые мечты — все это я стерпел бы и проглотил, потому что их было четверо, все ростом с меня и чужие — никто не узнал бы о проглоченном оскорблении. Но я-то — я ведь буду знать?! И каждый раз при взгляде на окна второго этажа вместо сладкого тающего чувства в груди буду испытывать лишь тоску и отвращение к себе? Нет, только не это — ни за что!

Я бросился на них так, будто боялся передумать, растерять это свое «ни за что» в трезвых подсчетах (четверо на одного, и еще неизвестно, что у них в карманах и на что они способны). Я выбрал одного,

с отвисшей губой, смеявшегося наглее всех (наверно, он и кидал), я чувствовал, что успею обманно замахнуться, а потом ударить его ногой, прежде чем меня перехватят и повалят на мерзлый асфальт и начнут пинать и топтать.

Их лица стремительно выростали передо мной — да, сейчас! вот!

Еще два прыжка — ну!

И тут они кинулись от меня врассыпную.

По инерции я еще погнался за тем вислогубым, но он быстро юркнул во двор и исчез там среди дров и сараев. Я с чистой совестью мог не искать его в этом лабиринте.

Победа!

Они бежали — четверо от одного. И я смогу по-прежнему смотреть в те окна на втором этаже, и во все другие, какие ждут меня в жизни. Как хорошо!

Несколько подобных историй, случившихся во дворе и в классе, создали мне довольно приличную репутацию психованного, с которым надо держаться поосторожней. Но смутное беспокойство не оставляло меня. Страх мой не только не исчез, но сделался еще мучительнее с тех пор, как я перестал оставлять себе лазейки. Я словно бы взвалил на себя эту тяжкую обязанность быть смелым во что бы то ни стало, которая была мне не по силам. Чего-то не было внутри, чего-то недоставало — но чего? Жестокости?

Вряд ли.

Над своим школьным дружкой Гинкелем я измывался так зло и подло, что до сих пор не могу вспоминать об этом без искреннего стыда и отвращения к себе. Бедный Гинкель! Он так смешно пыхтел и взвивался, если ему стреляли в зад из рогатки, или выдергивали из-под него стул, или поджигали бахрому на брюках, что удержаться не было никакой возможности. Мы сидели с ним за одной партой, я давал ему списывать все, что мог, решал за него задачи на контрольных, но вдруг что-то находило на меня — я незаметно поднимал ногу на скамью и, распрямляя, резким движением спихивал его в проход.

Как он потешно грозился, как брызгал слюной, сидя на полу.

Да, я часто и защищал его. Криком «Гинкеля бьют!» меня можно было оторвать от любой игры и заставить бежать в другой конец школьного коридора расшвы-

ривать обидчиков. Но, честно говоря, сейчас мне это не кажется ни подвигом, ни благородством. Просто меня возмущало, что кто-то пытается нарушить мою монополию на битые Гинкеля. Я защищал, наверно, не столько его, сколько свои на него «права». Так что вообразить себя миролюбивым добряком, связанным по рукам и ногам исключительно состраданием к ближнему, я, конечно, не мог — мне и слова-то такие едва ли были знакомы. Нет, чего уж! Собственное ничтожество — вот единственная причина, мешавшая мне задавить наконец свой постыдный страх.

7

«Как ты будешь жить, каждую секунду помня, что из-за тебя сидит человек?» — спросила ты.

Родная моя, давай уж по-честному. Ты же знаешь, что вопрос должен звучать совсем по-другому: «Как ты будешь жить дальше с человеком, помня, что из-за него кто-то сидит?»

Если бы я оказался парализованным или хотя бы остался без ног — тогда да, тогда бы ты, может, примирилась с тем, что кому-то придется за это платить. Страдание, боль — это, кажется, единственная твердая валюта в системе твоих оценок. Помнишь, прошлым летом в саду ты велела Толику пропустить без очереди на качели какую-то девчонку только потому, что та начала реветь и скандалить? Он и через неделю вспоминал: «Папа, разве так — справедливо?» Что я мог сказать ему? Что наша мама не понимает справедливости, а понимает только одно: кому больнее? Что так она по-своему пытается противиться миру, считающемуся лишь с «кто сильнее»? И что всем, кто живет рядом с ней, надо приготовиться это терпеть, ибо ее не переделаешь?

Впрочем, в боли действительно есть какая-то однозначность и определенность, помогающая порой обрести точку опоры. Разве не так же обстояло дело со страхом, мучившим меня в детские годы? Казалось, будто он внутри себя содержит спасение, некий предел, дальше которого уже не было сил терпеть, так что любая самоубийственная схватка начинала представляться избавлением. Пусть погибельным, пусть навсегда — но избавлением. Предупреждающая и охранительная боль страха, заложенная в меня без моего согласия, она

зарождалась в животной сердцевине моего существа, широкой волной заливала грудь и чресла, тонкие иглы ее стремительно протягивались к глазам, к коленям, к плечам и локтям, и когда все тело оказывалось пронизанным этой нестерпимой болью, которая требовала только одного — «бежать! бежать!», ее поток наталкивался на что-то непонятное, неживотное, на какую-то стену по имени *нет*, отбрасывавшую мою измученную плоть именно туда, на самое острие опасности.

Надо сказать, однако, что Косой, бывший для меня воплощением всего самого чудовищного и бесчеловечно-страшного, на свое несчастье ничего об этом не знал и вряд ли даже вообще замечал меня. Я не был членом ни одной из известных ему шаек, он не знал никого из значительных *людей*, то есть воров, кто бы *держал за меня мазу*, — обыкновенный баклан, вот кто я был в его несложном, лишенном оттенков представлении. Бакланы — не люди, бакланов можно и нужно бить — в этом он был, конечно, убежден. Но ведь бакланов так много, что каждого бить — никакой жизни не хватит. Если подвернется под руку или сунется куда не надо, тогда, конечно, с нашим удовольствием. Но бить так, ни с того ни с сего, без зрителей и поддержки, да еще такого, который может брыкаться? Есть дела и поважнее.

А в тот злосчастный день он был настроен и вовсе благодушно. Было тепло, солнечно, деревья в садике, по которому он слонялся, по-деревенски мирно зеленели, колбаса, приташенная очередным подлипалой, выпускала во рту вкусносоленый сок, и сам садик и все прилегающие к нему улицы были именно тем местом, где его шайка держала верха. Это была вотчина, где он давно уже не сталкивался ни с чем, похожим на сопротивление, — весь его вид, лицо и походка выражали полную расслабленность и смакование радостей жизни.

Откуда ж ему было знать, что незнакомый хмырь на дальней скамейке давно заметил его и сейчас, с каждым его шагом, наливается липким тошнотворным страхом? Откуда ему было знать, что существо, сидящее рядом с хмырем, за прыщавым долгоносим личиком, под пышными, стянутыми лентой волосами прячет редкостную даже для девчонки тринадцати лет способность к презрению и насмешке, столь нелепо притягательную для всех бакланов? И где уж ему было сообразить, плюхаясь на ту же скамейку, что именно такие девчонки, как

никто, подпирают загадочную стену *нет* в душах всех психованных?

Ведь он не задирает никого, не трогал, даже не глядел в их сторону. Он просто рассказывал дружку, как славно погуляли вчера, и кто сколько пил, и кто кому вмазал, и как одна чувиха ползала под столом, озоруя с ширинками, и как блевали через окно на улицу. Что ж с того, что у него между двумя словами, имевшими какой-то смысл, помещалось пять-шесть бессмысленно матерных? Так все говорят, все люди. И подлипала его вполне понимает — слушает, завистливо раскрыв рот и не решаясь присесть.

Наверно, он от души изумился, когда я дернул его за рукав и велел замолчать.

Он ответил мне длинной тирадой, в которой уже не было ни одного человеческого слова, но смысл которой был, увы, мне вполне понятен. Существо, столь скорое на презрение, покрылось новыми прыщами, вскочило на ноги, стало умолять меня уйти и не связываться (конечно, лишь для того, чтобы презирать меня потом с полным правом). Но было уже поздно. Иглы страха достигли во мне кончиков пальцев, я весь превратился в комок невыносимой боли, и спасение от нее было лишь одно. Нога моя, почти без моей воли, привычным приемом поднялась на скамейку, распрямилась, и мой косяглазый кошмар, мое чудовище с непрожеванной колбасой во рту самым жалким образом брякнулось на землю.

Тотчас мы оба вскочили и замерли друг против друга, злобно шипя, стискивая кулаки. Ошеломленный столь беспримерной наглостью, он осыпал меня громкими угрозами, озирался в поисках дружков; он был так растерян, что забыл сделать то единственное, что должен был и чего я так ждал и боялся, — вложить в рот два пальца и свистнуть. Для меня это был бы конец, потому что я уже был не в состоянии отступить, удрать, сколько бы их ни набежало на его свист. Но он то ли одурел от злости, то ли не было у него больше сил выносить это зрелище — меня, живого и невредимого. Рука его на секунду исчезла в кармане и тут же ринулась к моему животу. Я даже не успел разглядеть, что у него там зажато. Если что и спасло меня в тот момент, так это безжалостность нашего зануды-тренера. Я никогда не был в числе его лучших учеников, но тот, видать, и вовсе ничему не учился — так глупо он нарвался.

Впрочем, я не помню точно, как все произошло.

Я не соображал, что делаю, как в ночных видениях, не чувствовал своих рук, но, судя по всему, они не были ватными: он охнул и пошел от меня, шатаясь, задирая кверху лицо, подхватывая в горсть льющуюся из носа кровь.

Только теперь я увидел, что зажато у него в руке,— довольно длинное шило, а может, шприц (такая была мода тогда). Он шел от меня по дорожке, подвывая, цепляя нога за ногу, поддерживаемый испуганным насмерть подлипалой, а я глядел ему вслед, все еще не веря, потирая ободранные костяшки пальцев и задыхаясь — задыхаясь от незнакомого, непереносимого торжества, волнами заливавшего мне грудь, от изумления и счастья победы, от гордости, от тщеславия, даже какая-то нежность и жалость была во мне к этому окровавленному мною ничтожному Косому, даже я чувствовал какую-то правоту лентоволосого существа, глядевшего на меня с ужасом и отвращением.

Но был ли я счастлив, чувствовал ли хотя бы себя героем в последующие дни?

Нет.

Скорее, обреченным.

Я ходил в постоянной задумчивости, говорил неохотно и не то чтобы боялся, но постоянно ждал — ждал расплаты, как чего-то неизбежного. Я ждал, отпирая дверь и выходя на лестницу, ждал, стоя на остановке трамвая, ждал, покупая билет в кино, катаясь на лодке, разговаривая на улице с приятелем,— вся жизнь была пронизана уныло-спокойным, безнадежным ожиданием.

Так прошел месяц, потом другой, и именно тогда, когда я начал потихоньку надеяться, что все забылось, они и накрыли меня. Двор был темный, чужой, их собралось человек пять, видно, наспех, не сговорившись как следует,— они успели только несколько раз ударить меня, но не повалили, я вырвался, сшиб кого-то, потом несся по улице, петлял. Какая-то женщина долго кричала мне вслед: «Мальчик, остановись! Мальчик, стой!» Я удрал и от нее, но что-то странно-жалостное в ее голосе задело меня, да и ноги подкашивались. Я остановился и машинально потер на шее, где болело — такая длинная, щиплющая полоса. Ладонь моя сразу намочилась, мокрая рубашка неприятно холодила спину, и пом-

ню, что у меня мелькнуло — нет, не может быть, чтобы это была кровь.

«Когда же они успели?»

Было страшно идти домой, отвечать там на расспросы, но и оставаться было страшно, они могли в любой момент появиться снова, и я чувствовал себя беспомощным от боли. Мне казалось, что я как раненый уже вправе ничего не делать, не напрягаться больше, что можно лечь посреди улицы, и тогда придут и сделают с тобой все нужное и спасительное другие — все эти санитары, милиционеры, врачи. Никто не приходил, я долго плелся один в малознакомых переулках, зажав рукой расходящиеся края раны на шее, кажется, плакал, но не от боли, а от жалости к себе и от обиды, что не приходят.

Со смутной мыслью о бинте вошел в какую-то аптеку, стал в очередь в кассу (это тоже тянулось очень долго), потом кто-то вскрикнул за моей спиной, меня подхватили под руки, усадили, забегали вокруг, и только тогда я будто перестал удерживать себя и с блаженно-кружащимся, расслабленным ощущением провалился наконец в глубокий обморок.

8

О, проклятая страсть к порядку и разграфленности! Она толкает меня сейчас под руку и манит, быстренько описав ужас теток, изумление хирурга, втолковывающего им чудесную невероятность того, что я остался жив и даже не искалечен, долгое валяние в больнице с постепенным утоньшением слоя бинтов на горле, — сделать плавненький переход и написать: «Вот так я потерпел поражение в борьбе собственной силой и смелостью и перешел к следующему виду борьбы — неписаным законом и моралью».

Увы, это будет явная ложь. (Зато какой порядок.)

Я боролся и так и эдак, на все лады, всегда, сколько помню себя. То, что я называю следующим видом, путем, нащупывалось мною даже гораздо раньше. Ибо это годилось уже с самыми первыми угнетателями — с тетками и учителями. Ведь «не лги, не бери чужого, выполняй обещанное, не обижай маленьких» и тому подобное подносилось мне поначалу как некий закон,

действительный для всех людей, а значит, и для них самих, для тогдашних моих властителей.

Это нравилось мне необычайно.

Казалось, это давало и мне какую-то, пусть призрачную, но все же власть над ними. Разумеется, я очень скоро увидел, сколь хлипки эти заповеди, как легко мои домашние и школьные законодатели нарушают их, обманывают меня, отнимают, что хотят, не выполняют обещанного и не краснеют, уличенные, а на все находят ловкие объяснения, общий смысл которых — «нам можно, а тебе нельзя». Хорош закон!

Есть что-то особенное в том выражении отчаянной скуки и осовелости, которое появляется на лице всякого подростка при разговорах на моральные темы. Но смею уверить, это не от безразличия к самому вопросу, а лишь от ясного опыта всей жизни, который говорит ему: вранье. Опять надуют.

Сама же идея Закона, строгого кодекса чести, все заповеди которого оплачиваются на его глазах «кровью», воспринимается им с самым горячим интересом, почти со страстью. «Не выдавать! Око за око! Все за одного, один за всех!» и что там еще пишут на своих невидимых знаменах миллионы уличных шаек во всем мире — это влечет к себе сердца неудержимо, именно потому что это Закон: пусть куцый, пусть нелепый, но зато не изолганный, выполнимый и выполняемый, требующий жертв, но дающий и защиту, — Закон. Подчиниться не главарю, не Шурику-Фимозе, а Закону, то есть чему-то высшему, над всеми царящему, обнимающему тебя вместе со всеми и наделяющему сладостным удесятеренным могуществом, — чего не отдашь, чем не пожертвуешь за такое?!

И я — я тоже мечтал быть *принятым*, но мечтал как-то отдаленно, в полусне. Мне представлялось нереальное, наваянное мушкетерскими историями братство, и сердце заранее таяло, когда я рисовал себе, как они узнают меня по какому-то очередному благородству, хлопают по плечу и зовут с собой, на свои таинственно-прекрасные дела, а я благодарно, но с достоинством соглашаюсь... Ах, я заранее готов был умереть за каждого из них в отдельности! Но их все не было и не было, а то, что было, — Шурик, Артем, Косой, все наши «братишки» — с ними я не мог ни за что.

Да почему же? — спрашиваю я себя сейчас. — Что мешало-то? Ведь в конце концов...

Но стоп — я заранее вижу, как ты морщишься в этом месте и начинаешь презрительно трясти головой. Ибо теперь, вспоминая, я начинаю понимать, на чем спотыкались все мои рассказы о жизни до тебя: ты как бы отмахивалась от всего, что эту жизнь оправдывало. Нет, не то чтобы ты заранее вынесла мне обвинительный приговор (да и было ли обвинение?), но тебе почему-то «свидетельские показания защиты» (моей ли, своей ли собственной) всегда были неинтересны, вызывали только скуку и раздражение.

Должно быть, и я как-то заразился этим от тебя, потому что сейчас вдруг пожалел: зачем не начал эти записки в третьем лице. Насколько было бы легче сказать: он (а не я) ничего не мог поделаться с отвращением, которое в нем вызывали люди и их подлипалы; ему были противны их разговоры, их шуточки, их запах, их сиплость, смех — всё; он не мог заслужить их доверие, потому что для этого надо было не просто решиться разрезать прохожему сзади пальто, отнять у ребенка велосипед, разбить окно, проткнуть шину автомобиля, но проделывать все это с удовольствием, с убежденностью. Он пытался, но не мог; он ненавидел, презирал и боялся их, но и завидовал их могуществу; и еще он искал другой Закон, вернее, не искал, а лепил его собою, своим выполнением его (неведомого) ценою боли и страха, ради одной только надежды.

О, как это было трудно! Как труден был, например, закон «стань на сторону слабого». Какие они были чаще всего противные и жалкие, эти слабые, какие неблагоприятные. Как мучило каждый раз сомнение: да исполняет ли кто-нибудь, кроме тебя, этот закон, вступятся ли за тебя в свою очередь.

А закон «не бери чужого, даже если никто не увидит»?

Ведь у тебя-то берут все и всё, нельзя резинку оставить на парте, не говоря о завтраке, чтобы их тут же не свистнули; украдут все что угодно, даже ненужное, украдут ли из принципа, из поголовной убежденности, что не красть — глупо. А ты один — против? Да ради чего? И так день за днем, месяц за месяцем, все в одиночку, не встречая ни одного похожего, а только надеясь, что где-то есть они, должны быть те, с которыми и ты, наконец, оплеться Законом своим в счастливое и могучее братство. И только ради этой надежды все терпеть и сносить — такому малявке, несмышленишу?

Откуда у него силы брались? (У него, у него — не у меня же.)

Здесь, пожалуй, самое время рассказать о том, что значило для меня тогда (да и потом тоже) — Все. Быть со всеми, для всех, как можно больше всех, быть Мы — это было у меня чуть ли не самой глубокой страстью, тайной конечной целью всех усилий и увлечений, смыслом всего. И самым фантастическим образом эта страсть и увлеченность уживались с другой, столь же постоянной и неуничтожимой потребностью — ни за что не быть как все.

Как это переплеталось и уживалось в одном существе — до сих пор для меня загадка. Причем жизнь давала одно поприще, полигон, на котором всех было, с одной стороны, довольно, чтобы чувствовать себя счастливым в их гуще, но, с другой, не настолько много, чтобы затеряться и лишиться зрителей, способных оценить, насколько ты не как все. Каждому, должно быть, знакомо это поприще, каждый хоть раз побывал там: детские летние лагеря, пионерские — всего лишь их я имею в виду.

Бьет-ба-ра-бан! бьет-ба-ра-бан!

Левой!.. Левой!.. Ноги в сандалиях и тапках враз ударяют по асфальту шоссе, развевается знамя. Из окна поселка, из калиток глазают люди. Мы не смотрим на них, но знаем: они ошеломлены, они полны зависти и восхищения. Жалкие, бедные людишки! Они не идут с нами, в наших красно-белых рядах, их ноги не топают дружно и разом, сердце не вздрагивает от восторга единства и силы; они вообще нужны лишь для контраста, как граница, как берега для нашего могучего и неудержимого Мы.

Какое счастье быть Мы!

Спереди, сзади, справа и слева: не Севка-ябеда, не Парамон-охломон, не Рафаил-мышей-давил — нет, все неузнаваемо преображенные, прекрасно неразличимые Мы. А длинная фигура там во главе, рядом со знаменем и барабаном — не садист и председатель-надсмотрщик Козел, а наш — наш Славик, Славик Козлюченко! Куры разбегаются, собаки лезут на заборы, машины притормаживают. И вот голова отряда упруго изгибается — правое плечо вперед! — наш горнист присоединяется к нашему барабану, звуки нашей трубы охлестывают наше Мы еще теснее и слаще, и оно вливается под

синюю арку ворот, под еловые ветки — в чужой соседний лагерь.

Там-та-ра-рам! Там-та-ра-рам!

Мы движемся мимо замерших рядов чужого Мы, и нам уже нечем дышать от гордого волнения. Да, вот оно! Вот что нужно, чтобы испытать настоящее счастье Мы. Не жалкие старухи в окнах и калитках, не куры и машины, уступающие нам дорогу, — нужно такое же единое, могучее и грозное чужое Мы.

Они и Мы, Мы и Они, лицом к лицу, в замерших рядах.

И даже когда мы рассыпаемся потом по их лагерю, знакомимся друг с другом, затеваем какие-то общие дела и развлечения, грозная тень нашего Мы остается у каждого за плечами, она приподнимает нас, окружает ореолом, мы почти парим над землей — кажется, что жизнь сама по себе недостаточная цена за такое блаженство. И то, что вырастает потом в душе каждого, это не вера, не преданность. Мы — это сокровеннейшее чувство и убеждение, почти инстинкт, который в ответ на вопрос: «что может быть на свете страшнее всего?» — дает ясный и немедленный ответ: «быть выброшенным из всех и всяческих Мы».

Но, может быть, я опять зарвался? Может, достаточно было бы сказать: барабанно-песенно-строевой репертуар идейного воспитания юных пионеров сработал на мне безотказно? Может, нельзя с таким апломбом выдавать искусственно взвинченный во мне конформизм за общечеловеческое свойство? Где это видано, чтобы за Мы расплачивались жизнью? То есть, конечно, да, такие случаи известны: те, кто молчали под пытками ради Мы партийно-идейного, или те, кто умирал на дуэлях, чтобы остаться в Мы дворянско-офицерском, и те, кто гнил в тюрьмах ради Мы воровского. Но ведь это все исключения, это редкость. А то большинство, которое столь точно принято называть «подавляющим»? С какой легкостью оно лжет, изменяет, как упорно отказывается платить малейшим неудобством за моральные заповеди человеческого Мы, с какой готовностью отгораживается заборами и замками, твоим и моим, жадностью и бессердечием. Какое уж тут Мы!

Так нет же, нет — я настаиваю. Я вижу и в них ту же страстную безотчетную жажду Мы, только другую — неморальную, я вижу и узнаю ее в тысяче мелких примет, в том, как они тянутся одинаково одеваться,

одинаково говорить, одинаково думать и верить в одно и то же, в их дружной ненависти ко всему непохожему, доходившей на моих глазах до распарывания узких брюк и отрезания длинных волос, в спокойной уверенности, с которой они всегда жгли инаковерующих и инакомыслящих, в их особом таланте не видеть, не знать, в легкости, с которой они отбрасывали все доводы разума, если те грозили вырвать их из привычного, обжитого Мы, даже в мужестве, с которым умирали на войне за Мы немецкое и французское, русское или польское, сербское или японское. И не в этом ли была главная трудность, главный искус для первых, самых-самых первых христиан-иудеев: отказаться от гордого и зримого Мы-еврей ради расплывчатого Мы всех людей? Ведь многие из них и Христа слушали и боготворили лишь до тех пор, пока он не объявил их национальное Мы куцом и недостаточным, не противопоставил ему Мы все люди, равные перед Богом. Но раз нашлись такие, раз взяли свой крест и пошли за ним...

Невозможно. Если я и дальше буду так растекаться по дереву, мне не хватит и трех полных жизней, чтобы понять одну свою — на этот раз мне возвращенную. (Как контрольная работа — последний шанс переделать, перерешить.)

О чем я начал? О Законе, о жажде Закона, о его притягательной силе для всех нас. Лагерное же Мы было связано отнюдь не законом, оно легко рассыпалось, как только кончались парады и марши, растекалось внутри зеленого заборчика аморфной и безразличной массой. Правда, и в ней сгущались время от времени мимолетные и непрочные Мы — Мы нашего отряда. Мы футбольной команды, Мы палатки, Мы стола в столовой, Мы, которые курим, Мы, которые поем хором. Волнений, доставляемых ими, вполне хватало, о скуке не было и речи.

(Помню диковинное и жестокое Мы одного облома: мальчика с символической фамилией Слезкин избивали палками, и каждому, подбежавшему с вопросом «кого? за что?», отвечали: «Слезкин, гад, гнездо нашел и птенчика гвоздем к дереву приколотил». Где то дерево? где гвоздь? — об этом уже никто не спрашивал. Надо было видеть, с какой праведной страстью подбежавший кидался в гущу свалки, чтобы вложить свою лепту, слиться с этим свежим, энергичным, заманчивым, благородным Мы — мстителей за бедного птенчика. Откуда я

знаю об этой сцене? Можешь отбросить как абсолютно несущественное, но, увы, факт остается фактом: я знаю, потому что я их расталкивал, пытался оттащить от жертвы.)

Само собой разумеется, что правила поведения — 1-й, 2-й и так далее пункт, — висевшие на стене столовой в рамке из неизбежных красных флагов, никак не могли стать Законом. Даже если бы они не были выдуманы взрослыми для нашего угнетения и не были так смешны, они перечисляли только то, что не следует делать, а на главный вопрос — что же делать? — отвечали смутно и уклончиво: быть (вежливым, трудолюбивым, аккуратным...). Короче: Закона, о котором я втайне мечтал, все заповеди которого, казалось, жили у меня в груди и ждали только слова снаружи или хотя бы одного соучастника для опоры, — такого Закона не было нигде.

9

Сегодня был впускной день — ты опять не пришла. Что происходит? Тетуля уверяет, что именно в эти дни тебя оставляли на дежурства, что идет эпидемия гриппа и вы там работаете чуть не по двадцать часов в сутки. Что-то не верится. Разве они не знают, что у тебя муж в больнице? И будто ты не можешь, надев свой белый халат, проскользнуть сюда в любой день. Или даже теперь, даже здесь ты будешь давить на меня своим отмалчиванием, исчезновениями, холодом? Но чего же ты хочешь на этот раз — чего?..

То, что я назвал третьим способом борьбы, было открыто мною тоже в лагере и, пожалуй, принесло мне наибольший успех. К чести своей должен сказать, что ступил я на этот путь поначалу вполне случайно и бескорыстно. Просто в первую же ночь в огромной палате, человек на сорок, начался послеотбойный треп, и я не удержался — сунулся под общий гвалт с какой-то своей вычитанной историей к ближайшим соседям. Минут через пятнадцать гвалт утих, я решил, что все заснули, и тоже умолк. В ту же минуту раздался взрыв возмущенных криков: «Эй! а дальше что?.. Дальше! Але, парень, — как тебя?.. Ткните его, кто поближе. Давай, трави дальше...»

Кажется, это были «Пляшущие человечки». Или «Пестрая лента»? (Лунный свет в комнате, у стола

в кресле ослабевший труп, из шеи торчит отравленная стрела — где это?) Память у меня была отличная, читал я запоем, тетки даже в самые трудные времена доставали мне прекрасные книги — дай им Бог здоровья.

Так и пошло.

Я быстро отработал примитивную, но очень действенную технику исполнения — с жуткими паузами, с шепотом и придыханиями, с неожиданными вскриками. Эффект был потрясающим. Мерой моего успеха служили, конечно, не аплодисменты, а, наоборот, гробовая тишина в палате, которая если чем и нарушалась, то только неожиданным журчанием под чьей-то кроватью — у кого-то из слушателей не выдерживали нервы. Забыв какой-нибудь важный кусок, я, ни секунды не задумываясь, вставлял самую чудовищную отсебятину (о, великая тень Конан-Дойля!), лишь бы не потерять темпа, не разрушить того волшебства, которое есть лишь в гладком и самозабвенном вранье.

Как меня слушали! Как упрашивали каждый вечер. И как я кобенился.

— Тише вы там в углу!

— Ша!

— Ромка, давай!

— Да я не помню больше...

— Ну, Ромка!

— Ну, не будь чем щи наливают.

— Вспомни чего-нибудь.

— Кончай ломаться.

— Але, тихо все!

— Молчать! Ромик рассказывает.

Оставив на время Шерлока Холмса, я с неопишуемой наглостью перешел на романы. Слегка мешая Джека Лондона, Вальтера Скотта, Майн Рида, Стивенсона, я выдавал выпуск за выпуском, один хлеще другого, предвосхищая принцип неведомых мне тогда американских комиксов или дешевых изданий типа «Война и мир» на сотне страниц. Слава моя была так велика, что уже через неделю послушать меня притащился сам всемогущий Козел — притащился раз, другой, а потом, когда стало лень ходить, попросту перевел меня в свою палату и в свой отряд.

Так неожиданно и без всяких усилий с моей стороны произошло то, о чем и мечтать казалось нелепым, — я попал в лагерную элиту.

Их было человек шесть-семь, самых старших, гиган-

тов и героев, диктаторов и спортсменов — «какими вы не будете», как сказал бы знаменитый писатель. Они были типичные альфа, и оттого, что им давно уже не приходилось доказывать это по мелочам, отстаивать себя и суетиться, в них выработалась спокойная повадка, уверенность в себе и та добродушно-ленивая манера говорить и матюгаться, которой, сколько ни пытайся поддразнить, все равно не получится, если сам не таков. Мои книжные истории они слушали довольно снисходительно, хотя и засыпали под них порой. Но я быстро нащупал их слабую струну и переключился на анекдоты.

Это действительно безотказно.

Они были так нетребовательны, что любая плоскость из серии о Ваньтё и Маньтё, о Пушкине, Лермонтове и Екатерине («ложись на поля алтайские, берись за колокола китайские, хватай пику Язона, суй в пещеру Соломона») доводила их до колик, до изнеможения. А уж что с ними делалось при словах «встречаются два психа, один другому говорит...» — стон и слезы. Причем на следующий день они ничего не помнили и требовали все сначала. («Как это?.. У нас в сумасшедшем доме бассейн?.. Мы там плаваем, ныряем... ну? а если будем себя хорошо вести, то что? как-как? Нам даже... Ой, не могу! даже воду туда нальют?.. У-ха-ха!.. гы-гы-гы!.. воду... ой, ой-е-ей!.. Ох!.. нальют... Охо-хо-хо-хо... Ну, дает!.. Ну, юморочек...»)

Возможно, эти благодарные слушатели загубили во мне талант юмориста, вернее, заморозили его на том пионерском уровне своей нетребовательностью. Мои хохмочки, пародии, передразнивания шли нарасхват. Нехитрая способность подметить в человеке слабое место и как бы мимоходом ударить туда, когда не ждуг, расцвела теперь во мне под защитой их кулаков, как крапива в тени забора. Я сделался чем-то вроде придворного шута, с той же свободой слова, с полной безнаказанностью, с бессильной ненавистью кругом, и, должен сказать, это доставило мне немало острых наслаждений, которые я вспоминаю сейчас со столь же острым стыдом.

Катя Зеленина! — ведь я был чуть ли не влюблен в нее, мне что-то сладко-невозможное снилось про нее двенадцатилетнему. Но вот она проходит мимо нас, гордо отвернув свое прелестное лицо, такая тоненькая еще и плоскогрудая, — и я не выдерживаю.

— Катя, Катя! — бегу я за ней.

— Чего тебе?

— Это не ты потеряла?

Я протягиваю ей пару теннисных мячей.

— Нет,— говорит моя бедняжка, приветливо улыбаясь.

— Ну, как же не ты? Разве они не отсюда?

И я быстрым движением прикладываю мячики к ее груди.

Секунду она остолбенело смотрит на меня («как?.. за что?..») — этого мне вполне достаточно, чтобы отбежать. Мои альфа-герои виснут друг на друге, изнемогая от хохота.

Или наша пионервожатая — поправляет волосы, глядя в карманное зеркальце. Обычное зеркальце, круглое, с цветной картинкой на обороте — «Мартышка и очки».

— Какое у вас удобное зеркальце,— тяну я с приторным восхищением.

— Почему «удобное»?

— Двустороннее. Вы в него можете с обеих сторон глядеться.

И снова я наслаждаюсь наступающей тишиной, сдавленным смехом за моей спиной, ее бессильной яростью — нельзя же ребенку дать пощечину.

Ну что, ты рада? Такие истории про меня тебя устраивают?

Хорошо — пусть я был маленький мерзавец, пусть лез из кожи и «ради красного словца готов был отца родного продать» — со мной все ясно. Но они-то, мои всемогущие покровители? Почему им так нравились мои издевательства, и именно над женской половиной лагеря, и чем красивее была моя жертва, тем лучше? Ведь они влюблялись в них, флиртовали, писали записки, играли в «цветы» и «бутылочку», целовались и тискались за кладовкой — все как полагается. Но при всей своей влюбленности хоть бы они вступились разок, отомстили, дали бы мне как следует по шее. Нет, никогда. Им нравилось видеть своих возлюбленных униженными — вот что я тебе скажу.

Так оно и шло: лагерь, мой неожиданный успех, положение шута и сказочника, наглого и дерзкого, острого на язык и небрезгливого на средства, ехидного и безоглядного, уверенного, что всегда в минуту опасности за его спиной вырастет могучая фигура и раздастся грозное — «маленьких бить?» Но не в том дело, был ли

я гадок тогда или просто глуп, хорош или плох. Не тогда ли, спрашиваю я себя сейчас, не на вершине ли этого успеха явился передо мною впервые во всей своей страшной простоте убийственный и естественный вопрос:

«А дальше что?»

Конечно, тогда я легко прогонял его, отмахивался и снова с упоением кидался паясничать, развлекать, выпендриваться и глумиться. Но в случайные минуты одиночества и беспричинной тоски он снова подползал ко мне и тихонько приподнимал свою змеиную головку. Ну вот, ты добился, чего хотел, вот все знают тебя, завидуют, и некого тебе больше бояться — а дальше что? «Ну, стану я славнее Шекспира и Данте, Пушкина и Гоголя — а дальше что? — спрашивает себя Толстой в пятьдесят лет. — Ну, куплю еще несколько имений, разведу породистых свиней без счета — а дальше что?»

Нелепо сравнивать, несоизмеримо, скажешь ты?

Но разве дело в уровне достигнутого, в степени успеха?

Нет, вопрос обретает свою мертвящую силу на любой ступени, если на него не находится тотчас уверенного ответа — на любой. Только, чем выше, чем меньше остается доступных человеческому разумению свершений, тем он страшнее. Он действует, как яд, как какой-то замораживающий наркотик. Ведь за него, за его новокаиновые свойства и сам хватаешься инстинктивно, когда ни о каком успехе нет речи, когда, наоборот, тоска становится нестерпимой.

Чем утешал я себя в те ночи, когда боль страха перед Косым вырывала меня из очередного кошмара?

Все тем же: «Ну, одолеешь ты его, ну, изобьешь — а дальше что?»

Что говорит себе безнадежно влюбленный, слыша шелчок захлопнувшейся двери?

«Ну, пустила бы тебя, ну, уступила — а дальше что?»

Да что, в конце концов, кричит любой уличный мальчишка, что мы кричали, когда хватали нас чьи-то жесткие руки и страшный голос рычал над головой: «Ага, попался! Сейчас я тебе глаз выколю». — «Ну, выколешь — а дальше что?» — пищали мы в порыве отчаяния. «И морду бритвой распишу», — уже не совсем уверенно отвечал мучитель. «Ну, распишешь, можешь —

а дальше что?» — повторяли мы упрямо, как заклинание, помирая от страха и не веря, что этакая бессмыслица может нас спасти. Но ведь бывало же, спасала! Действовало — разжимались пальцы.

И все же во всех этих случаях вопрос казался явной лазейкой, хитростью, уверткой. Только свершение, только достигнутая, казавшаяся невозможной победа ставила его во всей полноте, показывала его универсальную, метафизическую сущность. С остановкой, с прекращением движения — вот с чем всегда был связан этот вопрос. И неважно, что явилось причиной остановки, — непреодолимая стена, плотина, перегородившая поток, или достигнутая наконец гладкая поверхность озера.

Но остановка — чего?

Движение — чего?

Не знаю, не могу найти слов.

Лишь по тому чувству тоски, смертельной тоски, которая всегда соединялась с этим вопросом, можно было понять, что это остановка того потока, который есть сущность жизни, остановка, равносильная смерти.

Да-да, потоки ручьев по земле — вот с чем это схоже больше всего.

Так же неудержимо бежать неизвестно куда, биться о преграды, размывать слабую, сворачивать от безнадежной, нестись по извилистому руслу и вдруг низвергнуться в широкую промоину, казалось бы, конечную цель и свершение, где вместо бурного потока вдруг наступает медленное, затухающее кружение. Но нет, движение еще не кончено, вода продолжает прибывать, поднимается точно так же, как тоска в душе, ищет выхода (а дальше что?), и вот! — вот первые струи ее нашупали просвет, вылились через нижнюю точку берега и хлынули с новой силой, размывая, расширяя проход, открывая дорогу всей скопившейся массе.

А если не нашупают? Если иссякнет вода, перестанет прибывать?

Да — тогда большая лужа, болотце, постепенное высыхание, загнивание — смерть при жизни. Наверно, именно то, что случилось, в конце концов, со мной. И если я еще продолжаю с таким упрямством цепляться за все кругом и прежде всего за тебя, то не потому ли, что чужой в тебе ненасытен, как марракотова бездна?

В палате было пусто, когда она пришла, и я решил сначала, что она к кому-то из соседей. Может быть, поэтому сразу взял слишком приветливый, участливый тон, а потом уже никак не мог соскочить с него.

Да, можешь торжествовать — я тоже поддался, тоже выслушал всю сагу семейных невзгод, тоже кивал сочувственно. Да и о чем тут говорить? Она могла бы молча просидеть этот час и дать своим рукам и лицу рассказывать за себя. Так и представляешь: с утра — у плиты, да на огороде, да куры, там, или поросенка покормить, потом какая-нибудь служба (кладовщицей? учетчицей?), после службы — по магазинам, потом — готовка, стирка, а там и счетовод явится, хорошо если не пьяный, — корми его, обхаживай, а назавтра — все сначала. Я, словно оправдываясь, начал ей рассказывать, как все произошло. Она выслушала и говорит:

— Да это что ж... Это конечно. По справедливости, он кругом виноватый. Я это и раньше знала.

— Так чего же вы тогда пришли? — растерялся я.

— А за милостью.

Вот оно как. «За милостью». Слово-то какое — полузабытое.

И так мне вдруг завидно стало, так я этому чертову счетоводу позавидовал. Просто попробовал представить: смогла бы ты когда-нибудь так пойти просить за меня? Ведь нет, не смогла бы. Особенно — против справедливости. Справедливости ты бы выдала меня с головой, с руками и ногами.

Но даже если я поверил ее историям, если бы захотел помочь — что я, по-твоему, должен был сделать? Заявить следователю, что мои прежние показания недействительны? Что счетовод ни в чем не виноват, а я сам под влиянием истерического испуга кинулся на встречную полосу? Что готов предстать перед судом и возместить причиненный народному хозяйству ущерб (оплатить, так сказать, пролитое молоко)? Что мне и раньше были свойственны психопатические поступки и заигрывание со смертью? Что правы мои знакомые и родственники, считающие, что тяжелая атмосфера в семье разрушает мою психику все дальше и дальше? Что мне вообще не мешало бы полежать в психушке, поглотить аминазинчику, чтобы не мерещилось чего не надо, чтобы не казалась мелькнувшая вдалеке тень вылетевшим наперерез «виллисом»?

Ох, смута, смута душевная!

Почему я больше не умею укрыться от нее там, где укрывался раньше? Как это бывало славно: берешь какую-нибудь «Занимательную математику» или просто задачник потруднее, открываешь почти на любой странице, и все отступает, исчезает, растворяется...

«Дан прямоугольник, вписанный в квадрат. Требуется доказать, что стороны его параллельны диагоналям квадрата».

Но что же здесь доказывать — ведь это и так очевидно. Почему? Хотя бы потому... потому что... Рассмотрим отрезки MC и CP . Согласитесь, что если мы докажем их равенство, то на основании равнобедренности треугольника MCP и теоремы...

Я погружаюсь в задачу с головой. Я сижу над ней полчаса, час, чертеж мой постепенно исчезает под пунтицей линий, букв, кругов, я откладываю его, беру чистый лист, и все начинается сначала.

На улице солнце, в садике напротив бухает мяч, доносятся выкрики приятелей, но ничто не в силах оторвать меня от стола. Эта задача — не домашнее задание, не подготовка к экзаменам. Никто не заставляет меня решать ее, никто не похвалит за правильное решение, ничего нового не узнаю я, решив ее, ибо мне, как и всем, с самого начала ясно, что они параллельны. Так зачем же я бьюсь над ней, трачу столько времени и сил? Мало того: откуда берется то счастливое возбуждение, которым переполняет меня это занятие? И что за идиотское блаженство нисходит на меня два часа спустя, когда я, перебрав двадцать способов, нащупываю наконец-то двадцать первое, может быть, и не единственное, но безусловно верное, законченное и полное доказательство?

Тщеславие?

Но мне даже некому было похвастаться.

Сознание собственных сил, чувство выполненного долга?

Да в том-то и дело, что я не должен был решать ее, ничья воля не давила на меня, не заставляла. Никто не был властен надо мной, пока я жил в этой задаче. Никто, кроме — о, наконец-то! — кроме — может ли это быть?! — кроме единого, нерушимого, над всеми стоящего Закона.

Да, это свершилось, я нашел то, о чем мечтал.

И где? Там, где и искать казалось нелепым, где все было гнет и принуждение, — в школе.

Как мы боялись, сколько наслушались ужасов о грозном и безжалостном математике старших классов. И вот он пришел, мой бесценный Владимир Иосифович (в его устах звучало как «Йозифич»), шутя скрутил всех нас, даже самых отчаянных и беспутных, заставил слушать себя и смотреть на доску, и тогда-то, лишенный возможности вертеться по сторонам, я увидел то, что давно лежало перед моим носом, — то, что все эти теоремы и постулаты, аксиомы и правила и есть части огромного, никому не подвластного Закона. И, в отличие от всех прочих, этот Закон не был законом-запрещением, воротами с глухим запором, но давал мне неограниченную возможность действовать, ставить все новые задачи и решать их, и за счет природных способностей обгонять многих в своем классе и в соседних, и потом в других школах, на районных и городских олимпиадах, а там, далеко впереди, мерещилось что-то уже совсем невозможное — научные свершения, слава, власть.

Быть со всеми, быть Все и, в то же время, не быть, как все, изо всех сил не быть, а только лучше и выше — эти два моих главнейших стремления утрачивали внутри такого Закона свою мучительную противоречивость. Ибо он был настолько всеобъятен, что можно было забираться как угодно высоко, не боясь оторваться и перестать быть Всеми, быть Мы, равные перед Законом, но не равные по степени его исполнения.

А главное все же — никто не властен!

Пока ты исполняешь Закон, тебя не могут остановить ни тетки, ни милиционер, ни управдом, ни правительство, ни даже сам грозный Владимир Йозифич — никто! Наоборот, ты сам вдруг получаешь недоступное никому другому право нарушить гробовую тишину урока и во весь голос сказать:

— Владимир Иосифович, у вас ошибка! В третьей строчке написано ОМ, а надо ОК.

И Владимир Йозифич не растопчет тебя, не сотрет в порошок — нет! — но, сопя и отдуваясь, откинется грузным корпусом от доски, оглядит написанное и, приговаривая «вэрно, вэрно», послушно сотрет и напишет снова, уже по-твоему. Именем Закона! — и никуда не денешься. А кругом зависть и восхищение, а уши горят — все же страшно было, — но есть ли что восхитительней такого страха?

Я не задумываюсь еще, почему так тяжело подчиняться людям и так легко — Закону, который над всеми. Я просто счастлив. В этом мире есть что-то незыблемое, и это незыблемое не враждебно мне, не подавляет, а, наоборот, возносит над другими — для начала хотя бы над классом. Жаль только, что сфера его действия так ограничена — уроки математики, экзамены. Мне вскоре уже нечего достигать здесь, не к чему стремиться. Я по-прежнему с удовольствием решаю задачи, изыскиваю блестящие и кратчайшие пути доказательств, но это уже никого не удивляет. Отличник! Когда я тяну руку, Владимир Йозифич обходит меня взглядом и вызывает кого-то другого. Я обижаюсь, скучаю, я отказываюсь сочувствовать его учительской обязанности — учить всех. Ведь тот, другой, не знает ничего и не будет знать — вон у него какая тоска на лице. А у вас — гнев. А у меня — обида. Так зачем же всем троем так мучить друг друга?

Мне некуда растрачивать избыток этих открывшихся сил, не над кем возноситься, и грозный призрак «а дальше что?» снова возникает на горизонте. Правда, я отмахиваюсь от него. Дальше-то как раз ясно — институт, инженерия, работа... Но все это расплывчато, в туманном будущем. А что сейчас, немедленно?

И я начинаю прислушиваться на других уроках — не приоткроется ли и там чего-нибудь столь же заманчивого?

Больше всего надежд на физику. В ней тоже то и дело мелькают всевозможные закончики достаточно властные и неизменные, и так же нужно решать задачи, то есть остается возможность предпринимать что-то самому. Меня поражает гидравлический пресс: одной кружкой воды можно сплющить кусок железа в лепешку. Мы делаем опыты: куриное перышко словно обретает вдруг тяжесть свинцового шарика и стремительно падает рядом с ним в вакуумной трубке. Тот же вакуум намертво присасывает к столу банку, сдвигает поршень; дыбом встают ленточки папиросной бумаги в электрическом поле, лопается стальная пластина, попавшая в резонанс. Начинает казаться, что все мирное и привычное пространство вокруг сплошь пронизано невидимыми и грозно-безмолвными силами, которые могут вдруг вырваться и сокрушить что угодно, в том числе и тебя. В этом тоже есть скрытое обещание могущества, заманчивого и пугающего одновременно.

Одно плохо в физике — слишком много законов. В них есть что-то безнадежно разрозненное, не исходящее, как в математике, из нескольких основных корней, не переплетенное такой чудесной взаимосвязью. Отдельно электричество, отдельно газы, отдельно оптика. Даже с обычной водой надо быть все время начеку и думать, какому из законов она сейчас должна подчиняться: капиллярности, сообщающихся сосудов, теплоемкости или всем вместе? И каждую минуту оговорки — трением пренебречь, сопротивление воздуха не учитывать. Той четкости, чистоты и всеобщности, какие есть хотя бы в геометрии, здесь нет и в помине. Но все равно занятно. Физику я люблю.

С химией гораздо хуже. Там уже число всевозможных законов таково, что запомнить их просто нет никакой возможности. Атомы и молекулы, соединяясь между собой, выкидывают такие фортели, настолько перестают быть похожими сами на себя, что уже неохота чему-нибудь удивляться. В пустом сосуде появляется жидкость? Ну и что? Горит, разбрасывая искры, железо в кислороде? Надо же. Углерод может быть сажей, а может быть и алмазом? Чего вдруг? А уж органическая химия, пропаны-бутаны, каучук-полимеры, цепи $C=O=N$ на всю страницу учебника — спаси нас Боже.

Казалось бы, чем ближе к живому, к нам, тем должно быть увлекательней и понятней.

Куда там!

Что мне с того, что листья зеленеют от зерен хлорофилла, что цветы имеют пестик и тычинки, грибы размножаются спорами, а пшеница болеет, а лук составлен из клеток, видных под микроскопом, а клетки — из оболочки, ядра и протоплазмы? Зачем нам заучивать, сколько пальцев на ноге у слона, где мечут икру угри, какое давление выдерживает хитиновый покров муравья, куда улетают на зиму скворцы, почему дергается ободранная дохлая лягушка, чем питается ящерица?

Все эти сведения могли бы рассчитывать на наш интерес, если бы, выходя из стен школы, мы попадали в мир, населенный слонами, ящерицами, пшеницей и цветами. Но мы выходим в мир, где только люди и машины, машины и люди. Математика и физика кое-как расскажут нам о машинах — но дайте же что-нибудь и про людей, про нас самих. Ведь скелет в углу кабинета анатомии, и красновато-лиловые внутренности на плакатах, и даже разъемный гипсовый мозг на столе — это

всё не мы, не я. Я не властен ничего изменить в хитрости своего внутреннего устройства, сердце, легкие, почки и печень будут продолжать свое темное дело, совершенно не спрашиваясь, хочу я этого или нет. Лишь болезнь может сделать их интересными и заметными для меня, но и тогда интерес этот будет пассивно-страдательным.

А где же я, собственно я, сам я? Где тот, которого терзают страх и надежды, желание и скука, восторг и отчаяние? Кто возьмется ответить на главные вопросы — как жить, к чему стремиться, что хорошо и что плохо?

Отвечать берется литература.

Литература — это книги. Книг очень много. Книги я люблю.

Сначала я люблю все книги. Бедный Гинкель, осмелившийся заявить, что какая-то книга ему не понравилась, немедленно получает от меня подзатыльник. Да как он смеет? Как вообще можно спрашивать, «хорошая книга или нет?» Все книги прекрасны.

Скоро это проходит — я вынужден признать, что есть и скучные. И даже очень. Есть книги, на которых можно просто сдохнуть от скуки. Причем не те, в которых про непонятное, а именно другие — где все слишком понятно. Понятно настолько, что уже знаешь заранее, кто что скажет и как поступит. Самое ужасное, что именно в этих наискучнейших книгах, и только в них, настырно и однозначно выпирает то, чего я столь страстно ищу, — Закон для всех людей. Его невидимые заповеди охватывают, кажется, всю жизнь человеческую, во всяком случае, нашу, нет ни одного самого мельчайшего поступка, который тотчас не нашел бы своего места в его оценочной шкале. Шкала эта нигде не выписана отдельно, но я быстро усваиваю ее и знаю уже, например, что по ней САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ, что только может быть на свете, — умереть за Родину.

Я таю от восторженной готовности умереть, я счастлив был бы хоть сейчас, но ведь случай представляется не каждый день. И коль скоро приходится жить, то возникает вопрос — как?

Шкала отвечает и на это, продолжает перечень поступков и дает четкую оценку каждому.

ПРОСТО ПРЕКРАСНО: работать, не щадя себя, совершать подвиги и научные открытия, убивать как можно больше врагов и буржуев, молчать под пытками.

ХОРОШО: работать, учиться, помогать товарищам (в том числе и разоблачая их на собраниях), вносить рацпредложения, ходить в театры и музеи, читать книги, влюбляться (если еще не женат), мечтать, собирать колоски и металлолом, заниматься спортом, сдавать кровь больным и кожу обожженным.

МОЖНО: немного грустить, смеяться и шутить (соображая, когда и над чем), отдыхать, коллекционировать марки, любить животных, искать клады (чтобы сдать их государству), выжигать по дереву, писать заметки в газету, устраивать веселые розыгрыши друзьям и знакомым.

ПЛОХО: нигде не работать, иметь дачу или вообще — собственность, модно одеваться, выпивать и курить, верить в Бога, играть в карты, шутить над тем, что хорошо и прекрасно, изменять жене (если она не мешанка и не эксплуататорский элемент), считать себя лучше других, быть унылым, трусить и врать, драться и ругаться и еще очень многое из того, что мы видели вокруг себя на каждом шагу. (Комментаторы книг объясняли нам, что все это случайности и исключения, мусорные ямы, копать на кухне, нетипично.)

Все же, что можно было бы отнести к **ОЧЕНЬ ПЛОХОМУ** или **УЖАСНОМУ**, происходило, как правило, не у нас, а за границей и к нам проникало лишь через шпионов, притаившихся кулаков, недобитых белогвардейцев. Причем надо не забывать, что речь идет еще о той доброй старой шкале, которая не была подпорчена новомодными поэтами и писателями последних лет. Все, кто с таким треском и сенсационным успехом перетащил несколько пунктов из раздела **ПЛОХО** в раздел **МОЖНО**, появились гораздо позже — в наше время о них и слышно не было.

Должен сознаться — в принципе мне нечего было возразить против такого Закона. Я готов был закрыть глаза на все, что видел вокруг себя, на все вопиющие и безнаказанные нарушения, признать это случайным и временным и уверовать во все его заповеди, если бы...

То-то и оно, что я до сих пор не могу понять, откуда бралось это неодолимое «если бы».

Правда, тогда мне казалось, что я знаю, откуда. Из других, и старых неправильных книг! Внешне столь похожие, так же составленные из букв и строчек, из страниц и переплетов, они рассказывали о чем-то таком, что не только взламывало оценочную таблицу книг

правильных, но и вело себя так, будто на свете никогда не было и быть не могло единой шкалы для людских поступков. Герои, действовавшие в этих книгах, могли сколько угодно наживаться, любить-блудить, убивать хороших людей на дуэлях, скучать, верить в Бога, лгать, предавать, глумиться над прекрасным, но все эти чудовищные поступки порой не могли ничего поделаться с сочувствием и любовью, которую они вызывали.

Удовольствие и волнение, даримые этими книгами, могли сравниться по силе впечатления лишь с сумятицей, вносимой ими в сознание. И мало того, что они не были сожжены, запрещены, спрятаны в подвалы; авторам их повсюду стояли памятники, портреты их глядели на нас со стен класса и страниц учебников, и те самые наставники, которые вбивали в наши головы свое хорошо-плохо, превозносили их как величайших художников и умнейших людей.

То есть не было даже возможности выбрать и стать на чью-то сторону.

Все было запутано, повернуто перед нами так, будто и те, и другие книги — одно, литература, что все, что литература, — хорошо, и, следовательно, все лучшие герои с их слабостями, пороками и преступлениями — тоже каким-то образом очень хорошо.

Тщетно мы пытались поверить этому и примирить — сознание упорно отказывалось воспринять в себя подобную нелепицу. Одно из двух обязательно должно было оказаться ложью. Неправильные книги были прекрасны, чувства, вызываемые ими, искренни и несомненны, в каждом персонаже мы узнавали какую-то часть себя, свои самые тайные надежды и стремления — не поверить им было невозможно. Но, с другой стороны, и проповедники хорошо-плохо без конца ссылались на те же книги, они знали их лучше, чем мы, изъяснялись свободнее, рядом с их гладкой и связной речью наше собственное косноязычие выглядело столь жалким, что одно это уже представлялось как их бесспорная победа и правота. Противоречие оставалось неразрешимым, и нам, отчаявшимся примирить его и добиться ясности, не оставалось ничего другого, как пуститься по единственно возможному пути — тупой зубрежки всего, что требовалось по программе.

Ну вот, это все-таки вырвалось у тебя. Даже в голове твоей появилась какая-то непривычная сдавленность на этой фразе «уж если ты действительно хотел...» — так что я невольно насторожился, а когда вдруг оборвала, покраснела, смешалась, я без труда понял, какие слова были перехвачены у самых губ, — «хотел покончить с собой».

Значит, и ты способна поверить в такой вариант, и для тебя подобная версия не выглядит дикой. Но чему, собственно, я удивляюсь? Может, действительно, на взгляд окружающих, я, с моими затяжными приступами мрачной апатии, с жалобами, с неожиданными срывами в истерические «пятиминутки ненависти», давно выгляжу потенциальным самоубийцей? Но заметила ли ты, что даже в тот момент, даже пожалев о почти сорвавшихся словах, спеша загладить, переменить тему, вернуться к тому, о чем говорили вначале — о школьных временах, — ты не смогла переломить себя, не смогла отказаться от привычки переводить обвиняющий перст с любого предмета обратно на меня и начала доказывать, что брюзжу я напрасно, что все учительско-учебниковые глупости были вполне безвредными и никому вреда не причиняли.

Что тут говорить — я тоже не помню, чтобы впоследствии, перебирая со сверстниками детские воспоминания, мы когда-нибудь находили какую-то особую зловредность в школьном преподавании литературы. В лучшем случае оно служило темой анекдотов. Согласен, что для разумного человека, счастливо позабывшего, выбросившего из головы все «идейные смыслы», «художественные особенности», «образ народа» и «образ автора», оставшегося нормальным, непосредственно чувствующим читателем, все это представляет очевидной глупостью и вздором, не стоящим серьезного обсуждения. Он даже может считать, что в школе так и надо, что это необходимое упрощение, причем совсем не опасное: вот на нем же не отразилось, он избежал.

Но я — я корчился от всего этого ужасно.

Кстати, не кажется ли тебе, что самое распространенное заблуждение человеческого ума — презрительное безразличие к глупости. «Это глупо», — говорит он о чем-то, и с той же минуты данный предмет перестает его интересовать. Если же сказать ему, что объявленное

им глупым: живет среди людей веками и тысячетлетиями, разделяется девяносто девятью из ста, возрождается снова и снова ровно столько раз, сколько, казалось, было разоблачено и уничтожено, и как раз сейчас набирает новую силу, вооружаясь потихоньку всеми достижениями ума, и в связи с этим, не хочет ли он, ум, присмотреться внимательней и попытаться понять природу этой поразительной живучести, то выяснится, что нет — не хочет.

«Глупость вечна», — услышим мы столь же равнодушный ответ.

И лишь когда она окружит его со всех сторон, поставит перед выбором — быть раздавленным или слиться с ней, он всполошится, замечется, начнет ахать и задавать вопросы; но поздно — волна сомкнулась над ним, и, как слабое эхо, до нас доносится его странно изменившийся голос: «Друзья, поверьте, не так уж это глупо, как я думал раньше. Ой! Это даже умно... Ой-е-ей! Это прекрасно! Ао-о-о-а! Лучше нет и не было ничего на свете!»

Так что же подносилось нам как главная заслуга писателей прошлого, как источник их величия?

То, что они боролись за свободу народа.

Свобода же народа — это именно то, чем мы сейчас пользуемся, как никто и никогда в мире. В своих лучших произведениях они воспевали народ, описывали его тяжелую, бесправную жизнь, полную голода и лишения, разоблачали угнетателей, призывали к борьбе за лучшее будущее, то есть опять же — за наше настоящее.

«Здесь рабство тощее влачится по браздам», — писали они.

«Чудище обло, озорно, стозевно и лайяй», — заучивали мы наизусть.

«Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья», — не исключено, что имелась в виду Кремлевская звезда.

Вообще в условиях жестокой царской цензуры поэтам о многом приходилось писать не прямо, а иносказательно, так что нельзя каждое их слово понимать буквально. Так, например, «веленью Божию, о муза, будь послушна» надо читать как «велению народа». То же самое и «Божий суд» и «грозный судия», который ждет «наперсников разврата», — это тоже народ. «И рабство, надшее по манию царя», — не мог же умный человек написать такое. Наверняка было написано (имеются ру-

копистские варианты): «И рабство падшее, и падшего царя». Также часто встречающееся слово «чернь» («презренная, лицемерная») надо понимать как светская чернь, но ни в коем случае не как читатель вообще. «Поэт! не дорожи любовью народной» — это такая гипербола, а «фини, ныне дикой тунгус и друг степей калмык» — это уже в самую точку, то, что надо.

Кроме свободы, писатели и поэты воспевали лучшие человеческие чувства — любовь, дружбу, верность. Однако и здесь обязательно нужно различать настоящую любовь от ненастоящей. «Я помню чудное мгновенье...», «Я к вам пишу...» — это настоящее. Если же вам вздумается читать сверх программы и вы наткнетесь на что-то вроде «ах, ножки, ножки, где вы ныне...», «любви готовятся дары, падут ревные одежды...», «нет, я не дорожу мятежным наслаждением...», то имейте в виду, что все это вроде бы такие шутки, озорство. Тем более сам же поэт говорит — «не дорожу».

Конечно, они были великие писатели, но все же во многих вопросах не такие умные, как мы сейчас. Они часто заблуждались.

Очень заблуждался Гоголь в конце жизни.

Тургенев тоже сильно путался из-за своего дворянского происхождения.

Страшно путался Толстой.

Последний был прямо как дитя малое, это просто счастливая случайность, что ему удалось написать «Войну и мир». Софья Марковна, наша учительница, объясняла нам его заблуждения. Толстого было немного жалко — он не в силах был понять того, что ясно даже Софье Марковне. Был еще самый чудовищный путаник Достоевский, который писал одну только достоевщину, но он так завирался, что его и изучать нечего. И уж само собой разумеется, что вся литература прошлого, как бы хороша она ни была в своих лучших вещах, не может идти ни в какое сравнение с нашими современными книгами — прекрасными, идейными, все как надо понимающими, ни в чем таком не заблуждающимися, зовущими и трогаящими, воспитывающими и ведущими, тра-та и тра-та-та...

И снова я думаю, что все это не было так глупо, как принято считать. Ложь именно не должна быть тонкой и изощренной, она, если хочет добиться успеха, должна быть как раз такой, ни секунды ни сомневающейся, предельно наглой, уверенной в себе, орущей,

упорной, идущей сплошным потоком, захлестывающей все стороны жизни.

Ведь это были не просто верные или неверные мнения о книгах — нет, это были отроги той всеобъемлющей Лжи, которая пыталась поставить себя на место отмененного ею Господа Бога и у которой поэтому не было иного выхода, как стать столь же вездесущей. Она должна была иметь готовые ответы на основные вопросы жизни, вопросы, брезжущие в сознании любого человека: что есть благо и что зло, что должно делать и что нет, откуда все произошло и куда деваается, зачем мы живем и что будет после нас. И лишь опираясь на эти краеугольные ответы, подразумевая их неизбежность, она могла строить всю дальнейшую систему ответов и обрушивать их на наши сопливые головы.

Повторяю: напор ее был ужасен.

Что там говорить о нас! Мы не видели вокруг себя ни одного взрослого, даже не слышали ни о ком, кто бы решился когда-нибудь возразить, усомниться хотя бы в одном второстепенном ответе. Несколько писателей, которые не то чтобы возразили (куда там!), но где-то не совсем точно выразились, предались в наших учебниках таким страшным анафемам, что представить себе, что бы было с теми, кто решился возразить всерьез, — просто не хватало фантазии.

Давно известно, что истина людям (всем людям) не под силу. Но я осмелюсь утверждать, что тем же «всем людям» так же не под силу жить в постоянном сознании, что все их существование держится лишь на лжи. И именно в этом смысле та новая Ложь не была глупостью. Она не шла по пути обычных иллюзий разума, будто можно поведать человеку истину, и тогда он наполнит ею свою жизнь. «Наполните его жизнь объединяющей ложью, и он признает ее за истину», — вот был ее принцип. Человек будет поругивать газеты, рассказывать анекдоты про вождей, подтираться важными портретами, но в глубине души останется при убеждении, что основные-то ответы — правильные. Ибо усомниться в этом хотя бы на секунду означало бы для него самое страшное — остаться одному, выпасть из Мы. Мы же вообще, в принципе своем, не может существовать, скрепленное истиной, ибо истина всегда гласит одно и то же: ты один. Но как он не хочет, как ему плохо одному!

И тогда является она, спасительница наша.

Пусть же зарубят себе на носу все гуманисты и радители о том, чтобы человеку было «хорошо», что, по их понятиям, критерием блага должна быть не истина, а сила лжи, сплетающая людей в единое Мы,— чем больше числом и теснее плечами, тем, значит, лучше и истинней.

Помнишь, ты как-то нашла у меня в столе старую тетрадочку, в которую я когда-то выписывал любимые места из неправильных книг. Такие же тетрадочки — извечные альбомы уездных барышень — были у многих моих сверстников и сверстниц, но, в отличие от прошлого века, их не выносили гостям, а прятали где-нибудь в укромном месте от всех. Показать ее кому-нибудь — это уже было что-то нешуточное, жест. Всего лишь два-три раза мне довелось обменяться своим сокровищем с девочками, в которых я был влюблен, и, надо сказать, каждый раз и я, и она испытывали непонятное разочарование.

— Что ты переписал у меня? — с волнением и надеждой спрашивала она.

— Ничего, — честно сознавался я.

И с любовью бывало покончено.

Все, что они выписывали себе, было пронизано ненавистной мне охранительной правильностью, согласностью со шкалой «хорошо-плохо», набившей оскомину еладкостью. Какой смысл был так прятать это ото всех, разыгрывать тайны и сокровенность? «У человека все должно быть прекрасно...», «любовью дорожить умеете...», «друг познается в беде...», «умри, но не давай поцелуя без любви...» — тьфу! Но и им не больно-то нравилась моя тетрадочка. Она вполне подтверждала для них мою репутацию — эгоиста и воображалы. Вряд ли в ней можно было отыскать хоть один афоризм, свободный от горечи, разочарования или кощунственной иронии.

Кого ж любить? кому же верить?

Кто не изменит нам один?..

Каждый раз, как эти строчки всплывали в моей голове, я испытывал острый толчок радости, непонятной, исполненной неподдельной тоски, но тоски, тут же разделенной кем-то и тем самым сладостно умиротворенной.

...Кому порок наш не беда?
Кто ненаскучит никогда?

«Кто? кто?» — замирал я в предвкушении уже давно заученного ответа.

Призрака суетный искатель,
Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель.
Предмет достойный. Ничего
Любезней, верно, нет его.

Как я чувствовал горькую наоборотность этих строк, как узнавал трагикомическую невозможность насытить душу любовью к себе!

Ко всякому воспитательному занудству, вбивавшемуся мне в голову, я немедленно отыскивал стихотворное опровержение и с трепетом переносил его в свой склад цитат.

В ответ на «человек-это-звучит-гордо» я записывал:

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей.

Мне говорили о силе и могуществе ума, а я заучивал наизусть:

Но жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова,

О дружбе?

Так люди, первый каюсь я,
От делать нечего — друзья,

О верности в любви?

Я сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас,

О смелости?

В сраженьи смелым быть похвально,
Но кто не смел в наш храбрый век?
Все дерзко бьется, лжет нахально...

О радости труда?

Вся тварь разумная скучает,
Иной от лени, тот от дея...

О благосостоянии?

И так до бесконечности.

Но при всей шемящей сердце грусти, которую вызывали во мне эти стихи, при всех мгновениях дух захватывающего восторга, мог ли я сказать себе, что люблю самого поэта, и надеяться через эту любовь слиться с огромным Мы — всех, кто любил или полюбит его в будущем?

Нет, никогда.

Ибо все было устроено так, что я был обязан любить его. Мало того — я должен был любить его вместе с Софьей Марковной, с авторами учебников, с тетками, разделять их любовь, а значит, и всю воспитательную ложь, которой они облепляли его образ. У меня не было даже возможности махнуть рукой на все надежды стать Мы и затаиться где-то в углу со своей любовью. Море разливанное вранья настигло бы меня и там (все было предусмотрено), ибо несколько раз в месяц я был вынужден выходить к доске и публично предавать то, что мог бы полюбить, повторять обязательную чушь — «идейность», «лучший представитель», «выразитель чаяний». Слова эти не шли у меня с языка, я мычал, пыхтел, заводил глаза к потолку. Однако других, своих слов у меня не было. Были только злые корни, терзавшие мои внутренности при самых невинных фразах учительских объяснений, и презрительная усмешка, выводившая из себя бедную Софью Марковну. Я еле вытягивал на тройки, но если бы дело было только в отметках!..

Какой-то психологический парадокс. Природа этих терзаний, этой физически ощущавшейся боли представляется мне необъяснимой. Что? что болело-то? Это не могло быть просто отвращением к вранью — мы сами врали по всякому пустяку, не моргнув глазом. Это не могло быть возмущением против кощунства — у нас не было никаких святынь. Быть может, чувство беспомощности, неспособности возразить, защитить то, что любишь? Или стыд предательства? Или, действительно, в эти минуты что-то обламывали во мне, обламывали навсегда, и это было больно? А может быть, именно здесь впервые рождалось мучительное предчувствие, что нет и не будет для тебя вождеденного Закона для всех, тебе не будет в нем места, вообще не будет — никогда? «Тоска, тоска. Хоть закричать в окно...»

И как в спасительную бухту, я кидался прочь из этого кошмара назад, туда, где царствовали незабываемые законы математики и природы. Там, только там, казалось мне, можно еще как-то жить и спастись от безысходности, в чистом мире задач и теорем. Наивный человек!

Нет, я чувствовал, конечно, чувствовал уже и там что-то неладное. Но откуда ж было взять сил и взглянуть в лицо безнадежности? Море разливанное текло и туда, затопляло так же неумолимо все выходы из сферы чистого знания назад в сегодняшнюю жизнь, и, сколько хватал глаз, у каждой двери стояли неумолимые и глухие ко всему ответы-часовые. Сознание мое поневоле устремлялось к самым дальним математико-физическим калиточкам, но надежда была слишком слаба.

Ни просвета! Ни шелки!

Мы еще ничего не знали о свирепости этой стражи, никто не рассказывал нам о расстрелах ученых и уничтожении целых отраслей науки, но и без того было ясно: всякая борьба бесполезна. Чувствовалось, что главный принцип именно и состоит в непогрешимой однозначности ответов. Возможность второго варианта, возможность двух противоположных и равноправных мнений (неважно о чем) — вот, что было самым невероятным, нигде не встречавшимся. Не зря же такая мертвая тишина воцарилась на памятном мне уроке, когда учительница физики, рассказывая очередной материал, проговорила, что существуют две теории света.

Никто еще толком не понял смысла ее слов, но каждый испытал нечто внутреннего толчка — так дико и непривычно это прозвучало. Стихли разговоры, остановились перья списывавших, даже игроки на задней парте отложили карты и подняли головы.

— Как это? — нерешительно произнес кто-то в наступившей тишине. — Как так — две теории?

Физичка, чувствуя, что ляпнула лишнее, чуть побледнела, но все же решила не отступать и упрямо повторила:

— Да-да, две теории. Квантовая (или волновая) и корпускулярная.

— А какая правильная?

— Ну, так нельзя спрашивать. На сегодняшний день науке известны различные явления... экспериментальный материал... Одни явления, например дифракция, ин-

терференция — помните, я вам рассказывала? — они объяснимы только по волновой теории, а по корпускулярной никак. Зато... — В классе нарастало гудение, но она, напрягая голос, перекрикивала его. — Зато такие явления, как фотоэффект, эффект Комптона... Впрочем, это в рентгеновских лучах, вам еще рано... В общем, другие явления и эксперименты получают объяснение только по корпускулярной... То есть понимаете, свет как поток фотонов...

Тут ее голос окончательно потонул в дружном гуде-

— Не понимаем!

— Так не бывает!

— Давайте что-нибудь одно.

— Какие еще фотоны?

— Не проходили.

— Нам-то какую учить?

— Для экзамена? На экзамене как отвечать?

— Не запутывайте нас!

— Одну-у-у!

Этот взрыв возмущения, объединивший лентяев и старательных, отличников и картежников, искренне испуганных и радующихся случаю побузить, заставил ее, наконец, отступить и махнуть на нас рукой.

— Учите, как сказано на сто восьмой странице.

Кое-как мы успокоились, вызубрили более или менее крепко нужный параграф, но привкус тайного ужаса, видимо, сохранился в каждом из нас — на экзаменах билет с вопросом о природе света считался самым страшным.

Для меня же весь эпизод надолго остался чем-то символическим. Я пережил вместе со всеми этот мгновенный испуг, чувство беспомощности, покинутости перед лицом неведомого, перед брешью в цепи однозначных ответов, но в то же время и неясная надежда...

Прервался, потому что приходили посетители. Целый консилиум: хирург, невропатолог, психиатричка, главврач. Я что-то разволновался, не помню толком, кто что говорил. Но общий смысл, кажется, таков: срastaюсь нормально, скоро выпишут, но вот с центральной нервной системой еще не все — не совсем. О нет, никаких отклонений от нормы, просто последствия нервного шока и небольшого сотрясения мозга. Отдых, отдых и отдых — единственное, что нужно. И даже не в специальном санатории, выбирайте любой. Только вот с судом придется повременить. Нет, вы поймите: адвокат

обвиняемого (то бишь счетовода) наверняка потребует психиатрической экспертизы. А судебные эксперты склонны подходить очень строго, большая ответственность, поймите. Они могут обычную нервность, раздражительность принять за шизофренические симптомы, назначить лечение — вы же этого не захотите?

Нет, не захочу. Я вообще сейчас хочу только одно: кончить эту историю любым способом и забыть. И не видеть никого из них больше в своей жизни. Ни разу. Независимо даже от того, перестраховываются ли они по привычке или шантажируют меня, чтобы обеспечить отсрочку суда по приказу (намеку?) сверху.

Почти месяц прошел со дня последней записи, и декорации за это время переменялись. Вместо облетевших деревьев за окном я вижу коричневые горы, наползающие друг на друга все выше и выше к двум-трем снежным макушкам, торчащим вдалеке. Вместо опостылевшей больничной белизны кругом меня красный и голубой плюш, свисающий где только можно от потолка до пола — извечная роскошь пансионатов подобного рода. Этот принадлежит художникам, так что все стены, свободные от занавесей и портьер, увешаны вдобавок столь же плюшевой живописью.

Другая сторона здания выходит окнами на юг, на море. Бесчисленные балкончики и террасы делают ее похожей издали на вафлю, и обитателей южной солнечной стороны легко отличить от нас, северных: они загорелые, а мы — нет. Номера распределяются согласно неписаной табели о рангах, и непрерывно идет скрытая и ожесточенная борьба за то, чтобы прорваться на солнечную сторону. (Тетирина писала мне, чтобы я непременно включился и потребовал себе «человеческих условий» хотя бы на февраль, но я не послушался и остался в клане незагорелых.) Впрочем, и загорелые, несмотря на птичьи мои права здесь (достали по блату путевку в несезон), относятся ко мне вполне дружески. Ведь я не рисую, не ваяю, я тот самый добрый, понимающий и бесхитростный Зритель, который один только и может оценить без мелкой ревности их таланты. Мне приходится хвалить подряд всю мазню и выслушивать ругань в адрес остальных — ничего другого им и не надо.

Ни говорить с ними всерьез, ни судить их строго невозможно. Остается лишь завидовать их жизни, так наполненной в каждом своем мгновении тем, что ничуть не хуже чего-нибудь другого, — детским бесхитростным тщеславием.

Днем я обычно спускаюсь к морю и ковыляю по набережной. Нога еще плохо слушается меня и быстро устает, дедовская палка помогает ей слабо. Гораздо лучше был бы на первых порах костыль, но он недоступен мне из-за боли в ребрах, которую хирург обещал мне еще на месяц вперед. Даже воздух в легкие приходится вбирать очень осторожно, чтобы не наткнуться на поджидающую боль. Но честно говоря, я почти рад ей. Она как бы подчеркивает жирной чертой минуты покоя и безболезненности, вся волшебная благодать которых для здоровых протекает незаметно. Я будто учусь заново ходить, смотреть, дышать; и этот курортный городок, и пестрая толпа на улочках тоже добавляют мне чувства новизны и смутных надежд. Уж и не помню, когда такое было со мной последний раз.

Время от времени на горизонте появляется пароход. Он долго стоит там маленьким серым силуэтиком, к нему привыкаешь, как к горам и кипарисам, забываешь о нем, и, когда возвращаешься часа через два (после обеда), минутное недоумение вызывает красно-белый гигант, нависший над причалом, — откуда взялся? Пассажиры сходят с него, как усталые завоеватели, наскучившие видом десятка точно таких же городков, уже оставленных позади. Мне нравится разглядывать их сверху, каждого в отдельности, в невольной незащищенности долгого прохода по открытому месту, которая часто выдает человека с головой, то есть что-то самое важное в нем, не завоевательное.

Обычно в это же время появляется старик в мичманке и начинает свой аттракцион с чайками, которых он, подбрасывая вверх кусочки хлеба, закручивает в живое крикливое кольцо над своей головой. Птицы стремительно падают, подхватывают хлеб на лету и тут же возвращаются обратно в свой бесконечный трепетный круговорот. Вновь прибывшие с облегчением смеются, показывают пальцами — наконец что-то новое.

Другое развлечение здесь — штормы. Они разыгрываются где-то вдали от берега, ветер не проникает в бухту, и можно часами наблюдать диковинное зрелище — высокие валы прибоя при полном штиле. Фронт

каждой волны сходится с гранитной набережной косо, как одна половинка ножниц с другой, и в режущей точке их соприкосновения проносится белопенный столб воды. Эти столбы несутся друг за другом стремительно и равномерно, как поезда, вода обрушивается через парапет на визжащих и скачущих мальчишек, толпа каждый раз восхищенно ахает, подается назад, отряхивает брызги.

По вечерам отдыхающие заполняют бары, ресторанички, закусочные. Сейчас не сезон, всем хватает места, и можно даже побродить из одного заведения в другое, не рискуя остаться на улице. Больше всего мне нравится один погребок с красными и зелеными лампами на столиках, со светящейся изнанкой надписи на стекле — «коктейль-холл». Часов с девяти я забираюсь там в уголок и сижу иногда до закрытия, потягивая такие же красно-зеленые смеси, постепенно хмелея, глаза по сторонам — голова начинает кружиться от потока сменяющихся женских лиц (других я уже не вижу). Женщины привстают, машут кому-то рукой, сверкают глазами и коленями, пахнут, нарочно натягивают ткань платья, светятся сквозь блузки и шарфики, и это волнами расходящееся от них излучение переполняет меня блаженной истомой, от которой я не пытаюсь и не хочу избавляться.

Какой-то невидимый ток будто привносит с собой каждый вновь входящий, и общее возбуждение, царящее в кабачке, густеет час от часу, становится почти осязаемым. Все быстрее и мимолетнее завязываются знакомства, все легче возникают и рвутся короткие связи — взглядом, прикосновением, улыбкой, — столики сдвигаются, компании соединяются и распадаются, кажется, уже никто не помнит, с кем он пришел сюда, не знает, с кем уйдет. Ко мне тоже подсаживаются, пытаются вовлечь, среди них бывают довольно милые, и я изо всех сил стараюсь соответствовать, не портить веселья, что-то говорю двусмысленное, намекающее, смеюсь, подыгрываю, но, когда меня оставляют, чувствую невольное облегчение.

Мне гораздо больше нравится участвовать в этом карнавале вот так, издалека, с привкусом страха и невозможности — совсем как в детстве.

То, что я слишком хорошо знаю, насколько все «возможно», возможно даже для меня, покалеченного и невзрачного, ничего не меняет. Ведь это совсем другая,

как бы метафизическая невозможность. Если б ее можно было выразить словами, то означать она должна была бы примерно следующее: «мера любви, отпущенная тебе, слишком велика, чтобы ее можно было разделить с кем-нибудь одним». И мы в тоске этой невозможности либо мечемся всю жизнь от одной любимой к другой, либо забиваемся в угол и только млеем в созерцании, не двигаясь с места ни к одной, из страха потерять всех остальных, либо устраиваем такие вот игрища, когда все трепещет на грани, когда все скользят друг возле друга, почти касаясь, почти целуя, почти любя — но всегда только почти.

14

То, что ты написала о новом визите следователя, конечно, встревожило меня. И зачем было рассказывать ему о нашей ссоре в тот день? Разве не ясно, куда он клонит? Так зачем ему помогать? А то, что ты назвала мои писания «доморощенным фрейдизмом» (прочтя только маленький отрывок), не только обидно, но и попросту глупо. При чем тут Фрейд? Этот знаменитый венский фокусник мой случай как раз отбросил бы как нетипичный, а потому и неинтересный. Сироты ему вообще всегда были не по зубам. «Кто мать пациента, кто отец, кого к кому из них он ревновал?» Защищая нежную психику ребенка от травм, гуманные антифрейдисты увезли мать и отца в черных воронках, когда пациенту не было и года, все детство прошло с тетками — что тут можно выстроить? Вытесненная в подсознание ревность к Тетирине по поводу Тетули? Чушь какая-то.

Но что было, то было — влюбчивость одолевала меня с самых ранних лет сверх всякой меры (если вообще тут можно говорить о какой-то мере). Уже в тринадцать, в четырнадцать я был влюблен одновременно как минимум в пятерых — это не считая всех мимолетных влюбленностей, которые вспыхивали и гасли чуть не каждый день.

Помню, в квартире напротив жила толстогубая женщина, которую у нас все звали Иришей. Она часто забегала на нашу кухню поболтать или одолжить чего-нибудь по хозяйству или узнать, нельзя ли ей сегодня помыться в нашей ванной, потому что в бане «жуткая очередь», а у нее после работы «страшный усталон».

Я помнил ее еще с довоенных лет и слегка презирал за непомерную болтливость и толщину и за резиновые боты, в которых она бегала в любое время года. Переход от презрительного равнодушия к влюбленности произошел во мне мгновенно.

Был поздний вечер, мы уже укладывались, и вдруг Тетуля стала уверять, что слышала, явно слышала звонок. Я с недовольным видом поплелся открывать и, хотя был уверен, что никого нет, для очистки совести выглянул в глазок. За дверью действительно было пусто, но на другом конце площадки я увидел Иришу — она стояла, странно откинувшись назад, и глядела на меня, тяжело дыша и улыбаясь чему-то, и качала головой — «нет... нет...».

Через несколько секунд я разглядел темную фигуру мужчины, обнимавшего ее сзади, его руки, просунутые у нее под мышками, полувоенную фуражку с черным верхом. Парочка стояла, слегка раскачиваясь, вжимаясь друг в друга то так, то этак, потираясь щеками, что-то шепча. Лица мужчины я не видел, но лицо Ириши, чуть закинутае, было ярко освещено — именно лицо ее поразило меня больше всего. В нем была такая открытость, такая освобожденность от будничного притворства, что-то самое существенное, щемяще-обнаженное. Сердце мое захлестнуло сладким холодом, и я застыл за дверью, скрючившись и упершись лбом во вмятину над глазком. Ни поза их, ни бесстыдство объятий (я видел уже и не такое) не могли бы так потрясти меня, не будь этого неузнаваемого, преображенного лица.

С тех пор каждый раз при встрече с Иришей я замирал и вглядывался: не приоткроется ли в ней снова то, что я увидел на лестничной площадке. Ничего не приоткрывалось, она по-прежнему бойко лопотала, сыпала свои «усталоны», «кофетоны», «супоны», всплескивала руками, улыбалась всем подряд, но это больше не раздражало меня. Я-то знал, что все это лишь притворство, необходимое ей, чтобы прятать себя, женщину, от чужих. Мне хотелось как-нибудь показать ей, что от меня прятаться не нужно, что я знаю и люблю в ней то, спрятанное. Должно быть, я делал это весьма неуклюже, потому что она часто хмурилась на мои намеки, даже сердилась — я казался ей просто невоспитанным дерзким мальчишкой с гадкой усмешечкой и постоянно рыскающими глазами. Невозможность выразить ей свою любовь и соединиться с тем сокровенным, что я знал

в ней, мучила меня ужасно. Да что там выразить! — хотя бы видеть ее время от времени ту, не спрятанную.

Однажды, когда она мылась у нас очередной раз, я прокрался в темный коридор и лег ничком у дверей ванной. Помирая от стыда и страха, я подsunул в широкую щель под дверь специально заготовленное зеркальце и приник к нему, как к окуляру перископа. Вид ее наготы ошеломил меня, но в то же время и разочаровал. В мокро-блестящих плечах, в испещренных ямками ягодицах было что-то убийственно конкретное, однозначное, изгонявшее сладкий холод из сердца, оставлявшее только болезненное натяжение в паху. Лицо ее, сморщенное и зажмуренное под душем, казалось еще более закрытым, чем у одетой. Так и не удалось мне больше ни разу увидеть ее такой, как тогда, на лестничной площадке. Но все равно память об этом была так сильна, что еще в течение нескольких лет, стоило мне слышать ее голос, я бежал на кухню и торчал там даже без всякого предлога — кажется, к большому ее неудовольствию.

Другая моя влюбленность тоже протекала большей частью в глазении издалека. Тогда как раз шел год усиленной борьбы со всем западным, борьбы, захлестнувшей, как водится, все сферы, прокатившейся волной бесчисленных переименований улиц, научных формул, ресторанных блюд, станков, цветов и прочего. Формулы и станки мало нас беспокоили, но запрещение и объявление как бы несуществующими всех западных танцев очень нас будоражило и возмущало. Однако, что было делать? Не отказываться же напрочь от манящего мира школьных вечеров, от этой сказочной ярмарки быстрых знакомств и узаконенных объятий? И мы чуть ли не всем классом ходили в кружок других, правильных танцев, так называемых бальных. (Волна переименований каким-то образом обошла этот островок, и они так и назывались по-прежнему — па-зефир, мазурка, па-де-патинер.)

Обучала нас отставная балерина лет пятидесяти с гладкими капроновыми ногами и голосом простуженного полковника. Она очень старалась, но каждый раз делала одну непоправимую ошибку: вместо того чтобы соединить две шеренги — нас и девочек из школы напротив — по-военному, как-нибудь там по порядку номеров, она приказывала нам приглашать своих партнеров, то есть кто кого хочет, оставляла нам мучительную

свободу выбора и сразу же обращала весь урок в стыд и кошмар.

Сначала никто не решался двинуться с места. Потом самые отчаянные и самые дисциплинированные (приказ!) выступали вперед и шли в сторону девочек — первые развязно, вторые со скорбной миной выполняемого долга.

За ними трогалась основная масса, перекатывалась через зал, на ходу самоускоряясь по всем законам движения толпы, и, достигнув женской шеренги, превращалась в самую непристойную базарную давку с отталкиванием, с ссорами «кто первый», с выкриками «сам ее бери!» — позор неопишуемый. Наиболее робким доставались лишь последние замухрыги в валенках и шерстяных рейтузах, торчащих из-под платья.

После этого пары выстраивались, аккомпаниатор ударял по клавишам, наш капроновый полковник, вытянув носок одной ножки, подскакивал на другой — мы дергались вслед за ней, дергали своих дам, натыкались друг на друга, падали. Дело явно не шло. Балерина выходила из себя, понося нашу бестолковость и носорожью грацию, и никак не могла взять в соображение, что у каждого сейчас перед глазами туман, сердце колотится, а в голове проносится только одно: «Он опять ее пригласил... А тот — эту!.. А меня — опять нет... А тот... А та...» — какие уж тут танцы.

Только один раз я решился пригласить свою любовь. Да, я до сих пор по привычке говорю «решился», пытаясь вложить в это слово все тот же смысл — преодолел волнение, страх, один раз преодолел, а больше не смог. На самом же деле я был скорее испуган той легкостью, с которой мне удалось это проделать — выйти из шеренги одному из первых, направиться прямо к ней и, глядя в глаза, наклонить голову и дрыгнуть ногой, как учили.

Оказалось, это вовсе нетрудно.

Тот толчок в сердце, который я ощущал всякий раз при взгляде на нее, то волнение, которое я лелеял в себе издали, не возрастало по мере приближения к ней, а, наоборот, слабело с каждым шагом и совсем улетучивалось, когда мы застывали, взявшись за руки, в ряду других пар.

Я не знал, что мне дальше с ней делать.

Ее вспотевшие ладони, волосы на шее, шов платья — все снова было мучительно и безнадежно конкрет-

но, однозначно, несовместимо с тем мистическим счастьем-страданием, которое вызывала во мне ее красота на расстоянии. Тем более что она была красива той грустной, влажно-глазастой красотой, для которой задумчивая неподвижность и одиночество казались необходимым условием, а всякое оживление и разговор — губительными. При смехе верхняя губка ее, натягиваясь, сплющивалась на деснах, и все очарование пропало — во всяком случае, для меня. Каким-то диковинным образом пучок цветных лучей, составлявший ее облик, падая на сетчатку моих глаз, производил во мне жгуче-радостную боль, и столь же диковинно прикосновение к ней, живой, эту боль снимало. Вечная история! Мне во что бы то ни стало был нужен в любви тот томительный страх и невозможность, и я изо всех сил старался забыть свою несчастную смелость, забыть, как легко было подойти к ней и дотронуться.

Я снова издали пожирал ее глазами на наших танцевальных муштровках, я врал себе и приятелям, что у меня не хватает духу заговорить с ней, выслеживал ее по дороге из школы, искал глазами на вечерах. Я знал ее дом и окно, ее родителей и подруг, адрес и телефон. Иногда я писал ей письма без подписи, иногда звонил и в течение часа развлекал каким-нибудь вздором, который она слушала с явным удовольствием. Все этой бурной куртуазной деятельностью мне почти удалось убедить себя, что я влюблен безнадежно, и наслаждаться своей возвышенной влюбленностью, где — и это главное! — все казалось еще только впереди. Да-да, впереди, а это лишь так, лишь волнующая прелюдия, и какова же должна оказаться сама любовь, если уже вступление к ней так полно счастливым волнением?

Увы, я слишком ясно уже предчувствовал, что именно прелюдия есть лучшее из всего. Смутное сознание того, что все это лишь игра, искусственные затяжки, что сладостная невозможность пресловутого «впереди» не более чем выдумка, что оно, к несчастью, слишком возможно, порой появлялось из того угла, куда оно было загнано, и подавало свой мерзкий мертвящий голос.

К тому времени я уже кое-что знал о том, что бывает там, впереди.

Нас была небольшая компания, человек пять-шесть, разных по возрасту, но одинаково циничных, наглых и обуянных примерно равной силой сладострастием. Вечера

наши обычно проходили в штатании по улицам, в попытках прорваться на всякого рода танцульки, в мелких стычках с другими такими же компаниями, но главным образом в том, что на нашем жаргоне называлось клеить чувих. В кино, в автобусе, на стадионе, на танцах — мы всюду клеили, клеили.

Дело это имело массу тонкостей и приемов, от простейшего «девушка-куда-вы-так-торопитесь?» до сложных и громоздких розыгрышей, проводимых с иностранным акцентом, с предложением писать портрет, сниматься в кино или ехать к «одному человеку» за итальянскими туфлями по дешевке. Для розыгрышей я с моим хорошо подвешенным языком был незаменим, но во всем прочем отставал и часто оказывался лишь обузой. Я словно забывал, что все эти толпы слонявшихся по улице девиц не имели и не могли иметь другой цели, как быть «заклеенными», и давал слишком много веры всем их «нет!.. отстаньте!.. дураки! кретины!..» Я верил им, ибо в глубине души и сам ощущал некую ничтожность того, что мы делали, а главное — как.

К счастью, наш главарь и учитель Виноградский таких сомнений не знал, в нем клокотала та искренняя легкая бесшабашность, которая, как танк, подминала под себя картонные стены условностей, и «чувихи» падали навстречу его улыбке чуть ли не с благодарным вздохом, а он подхватывал их и передавал нам одну за другой. Примечательно, однако, что он никогда «не работал» в одиночку. Ему обязательно нужно было, чтобы все делалось компанейски, с шумом и шуточками, избави Бог не всерьез. Он же безошибочно определял, на какой день знакомства можно было вести очередных «заклеенных» на хату и в какой момент веселья включать музыку или гасить свет, и лишь там, в наступившей темноте, слагал с себя полномочия и предоставлял каждого его собственной предприимчивости. Благословенная темнота, скрадывавшая все недостатки первой встречной, оставлявшая под руками лишь ее, женщину вообще, ее запах, ее мягкость и дрожь, ее бессмысленный шепот и влажный рот, растопляла мою проклятую скованность, и я кидался вперед с решимостью, удивлявшей потом меня самого.

Вскоре я тоже обучился нехитрой стратегии этой извечной войны, научился, пропуская мимо ушей все «нет-уйди-нельзя-не-хочу», терпеливо сдирать, как обертку с долгожданного подарка, свою и ее одежду, прорывать-

ся (так ли, этак ли) все ближе и ближе к тому моменту, когда блаженная боль, копившаяся во мне все это время, не вырвется из своего средоточия и не разлетится лучами и искрами до плеч, колен и локтей. Меня всегда поражало, что, почувствовав мое содрогание, бывшие непримиримые противницы тут же делались до смешного нежны, участливы и ласковы со мной, теперь обессиленным и безопасным. Эти их запоздалые порывы, которыми я был бы так счастлив еще минуту назад, теперь оставляли меня совершенно равнодушным и лишь придавали уверенности, чтобы и в следующий раз, с другой, не верить ни ее «нет», ни отталкиванию моих рук, ни просьбам, ни шипящим угрозам.

Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной...

Все более совершенствуясь и изощряясь в подобных делах, я к годам семнадцати превратился уже в довольно-таки прожженного хвата, не нуждавшегося больше ни в чьем руководстве. Мне больше не было нужды в поддержке каких-либо соучастников — все сам, от начала до конца. Тщеславие мое насыщалось всякий раз столь же полно, как и сладострастие, часто даже бывало, что именно оно бросало меня в очередное приключение, если знакомство происходило на людях (какое-то чувство чуть ли не долга — «ничего не поделаешь, надо!»).

Впрочем, что я тут расписался? Ты застала меня уже таким, готовеньким, видела все своими глазами, все испытала на себе. Но при всем презрении к «приемчикам», как ты их называла, при всех насмешках, скажи: смог бы я без них пробиться к тебе через стену, нас разделяющую? заметила бы ты меня вообще?

«Не заметила бы,— честно скажешь ты, но не сможешь удержаться, чтобы тут же не добавить: — И, наверно, так было бы лучше для нас обоих».

Кажется, я никогда не знал ревности. Даже в той тягостной истории с твоим женихом главной мукой было не видеть тебя неделями и месяцами. Но ревновать?

Позже я, конечно, устраивал тебе сцены, когда ты кокетничала с кем-то на вечеринках или задерживалась

допоздна под довольно сомнительными предложениями и возвращалась домой за полночь, но, прости, я делал это скорее по обязанности, чтобы не обидеть тебя. «Не ревнуешь — значит, не любишь», — это повторяют с такой уверенностью, что не рискнешь и усомниться вслух. Хотя в глубине души я всегда думал, что ревность разгорается там, где слабенькое «люблю» хочет придать себе цену, распаяясь по поводу нарушения главного — «владею».

Или это опять очередной мой загиб? И не из-за него ли ты так часто чувствовала себя несчастной и не смела признаться?

Во всяком случае, мои детские целомудренные влюбленности шли своим чередом и как-то уживались с «чувствами» и «хатами». Подобные несообразности описаны много раз в выдуманных романах и подлинных биографиях, но, несмотря на множество утешительных примеров, эта раздвоенность всегда втайне мучила меня. В ней чудилось что-то навсегда безнадежное, непоправимое. Тот сладкий холод, который заливал меня — что там, при взгляде! — при одной лишь мысли об Ирише, о девочке на танцах, о киноактрисе Макдональд, о парикмахерше Зине и о всех прочих, казался несовместимым с сухой расчетливостью захватчика, необходимой для всех моих любовных побед. Но, с другой стороны, и чувственные наслаждения, вырываемые мною в темноте комнат, скверов и парадных, казались мне куцыми и недолговечными без того блаженного страха, который приходилось всякий раз затаптывать, чтобы добиться своего.

Чувство было такое, словно, забравшись высоко в горы и изнывая от жары, ты смотришь вниз на манящую синеву моря, представляешь, каким счастьем было бы сейчас погрузиться в него с головой, ринуться в его упругую податливость, но уже из опыта знаешь, что если начнешь спускаться, то очень скоро поневоле попадешь в прохладную полосу прибрежных ветров, остынешь и в воду войдешь, не испытав никакого счастья, чуть ли не по обязанности, — и остаешься на горе. То есть я предчувствовал, что, пустив в ход все приемы, смог бы, пожалуй, овладеть любой из них (за исключением, разве что, плоскоэкранной Макдональд), но точно знал, что со священным холодом будет покончено в тот момент, как я только ступлю на этот путь.

Так оно и тянулось несколько лет рядом, не слива-

ьясь: одно дело — чувства, другое — чувственность, мечты — сами по себе, стратегия и чувихи — сами.

Что и говорить — я считал себя безнадежным извращенцем. Фантазия моя, пытавшаяся соединить эти несовместимые вещи, рисовала мне стыдные картины, где мы оба, я и она, проделывали друг с другом не то, что обычно делают любовники наедине, но какие-то торжественно-печальные ритуалы с раздеванием, однако с раздеванием обязательно побочным, не для того. Если в книге или фильме встречалась сцена, где женщину обнажали, чтобы лечить ее, рисовать или наказывать, меня кидало в такой жар, что дальше я уже ничего не мог воспринимать. Достаточно было лишь представить себя в подобной ситуации, чтобы ощутить вожделенный холод у сердца, прикосновение к чему-то бездонному — точно идешь по перилам моста. В этих видениях мешались картины средневековой инквизиции, иллюстрации из медицинских учебников, натурщицы в натопленных студиях, блеск никеля в белизне операционной, створки полупрозрачных ширм и прочий режиссерский визит в духе пьесы «Балкон».

Как я боялся разоблачения!

Чисто теоретическое предположение, что кто-то может догадаться о моей извращенности, заставляло меня трясти головой и мычать что-то неразборчивое — «нет, ни за что!» Всякая попытка реализовать видения в жизни или хотя бы осторожненько подыскать понимающую и согласную на игру заранее отметалась. Даже сны подобного рода всегда кончались одинаковым кошмаром — распахивалась стена, и я, холодея, видел зал, набитый до отказа зрителями, знакомыми и нет, хохочущими, подмигивающими, свистящими, что-то записывающими, переговаривающимися.

«Они все видели», — догадывался я и просыпался в поту.

Не читавши еще ни Руссо, ни Фрейда, ни маркиза де Сада, ни Сологуба, ни Набокова, ни всех «бестселлеров» времен сексуальной революции, не столкнувшись ни с одним похожим на меня, выдавшим бы себя словом или жестом, давшим бы мне лучшее из утешений — «не я один такой!», я лишь благословлял небо, что техника цивилизации не дошла пока до чтения мыслей, и скорее кидался снова и снова повесничать, хитрить и соблазнять, насыщая сполна свое тщеславие и похоть, но при

этом углубляя до безнадежности пропасть между любовью и любовью.

Да, этот зал, эти зрители, это Мы...

Но вот я выхожу теперь перед вами на край сцены, уважаемые дамы и господа, и хочу спросить: в чем же была причина вашего смеха? Не хотели ли вы сказать, что тот, всем известный и никого не миновавший юношеский сердцеколотящий страх не был знаком вам? Или вас нужно понимать так, что да, был знаком и весьма, но в свое лишь время, как преходящая неопытность, незрелость, неуверенность в себе? И что теперь он не нужен вам, вы покончили с ним как с чем-то смешным, жалким и недостойным, что вы узнали, что любовь есть нечто совсем другое, что главное в ней верность или духовное общение, или смелость, или неутомимость в постели, или и то, и другое, и третье, вместе взятые?

Милые дамы и господа, не пытайтесь обманывать себя. Вам всем, всем без исключения, нет и не было ничего дороже этого священного страха, этого привкуса невозможности в любви, вы горько жалеете, что дали жизни выбить его из вас, и всякую минуту жаждете вернуть хотя бы отблеск его, хотя бы подобие, хотя бы имитацию через боль и стыд — только каждый на свой манер.

Вот вы, улыбающаяся в третьем ряду справа, наша добрая знакомая (имя и фамилию опускаю), — что творилось с вами вчера, когда мужская рука, скрытая скатертью стола, погладила вам колено? Нет, я верю — верю, что вы остались бы презрительно холодной, будь то рука любого очередного воздыхателя, пусть даже самого неотразимого. Но это была рука мужа лучшей подруги — и вы не могли заснуть до трех часов.

А вы, заслуженные супруги, там за проходом, ни разу не изменившие друг другу за многие годы, — неужели у вас хватит совести утверждать, что сердце ваше при виде друг друга трепещет сильнее, чем под случайным взглядом чьих-то глаз, что-то безмолвно сказавших вам? И если даже так, то не расскажете ли вы, какие новые и новые ласки вы измышляли по ночам, какие невообразимые позы возрождали в вас вновь блаженное чувство стыда, но лишь для того, чтобы на третий-четвертый раз превратиться в ту же брачную рутину, какую стало уже все остальное.

Я обхожу взглядом двух приятелей в глубине лоджи, нежно потирающихся плечами сквозь толстую ткань

своих пиджаков, — им не надо ничего выдумывать. Уголовный кодекс поставляет им каждый день страху выше головы.

И тех одиночек, рассеянных по рядам гуще, чем принято считать, чьи ноздри раздуваются при одном слове «розга», — жажда страшного, своего или чужого испуга, материализовалась в них с убийственной наглядностью.

Но вы, великие Дон-Жуаны наших дней, виноградские и прочие, недостижимые учителя мои в науке быстрых побед, смеющиеся громче других, ибо вам кажется, что вы-то как раз само бесстрашие, — не объясните ли вы мне, что же гонит вас от одной женщины к другой, почему вам непременно нужно каждый раз новую и непременно испуганную, ошеломленную, сопротивляющуюся? Только не пытайтесь уверять, будто каждая новая у вас лучше предыдущей — все знают, как до смешного неразборчивы вы в своих приключениях. Но каждый раз вам нужно непременно проходить весь путь от начала до конца, если он оказывается слишком коротким, если вам отдаются хладнокровно и сразу, вы почувствуете смутное беспокойство, чуть ли не унижение, вы пытаетесь нащупать в ней хоть слабую тень стыда и испуга, чтобы было вам что преодолевать, чтобы глотнуть чужого живительного страха, раз нет своего, ибо вы поистине по природе своей хищники и страхопийцы. Если она раздевается спокойно, как в бане, вы обязательно будете требовать у нее всевозможных вывертов; если она согласится и на них, вы будете принуждать ее лечь с вами двумя-тремя; если удастся и это, выдумаете еще что-нибудь, пока не дойдете хотя бы до единственного «нет», и тогда, сломив и его, не убежите от нее на поиски новой добычи.

И вы, и вы, и вы — я мог бы порассказать о каждом, но зачем? Чтобы показать — мы все такие? Или, по крайней мере, что нас таких — миллионы? Да разве я боюсь теперь этого разоблачения, разве нужно мне еще прятаться от него в заветном «как все»? Не узнал ли я про себя за семь лет жизни с тобой чего-то похуже, того, в чем я не мог открыться никому из близких, когда пытался объяснить, каким наваждением ты так привязала меня к себе? Да и сам я только за эти недели вдали от тебя впервые начал понимать, что суть этого особого извращения сводилась, наверно, к тому, что мне мало было любить ее (тебя) и быть любимым ею

(тобою): Нет — мне еще нужно было, чтобы она (ты) каждый день и каждый час помогала мне судиться с миром.

О да, я могу привести тысячи оправданий для такого душевного вывиха. Разве моя жажда Закона, Закона для всех, нашла где-нибудь в окружающей жизни опору, понимающего наставника? Разве встретился хоть один, кто мог бы рассказать мне, из каких корней вырастает такая жажда и к какому Суду она должна привести? Объяснить главное чудо такого Суда (непостижимое для меня и до сих пор): ты можешь быть найден виновным по всем пунктам, осужден по Закону и, тем не менее, помилован (спасен) любовью?

Все объяснения, которые мне доводилось слышать, были такими обрывочными, неубедительными. То прежде всего возносился сам свод законов, но, когда я пытался разбираться в его пунктах и заповедях, мне говорили, чтобы я не старался зря, что не человеческого ума это дело. То Законодатель объявлялся центром всего, но никто не мог рассказать мне, оставался ли он главнее собственного Закона или служил ему. То обещали мне слияние с всечеловеческим Мы, то, наоборот, требовали, чтобы я набрался мужества и принял весь ужас одиночества лицом к лицу с Неведомым. То восхвалялся приговор, всегда безупречно справедливый по назначаемой каре или воздаянию, — но нигде в жизни не видел я этой безупречности. То отсутствие жалости обещалось в наказании (Босх! Данте!), то, наоборот, бесконечная, всепрощающая любовь, способная отменить любой приговор, а вместе с ним — и справедливость.

И вот, смешав все это в голове и только инстинктивно чувствуя, что любовь должна присутствовать здесь непременно, что без любви я пропал, я втянул (в присяжные? в судьи?), взвалил все это на того, кого любил, — на тебя.

Нет, ты старалась, очень старалась. Но почему так вышло, что по-настоящему ты увлеклась только обвинением? Я не говорю, что все, среди чего я рос, — безотцовщина, поножовщина, бедность, пропагандная ложь и эти тысячи мелких и крупных «нельзя», загоняющих человека с юности в тупик (а дальше что?), должны гарантировать мне оправдание во всем. Но зачем тебе было доходить до нелепостей и утверждать, будто ничего этого — ни бедности, ни лжи, ни тысяч «нельзя» — нет или что серьезного вреда они принести не могут?

Или, относясь так безжалостно к самой себе, считая свою собственную тяжбу проигранной с самого начала, ты, как смертник в камере, подсознательно готова радоваться чужим приговорам? Или, чувствуя, что я хотел и хочу судиться всерьез, ты таким вывернутым способом пыталась идти мне навстречу? Но понимаешь ли ты, что не слова твои язвили меня, а просто каждый день, когда ты была несчастна, оборачивался для меня новой строкой в приговоре по главному обвинению: не стал, не состоялся, не смог.

Вчера я написал следователю письмо с заявлением, что видел задние огни «виллиса», что вспомнил теперь это отчетливо и что не исключаю такой возможности — задремал за рулем. Не потому написал, что «милость» во мне проснулась или пожалел жену счетовода или его самого (чтоб ему шею сломать в следующий раз), и не потому, что испугался психозэкспертизы, и даже не потому, что тебе так хотелось, а потому, что это показалось кратчайшим выходом, требующим наименьшей затраты сил. Ведь силы, какие остались, надо употребить на главное: на то, чтобы попытаться выбраться нам с тобой из переплетения наших тяжб.

О, как я хочу выбраться! Нет, не думай — не в том дело, что суд твой жесток, несправедлив, неправеден, немилосерден, а просто — не человеческих сил это дело. Даже если б ты и сейчас любила меня, как в самом начале, не ты протянешь из ночной темноты невидимую руку, не ты в последний отчаянный момент последней решимости придержишь руль, не дашь довернуть его до полного и окончательного побега из зала, когда разбирательство дела еще не кончено.

Да и вдуматься только: как можешь ты быть мне судьей, когда ты сама, быть может, — главная моя вина и главное оправдание?

Ефимов И. Как одна плоть. Ardis, 1981.

ГОРОД И МИР

Людмила ШТЕРН

ДВЕННАДЦАТЬ КОЛЛЕГИЙ ПОВЕСТЬ

Сцены из научной жизни

В буднях великих строек,
В веселом грохоте огня и грома,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых.

Марш энтузиастов

...Здание Двенадцати Коллегий — одно из самых ранних и значительных построек в архитектурном комплексе восточной оконечности Васильевского острова. Возведенное в 1722—1742 годах по проекту Доменико Трезини, оно предназначалось для размещения Сената и Коллегий — высших органов государственного управления России, учрежденных Петром I.

Трехэтажное здание длиной 400 м расчленено на 12 одинаковых по размеру и внешнему облику частей. Каждая из них имеет высокую с острием крышу и свой архитектурный центр с декоративными элементами. Такая композиция, подсказанная самим Петром, — подчеркивала самостоятельность каждой из коллегий и одновременно взаимосвязь их в системе государственного управления.

8 февраля 1819 года был основан Петербургский университет, которому Александр I подарил здание Двенадцати Коллегий.

Сейчас там находится Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова.

Путеводитель по Ленинграду

ЭКСПОЗИЦИЯ, ИЛИ ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Даже если вы сто раз на дню пробегаете туда и обратно по университетскому двору вдоль знаменитых Двенадцати Коллегий и проделываете это по девять-десять лет кряду, и то, быть может, вы до сих пор не обратили внимания на нашу кафедру. Она затерялась между магазином «Книги» и музеем Менделеева, в котором экспонируются пятьдесят шесть сундуков и девятнадцать чемоданов, созданных в порядке хобби руками гениального химика в свободное от Периодической таблицы время.

Дверь нашей кафедры перекошена и открывается неохотно. Желаящий попасть внутрь должен упереться двумя ногами в одну створку и, уцепившись за остаток ручки, со всей силой дернуть ее на себя. Если при этом ему удастся не упасть навзничь, то, возможно, он проникнет в темный узкий коридор. На другой створке висит несколько разнокалиберных объявлений, в основном негативного свойства.

Прохода, раздевалки,
туалета нет.

Кто не был на субботнике!
ке! стипендии не будет.

Вход в библиотеку не тут.

Кто не сдал Ленинского
зачета — к экзаменам не
допускается.

Однажды весной двери украсились черной таблицей с золотой надписью: «Кафедра почвоведения и слабых грунтов». Вначале у нас было две кафедры. Почвоведением заведовал профессор Иван Петрович Пучков. Художественно оформленный серебряной гривой и острой бородкой, он напоминал все портреты великих русских ученых, кроме Ломоносова. Брюшко с золотой цепочкой поперек, шегольское петербургское грассирование, неизменные «батюшка» и «намедни» делали его похожим на благородного интеллигента из «бывших». И лишь несколько довоенных, чудом уцелевших старожилов помнят, как он «стучал» в 34, 37, 49 и 52-м годах и победоносно прошел по трупам по крайней мере десяти человек.

Кафедрой же слабых грунтов заведовал молодой профессор Корин — спортсмен, любимец студентов, почти неотличимый от них благодаря потертым джинсам и слэнгу. Он бесконечно раздражал Ивана Петровича.

«Стрикулист и сопляк», — шипел наш маститый профессор, услышав, что Корин устраивает научные семинары на лыжных базах. Слух о романе Корина со студенткой Тарасюк Пучков воспринял с глубоким удовлетворением и стал пристально следить за развитием событий. Когда же из Москвы пришел сигнал о необходимости слить обе кафедры, Иван Петрович перешел в наступление и лично зачитал на партбюро им же самим изготовленную анонимку об аморальном и недостойном поведении профессора Корина. Были также ночные звонки коринской супруге и письма родителям Нины Тарасюк. Результаты незаурядной энергии профессора Пучкова тут же сказались: Корина попросили подать в отставку. Он покинул квартиру, вполне любимую жену и отправился со случайной подругой Ниной Тарасюк искать счастья в Тюменском политехническом институте.

Вскоре кафедры объединились под эгидой Ивана Петровича. Однако легкие победы притупили пучковскую бдительность. Он и не подозревал, каким бедам отворяет двери, поддержав кандидатуру доцента Леонова, приехавшего из Витебска читать коринские курсы. Леонов — лысый, юркий толстячок — колобком вкатился на нашу кафедру, держался подобострастно, говорил «документы» и «сантиметры» и в ответ на каждую пучковскую шутку раздражался тонким залившимся смехом. По общему мнению он был совершенно безопасен.

Вскоре Леонов стал незаменимым человеком на кафедре и, как говаривал Пучков, его «правой и левой рукой». Они вместе начали писать учебник. «Мой кругозор и ваша интуиция, батенька, сотворят чудеса», — рокотал Иван Петрович, увлекая Леонова на своей «Волге» в Дибуну, где в смородинных кустах розовела пучковская дача. Сам Иван Петрович не печатался уже лет шесть.

Пока наши герои собираются творить чудеса, давай, дорогой читатель, совершим экскурсию по нашей кафедре. Осторожно, не споткнись о набитую окурками урну, над которой выведено: «Курить воспрещается». Одна стена украшена школьной географической картой с флажками, указующими, где трудятся наши выпускники. Над картой плакат: «Все наши силы и знания — любимой Родине». Однако флажки разъехались недалеко. Алым плащом покрывают они слово «Ленинград» вплоть до Ладожского озера, целое скопище их в Москве и в Прибалтике, один счастливец попал в Болга-

рию, и лишь одного безумца занесло в Пермь. За Уральским хребтом флажков нет. На другой стене — экстренный выпуск кафедральной стенгазеты «Молния», бичующий безобразную выходку студента Аламбека Мавлянова, высыпавшего после опыта в унитаз шесть килограммов глины. «Молния» висит уже около года, а огромный гвоздь, намертво вбитый поперек в облезлую дверь уборной, все еще свидетельствует о тяжких последствиях мавляновского эксперимента. Однако для сотрудников кафедры отсутствие сортира — редкая удача. Мы исчезаем теперь на два-три часа, и, когда начальство осведомляется, где товарищ такой-то, оставшиеся многозначительно пожимают плечами: «Вы же знаете, Иван Петрович, в каких условиях приходится...»

Первая дверь налево — лаборатория мерзлотоведения. Она оснащена морозильной камерой, в которой могут укрыться четыре человека в случае пьянки, если кто-нибудь войдет ненароком в незапертую дверь. Существует легенда, что в морозилке можно создать температуру минус шестьдесят градусов, однако на моей памяти она не включалась ни разу.

Лабораторию мерзлотоведения обслуживают три научных сотрудника. Старший по чину Вячеслав Михайлович Белоусов — сухощавый, бледный молодой человек в очках с тонкой золотой оправой, безукоризненно одетый, предупредительно-вежливый, немногословный. Иногда, откинувшись на стуле и дико выкатив глаза, он хрипит и однажды до смерти напугал инспектора отдела кадров, который, в отличие от нас, не знал, что Слава — йог и в данный конкретный миг находится в нирване. Но чаще он сидит, сгорбившись над мелко испанной страницей. Ходят слухи, что Слава пишет прозу. Он никому ее не показывает, но мы полны пиетета к его жертвенной неблагодарной работе, так как, по его словам, печатание ему не угрожает. За соседним столом, попивая чай из колбы, в клубах сигаретного дыма маячат фигуры двух других сотрудников. Это — красавец Эдик Куров в ворсистом канадском свитере и джинсах «Леви Страус», и Оля Коровкина, долговязая девица, сплошь усеянная камнями. Она — дочь парторга нашего факультета.

Сотрудники уже обменялись свежими анекдотами и новостями, сообщенными накануне обозревателем Би-биси Анатолием Максимовичем Гольдбергом, и теперь Эдик, поглаживая притулившегося к его плечу сям-

ского кота Никсона, внимаает драматическому рассказу Оли о том, как она «попала в облаву» в женском туалете на Садовой около «Пассажа», где оживленно торгуют колготками, французской помадой, лифчиками, боножками и всем тем, что раз в месяц для плана «выбрасывают» в универмаге «Пассаж».

— Представляешь, Эдька, они ворвались в сортир — восемь здоровенных мужиков — и всех запихали в машину. В милиции стали требовать документы, насильно открыли сумки, ошупали все карманы. У меня изъяли японский зонтик, который — помнишь — я у Ритки за тридцатку купила. Вовсе я не собиралась его загонять, а просто так зашла, поинтересоваться... Они грозили, что пошлют письмо на работу. Ну, не гады ли?

— Брось, старуха, не дрейфь. — Эдик сладко потягивается. — Никого это теперь не колышет. — И он начинает — в который раз — свою бессмертную историю про то, как его замели в садике на Литейном, 57, с романом Хемингуэя «Острова в океане». Этот садик известен каждому, кто любит книгу. Камю и Булгаков идут за 50 рэ, Мандельштам — совиздание — за тридцатку, «Новгородская икона» — за 40 рэ, словом, здесь циркулирует весь тот книжный дефицит, который не достигает магазинных прилавков, будучи проданным на корню прямо на книжных базах. А дело с Эдькой и Хэмингуэем было так: какой-то тип требовал отдать ему «Острова» за десятку, Эдька уперся: «Я только меняю». Тип стал молить и заклинать. Эдька «дрогнул и сдался», но в момент, когда происходил знаменитый процесс «товар — деньги — товар», любитель Хэмингуэя вытащил соответствующее удостоверение, вследствие чего Эдьку наголо обрили и упекли на 15 суток принудительным образом перебирать гнилую капусту. А в это же самое время все члены кафедры перебирали эту же капусту как бы «добровольно», только в другом овощехранилище, и Эдькино двухнедельное отсутствие осталось незамеченным. Когда же он явился в Университет еще более элегантный, но бритый и похудевший, профессор Пучков отечески осклабился: «Чудно выглядите, батенька!» Пучков не интересовался мерзлотой и никогда не заглядывал в эту лабораторию. Ее буколическая жизнь нарушалась раз в неделю вторжением научного руководителя «мерзлотки» доцента Миронова, широкоплечего человека с медвежьими ухватками и наспех вырубленными чертами лица. Его сиреневый нос считался отмо-

роженным в далекой тундре. Миронов появлялся зимой в лыжных ботинках прямо с дачи и горделиво демонстрировал синяки и ушибы, полученные при скоростном спуске с горки. Летом он привозил вяленую рыбу, банки с тертой малиной и глухим голосом посвящал Славу, Эдика и Олю в тайны соления грибов и различных маринадов. Петр Григорьевич был дедом двенадцати внуков и владельцем трехэтажного дома в Соснове, с которого имел неплохой доход, сдавая бесчисленные клетушки ораве дачников. Петр Григорьевич не бился в месткоме за путевку в Цхалтубо, не хлопотал о кооперативной квартире, не влезал в буфет за бананами без очереди, не выцыганивал гараж, и на факультете за ним прочно укрепилась слава порядочного человека. Если Миронов нарушал этикет и засиживался в мерзлотке больше часа, Слава Белоусов сгребал со стола свою прозу и со словами: «Почему я должен это терпеть?» — уходил домой. Оля подмигивала Эдику и с криком: «Кажется, зарплату привезли, Петр Григорьевич!» — исчезала, оставляя после себя легкий запах духов «Не забудь». Эдик больно щипал Никсона, оскорбленный кот начинал жалобно мяукать, и тогда Эдик пытался к дверям, укоризненно говоря: «Животное не ело с утра, Петр Григорьевич». Миронов оставался один, оглядываясь беспомощно по сторонам, и вздыхал без досады: «Эх, молодежь, молодежь...»

Одни утверждали, что Миронов абсолютно глух и слышит звуки только своего внутреннего мира, другие — что у него глубокий склероз и он едва осознает, что творится вокруг. Третьи считали его безучастность к кафедральным делам следствием величайшего артистизма. Итак, к обеденному перерыву мерзлотка пустела до следующего дня. Оставим ее и мы, дорогой читатель, и двинемся дальше по темному коридору, заставленному громоздкими пропыленными шкафами, в коих, по замыслу основателей кафедры, должна была храниться бесценная коллекция грунтов. На моей памяти шкафы открывались единожды: во время генерального субботника в канун пятидесятилетия Великого Октября. Напуганная скрипом отворяемой дверцы, из первого шкафа метнулась на голову Оли Коровкиной исхудавшая крыса, а следом за ней высыпалась кипа пожелтевших газет с бесчисленными портретами бывшего товарища Сталина. Сотрудники оцепенели, и только бесшабашные студенты отважились открывать остальные

шкафы. В них оказалось две пары подшитых валенок, истлевшая телогрейка, рассыпавшаяся в прах при неосторожном прикосновении, пузатые бутылки с химикалиями без названий, треснутые штативы с пробирками, невымытыми после опытов, от чего на их стенках застыли желтые и синие кристаллики неизвестных солей. К числу трофеев относились: коробка презервативов с надписью «Оболочки резиновые для компрессий» и куча образцов без этикеток, номеров и названий. «Займемся ими в другой раз», — брезгливо-величественным жестом приказал профессор Пучков, и шкафы закрыли, вернув им прежнее сонное оцепенение.

Протиснувшись между шкафами, рискуя ободрать бока, мы попадаем в учебную лабораторию. Она напоминает зимний сад: окна заставлены и завешаны большими и малыми горшками с кактусами, глициниями, азалиями, цветущими круглый год благодаря заботам двух наших дам — Ривы Соломоновны Боргер и Сусанны Ивановны Петуховой. На столах аквариумы, где таинственная жизнь золотых, черных, светящихся, лиловых рыбок постоянно отвлекает студентов от учебного процесса.

Рива Соломоновна — единственная разрешенная властями еврейка на кафедре и факультете. Она так напугана этим обстоятельством, что является на работу к восьми утра и сидит до позднего вечера. Робость ее легендарна. Сусанна Ивановна, или, в просторечии, Сузи, неизменно составляет ей компанию, хотя анкета ее безупречна. Обе они одиноки, обеим под пятьдесят, за стенами Университета их не ждет ни один человек на свете. Рива — рыжая с плоским, словно расплюснутым, лицом, ярко выраженным национальным носом и с кое-каким золотишком на пальцах — суетится вокруг фауны и флоры, вздрагивая всякий раз при скрипе дверей. Сузи — курносая, синеглазая, с широкими бедрами и тонкими пальцами — восседает на высоком лабораторном табурете и, глядясь в засиженный мухами осколок зеркала, поправляет высокую, сложной конфигурации прическу. Ей уже восемь лет не повышают зарплату, и с начальством она из принципа не здоровается.

О здешней жизни они обе знают все и вся: любознательные всегда могут выяснить, будет ли в этом месяце премия, ожидается ли проверка отдела кадров, купил ли декан восточного факультета румынский гарнитур, носит ли председатель месткома парик, выходит ли

студентка Маслова замуж за араба Даржена и действительно ли Анна Семеновна из планового сделала аборт. По воскресеньям дамы вместе ходят в кино, а наутро с жаром рассказывают друг другу содержание фильма. К окружающим они относятся с брезгливой недоверчивостью и даже враждебностью.

— Знаешь, Сузи,— начинает Рива,— Зойка опять попросила путевку в сердечный санаторий.

— Стыда нет,— быстро подхватывает Сузи,— я лично таких людей вообще не понимаю.

Правит дамами второй кафедральный профессор Михаил Степанович Бузенко — щуплый, остроносый, с как-то криво посаженной головой, отчего создается впечатление, что он постоянно прислушивается. Поэтому Рива его до смерти боится, а Сузи терпеть не может и в упор не видит. В придачу ко всему Михаил Степанович заметно заикается. И студенты бойкотируют его лекции, утверждая, что от «Мишкиного» голоса их тошнит и начинается аллергия. Бузенко платит им лютой ненавистью и шквалом двоек на экзаменах.

Михаил Степанович вместе со своим коллегой, мерзлотным доцентом Мироновым, занимают соседнюю комнату — преподавательскую: столы их стоят напротив друг друга, мионовский с зеленым сукном, бузенковский — с малиновым. О загадочности их отношений слагаются легенды. Петр Григорьевич и Михаил Степанович сидели в школе на одной парте, учились в одной группе в Университете, оба благополучно избежали фронта, застряв на несколько лет в экспедиции в Сибири, а после войны оба кончили аспирантуру и стали доцентами нашей кафедры. Несколько лет назад Михаил Степанович опередил коллегу и выбился в профессора. В преподавательской обычно тихо, как в церкви,— одноклассники не разговаривают друг с другом двадцать семь лет. Лишь однажды мы были свидетелями необычной сцены. Уверенный, что Миронова не будет на кафедре, Бузенко взял с его стола клей, ножницы и скрепки. Ярость внезапно возникшего Петра Григорьевича была такого накала, что мы опасались за его сердце. Он с криком: «Скрали, скрали!» — метался по коридору, бросался на лаборантов, назвал кафедру «бардаком и скопищем жулья», ни разу при этом не обратившись к смирно сидевшему за столом профессору Бузенко, создававшему новый научный труд при помощи скраденых клея и ножниц. Наутро бузенковское алое сукно

было сплошь залито чернилами, и сотрудники гадали, сам ли Миронов допер до этой тонкой мести или опрокинутый пузырек лишь роковая случайность. С той поры, между прочим, за Бузенко пополз странный слухок, будто его бабушка еврейка, а сам он при немцах служил полицаем в Бердянске; примерно в это же время в местком поступила анонимка, утверждавшая, что Миронов строил дачу из материалов, отпущенных на нужды кафедры.

Но мы, дорогой читатель, пожалуй, замешкались в преподавательской, и пора нам двинуться дальше. А дальше — механическая лаборатория — мрачная, сырая, с низкими сводами комната, чье уныние скрадывается присутствием измерительных приборов, носящих сугубо антикварный характер, прессов, гирь различных достоинств от пяти граммов до двадцати килограммов. Говорят, что до революции здесь размещалась прозекторская. В механичке царят Женя Лукьянов и Григорий Йович Фролов. Женя, как большинство мужчин нашей кафедры, не вышел ростом, у него живые/ черные глазки, длинный вздернутый нос и безупречный моральный облик. Глубинные знания марксистской методологии он приобрел в рядах Советской Армии, был знаком с сопроматом и теормехом и виртуозно оперировал логарифмической линейкой. Женя знал, от какого прибора деталь валяется в углу, мог починить замок и электрическую плитку и считался всеми человеком высокой технической эрудиции. Дважды в день он неукоснительно информировал жену о том, что «выкинули» в университетском буфете, а на вопрос, когда будет дома, неизменно чеканил: «В восемнадцать двадцать».

Его коллега Йович — угрюмый альбинос — просидел в сталинских лагерях восемнадцать лет. О его образовании ходили смутные толки, зарплату он получал самую низкую — 90 рублей, и потому никто на кафедре не отваживался обременять его научной работой. Целые дни он решал кроссворды на немецком языке, внушая почти мистический ужас коллегам, а в весеннюю экзаменационную страду писал бузенковской дочери школьные сочинения.

ПОЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ ПОВЕСТИ

Будни кафедры протекали идиллически, и нарушали их только пересуды о новой книге, которую наш заведующий задумал писать с новоявленным доцентом из Витебска. Монография Пучкова-Леонова грозила потрясти основы современного почвоведения. Особенно волновала общественность тайна титульного листа. С одной стороны — Пучков по занимаемому положению должен стоять первым, с другой стороны — буквы «Л», предшествующая «П» во всех алфавитах мира, оспаривала это первенство. Разгорались споры, заключались пари, но, как говорится, жизнь внесла свои коррективы. Когда книга подходила к концу и Сузи, печатавшая ее, уже предвкушала повышение зарплаты, как то ей было обещано, произошло событие, разом опрокинувшее все прогнозы нашей научной жизни.

На партийном собрании, посвященном зимней сессии, витебский доцент Леонов впервые попросил слова. Взобравшись на кафедру, над которой едва виднелась его лысая головенка, Алексей Николаевич обвел прищуренными глазками сонную аудиторию и высоким голосом произнес:

— Что же это происходит, товарищи? Некрасивая картинка получается. — Леонов развел короткими ручками и посмотрел виновато на инструктора горкома партии по науке товарища Дубанько. — Как студенты посещают лекции? Прямо скажем — отвратительно: хотят — ходят, хотят — нет. А мы бездействуем, товарищи. Мы практически не принимаем меры. Мы не привлекаем активистов. Кстати, Иван Петрович, — обратился он к Пучкову как бы ненароком, — я человек еще новый... Как фамилии комсоргов и профоргов наших курсов?

Это был первый нокдаун. Старик никогда не помнил фамилий и называл студентов «голубчик». Сейчас он тяжело сопел, а Леонов, как бы извиняясь за свой бестактный вопрос, торопливо продолжал:

— Далее, товарищи. Неприглядно выглядит успеваемость. С виду все гладенько, а копни поглубже — далеко не все в порядке. — Его лицо приняло скорбное выражение. — Судите сами: я провел большую работу — обошел все ленинградские организации, где работают наши выпускники, а в иногородние послал вопросник и получил ответы. Жалуются, товарищи, на наших

студентов. Недостаточная теоретическая подготовка. Слабая экспериментальная база. И что характерно? Не знает молодежь новых приборов. И потом, товарищи, все в один голос говорят: они боятся математики.

Это уж был шах. Математику в почвенных исследованиях читал Пучков.

— Что это вы?.. — взревел Иван Петрович, теряя царственный облик.

— Минуточку. — Инструктор горкома партии Дубанько поднял холеную руку с перстнем. — Иван Петрович, разрешите товарищу Леонову закончить, не прерывайте оратора.

Дубанько имел привлекательную наружность киноактера, элегантную стрижку, замшевый пиджак. Из нагрудного кармана торчала пачка «Мальборо». На руке поблескивала японская «сейко», в блокноте он делал пометки паркеровской ручкой. Инструктор сидел непринужденно, заложив ногу за ногу, и покачивал время от времени вишневой туфлей с черными подпалинами. От него веяло международными аэропортами, бесполовыми сертификатами, таинственной зарубежной жизнью.

Ах, сдавать стал Иван Петрович Пучков, стареть. Не признал он в инструкторе горкома Георгии Алексеевиче — Жору Дубанько, загорелого крепыша, мастера спорта по волейболу, любителя «дольча виты». Прибыл Жора пятнадцать лет назад из Ставрополя поступать в Ленинградский университет, огляделся. Показалось ему заманчивым учиться на факультете журналистики. Тему для сочинения выбрал Жора нейтральную, верную: «В жизни всегда есть место подвигу». Однако пять грамматических и семь синтаксических ошибок произвели отрицательное впечатление на приемную комиссию, и к остальным экзаменам он допущен не был. Но, как известно, — «Нам нет преград на море и на суше». Так справедливо думали Жора и заведующий кафедрой физкультуры и спорта Б. П. Синькин. Он-то и позвонил нашему Пучкову, страстно желая укрепить волейбольную команду ЛГУ.

— Иван Петрович, выручайте, дорогой! Тут мальчонка со Ставрополя, Дубанько его фамилия, классный спортсмен и золотой парень. Но с сочинением, понимаешь, не справился, — ошибок накалякал. А вот с детства мечта — стать почвоведом. Парень просто прикипел к почвам и грунтам. Не пропадать же малому. — Для вящей убедительности Синькин развязно ввернул не-

сколько украинизмов. Садовые участки Синькина и Пучкова были рядом — общий колодец, общий насос. Вечерком общий самовар и чай с вишневым вареньем.

И стал Жора Дубанько студентом нашей кафедры. До первой сессии. Ликуя по поводу экзаменационной тройки, Дубанько напился, избил свою подругу за то, что она танцевала с венгром, а самого венгра сбросил с лестницы. Тот бедняга возьми да и сломай себе ногу. Будь потерпевший советским человеком, дело бы замяли. А тут назревал международный скандал, и профессор Пучков смертельно испугался. На общем собрании он гневно сказал, что таким хулиганам и бандитам, даже если они и спортсмены, не место в советском вузе. Иван Петрович так разгорячился, что потребовал возбудить против Жоры уголовное дело. Но венгр не настаивал, и Дубанько просто выгнали. Хлебнул он в эту зиму лиха. Денег нет, работать не привыкший, без прописки, без дома. В Ставрополь возвращаться никак нельзя — военкомат сцапает. Кочевал от подруги к подруге и как-то продержался до лета. А там снова подался в Университет, на сей раз на философский. Видно, возникла у него за эту зиму какая-то концепция. Пить он бросил, братьев-демократов не трогал, пошел в гору по комсомольской линии, а на четвертом курсе вступил в партию. Кафедру «Основы научного коммунизма» Жора закончил с отличием.

Конечно, профессор Пучков и думать забыл про Жору-дебошира, а Георгий Алексеевич Дубанько, поигрывая вишневой туфлей, живо представлял себе, как три часа подряд дежурил у пучковского подъезда в легкой куртке, без шапки в январский мороз, как умолял вышедшего из подъезда Пучкова о снисхождении, как клялся в рот не брать горячительного — только бы не выгоняли.

Инструктор горкома Дубанько еще раз поднял тонкую, не знавшую рабского труда руку.

— Иван Петрович, уважаемый, позвольте доценту Леонову продолжать. Прошу вас соблюдать корректность.

Пучков тяжело опустился на стул, а Алексей Николаевич Леонов тихо забубнил:

— Еще хуже, дорогие товарищи, обстоит дело с экспериментальной базой кафедры. Просто из рук воц плохо. Нет у нас элементарных приборов, а они нам жизненно, повседневно необходимы. Возьмите тот же

электронный сканнинг или инфракрасные дифрактометры. А где теневой микроскоп? Я уже не говорю об ультразвуковых диспергаторах, которые стоят в любом захудалом американском колледже. И что я отвечу нашим коллегам из Колорадо — Густаву Ричардсону и Джону Митчелу? — вдруг фальцетом взвизгнул доцент. — Они предлагают совместное исследование тонких структур!

Оцени, дорогой читатель, — никаких сплетен, аморалок, грязного белья. Мы еще не пришли в себя от шквала диковинных названий, а Леонов уже вытащил из кармана помятый, но явно заграничный конверт и зажужжал что-то по-английски. Зал обмер.

— Ду ю андестенд, товарищи? — наставительно спросил инструктор Дубанько, когда Леонов на секунду замолк. По рядам пронесся восхищенный гул. Слабо улыбнувшись, Леонов продолжал.

— Поймите меня правильно, дорогие товарищи. Все мы хороши, и я ни на кого в отдельности не хочу возлагать вину за положение на кафедре. Но факты, надо констатировать, упрямая вещь. Мы работаем на уровне тридцатых годов, а на дворе — семидесятые. — Он неопределенно махнул рукой в сторону Менделеевской линии, и все, как замороженные, повернули головы к окну. Кругом была зима, шел крупный снег, толстая тетка в телогрейке долбила ломиком наледь, небольшая толпа сгрудилась вокруг Тосиного ларька в ожидании сосисок... — Давайте, товарищи, засучив рукава, все вместе возьмемся за дело. Вернем кафедре прежнюю славу. Пусть она будет достойна славных традиций Петербургского университета!

Два дня о новаторстве Леонова слагались саги, а на третий позвонила супруга Пучкова Тамара Казимировна.

— Иван Петрович болен. Давление 240. Врачи уложили в постель.

А еще через неделю утопающий в цветах гроб с телом профессора Пучкова стоял на сцене конференц-зала, и в скорбной толпе выделялся доцент Леонов с траурной лентой на рукаве, который, по-мужски подавляя рыдания, прощался с дорогим, безвременно покинувшим нас, незабвенным Иваном Петровичем.

Не прошло и двух месяцев, как доцента Леонова назначили заведующим кафедрой. Крылась тут, однако, загвоздка: Алексей Николаевич не был доктором наук.

Ситуация и в самом деле сложилась щекотливая, поскольку на кафедре имелся готовый профессор Бузенко. Ученый совет, напуганный вероломством Леонова, предвкушал его грядущую защиту, которая по всем прогнозам должна была обернуться полным провалом.

«Набросают черных шаров провинциальному гангстеру и парвеню» — шелестело по факультету, однако все просчитались. Леонов объявил свою диссертацию секретной, и она — тайными путями через каналы спецотдела — уехала в Москву. Там, в далеких холодных залах министерства, неведомая комиссия присудила Алексею Николаевичу докторскую степень. Наша сонная, бессюжетная жизнь чудесно преобразилась.

Несмотря на протесты Бузенко, из преподавательской вынесли ломаную этажерку и кожаный продавленный диван, оплаканный Ривой Соломоновной, — двадцать лет назад она целовалась на нем со студентом Юрой, — потом забили две двери, сломали печки. Очистили шкафы от валенок, пробирок и произведений погибших в борьбе за власть профессоров. Леонов собственноручно вынес во двор двадцать семь экземпляров старого пучковского учебника со словами: «Дышать нечем от этой макулатуры». Потом он добился ремонта, лично проследив, чтобы стены были прогрессивного желтого цвета, и даже достал дефицитный линолеум в веселенькую клетку, вследствие чего у нас утвердился карболово-формалинный запах морга. Были даже вызваны водопроводчики для того, чтобы обсудить практическую возможность реконструкции уборной. Замыслы Леонова были безграничны — он решил установить там раковину с холодной и горячей водой.

Сознавая ответственность и сложность задачи, Алексей Николаевич принял водопроводчиков в своем кабинете и учтивым жестом пригласил садиться. Однако рабочие, церемонно поклонившись, отказались от предложенных стульев, и старший — дядя Миша — выступил вперед.

— Дело, понимаешь, тяжелое, — доверительно начал он. — Труб новых на складе нет — вот уже год, как заказали... Конечное дело, в БАНе* можно поспросить, но, сам знаешь, народ какой... без этого никуда, — дядя Миша закинул голову, щелкнул себя по кадыку и причмокнул. — И бачок, понимаешь, протекает. А где его

* БАН — Библиотека Академии наук СССР.

взять-то целый? — Его лицо приняло озабоченное выражение. — Разве что в Молекуле*... Ну, там ребята суровые, орлы... — Дядя Миша хохотнул, обнажив три уцелевших зуба. — В общем, как ни крути, хозяин, а без двух литров ратификата тут нипочем не справишься.

— Да вы что, товарищи? — опешил Леонов. — Это же подсудное дело... Да и где взять столько? Мы на квартал всего-то литр и получаем.

— А это уж твоя беда, — осмелел дядя Миша. — А гидролизный мы не можем, потому гидролизный не очищенный. Вон в прошлом году у геохимиков дистиллятор чинили. Дак они ребятам гидролизного нацедили... жуткое дело, — дядя Миша покачал головой, — Ширяев наш два месяца по бюллетеню гулял, отравленный... А другие, говорят, еще и слепнут. Да ихнего шефа Франка по комиссиям затаскали.

Это была чистая правда. Отчаявшись добиться ремонта официальным путем, заведующий кафедрой геохимии разрешил выдать рабочим неочищенный спирт, и один из них чуть не отправился на тот свет.

— Да вы смеетесь, товарищи! — взорвался Леонов. — Вы же на зарплате. Тут не частная лавочка. — Волна негодования подняла его с места, и он с грохотом опрокинул стул. Водопроводчики робко попятились.

— Ну-ну, не пыли, — миролюбиво протянул дядя Миша, — нету у тебя спирту, нету и сортиру. Со своей зарплаты и чини. — Он надвинул кепку на глаза и решительно вышел из кабинета. За ним последовали молчаливые помощники.

— Евгений Васильевич! — заорал Леонов, вылетая следом. Женя Лукьянов возник из тьмы «механички».

— Слушаю вас, Алексей Николаевич.

— Звоните в отдел снабжения... или нет, звоните проректору по хозяйству. Нет, наберите номер, я сам с ним поговорю, — шеф был багрового цвета, губы его тряслись.

Женя покрутил диск и протянул Леонову трубку.

— Отдел снабжения, — пропел мелодичный женский голос.

— Начальника мне, — повелительно начал Леонов.

— Товарищ Горидзе в отпуске, будет через неделю.

— А кто его замещает?

* Институт высокомолекулярных соединений Академии наук СССР.

— Сизова, но она в обкоме.

— А кто же чинит уборные? — не выдержав, рявкнул шеф.

— Во всяком случае, не я,— пропел голос, и трубку повесили.

— Звоните снова,— взвыл шеф.

Женя судорожно набрал номер. После седьмого гудка трубку сняли и, вероятно, положили рядом: там слышался смех и музыка Сен-Санса. Шеф брякнул трубку и поднял снова. Раздались короткие гудки «занято» — наш телефон не отключался.

— Бандиты какие-то! Черт знает что! — разорвался Леонов, пританцовывая у телефона. — Ну, я на них найду управу. К ректору! — внезапно гаркнул он и вылетел во двор без пальто и шляпы.

Ректор Университета академик Панкратов принимал сотрудников раз в неделю, и записываться на прием следовало за месяц. Леонов ворвался в храмовую тишину ректората с таким лицом, что все три секретарши побросали свои бутерброды и вязанье и уставились на него.

— Мне совершенно необходимо поговорить с Виталием Сергеевичем сейчас же,— падая на стул и задыхаясь, выдавил Леонов.

Секретарша без звука скрылась за массивными дубовыми дверями и через секунду жестом пригласила его войти.

Академик Панкратов возвышался над полированной поверхностью письменного стола, огромного и пустого, как бильярдный, откинувшись на спинку тяжелого кресла с двумя львиными головами. Его одутловатое лицо было отрешенным и усталым.

— Виталий Сергеевич,— начал фальцетом Леонов, плюхнувшись без приглашения в соседнее кресло. — Так жить невозможно. У нас восемь месяцев не действует уборная.

— Где именно? — полузакрыв глаза, спросил академик.

— На кафедре почвоведения и слабых грунтов,— скороговоркой выпалил шеф.

Панкратов, очевидно, вспомнив недавние похороны Пучкова, приподнял веки и с интересом посмотрел на Леонова.

— Я просто бессилён,— жалобно продолжал Алексей Николаевич,— одни не хотят работать, а других нет.

— Кого именно?

— Ну, кто ведает... Пуридзе и Петрунькина.

— Горидзе его фамилия,— уточнил ректор, отличавшийся прекрасной памятью,— Зураб Теймурасович уже много лет не ведает уборными — он возглавляет строительство нового комплекса в Петергофе.

— Но, Виталий Сергеевич, водопроводчики отказываются. Вы бы слышали, как они разговаривают!

— Я слышал,— мягко сказал академик,— я каждый день что-нибудь слышу.

— Но есть на них управа? — не унимался Леонов.

— Управы на них нет,— печально ответил ректор и пожевал губами. Внезапно лицо его осветилось идеей: — Послушайте, у вас есть на кафедре спирт? Ректификат, конечно... И не горячитесь так, берегите сердце.

В тот же день к вечеру уборная уютно и гостеприимно зажурчала.

Однажды нашу кафедру всполошил звонок из деканата. Нам было велено навести чистоту, купить торт, бутылку вина и раздобыть стаканы. Через два дня в Университете ожидалась делегация американских почвоведов, совершающих турне по стране после какого-то конгресса. Они могли случайно заинтересоваться нашей кафедрой, а мы должны были случайно быть к этому готовы.

Шеф экстренно созвал сотрудников.

— Дорогие товарищи, наш факультет посетят зарубежные ученые. Возможно, они захотят посмотреть лаборатории, познакомиться с нашими методами. Что мы можем им показать?

Сотрудники оживились и наперебой стали вносить предложения.

— Я думаю... их... интересует ссиликаатизация грунтов,— особенно сильно заикаясь, начал Бузенко.

— Это, как вы поливаете глину жидким стеклом? — медоточиво осведомился шеф, и Бузенко увял.

— Может, сдвиги и компрессии? — робко спросил Григорий Йович.

— Я очень ценю вас, товарищ Фролов,— сердечно отозвался шеф, который почему-то разговаривал с Йовичем, как с тяжелобольным. — Но такие приборы стоят там только в музеях.

Все оробели, и воцарилась тишина, но шеф напористо продолжал:

— А вы что предлагаете, Петр Григорьевич? — нарочито громко обратился он к глухому Миронову.

— Я давно хотел спросить вас, куда мы будем посылать студентов на практику, лето не за горами,— отозвался тот. Кругом захихикали.

— Я спрашиваю, что вы лично можете показать зарубежным коллегам?

— Слава Богу, есть что,— наконец, расслышал Миронов. — МОВ, конечно.

МОВ, или Мироновский Определитель Влажности, представлял собой двухлитровую жестяную банку с краном, в которой оттаивали и теряли влажность мерзлые почвы.

— Да... это... открытие века,— пробормотал шеф и, помолчав, с горечью добавил:— Нечего нам показывать, товарищи, ну просто — нечего,— он поднял глаза на обтянутый черным крепом портрет Пучкова и; как бы обращаясь к покойному, закончил:— Стыд и позор. Словом, товарищи, чтобы не срамиться, я решил временно закрыть кафедру. Не будет в Университете вообще такой кафедры.

Все так и ахнули.

— Как? Совсем?

— Да. Совсем. Завтра после обеда сюда не возвращайтесь. Расходитесь по домам. А вы, товарищи,— обратился он к Эдику и Славе,— сорвите с дверей все идиотские объявления и заодно табличку с названием. У вас есть отвертка? Да шурупы не сорвите и свет вырубите. Здесь будет как бы нежилое помещение,— задумчиво сказал Леонов,— или склады.

— Это навеки? — радостно спросила Оля Коровкина.

— До послезавтра,— отрезал шеф и закрыл заседание.

Несостоявшийся визит коллег из-за рубежа поверг Леонова на поистине титанические действия: на кафедре начали появляться приборы. О некоторых мы были слышаны, фотографии других видели в иностранных журналах, но были и такие, чей невероятный вид вселял самые фантастические догадки относительно их назначения. Например, «дефектометр металлов Уран-67» — три огромных голубых ящика с миллионом разноцветных кнопок и бегущим зеленым лучом.

— Это зачем такое? — поинтересовался доцент Миронов, увидев, как шеф лично руководит установкой «Урана» в механичке.

— Собираемся, дорогой Петр Григорьевич, изучать микроструктуры глин. Не правда ли, товарищи? — с энтузиазмом откликнулся Леонов.

Двое студентов, пыхтя, водрузили часть «Урана» на стол и что-то промычали.

— Я решил создать свою научную группу и обязательно с привлечением молодежи, — задумчиво разливался Леонов, — завтра вот привезут электронный микроскоп, и мы, засучив рукава, начнем... Почвоведение, дорогие товарищи, уже стало экспериментальной наукой! — вдохновенно закончил Алексей Николаевич. — И далеко шагнуло за рамки размышленчества и рассужденчества.

Но Миронов не заразился леоновским пафосом.

— И зачем такие деньги на ветер бросать, — просто душно заметил он, — все равно работать у нас не будет. Этот «Уран» вроде бы для металлов сделан. Купили бы лучше колб и штативов. Да и пробирки все битые, опыты ставить не в чем.

Студенты захихикали.

— Там разберемся, — миролюбиво пробормотал Леонов, однако желтый огонек, вспыхнувший в его глубоко посаженных глазках, свидетельствовал, что карьера Миронова окончена.

Вскоре обещанный электронный микроскоп прибыл. Для него пришлось освободить целую комнату, цементировать пол, подводить воду. Мерцающая серебристыми боками своих бесчисленных деталей, он, безусловно, стал гвоздем сезона и главным украшением кафедры. Сотрудники и студенты любили фотографироваться на его фоне, в газете «Ленинградский университет» появилась большая статья о нашей кафедре под названием: «Научный поиск». Заканчивалась она таким снимком: Леонов, держа одну руку на кнопке «оп», другой показывает на пустое телевизионное табло, а группа студентов с напряженным вниманием следит за мертвым экраном.

Однажды на кафедру, перепутав двери, забрела кинохроника, направлявшаяся на соседнюю кафедру физиологии. Но им так понравилась новенькая аппаратура, что они решили остаться у нас, раздали всем белые халаты и сняли за три дня научный биологический фильм «Люминесценция» — о новых методах исследования живой клетки.

С той поры Леонов распорядился держать двери нашей кафедры широко открытыми.

— Нам воздуха не хватает, — многозначительно сказал он. — А чтобы ваши пальто не сперли, сдавайте их в соседний гардероб.

Кафедру распахнули настежь, и, чтобы дверь не хлопала, на пороге установили швабру. Она косо стояла в проеме, как бы перечеркивая прежнюю отсталую жизнь.

Глава 3

НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ И КОЛХОЗЕ «СЕЛЬЦО»

Настало время, дорогой читатель, представиться автору этого повествования. Вот пять моих пунктов: Чехович Нина Яковлевна, 1938 г., г. Ленинград, русская. Ничего сложного, но это кажущаяся простота. Конечно, Нина — имя бесспорно хорошее, русское, а вот отчество уже с запашком. Фамилия же моя вызывает в отделах кадров недоумение и нервозность, — то ли чех, то ли хорват, то ли что похуже, но скрывается. Мое нейтральное лицо с курносим носом обычно не вызывает жгучей злобы у хмельного, хотя я и брюнетка, хотя и в очках. Но все же веет от меня чем-то подозрительным и «ненашим». Без особых заслуг такое лицо в Университет не приглашают. Как же мне удалось?

Окончила я Горный институт с отличием и получила направление в шаругу с двусмысленным названием «Ленгипроводхоз», что позволяло сотрудникам варьировать название родного предприятия в широкой гамме от Ленгипронавоз до Ленгипроунитаз. Размещалось оно в полуразвалившемся корпусе № 36 Апраксина двора, рядом с автомобильной комиссионкой. Я помню зияющие проломами дощатые полы, круглые железные печи, источавшие крематорский жар, и лютый сквозняк, который гулял по нашим спинам и уносил на бюллетень по двадцать сотрудников еженедельно. Впрочем, их отсутствие не влияло никоим образом на ход трудового процесса.

За 108 рублей в месяц я проектировала скважины для водоснабжения свинарников, коровников и МТС и через три года стала неплохо разбираться в сельском хозяйстве. И слава не замедлила коснуться меня.

Жил-был под Ленинградом колхоз «Сельцо». Ничем не примечательный колхоз, забытый Богом и областным комитетом партии. Но находился он на трассе. Убогие, покосившиеся избенки облепили Таллинское шоссе, создавая для импортных туристов обманчивое впечатление бедности этого края. И вот однажды некий прогрессивный западный деятель, проносясь на «Чайке» мимо Сельца, недоуменно поднял бровь и задал деликатный, но явно провокационный вопрос сидевшему рядом Фролу Козлову, возглавлявшему в ту пору ленинградское сельское хозяйство.

Вечером того же дня в Смольном было экстренное совещание, вопрос поставили перед Никитой, и ЦК постановил: «Преобразовать колхоз «Сельцо» в передовое советское хозяйство, сделать Сельцо жилым поселком городского типа, городом-спутником Ленинграда». Отпустили на это миллионы.

Первым вознесся абрикосового цвета клуб с колоннадой, капителями, барельефами и одной кариатидой. Затем воздвигли ясли-школу-детский сад и даже поручили левому художнику расписать стены. Обманутый теплым ветром шестидесятых годов, бедняга создал эскизы панно по мотивам Шагала, но был отвергнут. Ввиду протечки радиаторов детский комплекс пустовал два года. Потом появился блок общественного питания: кафе «Синяя птица» и ресторан «Алые паруса». Своей причудливой конфигурацией блок напоминал то ли бублик, то ли улитку, то ли нью-йоркский музей Гугенхайма. Не иначе как архитектор Ленпроекта побывал на американской промышленной выставке в Сокольниках.

Завершилось строительство города-спутника шестью пятиэтажными домами «со всеми удобствами». Однако колхозники не спешили переселяться и ликовали явно недостаточно. Куда деть личных коров? а гусей, а поросят? Эти проблемы были решены быстро и мудро — на правлении колхоза председатель доходчиво объяснил народу, что через три недели экскаватор сравняет их избушки и сараи с землей: в этом месте запланированы стадион и плавательный бассейн.

...Не успели пейзажисты сдать бутылки после новоселья, как в городе-спутнике началась дизентерия. В течение трех дней заболело 60 человек. Тревожные сообщения об эпидемии дошли до Минздрава, до ЦК. Отговориться невымытыми фруктами не удалось — фруктов в Сельце отродясь не бывало. И назначена была в Сель-

цо комиссия с участием всех, кто проектировал и строил новый город-спутник. В нашу контору тоже пришел телекс из Смольного с приказом явиться на место происшествия. Накануне предусмотрительный директор улетел в Казахстан, главный инженер слег с радикулитом, а начальник отдела даже вывихнул ногу. В члены комиссии записали меня.

И зимним лиловым утром, ставшим, как мы увидим, поворотным в моей судьбе, я отправилась в колхоз «Сельцо». Замызганный, проржавевший автобус притащился в Сельцо с часовым опозданием, и, когда я, отряхивая с сапог мокрый снег, ввалилась в правление, там было пусто и тихо. Секретарша в валенках и позолоченных цыганских серьгах удивленно подняла ниточки выщипанных бровей и низким простуженным голосом сказала:

— Вы бы спали подольше. Они уже больше часа в ресторане заседают, скоро обедать будут.

В «Алых парусах» в тяжелых клубах папиросного дыма, за сверкающими полированными столами в виде буквы «Т», заседала комиссия. Сквозь стеклянные двери я разглядела бесчисленные бутылки нарзана, бутерброды с чем-то кораллово-красным и дымчато-черным, вазы с пунцовыми яблоками и тяжелыми бананами. Очередной оратор — мне виден был его мясистый затылок — энергично жестикулировал, председатель комиссии ритмично качал головой. Все выглядело так торжественно и величественно, что я постеснялась войти, повернулась и побрела по Сельцу.

В самом центре поселка возвышалась серая кирпичная водонапорная башня, украшенная белыми гигантскими цифрами — 1963. Мне почему-то захотелось узнать, есть ли год постройки на пирамиде Хеопса... Вокруг башни громоздились кучи мусора, битого стекла и кирпича. Вдоль развороченной грузовиками дороги, погруженные в талый снег и вязкую глину, прихотливо извивались доски, служившие тротуаром. Рядом зияли незакопанные траншеи, в которых утопали в воде трубы первой в Сельце канализации.

Увязая в грязи, с трудом переставляя ноги, я шлепала вдоль траншей. Вскоре и дорога, и траншея потеряли свои очертания — глубокие следы шин, как шрамы, избородили все вокруг. Не иначе как двадцатитонный «БелАЗ» буксовал на русском бездорожье. Вот колея оборвалась — похоже, шофер дал задний ход и вре-

зался гигантскими колесами в открытую траншею. Трубы были искорежены и завалены глиной. А вот и следы гусениц — наверно, беднягу-шофера выручал за полбанки колхозный тракторист. Из разбитых труб смердило и что-то сочилося с хлюпаньем и шипеньем. Я подняла голову, и взгляд мой уперся в гордую башню — 1963.

И внезапно, как озарение, передо мной возникла стройная картина эпидемии. Из раздавленной канализационной трубы все, мягко выражаясь, нечистоты с дождем и снегом проникали в землю, в водоносный горизонт, уровень которого был в каких-нибудь двух метрах под землей, и оттуда башня-1963 качала воду для мытья и для питья. Живучий народ, странно, что еще никто не помер.

Я двинулась обратно в «Алые паруса». Заседание плавно переросло в товарищеский обед. Было шумно и дымно, и у меня были шансы проскочить незаметно. Музыкальная машина, глотая пятаки, исполняла американские блюзы. Обкомовская шишка, склонившись к рыженькой санитарной врачихе, растолковывала анекдот. Та робела, крутя на вилке соленый огурец. Бойкая дама из буровиков, туго обтянутая в честь торжества золотым парчовым платьем, стучала черенком ножа по столу и хрипло вопрошала: «Какое он воще имеет полное право? Нет, скажите, имеет он воще полное право?..» На белоснежной скатерти темнели кучки обсосанных костей, переполненные пепельницы источали тяжелый чад, тут и там блестели порожные водочные и коньячные бутылки. В конце стола я заметила знакомого инженера и пристроилась рядом. Передо мной тотчас же возник шницель.

— Ну, что постановили? — шепотом спросила я.

— А черт их знает, — досадливо отмахнулся он, — все отвергались, виноватых нет. Теперь молоко проверять будут — на коров свалить сподручнее.

Обед подходил к концу. Члены комиссии, поднимаясь из-за стола, братски прощались с колхозным председателем. В гардеробе «Алых парусов» возникла веселая суতোлка — члены перепутали свои нерпы и ондатры.

На улицу высыпали разгоряченные и добродушные и, потоптавшись, потянулись было к своим припорошенным снегом шегольским «Волгам», внутри которых, нахлобучив на лоб шапки, дремали шоферы. Председа-

тель, охваченный внезапным энтузиазмом, вдруг нежно обнял обкомовскую шишку.

— Товарищ Парфенов, Федор Васильевич! Пройдемте по участку, осмотрите наши достижения.

На лицах комиссии выразилось неодобрение, но товарищ Парфенов пророкотал:

— Ну что ж, посмотрим, товарищи! Под конец решил подсластить пилюлю, дорогой?

Глубоко засунув руки в карманы, молча проклиная дурака-энтузиаста, комиссия гуськом побрела по шатким мосткам за бодро шагающим председателем. Наконец, мы остановились перед стеклянным кубом, напоминающим миниатюрный Дворец Съездов.

— Дом быта,— гордо объявил председатель,— пустим в эксплуатацию во втором квартале.

Члены комиссии повосхищались размерами стекол, сквозь которые проглядывались десятки итальянских фенев.

— А вы, девушка, из какой организации будете? — вдруг заметил меня товарищ Парфенов.

— Из Ленгипроводхоза, от проектировщиков.

— Ну а ваше высокое мнение, с чего тут люди болеют? — игриво продолжал он размягченным от колхозной водки голосом.

— Мне лично ясно — с чего,— угрюмо ответила я, и моя бестактность привлекла внимание остальных.

— Ну-ка, ну-ка, расскажите,— улыбнулся Парфенов.

Члены комиссии как по команде широко осклабились, отдавая дань парфеновской демократичности.

— Лучше уж я покажу,— гонимая жаждой правды, я двинулась вперед.

— Огонь-девка,— одобрительно заметил Парфенов, и комиссия устремилась за мной.

Через несколько минут все сгрудились вокруг траншеи.

— Правдоподобно, очень правдоподобно,— кивал Парфенов. — Анализ питьевой воды кто-нибудь делал?

Санитарная врачиха начала судорожно рыться в своем бауле.

— Завтра в 9 часов утра новые анализы должны быть у меня на столе,— сухо бросил Парфенов. — На сегодня — всё.

Через два дня комиссия докладывала Фролу Козлову о причинах эпидемии. За мной из обкома прислали

бронированную «Чайку», и на глазах потрясенных сотрудников я плавно отчалила в Смольный.

Затем мне прибавили 30 рублей зарплаты и послали на всесоюзную конференцию строителей. Там, в перерыве между бесконечными, как китайская пытка, докладами, я столкнулась лицом к лицу с товарищем Парфеновым. Окруженный почтительной свитой, он рассматривал макет свиноводческой фермы. Заметив меня, Парфенов ласково улыбнулся и шагнул вперед.

— Как живем, красавица, как можем?

Он публично угостил меня шоколадом, и на следующий день в кулуарах Ленгипроводхоза обсуждалась моя близость к партийным кругам.

Меня назначили руководителем группы и повысили оклад еще на 20 рэ.

— Снимает пенки с говна,— шелестело за моей спиной.

Наступила весна. Солнце весело сверкало в лужах Апраксина двора, на меня по-прежнему сыпались почести, «бал удачи» продолжался.

— Мы тут посоветовались с товарищами,— сказал мне однажды директор,— и решили послать вас учиться. Целевиком. Поступайте в очную аспирантуру, защититесь и вернетесь к нам со степенью. Будут и у нас в Ленгипроводхозе свои ученые.

Все ли знают, что такое «целевик». Поверьте, это надежная система выковывания научных кадров. Завод, колхоз или проектная шарага внезапно чувствуют, что им позарез нужен свой кандидат наук. Выбирается молодой кадр, прославившийся на поприще общественной работы, и посылается в аспирантуру. Поступает он вне конкурса и три года бьет баклуши за 100 рублей в месяц. Кафедра общими силами варганит ему научный труд, после чего он с бубнами и литаврами возвращается к себе и занимает почетный и высокий пост.

Так я попала в Университет.

Вскоре мой бывший директор уехал оказывать помощь слаборазвитой Сирии, а высокий покровитель, добрый гений товарищ Парфенов перебрался в ЦК. Обо мне все забыли. Я осталась на кафедре и никогда больше не переступала порога Ленгипроводхоза.

Конечно, ни о какой диссертации не могло быть и речи— кафедра много лет не вела научной работы. Иван Петрович Пучков не обременял себя и аспирантов, и в наши редкие свидания мы делились впечатле-

ниями о новинках театрального сезона. У меня даже не было своего стола, и я кочевала из механички в мерзлотку, из учебной лаборатории в преподавательскую, выполняя мелкие поручения профессуры.

Три волшебных аспирантских года пролетели как сон, и Иван Петрович исхлопотал для меня место научного сотрудника все с тем же окладом в 100 рублей. Наши отношения с ним были незыблемы и доброжелательны и напоминали дружбу Франции и Сан-Марино. Я не ждала от него помощи, он не ждал от меня подвоха. Так бы нам и жить-поживать. Однако судьба распорядилась иначе. От профессора Пучкова остался на кафедре лишь обтянутый черным крепом портрет да спасенный мной от Леонова старый учебник с кокетливой дарственной надписью: «Очаровательной Нине Яковлевне на добрую память от автора этой скучной книжки. Пучков».

Глава 4

СОЗДАНИЕ НАУЧНОЙ ГРУППЫ

В первые месяцы своего царствования Леонову было не до науки. Поглощенный ремонтом, покупкой приборов, реконструкцией уборной, он носился по факультету, наводя мосты и укрепляя связи. Наконец, наши пути пересеклись. Леонов вызвал меня в кабинет, плотно закрыл дверь и деловито спросил:

— Сколько лет вы тут околачиваетесь, Нина Борисовна?

— Нина Яковлевна,— поправила я.— В апреле будет шесть.

— А каковы результаты? Имеете в виду защищать диссертацию?

— Хотелось бы, но я не собрала достаточно материала.

— И не соберете. А что вас, собственно, привлекает?

— Не... знаю... Минералогия глин и...

— Бред все это,— решительно перебил меня шеф.— Я начинаю новую тему. Тонкие структуры. Сейчас очень модно. Во всем мире, во всех науках. И я хочу привлечь вас. И еще двоих-троих. Молодых, головастых. Найдите людей, а ставки я выбью.

— Нам сидеть будет негде. На кафедре нет лишнего стола.

— А это не стол? — Леонов королевским жестом обвел свой кабинет.

Я недоверчиво оглядела каземат с единственным письменным столом.

— Да, да, будете сидеть здесь. — Шеф внезапно сорвался с места и исчез. Через минуту я услышала его вдохновенный голос в коридоре: — Мы с Тamarой Яковлевной разворачиваем новую тему. Берем сотрудников. Сидеть будут в моем кабинете.

— Как можно? Что вы? — подобострастно загалдели вокруг. — У заведующего кафедрой должен быть отдельный кабинет.

— Ученый — не чиновник. Место его — в лаборатории, за экспериментом, — наставительно сказал Алексей Николаевич, и все пристыженно замолкли.

Я нашла людей для научной группы и тщетно пыталась познакомить их с шефом. Только через неделю мне удалось настичь Леонова. Он стремглав летел по университетскому двору и, остановленный мной, несколько секунд ошалело соображал, кто я и какое имею к нему отношение. Представленные мною сотрудники не вызвали в нем ни малейшего интереса. Это были моя приятельница Вера Городецкая, болтавшаяся больше года без работы после рождения второго сына, и лаборант Алеша Бондарчук, добродушный малый с русыми лохмами и неисчерпаемым запасом армейских анекдотов. Я деликатно напомнила шефу об идее создания научной группы. Леонов сориентировался мгновенно.

— Товарищи меня простят, надеюсь, — сладчайше улыбнулся он, пожимая им руки, — сейчас ни секунды. Назначаю наше первое заседание на завтра в девять утра. Обсудим, так сказать, проблему в целом. И договоримся сразу, Ирина Яковлевна, — не опаздывать. Ничто так не требует точности, как наука.

— А техника? — не удержался Алеша.

— И техника, — согласился шеф и растаял в недрах деканата.

Наутро ровно в 9 часов мы явились на кафедру и расселись вокруг стола в ожидании шефа. В полдень Алексей Николаевич позвонил из дома и сообщил, что, кажется, немного задерживается. Около четырех он, как самум, ворвался в кабинет и, буркнув: «Здрасьте!», не раздеваясь, начал рыться в своем столе.

— Где эта бумажка, черт побери? — Леонов раздраженно вытряхнул на пол содержимое ящиков. Мы бросились на колени подбирать листочки.

— Розовая, розовая такая,— приговаривал Леонов, ползая вместе с нами на четвереньках. Наконец заветный листок был найден. Алексей Николаевич, тяжело дыша, поднялся на ноги и разразился таинственной речью:

— Вы представляете, Мария Яковлевна, анонс мне прислали только вчера, а срок подачи докладов, оказывается, был месяц назад. Так мне пришлось все утро строчить свой доклад. Кончил полчаса назад. Счастье, что у меня там связи.— Леонов поднял палец, и мы с почтением уставились в потолок.— Ну, я помчался в иностранный отдел,— спохватился он и ринулся из кабинета. Рабочий день подходил к концу. Новые сотрудники толпились вокруг, с тоской поглядывая на дверь. Кафедра опустела. Только в соседней лаборатории Рива Соломоновна с Сусанной Ивановной обсуждали последнюю сенсацию: студентка четвертого курса филфака родила коричневого сына.

Время от времени наша дверь слегка приоткрывалась, и в щель просовывалась птичья голова профессора Бузенко.

— Алексея Николаевича еще нет, ждем с минуты на минуту,— любезно привставал со стула Алеша Бондарчук.

Михаил Степанович недоверчиво осматривал стены, бросал быстрый взгляд под стол и беззвучно исчезал. Так он проделал пять раз кряду.

Наконец, весело напевая, появился Алексей Николаевич. Наверно, существование новой научной группы опять вылетело у него из головы, потому что он с недоумением воззрился на нас. Я деликатно напомнила, что мы в девять часов собрались на первое заседание. Реакция шефа была молниеносной.

— Вот и прекрасно, работа прежде всего,— воскликнул он, плюхаясь за стол в пальто и шапке. Снежинки, тая, струйками текли по его лицу.— У всех есть бумага? Записывайте.

Мы схватились за авторучки.

— Дорогие товарищи,— с привычным пафосом начал Леонов.— Усвойте главное— материалы, записки, отчеты не оставлять на столе после работы. Из кабинета не отлучаться никогда, обедать по очереди, стол

должен запереться, ключи уносить с собой. На вопрос: «Чем занимаетесь?» — ничего не отвечать.

— Это от кого ж такие тайны? — спросил лаборант Алеша.

— Здесь воруют все, — твердо ответил шеф, — а в особенности Бузенко.

— Профессор Бузенко? Михаил Степанович? — изумился Алеша.

— Профессор, профессор, — раздраженно передразнил его Леонов. — Таких профессоров сейчас, как собак нерезанных... он двух слов связать не может.

— А последняя монография? Она же премию Обручева получила!

— Грош цена этой монографии вместе с этой премией! — И по тому, как в недобром прищуре спрятались леоновские глазки, мы поняли, что он не на шутку разозлился. — А если вам, Бондарчук, так нравится профессор Бузенко, — скатертью дорога...

— Что вы, Алексей Николаевич, — переиужался Алеша. — Да он мне на дух не нужен. И книжку его я не читал даже.

— И правильно сделали, — смягчился шеф. — Нечего голову всякой чепухой забивать. Голова одна, а монографии пишут все, кому не лень.

Внезапно дверь тихо приоткрылась, и на пороге, как тать в ночи, возник профессор Бузенко.

— Михаил Степанович! Легко на помине, — просил Леонов. — Мы только что о вас говорили. — Шеф выскочил из-за стола, протягивая руки. — Заходите, дорогой, присаживайтесь. Мы тут обсуждали одну научную проблемку. И я говорю товарищам, нам без консультации Михаил Степановича решительно не обойтись.

— Во дает! — выдохнул за моей спиной лаборант Алеша.

Однако Бузенко даже не улыбнулся.

— У меня срочное дело, — угрюмо буркнул он. — И конфиденциальное.

Лицо шефа изобразило глубокое сожаление по поводу нерешенной проблемки.

— Что ж, товарищи, — вздохнул он. — Погуляйте, попейте чайку. А то заработались, поесть некогда. Как бы в профсоюз на меня не пожаловались, — игриво потрепал он меня по плечу.

Возвращаясь из буфета, мы встретили наших профессоров. Ожесточенно размахивая руками, они рысью

бежали по университетскому двору, оба без пальто, но в одинаковых каракулевых шапках с козырьком,— Бузенко в черной, Леонов в серой,— и по этому цветовому различию ясно было, кто из них настоящий начальник. Они трусили в сторону ректората, бодая друг друга шапками, и, что-то непрерывно бубня, скрылись в морозной пыли. Глядя им вслед, мы поняли, что наш творческий поиск откладывается.

На кафедре нас встретили возбужденные Рива и Сузи.

— Наш с вашим вдребезги переругались, даже разлаялись и помчались жаловаться друг на друга в ректорат. Ваш скрыл приглашение на конгресс. А Бузенко говорит: обязан был повесить на стенку. А Леонов говорит, что пригласили персонально его. А Мишка (Михаил Степанович) пристал, как банный лист: «Покажите мне анонс». А ваш прячет, не показывает. Чуть не подрались.

— А конгресс-то какой? — спросили мы хором.

— Какой-какой! Всемирный! По эрозии почв. В Монреале!

Глава 5

ИКАРИЙСКИЕ ИГРЫ

Прошла зима. Океанские волны, поднятые профессором Леоновым, улеглись. Алексей Николаевич так и не нашел времени для научной проблемы. Он появлялся на кафедре три раза в неделю после обеда. Один раз, надо отдать ему должное,— читал лекцию, два других раза — заседал в верхах. Состоя членом двенадцати комиссий, пять из которых находились в Москве, он, по его словам, «разрывался на куски». Поэтому тонкие структуры оставались загадочным словосочетанием, а новые приборы всё не оживали, а лишь беззвучно и таинственно мерцали в сумраке лабораторий.

Моя диссертация по-прежнему не двигалась, но я не огорчалась. Университетская синекюра давно растлила мою душу. Я только старалась не раздражать шефа и появлялась на кафедре в те же часы, что и он.

Юный, но практичный Бондарчук решил, что если есть свободное время, должны быть свободные деньги. Он устроился в ночную охрану на обувную фабрику,

а придя на кафедру, залезал в спальный мешок и заваливался спать в морозильной камере мерзлотки. И только Вера Городецкая, осколок народоволок, искренне недоумевала:

— Я ведь зарплату получаю, надо же все-таки работать.

— Ты называешь это зарплатой? — высокомерно спрашивал Эдик Куров. — Нам с котом этой зарплаты на три вечера хватает. Вот и приходится ноги бить, по книгам ударять. Правда, Никсон?

Кот жмурился, прикрывая дивные синие глаза.

— Как ты не понимаешь, Эдька, — настаивала Вера. — Я еду с Гражданки час туда, час обратно и не получаю никакого морального удовлетворения.

— Потому что не там его ищешь. Тоже мне — чеховская героиня. Не майся, старуха, воспитывай сына, может, хоть в следующем поколении человек вырастет.

Но однажды грянул гром. Шеф впервые появился на кафедре в десять часов утра. В этот день он доставал медицинские справки, все для того же Монреальского конгресса, и сдавал анализы, что, как известно, полагается делать утром натощак. Потолкавшись в очередях, голодный и злой, Алексей Николаевич вдруг вспомнил о научной проблеме. В этот ранний час он застал на кафедре только Риву Соломоновну, задающую корм рыбкам, и Григория Йовича, привыкшего к некоторой дисциплине за восемнадцать лет жизни в воркутинском спецлагере.

— Где люди? — недоуменно спросил Леонов, оглушенный кафедральной тишиной. — Куда все подевались? Где моя группа?

Перепуганная насмерть Рива что-то мычала, прижимая к груди банку с кормом.

— Хорошенькое дельце! — вдруг всполошился шеф. — Это когда же все являются на работу? А если нагрянет отдел кадров? Когда мы официально начинаем, Рива Соломоновна?

— В восемь тридцать, — хрипло выдавила Рива.

Леоновская лысина побагровела.

— Ни-че-го себе, — протянул шеф, — разогнать вас всех надо к чертовой матери!

Он схватил стул и, поставив его в коридоре рядом с урной и шваброй, уселся дожидаться сотрудников.

Первым появился Женя Лукьянов и, наткнувшись на шефа, вытянулся перед ним по стойке «смирно».

— Что это вы явились ни свет ни заря, Евгений Васильевич? — ядовито спросил Леонов.

— Жена в командировке, сын в температуре, потолок протекает, — отчеканил Лукьянов. Он тоже был не лыком шит.

Леонов махнул рукой, и Женя, печатая шаг, проследовал в механичку.

Затем всплыла Сусанна Ивановна. Рыжая лисья шапка, венчавшая высокую прическу, настолько завороживала Леонова, что он впал в оцепенение, и Сузи, поклонившись, плавно, но быстро скрылась в лаборатории. Через несколько минут с шумом и хохотом ввалился Эдик с котом на плече и в обществе двух абсолютно посторонних молодых людей остаповендеровской наружности. Леонов окинул их таким враждебным взглядом, что гости совершенно смешались, а у одного даже вывалился из рук толстенный том «Русская мебель». Однако Эдик сразу же нашелся.

— Здравсьте, Алексей Николаевич, — приветливо улыбнулся он. — Вот привел коллег из Горного, мечтают ознакомиться с нашими приборами.

— Двенадцатый час, товарищ Куров, — ледяным голосом произнес шеф.

— Ишь ты, в какую рань меня принесло, — удивился Эдик. — Я сегодня, видите ли, во вторую смену, с трех то есть, — доверительно пояснил он.

— С каких это пор у нас вторая смена? — опешил шеф.

Но Эдик уже юркнул в мерзлотку. Следом, втянув головы в плечи, прошмыгнули «коллеги из Горного».

В дверях появилась Оля Коровкина, как всегда, нагруженная дефицитом, предназначенным для обмена или продажи на соседних кафедрах. На сей раз это были сапоги. Дочь парторга не могла служить объектом леоновского гнева и потому с веселой развязностью бросила с порога:

— Доброе утречко!

Леонов деловито оценил взглядом обувные коробки.

— Где?

— В «Гостином», на Перинной, — охотно сообщила Оля, уже развязывая зубами один из пакетов, дабы продемонстрировать улов.

— Потом, потом, — спохватился Алексей Николаевич. — А тридцать восьмой есть?

— С утра все размеры были.

Леонов сорвался со стула и ринулся к телефону.

— Танечка,— зашептал он.— На Перинной выбросили сапоги. Вроде бы итальянские. Про пряжку не знаю... Наверное, черные... Нет, деточка, не видел.

В трубке что-то оглушительно заверещало. Леонов молчал, выслушивая упреки в нерасторопности, а потом с виноватым видом повесил трубку. Однако возвращаться на наблюдательный пост не имело никакого смысла: близился обеденный перерыв.

На следующий день Алексей Николаевич решает прибегнуть к новому методу: управлять кафедрой дистанционно. Его первый звонок раздается в восемь сорок пять, и Рива с исправностью автомата снимает трубку.

— Здрасьте, Рива Соломоновна,— раздается знакомый голос с Петроградской стороны.

— Доброе утро, Алексей Николаевич,— пионерским голосом выкрикивает Рива.

— Что, Нина Яковлевна близко?

— Да, где-то здесь, сейчас взгляну... — Рива несколько секунд топчется у телефона. — Наверное, в библиотеку вышла, пальто висит. Она вам срочно нужна?

— Просто дозарезу,— разочарованно говорит шеф. — Как объявится, пусть немедленно звякнет.

Рива поспешно звонит мне домой.

— Нина, вас шеф разыскивает. Похоже, не в духе. Голос мрачный. Не злите его, позвоните ему сейчас же.

Легко сказать — сейчас же. Звонок из дома таит в себе опасность. Великий стратег, проверив меня, позовет по очереди к телефону всех сотрудников. А где я их возьму? Как минимум мне надо очутиться на кафедре. Я хватаю шубу, вылетаю на улицу, ловлю такси и через десять минут привычно спотыкаюсь о швабру.

В коридоре уже надрывается проклятый телефон. Рива ошалело смотрит на него, не смея поднять трубку. Я делаю дирижерский жест.

— Але,— говорит Рива, ликуя. — Как же, как же, давно здесь.

— Доброе утро, Алексей Николаевич. Что-нибудь случилось? — позволяю я себе металл в голосе.

— Да, Нина Яковлевна, неотложное дело,— сурово говорит Леонов. — Когда начинается Гагринское совещание?

У нашего шефа воображение дятла — не мог придумать что-нибудь поубедительней. Сам же вчера сказал

мне, что Гагринское совещание начинается 20 мая. Мы еще похвалили организаторов за удачный выбор сезона. Теперешний его звонок — грубое выманивание меня из норы.

— Кажется, весной, — с готовностью отвечаю я, соблюдая правила игры. — Сейчас уточню... да, да — 20 мая. — Надо срочно отвлечь его внимание от других сотрудников, и я довольно ловко бросаю наживку:

— Кстати, нигде не могу найти состав оргкомитета. Вы случайно не прихватили с собой?

Но шеф не клюет.

— Нне думаю. Посмотрите в столе. Да... позвоните-ка мне Бондарчука на минутку.

Я показываю трубке кулак и громко кричу пустым стенам: — Леша, тебя шеф спрашивает! — затем с легким сожалением в телефон: — Алексей Николаевич, он вам позвонит через десять минут, он под прессом.

— Где, где? — с неподдельным интересом спрашивает шеф.

— У него образец под прессом.

— А Куров? — настырничает шеф.

— В плановом.

— А Городецкая?

— В бухгалтерии.

— А Белоусов?

Темп его вопросов ускоряется.

— В переплетной.

Рыва стоит рядом, схватившись за голову, как девочка, впервые увидевшая бой быков. Шеф устает первым.

— А есть на кафедре хоть кто-нибудь?

— Что значит — хоть кто-нибудь? — искренне обижаюсь я. — Все на кафедре.

На мое счастье с порога доносится чертыханье и, споткнувшись о швабру, на кафедру вваливается Бондарчук. Я отчаянно машу ему рукой, он вырывает трубку и бодро выпаливает:

— Приветствую вас, Алексей Николаевич!

Сегодня сражение выиграно.

Глава 6

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

Летом жизнь на факультете замирает. Студенты разъезжаются на практику, утомленная долгой зимой

профессура скрывается на своих дачах. Тополиный пух кружится в воздухе, белым ковром устилает университетский двор. По нему бродят неискушенные юнцы, с почтением глядя на будущую альма матер.

— Снег! Впервые вижу снег,— радостно кричит негр из Того, ловя розовыми ладонями гигантские пушинки.

Наша кафедра пустеет. Сотрудники приезжают на работу с купальниками и, потоптавшись часок в коридоре, смываются загорать на пляж Петропавловской крепости. Остается лишь какой-нибудь заложник отвечать на телефонные звонки.

Сегодня мой черед. Делать совершенно нечего, и я, гонимая скукой, слоняюсь по лабораториям, заглядываю в электронку. В ней темно и душно. Тонкий солнечный луч, проникнув в щель между черными портьерами, споткнулся обо что-то и образовал зигзаг. Новый линолеум издает тяжелый запах формалина.

Я включаю рубильник. Со странным звуком «шшш-уак-уак» лаборатория освещается мощными люминесцентными лампами. В центре красуется электронный микроскоп — чудо нашего века. Его устремленная вверх серебристая колонна напоминает готовую к запуску ракету. Гигантский куб вакуумной установки кажется рядом с ней приземистым и тяжелым. Бесчисленные провода тянутся к электрическим системам, разноцветные тумблеры и кнопки молча отдают по-английски приказы: «off», «on», «light». На полу валяются цветные буклеты и белый халат, одолженный полгода назад для съемок микробиологического фильма «Люминесценция».

Я поднимаю с полу инструкции — серое облако пыли медленно оседает на платье. После описания прибора указана его стоимость — 80 тысяч долларов. Дальше объясняется, что микроскоп может работать в три смены, то есть двадцать четыре часа в сутки. Но раз в неделю его надо чистить. И, хотя день простоя обходится в 400 долларов, это необходимая мера для успешной и долговечной работы прибора.

— Что-то, напоминающее совесть, шевельнулось в моей душе. Мертвый экран, как пустая глазница, не сводит с меня слепого укоризненного взгляда. Я прижимаюсь лбом к прохладной серебристой колонне. Господи, какой стыд! На кафедре тихо, как в морге. Я

запираю электронку и, точно боясь опоздать, почти бегом устремляюсь в библиотеку.

Через месяц, прочитав несколько книг по электронной микроскопии, я научилась включать прибор. Самым трудным оказалось приготовление образцов. Для эксперимента требовались препараты, выполненные с ювелирной точностью и чистотой, и каждый отнимал пять-шесть дней. Часто, после недели кропотливой возни, я убеждалась, что образец ни к черту не годится. Я выбрасывала его в корзину и начинала все сначала. И вот после долгих и, казалось, безнадежных усилий мне удалось впервые вставить тончайшую пластинку в микроскоп. Я включила прибор. Раздалось легкое гудение, вспыхнуло табло, и туманные загадочные картины поплыли на зеленом дрожащем экране. Сердце колотилось, я первый раз в жизни испытала сладкое чувство победы.

— Ты не радуйся, змея,— охладил мой пыл заглянувший в электронку Эдик Куров.— Ты лучше объясни людям, что тут на экране плавает.

— А иди ты к черту,— огрызнулась я,— не твоего ума дело.

— Похоже, и не твоего,— не унимался Эдик.— Оставь свои тщетные научные потуги и пошли в кино.

Но однажды утром Леонов ворвался в электронку.

— Ну, как успехи? Когда начнем работать?

Я высыпала на стол полсотни микрофотографий.

— Прекрасно! Вандефул! — восхитился Алексей Николаевич, с наслаждением разглядывая черные пятна и кляксы на сером мутноватом фоне,— немедленно садимся писать статью. Симпозиум не за горами.

— Какая статья! Какой симпозиум?! Я же понятия не имею, что это значит?.. Как расшифровать?

— Но проблем. Интерпретация — дело творческое,— наставительно сказал Леонов.— Записывайте. — И, отодвинув рукой снимки, начал диктовать: «При увеличении в 20 тысяч раз отчетливо видны агрегированные участки, а также монокристаллы, скопившиеся в правом верхнем углу снимка. Поверхность их хлопьевидная, что ясно указывает на преобладание монтмориллонита в составе глинистой фракции».

— Алексей Николаевич,— взмолилась я.— Откуда вы это взяли? А если все эти черные пятна — просто пыль и грязь? Я еще не умею готовить образцы для опыта.

— Пыль и грязь? — задумчиво переспросил Леонов. — Не знаю. Но вообще... не исключено и даже возможно. Впрочем, это тоже надо доказать. Пусть те, кто сомневаются в нашей трактовке, сами сделают электронные микрофотографии. Ну... поехали дальше, — нетерпеливо сказал он, снова принимаясь диктовать.

Через два месяца наша первая совместная статья появилась в крупнейшем журнале Академии наук, а вскоре была перепечатана несколькими иностранными изданиями. Мы получили приглашение прочесть лекции по тонким структурам глин в Киеве и в Новосибирске. Наша слава росла.

Приезжающих на кафедру коллег профессор Леонов первым делом тащил в электронку. Приоткрыв слегка дверь, он просовывал голову в щель и почтительным голосом спрашивал:

— Разрешите на секундочку, Нина Яковлевна. Если можно, покажите нам ваше детище.

В кромешной тьме лаборатории мерное жужжание микроскопа да его циклопий глаз производили на провинциалов ошеломляющее впечатление.

— Неудобно, товарищ работает, не будем мешать, — смущенно топтались они на пороге.

Если у меня плохое настроение, я просто не отвечаю, и шеф с виноватым видом объясняет:

— Не вовремя мы — сейчас очень ответственный момент. Вибрация от шагов может сильно исказить картину. Заглянем попозже.

Но если есть желание развлечься, я нажимаю тумблер «light» и резко поворачиваюсь на вращающемся табурете. В лаборатории вспыхивает нестерпимо яркий свет, гости от неожиданности жмурятся. Я снимаю очки и усталым жестом Марлона Брандо прикасаюсь к переносице. Завороженные коллеги не могут отвести глаз от серебристого чуда.

— Проходите, товарищи, — ласково говорю я, — присаживайтесь. — В моем голосе явно слышатся леоновские интонации. — Что вас больше интересует — принцип работы прибора или методика препарирования?

Коллеги почтительно мычат, а я сокрушенно обращаюсь к Леонову:

— Капризничает сегодня наша керосинка. Разрешающая способность не больше 50 ангстрем.

Шеф смотрит на меня с неподдельным восхищением и прощает мне в эти минуты все дисциплинарные

уловки. С легкой фамильярностью он кладет мне руку на плечо.

— Наша Нина Яковлевна — королева электронной микроскопии.

Поздней осенью, захватив пачку таинственных микрофотографий, профессор Леонов улетел на очередной симпозиум в Канберру.

Глава 7 НОВОГОДНИЙ БАЛ

Декабрь — самый нервный месяц. Мы должны отчитываться за год напряженной работы. Для меня на всю жизнь останется загадкой, как из ничего возникают таблицы, графики, чертежи и страницы убористого текста. Мы сидим до позднего вечера, а иногда и ночи напролет, глушим цистерны кофе и под руководством профессоров превращаем жалкие результаты убогой умственной работы в толстые тома научных отчетов. В эти дни мы чувствуем себя сплоченной монолитной семьей. 30 декабря последний отчет с золотыми буквами: «Ленинградский государственный университет им. Жданова» покидает стены кафедры. Мы облегченно вздыхаем и расправляем плечи.

На кафедре стоит чудный запах хвои, в углах темнеют разнокалиберные елки — сотрудники добыли их в жестоком бою, штурмуя «левый» грузовик, на десять минут въехавший во двор Университета. Без конца трезвонит телефон — это вездесущая Оля Коровкина информирует нас, в каком из университетских буфетов выбросили дефицит.

— С истфака я, — раздается в трубке ее свистящий шепот, — тут майонез и апельсины. Пусть кто-нибудь меня подменит, а я смогаюсь в НИФИ (научно-исследовательский физический институт).

Алеша Бондарчук вылетает на смену, а еще через пятнадцать минут — звонок: в НИФИ — ни фига.

— Немедленно шлите людей в Земную кору — сервелат и шоколадные наборы.

В Земную кору несется Вера Городецкая, а новый звонок извещает, что на филфаке — сайра.

— Прямо Байконур какой-то, — лениво потягиваясь, Слава Белоусов выползает из мерзлотки. — Родные соколы разлетелись в необъятные просторы космоса.

— Можно подумать, что ты уже всем отоварился,— огрызаюсь я.

— Даже судаками, деточка, — кивает Белоусов. — Пока тестя не посадили, Октябрьский райпищеторг в моем распоряжении. Так что в знак особой любви могу преподнести тебе свиные ноги.

К вечеру мы опять в сборе, возбужденные богатым уловом, решаем экспромтом устроить новогодний бал. Эдик с шапкой обходит коллег — с мужчин по два рэ, с дам — по рублю.

— Гранд проблем с профессурой, — говорит он. — Не пригласим — обидятся, пригласим — запретят.

После октябрьских торжеств, когда на кафедре геофизики пьяные студенты высадили стекла и вдребезги разбили какой-то излучатель, ректор издал приказ, запрещающий всякие выпивоны и гулянки на рабочих местах.

— Запретить Леонов не посмеет, — размышляет Аляша, — народа побоится. Но сам смоеется. Да и все они выпивать с нами откажутся. У Бузенко давление, у Миронова — внуки и елка. А студентов надо всяко с кафедры вытурить — нечего им тут околачиваться.

За выпивкой посланы Женя Лукьянов и Григорий Ювич, и к их возвращению на кафедре, уже очищенной от профессуры и студенчества, накрыт ватманом стол. Рива с Сусанной домазывают бутерброды, а мы с Верой моем ежеиком лабораторные стаканы.

Для создания «атмосферы» Эдик включает дефектометр металлов «Уран». Десяток мигающих разноцветных лампочек неверными бликами освещают наши лица.

— Пригодился-таки сундук, — удовлетворенно говорит Эдик, ткнув бок «Урана» носком шведского ботинка.

После первых новогодних тостов кто-то командует: — Давай, Ольга, политинформацию.

Олин отец — Андрей Андреевич Коровкин — бесшумный парторг нашего факультета, поэтому новости факультетской кухни мы узнаем из первых рук.

— Ничего особенного, — начинает Оля, — будничные дразги. Бузенко пробует копать под Леонова, забыть не может, как тот обошел его с Монреалем и Канберрой.

— Как же! Монреаль ему нужен, — с ненавистью перебивает Сузи. — Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

— Да, но и шеф не дремлет,— продолжает Оля,— предложил назначить комиссию на бузенковские лекции. Спросил студентов, довольны ли они Мишкой. Те разгомонились, раскудахтались, невыносимо, мол, тоска собачья. Тут шеф их и подловил,— напишите коллективную жалобу в деканат, раз у вас есть претензия. А ребята ввязываться не хотят — боятся. Подождем, говорят, сначала, кто кому глотку перегрызет.

— Ох, уж эта война титанов,— усмехается Белоусов.— Но против шефа Бузенко слабак.

— Да, ребята, новость! — вспоминает Ольга.— Наш Миронов докторскую закончил. Интересно, пустит его Леонов в доктора?

— Держи карман шире.— Эдик энергично трясет головой.— На кой ему хрен на кафедре третий профессор? Да он задушит нашу глухую тетерю, как цыпленка.

— Чего вы злобничаете,— мягко говорит Вера Городецкая.— Миронов вовсе не глухой, склероз у него от старости, а он просто не понимает ничего.

— У него с детства склероз или врожденное слабоумие,— упорствует Эдик,— необходимое качество для профессора.

— Конечно, если бы Миронов с Бузенко объединились, они бы скovyрнули Леонова,— говорит Женя Лукьянов,— но разве ума на это хватит?

— Факт, не хватит.— Оля пудрит нос и, оскалившись, несколько секунд любуется своими зубами.— Мнение парткома таково, что Леонов их обоих приструнит и уделает.

— Да ну их к фигам! — Алеша Бондарчук включает магнитофон.— Танцы, товарищи!

Он приглашает Олю, Женя Лукьянов подходит к Вере Городецкой, Сусанна кладет руки на Славины плечи. Я с удивлением замечаю, как они, тесно прижавшись друг к другу, воркуют в углу.

Уже поздно. Изредка звонит телефон — это домоладцы обеспокоены нашим отсутствием. Разомлевшие от музыки и водки, мы чувствуем друг к другу доверие и нежность. Даже молчаливый Йович рассеянно стряхивая пепел себе на колени, рассказывает что-то Риве Соломоновне. Рива оживленно улыбается, машинально складывая фантик от «Белочки». В мерцающем свете урановых лампочек ее плоское лицо кажется юным и милостивым. Расходиться не хочется.

— Давай-ка, Славка,— вдруг говорит Эдик,— почитай нам что-нибудь.

— Да нет, ребята. Ничего готового с собой нет,— отнекивается Слава.

— Только не ври. Ты год уже создаешь свой нетленный шедевр. Мы с Ольгой просто изнываем от любопытства.

— Почитай, Слава, правда... — раздается вокруг,— должны же быть у тебя если не читатели, то хоть слушатели.

Белоусов еще немного сопротивляется, потом залпом опрокидывает стакан вина и уходит в мерзлотку. Возвращается он с толстой папкой.

— Я прочту вам отрывок из повести,— говорит он,— называется она: «Всяк сюда входящий»...

...Слава кончил. В коридоре надрывался телефон. Алеша, запустив пальцы в светлые вихры, раскачивался на табуретке, по Вериным щекам протянулись дорожки размазанной туши. Внезапно Йович встал, опрокинув стул, и подошел к окну. Все зашевелились. Женя, судорожно схватив бутылку, смахнул со стола стакан. Он разлетелся вдребезги.

— Нет,— сказала Оля.— Нет, это невозможно! Такого не может быть.

Слава молчал. Я подошла к стоящему спиной Йовичу и попросила сигарету. Прикуривая из его ладоней, я впервые заметила его изуродованные, жесткие, испещренные морщинами руки.

— Какой же вы, Слава, непуганый,— медленно сказал Григорий Йович.

— А что? Прошли и канули в вечность времена... — развязно начал Эдик, но, споткнувшись о тоскливый взгляд Йовичевых белесых глаз, смешался и замолчал.

Внезапно все заторопились по домам.

— Откуда, Слава, вы все это знаете,— обернулась в дверях Рива Соломоновна.

— Мой отец был начальником лагеря,— ровным голосом ответил Белоусов.— Я вырос там.

Глава 8 «ПОХМЕЛЬЕ»

На следующий день я уехала кататься на лыжах в Эстонию. Велик был размах моего нахальства — я

даже не предупредила Леонова об отъезде, не говоря уж о таких формальностях, как «взять отпуск» или хотя бы симулировать радикулит и пристойно удалиться на бюллетень. Моя мама и тетка сокрушенно качали головами, цокали языками и, вспоминая, чем грозило пятиминутное опоздание на работу в славные времена их комсомольской юности, ждали с минуты на минуту страшного для меня возмездия.

Когда через десять дней я с лыжами и рюкзаком ввалилась в дом, мама встретила меня с выражением мрачного торжества.

— Я же тебе говорила... Леонов названивал ежедневно, и я выкручивалась, как уж на сковороде. Уволь меня от лжи на старости лет...

И верно. Не успела я съесть суп, как позвонил Алексей Николаевич.

— Пятый день вас разыскиваю,— раздраженно сказал он,— куда это вы пропали?

Я на секунду замешкалась, подбирая в уме лучшую версию. Но шеф был нетерпелив:

— Ладно, не мучайтесь,— великодушно сказал он.— В Усть-Нарве много снега?

Я облегченно вздохнула.

— Скажите, дорогая, вы хотя бы завтра собираетесь на работу? Есть разговорчик.

— Намекните, о чем? — сфамильярничала я, не желая давать опрометчивых обещаний.

— Нет, нет, кроме шуток,— вы мне срочно нужны. И вообще, в будущем я попросил бы вас...

— Буду через пятнадцать минут,— перебила я, лишив Леонова шанса высказать свои пожелания.

Когда я вихрем ворвалась в кабинет, шеф сидел на краешке стола в полной зимней амуниции. Не доставая ногами до полу, он постукивал по креслу новенькими финскими сапожками. Увидев эти блестящие на молниях сапоги, я замерла в немом восхищении. Шеф было улыбнулся, довольный произведенным эффектом, но через минуту лицо его приняло озабоченное и хмурое выражение.

— Вот... специально дожидался вас, уважаемая, а сейчас убегаю на сессию в исполком.

— Какого же черта... — пробормотала я, жалея рубль, истраченный на такси.

Шеф со вздохом слез со стола, взял портфель и направился к двери.

— Проводите меня, пожалуйста... если есть время,— буркнул он.

Это было что-то новое. Я почувствовала легкое беспокойство. Мы вышли на набережную. Подсвеченный купол Исаакия почти тонул в морозной дымке, лиловато-сизые сумерки окутывали Неву. По застывшей реке сновали фигурки, протоптав между вздыбленных льдин узкую тропинку к Медному всаднику. Это — кратчайший путь до исполкома. Я начала спускаться на лед. Шеф тронул меня за рукав.

— Что вам — жить надоело? Смотрите, какие полыньи. Пошли-ка через мост, у меня есть время.

Мы двинулись по набережной. Леонов молчал, машинально стряхивая перчаткой снег с парапета.

— Что произошло на новогодней пьянке? — вдруг резко остановившись, в упор спросил он.

— О чем это вы? Какая еще пьянка? — начала я привычно входить в роль.

— Неважно, назовите это елкой. Так что же там было?

— Дда... ничего, заслуживающего вашего внимания, выпили шампанского, потанцевали... Насчет спирта не беспокойтесь, у нас даже ключей от шкафа не было... так что вели себя очень прилично.

Леонов пробурчал меня глубоко посаженными глазками.

— Что вам читал Белоусов?

Я почувствовала под ложечкой противный холодок.

— Да пустяки, отрывки какие-то... я даже не помню, о чем.

— А вы постарайтесь вспомнить.— Он стоял набычившись и не сводил с меня колючего взгляда.

— Да что вы так всполошились? — Величайшее недоумение выразилось на моем лице. Или, по крайней мере, я надеялась его выразить.

Леонов молчал. Мне почудилось, что шум троллейбусов и машин затих, и только стук перчатки по парапету делался громче.

— Вот что, Нина Яковлевна, — наконец сказал шеф.— У меня к вам большая просьба. Спросите Белоусова — от своего, конечно, имени, — не подыскивает ли он себе случайно другую работу? — Алексей Николаевич двинулся вперед, и я, с трудом переставляя ноги, поплелась следом. — Не откладывайте, сделайте это завтра же.

— Да что случилось? Скажите, ради Бога... — (Я уверена, Станиславский был бы мной доволен.)

— Пока ничего. Но знаете, как бывает в нашем деле? Кончаются деньги на научной теме, и сотрудников приходится увольнять.— Шеф усмехнулся.— Всегда полезно иметь запасной вариант.

— А может, обойдется? — вырвалось у меня.

Леонов пожал плечами:

— Не знаю... Но лучше, чтобы не было для него неожиданностью. У него же семья.

Через мост мы перешли в полном молчании. Шеф не хотел делиться со мной полученной информацией.

— Интересно знать — кто?.. — не выдержала я.

Но Леонов не дал закончить.

— Это совершенно неважно. Да, кстати,— как бы случайно вспомнил он,— посоветуйте ему хорошенько убрать квартиру.

У меня внутри что-то оборвалось, ноги стали ватные.

— Вы думаете, что...

— Ничего я не думаю,— грубо перебил меня Алексей Николаевич,— просто в доме всегда должно быть чисто.

Когда резная дубовая дверь исполкома захлопнулась за Леоновым, я бросилась к стоянке такси.

На кафедре было тихо, в мерзлотке и механичке — ни души. Из учебной лаборатории доносились голоса — Рива и Сусанна грели на плитке колбу с чаем.

— Скажите, девочки, Белоусов давно ушел?

Сузи внимательно взглянула на меня — само мое появление на кафедре в это время было подозрительным.

— Слава сегодня вообще не появлялся, — отозвалась Рива,— сын у него, кажется, заболел.

— А телефон его домашний кто-нибудь знает?

— 217-13-56,— сказала Сузи, не глядя в записную книжку.— А зачем он тебе?

— Да, черт, он взял мой справочник, а мне до завтра кой-чего подсчитать надо.— Я срываю с гвоздя ключ от мерзлотки и скрываюсь в лаборатории.

На Олином столе ералаш. Журнал «Силуэт» вперемжку с таблицами, обрывки кальки со следами помады. На стене приколот лист ватмана, на нем изящным каллиграфическим почерком начертана китайская диета. Поперек нее красным фломастером размашистая

резолуция: «Как мертвому припарки». Эдькин стол пуст, точно футбольное поле, единственное украшение — алюминиевая миска для кормления Никсона.

Принимаюсь осматривать белоусовские владения. Остро отточенные карандаши геометрическим букетом торчат из мерного стакана, коробки с кнопками и скрепками, мягкие резинки и пачка невесть откуда добытой финской бумаги свидетельствуют о страсти владельца к канцелярскому комфорту. Над столом карта с границами распространения вечной мерзлоты.

Я дергаю ящики — они заперты. За спиной раздаётся шорох, — Сузи стоит, прислонившись к дверям, скрепив на груди руки.

— Ты чего шарить? Может, я знаю?

Я тупо молчу.

— Слава ничего... такого не держит на кафедре, — шепотом говорит Сузи и краснеет.

Господи, роман у них, что ли? Да она же на пятнадцать лет его старше. Вечно я не в курсе дела, вечно обо всем узнаю последняя.

— Ты собиралась звонить ему? — Сузи протягивает клочок газеты с телефоном. — Отсюда не надо, иди в автомат... — Она достает из кармана несколько двухкопеечных монет.

Нас на кафедре только трое... Рива ее лучшая подруга. Мне становится тошно. Я молча киваю и выхожу на улицу в морозный туман.

К фасаду Двенадцати Коллегий притулились три телефонные будки. Стекла их покрыты узорным слоем льда. В одной из них трубка сорвана с рычага и беспомощно болтается до самого пола, в другой — трубки нет вообще, в третьей — с мясом вырван диск.

Чертыхнувшись, бегу на филфак — там автомат висит на стене, кругом толпятся и галдят студенты. Я набираю номер. Длинные гудки... потом в трубке что-то скрежещет, монетка провалилась, длинные гудки переходят в короткие. И так несколько раз. Съедена последняя монета. Будь оно проклято! Я снова мчусь на кафедру. Дамы еще там, но уже в пальто, и Рива выключает силовые рубильники.

— Сусанна, давай его адрес, — шепчу я в темноте.

— Матросская, 16, квартира 23, — бормочет она.

Я еще минуту роюсь в столах, изображая поиски справочника, затем мы запираем кафедру и выходим во двор. Сузи берет Риву под руку — во дворе сплош-

ные катки, они блестят черными мазками на свежем и чистом снегу. Я откланиваюсь, делаю десять медленных шагов в другую сторону и, скрывшись от них, опрометью вылетаю на набережную. На стоянке — ни одного такси. Это мертвое время. Две одинокие фигуры, пританцовывая и хлопая себя перчатками по бокам, в ожидании маячат в темноте. Одна надежда — поймать что-нибудь у родильного дома. Я несусь по Менделеевской линии к институту гинекологии им. Отто. Там тоже пустыня. Но больше бежать некуда. Надо ждать. Меня охватывает паника. Наконец к приемному покою подъезжает такси. Поддерживаемая тоненьким мальчиком, из него вылезает нечто бесформенное, закутанное в огромный пуховый платок. «Хоть бы девочка родилась», — почему-то мелькает в голове. Парочка скрывается за скрипучими дверями больницы, а я пытаюсь усестя в машину. Шофер хмуро качает головой.

— Кончилась смена. Я уж им одолжение сделал.

— Ну, пожалуйста, ну, миленький... — начинаю ка-
нючить.

— Да вы что, по-русски не понимаете? — вдруг взрывается таксист, — читайте табличку — 17.00, а сейчас сколько? — Он тычет пальцем в часы — 17.50.

— Мне близко, пожалуйста, заплачу, сколько скажете...

Шофер мотает головой:

— Да что привязалась? Сама, небось, после работы ни секунды не задерживаешься. Как звонок, так хвост трубой, поминай, как звали, — ехидно говорит он.

Вот сволочь проклятая. Я делаю шаг назад и изо всей силы хлопаю дверцей машины.

Шофер опускает стекло.

— Купи себе холодильник, шлюха, и тогда хлопай!.. — Такси медленно отъезжает.

Меня душит такая злоба, что верчусь на месте, как волчок.

К дверям подкатывает «скорая помощь». Из окна высовывается курносое лицо.

— Торóпитесь, барышня? — кричит парнишка. — Садитесь!

Онемевшими от холода пальцами я дергаю дверцу и хлопаюсь на сиденье.

...Люминесцентные лампы разбрасывают по Матросской улице мертвенный зеленоватый свет. «Точечные» кооперативы далеко отстоят друг от друга и кажутся

многократно повторяющимся зеркальным отражением. Ветер гонит поземку, редкие прохожие, сутулясь, бегут от трамвайного кольца и, чудом находя среди одинаковых башен свой дом, торопливо ныряют в подъезды.

Я поднимаюсь в лифте на 8-й этаж и звоню. За дверью слышны смех и музыка. На пороге возникает Белоусов все в том же безупречном сером костюме. От удивления он делает шаг назад.

— Незванный гость... — начинаю я, но Славка уже церемонно кланяется.

— Неожиданно, но лестно... Давай сюда шубу.

— Послушай, Слава...

— Arges, та сhere, — перебивает Белоусов. — У нас случайно праздник. Мой папочка с красавицей женой — мачехой, то есть, — прибыли из Читы навестить внука, — ежегодное паломничество, так сказать. А у Андрюхи ангина... уверен, в знак протеста. — Славка усмехнулся.

В столовой сидели гости. Над всеми возвышался массивный человек с белоснежной гривой волос и ясными серыми глазами. Точеный нос, идеально очерченные губы, твердый с ямочкой подбородок. Такие мужественные, прекрасные лица должны принадлежать президентам или великим актерам.

— Коллега заглянула на огонек, потеснитесь, — сказал Слава.

Все заулыбались, закивали, задвигали стульями. Былинный красавец встал, почти касаясь головой висячей люстры и, протягивая загорелую изящную руку, качаловским голосом произнес:

— Белоусов Михаил Сергеевич. Очень приятно.

Меня усадили рядом, перед носом засверкала рюмка водки, в ней плавала крошечная лимонная корочка.

— Может, вы предпочитаете укропную с чесночком? — близко наклонившись, интимно спросил Белоусов-старший. В его руке появился графин с тонкой веточкой внутри.

Я замотала головой, глотнула из лимонной рюмки и огляделась.

Напротив сияла коротко стриженная блондинка в голубой блузе с рюшечками. Из-под длинных прямых ресниц желтовато-карие глаза смотрели весело и дерзко. «Мачеха, — вычислила я, — моложе Славки». Рядом с ней примостился круглый лысый коротыш. Поймав мой взгляд, он приветливо улыбнулся, сверкнув тридцатью двумя золотыми зубами.

— А я Ирочкин папа, то есть Славочкин тесть.

«Октябрьский райпищеторг» — пронеслось у меня в голове. Я поискала глазами Иру. Тотчас поймав мой взгляд, Славин отец пророкотал:

— Ирочка Андрюшу кормит, прихворнул что-то мальчонка.

Я изобразила легкую скорбь и встала из-за стола.

— Можно поздороваться с Андрюшей, пока его не уложили? Проводи меня, Слава, а то я запутаюсь в ваших хоромах.

Назвать малогабаритную двухкомнатную квартиру хоромами было вершиной лести, но, как известно, нет такой лести, на которую бы не клюнули светлейшие умы человечества. Члены Славкиной семьи разомлели, разнежились, и мы очутились в коридоре.

— Пошли в кухню,— сказала я,— мне нужно сказать тебе кое-что...

— Чего не скажешь в обществе воров и убийц,— сладко потягиваясь, ответил Белоусов, и я увидела, что он здорово пьян.

— Слава, сосредоточься, ради Бога! Кто-то стукнул про то, что ты читал на кафедре... ну, под Новый год.

Белоусов мигом протрезвел.

— Откуда ты знаешь?

— Какая разница, но это факт. И мой совет — сейчас же убрать все из дома. Немедленно. За тем и приехала.

— То есть как это — сейчас? — растерялся Белоусов.— А как же родня?

— Перебьются.— Ясно было, что только мой напор и решительность сдвинут его с места.— Предупреди Иру и собери свои бумажки. Я буду ждать тебя внизу.

Я простояла в подъезде минут сорок. Славки не было. Время от времени входили люди и, бросив на меня подозрительный взгляд, устремлялись к лифту. Наконец он появился с двумя пухлыми портфелями.

— Извини, не так легко было отвалить. У папаши нюх, как у гончей,— заподозрил что-то неладное. Я сказал, что ты утром едешь в командировку и там позарез нужны мои материалы.

Подгоняемые ветром с залива, мы молча шагали по пустынной Матросской улице. На трамвайном кольце Славка опустил свои портфели на землю и стал тереть замерзшие пальцы.

— Понятия не имею, куда это деть... На ум не приходит ни один человеческий адрес.

Подъехал пустой и нарядный трамвай, мы поискали скамейку с отоплением и втиснулись в нее поглубже. Из-под сиденья поднималось легкое тепло.

— Послушай, Славка, у меня есть идея, то есть тетка. Глухая, одинокая пенсионерка. Имеет весь джентльменский набор: муж расстрелян в 37-м, сын погиб в последние дни войны, сама она лучшие десять лет своей жизни провела в кокчетавской ссылке.

— Сдается мне, это правильный адрес,— усмехнулся Белоусов.

Тетка Тата, старшая сестра моего отца, жила за Муринским ручьем в однокомнатной квартирке, на ожидание и выколачивание которой ушли еще десять лет жизни. После многолетней секретарской службы в каком-то издательстве она получала пятьдесят шесть рублей пенсии и, будучи человеком незлобивым, кротко и счастливо доживала свой век.

Мы добирались до тетки без малого полтора часа, и, когда в половине десятого позвонили в дверь, удивлению и радости ее не было предела.

Она усадила Славу в уютное потертое кресло, представила ему кошку Земфиру и увлекла меня в кухню ставить чай.

— Новый, так сказать, обожатель? — Тата игриво ткнула меня в бок.

— До чего же ты старомодна, тетка, сказала бы уж: хахаль!

Мы пили чай с рогаликами и вишневым вареньем, и я осветила Тате ситуацию. Белоусов молчал и чертил ложкой на скатерти таинственные знаки.

Тетка воодушевилась, от оказанного доверия у нее запылали щеки. Она велела достать стремянку и запомнить, в каком углу антресолей сложены портфели.

— Никогда нельзя знать, — загадочно сказала Тата, — возраст, сердце, почки... себя оказывают.

Мы хором велели не говорить глупостей, и Белоусов поцеловал ей руку. Провожая нас до дверей, Тата затуманилась.

— Сколько себя помню, всегда в страхе, как подпольная крыса. Кажется, впервые, на старости лет, чувствую себя человеком.

— Тетка, не будь такой патетической.— Я поцеловала ее в нос.— И большое тебе спасибо,

На обратном пути я рассказала Славе о нашей с Леоновым прогулке.

— Смотри, какой благородный, аж светится. — Белоусов недоверчиво покачал головой. — А впрочем, он же себя спасает. Если я загремлю, ему не удержаться.

— Славка, а есть у тебя идеи насчет того — кто...

Мы долго стоим у моего подъезда, на улице ни души, вокруг темно и бело от снега — в час ночи гасят фонари.

— Да нет, не знаю, — неохотно говорит Славка, — мне думать об этом скучно... или лень. И ты постарайся отключиться, душа целее будет. Ну а вообще, спасибо тебе, благодетельница. Если еще найдешь мне новую работу — цены тебе не будет.

Глава 9

РАЗМЫШЛЕНИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ

Кто же все-таки стукнул? Сквозь слепые замершие окна на меня наступает ночь. В квартире тишина, только вода журчит в водопроводных трубах. Бессонница обеспечена. Сигареты кончились, и я блукаюсь в поисках уцелевших окурков. Мамина аккуратность стоит у меня поперек горла, вечно ей нейдет — вытряхивает пепельницы после каждой сигареты. Вот было бы чудо найти охнарик в ящике с бельем или в посуде. Черта с два!

Но кто же все-таки стукнул? Я могла бы заподозрить наших профессоров без малейшего угрызения совести. Но ни Леонова, ни Бузенко, ни Миронова на кафедре не было. Придется их сразу исключить. Итак, по порядку.

Григорий Йович Фролов... Для меня он вне подозрений. Половину сознательной жизни Йович провел в лагерях по такому же, верно, доносу или вообще без доноса, как тогда было принято. Но он отсидел восемнадцать лет, и все эти годы отпечатались на его лице решеткой глубоких и частых морщин. Достаточно взглянуть в эти белесые глаза — какая темная в них тоска. А Эдька — балда: «Прошли и канули в вечность времена»... Может быть, он? Сибарит, книжный спекулянт... Ох, нет, не похоже. И он, и его подруга Ольга Коровкина

сидят не первый год со Славкой в тесной мерзлотке и прекрасно знают, что Белоусов что-то пишет. А выяснить «что» и информировать кого надо — для любого из них было делом плевым. Ну а если Эдик спровоцировал это чтение, чтобы остаться в стороне? Возможно? Нет, вряд ли: они с Ольгой так заняты собой, куплей-продажей, так очевидно ненавидят власть, не дающую им развернуться, так безразлично относятся к своей научной карьере...

Конечно, Олин отец — факультетский парторг, но это еще не улика. Во-первых, они постоянно в ссоре — Коровкин-старший стыдится дочкиных сапожно-джинсовых авантюр. Во-вторых, о нем хорошо отзываются многие мои друзья, почти уверенные, что он порядочный человек: кому-то подписал характеристику для заграницы без мучительной экзекуции, чью-то анонимку о растрате спирта положил под сукно, не дав ей ходу, не разрешил какому-то профессору уволить лаборантку за то, что отказалась спать с ним... Нет, родственные связи на Олю не бросают тени.

Сусанна, по-видимому, тоже отпадает. Между ней и Белоусовым какие-то отдельные отношения. И как я, дура, раньше не замечала? Прямо — старик Форсайт: «Мне никто никогда ничего не рассказывает». Я вспоминаю оживленное, помолодевшее ее лицо, когда она со Славкой танцевала.

Теперь Рива... со своим пятым пунктом, как экзотическое животное в провинциальном зоопарке. С детства напуганная и забитая Рива откровенно глупа, нечестнолюбива, даже некорыстна. Одна ее мечта — досидеть в этой дыре до пенсии, чтоб не выгнали. Сусанна ей не доверяет... но кто кому вообще доверяет? Нет, думаю, это не Рива.

Евгений Васильевич, Женька Лукьянов... Военная выправка, нос, как у Буратино. Что я о нем знаю? Вырос в детдоме, отец убит на фронте, мать умерла от голода в первую блокадную зиму. Служил в армии, даже сверхсрочно. Помню, как-то рассказывал про свою коммуналку — двадцать комнат и одна уборная. А его с женой и сыном даже на очередь не ставят — метража, видите ли, хватает. А в квартире драки, две семьи лишились кормильцев из-за поножовщины на кухне — главы семейств отбывают «срока». Прошлой весной Женька добивался путевки в санаторий — почки у него больные. Да так и не вышиб. Помню его слова: «В

этом бардаке без блата не пробиться». Мне не верится, что это Женька, нет... не похоже.

Кто же остается? Моя научная группа... Алеша Бондарчук, любитель Ремарка, совсем мальчишка. Он родился «после», не помнит того времени. Недавно спас от мук подопытного кота. Заглянул на кафедру физиологии потрепаться со знакомой студенткой и обнаружил в ящике кошку с подведенными электродами. Алеша, по его словам, вырубил кошку из сети, сунул за пазуху и притащил к нам. Купал, кормил, лечил... Выяснив, что это кот, назвал его Иваном Петровичем, в честь Павлова. Однажды его отец, морской офицер, проездом в Мурманск забежал на кафедру.

Алеша, конечно, был в бегах. Мы просидели с ним час на скамейке в университетском дворе, и Бондарчук-старший рассказывал, как ребята в школе любили Леху за справедливость, а учителя за то же ненавидели. «Он у меня отличается повышенной порядочностью,— закончил папа Бондарчук,— но ленив не в меру. Так вы уж его подтягивайте». Ну зачем Алеше стучать? Нет, это не Алеша.

Остается моя подруга Вера Городецкая — дочь потомственных сельских учителей из города Калязина. Крошечного роста, пухленькая, голубоглазая — такой представляется мне молоденькая проказница-попадья из старинного водевиля. Впервые я встретила ее на подпольной выставке одного авангардиста, и мне ужасно понравилась ее независимость.

— По-моему, это жутко бездарно — не находите? — пробормотала Вера, обращаясь ко мне.

Я почтительно разглядывала прибитый к полотну сапог и открытую банку из-под сардин, всаженную вместо лобка в тело мастерски скопированной Венеры. На улицу мы вышли вместе.

— Мой муж тоже художник,— сказала Вера,— по сравнению с этой срамотой он просто гигант... хоть есть отдельные недостатки. Впрочем, заходите посмотреть.

Мы обменялись адресами. Мой первый визит в дом Городецких был примечательным. Трехкомнатная квартира на Гражданке, в одной комнате — мастерская, в другой — детская, в третьей — спальня, гостиная и столовая.

— Проходите в зало,— весело встретила меня Городецкая,— да не пугайтесь — у нас утром был пожар.

Я уставилась на обгорелые балконные двери, лужи на полу, черные обрывки газет и летающую по воздуху сажу.

— Мой мужик отчудил сегодня,— объясняла Вера,— вышел на балкон, закурил и бросил спичку на канистру с бензином. Кстати, ума не приложу, как она там очутилась. Ну, все это как у-ухнет! Чуть дом не взорвало. Левка ворвался ко мне в кухню, зеленый от страха, губы трясутся. «Верка,— кричит,— горим!» Я так хохотала! Ну горим — большое дело! Разве можно так серьезно к себе относиться. Ведь шедевры-то не пострадали, и дети, слава Богу, у бабушки... так что все замечательно!

Мы выпили кофе, и Вера показала мне картины. Только малая часть их висела на стенах, остальные стояли в мастерской на полу, и мы порядком устали, переставляя их поближе к свету. Я, признаться, не понимаю абстрактной живописи, но яркие напряженные полотна оставили впечатление беспокойства и тревоги. Три или четыре картины были вполне фигуративные и, по-моему, замечательные. На одной — Святая Мария с младенцем, вся в опалово-лунном свете на фоне то ли возникающей из тумана, то ли тающей в тумане маленькой русской церкви... Я старалась представить себе, как выглядит Веркин муж... и не могла. Вскоре Городецкий пришел — высокий, очень статный, со строгим, почти угрюмым лицом. Длинные темные глаза делали его похожим на византийскую икону. Спортивная куртка сидела на нем с удивительным изяществом и напоминала бархатный камзол.

— Почему ваш муж такой грустный? — шепотом спросила я, когда Лева ушел в свою мастерскую.

— Не грустный он, а трагический. Его, знаете ли, гнетет несовершенство мира,— ответила Вера, заливаясь звонким смехом.

Лева Городецкий начал заниматься живописью совсем недавно. До этого он окончил с отличием Военно-механический институт. Друзья утверждали, что Лева был толковым инженером. Вдруг он бросил перспективное место в каком-то «ящике» и начал писать. Переболев ташизмом, абстракционизмом, он последнее время стал писать иконы. На жизнь зарабатывал от случая к случаю — то грузчиком в трансагентстве, то могильщиком, то кочегаром.

Вскоре мы очень подружились, и я «облагодетель-

ствовала» Веру, приобщив ее к нашей научной группе. Она заметно выделялась на тусклом кафедральном фоне. В разодранной детской шубке и сбитой набок ушанке, она влетала на кафедру, и тотчас повсюду раздавались взрывы ее хохота.

— И чего это она такая веселая? — шипела Сузи. — У нее, кажется, муж еврей.

— Это что ж, несчастье, по-твоему? — вспыхивало в Риве национальное самосознание. Она поджимала губы и целых два дня не разговаривала с подругой. Сузанна мирилась первая.

— Брось дуться, Ривка, — странная какая! Мы же тебя за свою считаем.

Помню первое столкновение Веры с шефом. Леонов, прослышав, что Верин муж неофициальный художник, демонстративно дал понять, что считает такие занятия пустяковыми и зряшными.

— А почему, собственно говоря, Вера Федоровна, ваш супруг не работает по специальности? — со свойственной ему деликатностью спросил Леонов. — Государство затратило большие средства на его обучение.

— Не интересуется это его, Алексей Николаевич, — доверительно начала Вера. — Он занят настоящим творчеством.

— А что же он творит, позвольте спросить? — съязвил Леонов.

— Сейчас он пишет Троицу, — с гордостью ответила Вера.

Шеф так и сел.

— Хорошенькое дело! Это же очень религиозная тематика!

— Очень религиозная, — с готовностью подтвердила Городецкая.

После этих слов Леонов, по выражению Алеши Бондарчука, заглох и выпал в осадок.

Вера открыла для меня самиздат. Однажды она пригласила на кафедру папку. Шеф был в Москве, Бондарчук где-то болтался, и мы сидели в кабинете вдвоем.

— Левка убьет, если узнает, что я вынесла это из дома, — сказала Вера, — но вечерами, хоть тресни, нет времени читать.

Это был напечатанный на машинке роман Оруэлла «1984», и мы два дня не вылезали из кабинета: не ходили пить кофе и даже на телефонные звонки раздраженно махали руками — нет нас. Так я прочла «Говорит

Москва», «Мы» и «В круге первом». В такие дни сотрудники удивленно пожимали плечами:

— И чего леоновская группа так надрывается, работает без перерыва?

...Однако я, кажется, отвлеклась от поисков стукача. В общем, это может быть кто угодно, только не Вера. Но кто же все-таки?

Этот вопрос, наверно, тридцать лет назад задавал себе мой отец. Осень 1941 года. Мне еще нет четырех лет. Мы с мамой на Урале под Молотовом (ныне Пермь), в деревне Черной, куда эвакуирован детский лагерь Союза писателей из блокадного Ленинграда. Мама работает уборщицей в нашем интернате.

Отец остался в Ленинграде. Его не взяли на фронт из-за врожденного порока сердца и близорукости минус пятнадцать, хотя в первый же день войны он добровольцем явился на призывной пункт.

Мой отец был специалистом по истории государства и права. По заданию обкома он начал работать в Публичке — спасал и прятал рукописи и различные издания из спецхрана и отдела редкой книги. Каждое утро отец шел пешком с улицы Марата до Публичной библиотеки через Пять углов, Чернышев переулок, Цепной мост, мимо бывшей 6-й гимназии цесаревича Алексея, которую мой отец окончил с отличием, потом по улице Росси, на минуту останавливаясь перед Хореографическим училищем... («Там прошли лучшие вечера моей жизни в ожидании то Валечки, то Танечки», — смеялся отец.) И, обогнув слева Александринский театр, отец входил в служебный вход Публички.

В час дня он поднимался из спецхрана в буфет — там господствовала Нюра. Водрузив на керосинку огромный чайник, она потчевала сотрудников кипятком, иногда с примесью чая. Отец знал ее давно. Двенадцатилетней девчушкой она приходила после школы к своей маме-буфетчице и, сидя в уголочке, готовила уроки. Когда ее мать умерла от неудачной операции аппендицита, Нюра стала работать в буфете. Все ее любили, баловали, дарили фильдеперсовые чулки, пудру, покупали у нее и ей же преподносили шоколад. Как-то перед войной случилась забавная история — Нюра потеряла деньги. Возвращаясь после работы в день полочки, она заглянула к одной подружке, к другой, была в кино, а когда пришла домой, оказалось, что кошелек с деньгами нет.

На другой день об этом знала вся Публичка. Стоя за прилавком, заплаканная Нюра сто раз повторяла сотрудникам трагическую историю. Вдруг кто-то вошел в буфет, радостно улыбаясь:

— Нюрочка, вот на лестнице нашел деньги, верно, вы свою зарплату обронули...

Через минуту другой:

— Нюрочка, у кассы на полу валялись свернутые бумажки,— это вы, растяпа, потеряли...

И так девять раз. К концу дня Нюра, обалдев от количества свалившихся на нее денег, каждого вошедшего в буфет встречала истошным криком: «Не носите мне больше мою зарплату!»

Итак, осенним днем 1941 года отец заглянул к Нюре попить кипятку. Кроме Нюры в буфете была только Фаина Израилевна Дробман, историк, старая большевичка, стариннейшая приятельница моего отца. Он знал ее много лет, уважал за глубокие знания, добрый и мягкий характер. Нюра налила им что-то вроде чая, и в это время радио передало очередное сообщение Информбюро: «Советские войска оставили город Орел».

— Господи,— сказал мой отец,— вместо того, чтобы целоваться с Гитлером и красоваться с Риббентропом на первых страницах газет, вооружались бы лучше.

Наутро к Публичке подъехал «Черный ворон», и его увезли. Прямо из спецхрана. Первую блокадную зиму отец провел во внутренней тюрьме Большого дома. На допросах следователь бил его по голове томом «Капитала» — под рукой не было пресс-папье. По счастливой случайности папино дело попало к прокурору Ленинградского военного округа — он учился у отца, был способным студентом и окончил юридический институт за два года до войны. Одной его резолюции было достаточно... и через десять месяцев отец оказался на свободе. в госпитале — у него была крайняя степень дистрофии.

Потом по Ладожскому озеру его вывезли «на материк», и он приехал к нам в Молотов, где стал преподавать... историю советского государства и права. В июле 1944 года мы вернулись в Ленинград.

Нюра умерла от голода в сорок втором, упала прямо на тротуаре. А Фаина Израилевна войну пережила. Искореженная полиартритом, с двумя пустыми бутылками из-под кефира,— такой мы встретили ее на улице Рубинштейна спустя лет пять после войны. Она сразу

узнала отца, страшно обрадовалась и заплакала. Мы стали навещать ее, приносили продукты. Она жила в крошечной комнатенке за кухней, затравленная «гегемонами», освобождению которых посвятила свои юные годы.

— Па, ну, а может быть, что «стукнула» Фаина? — сотни раз повторяла я.

— Исключено, — упрямо тряс головой отец.

— Значит, Нюра?

— Это невозможно. — Отец снимал очки и сильно тер ладонью глаза. — Я помню ее девчонкой.

— Но все-таки, папа, это был кто-то из них двоих!

— Наверно... — нехотя отвечал отец, — но я предпочитаю умереть в неведении.

За стеной, как оглашенный, заверещал будильник, раздались бодрые звуки радиозарядки.

— Нина, ты собираешься сегодня на работу? — Этим риторическим вопросом мама будила меня каждое утро. Я открыла форточку — острая холодная струя ворвалась в комнату: А за окном было по-прежнему темно, и ничто, казалось, не предвещало рассвета.

Глава 10 ОБЫСК

Славки не было на кафедре еще два дня. Наконец он явился, заглянул в электронку и молча поманил меня пальцем. Мы вышли в заснеженный университетский двор.

— Поздравь, вчера у меня был обыск, — то ли радостно, то ли хвастливо сказал он.

В восемь утра, когда Слава с Ириной пили кофе, раздался звонок. Ирина пошла открывать, крича по дороге: «Кто там в такую рань?»

— Телеграмма, — раздался за дверью женский голос.

Ирина открыла, и немедленно в щель просунулась нога в синих галифе и черном сапоге, как бы предотвращая возможное Ирино сопротивление. Оттесняя ее к стене, в квартиру ввалились пять дюжих мужчин и две тетки из жилконторы, изображавшие понятых.

Когда Славка, услышав странный топот, выскочил из кухни, в малогабаритной их передней стояло семь по-

сторонних человек и прижатая к стене Ира, онемевшая от неожиданности и страха.

— Капитан Ремитько,— представился один из них, помахав перед Славой красным удостоверением. Затем он сунул ему в нос ордер на обыск и, обернувшись к соратникам, велел приступать.

— Вы с супругой должны оставаться здесь и присутствовать,— сказал он.

В это время разбуженный шумом Андрюша позвал: «Ма-ма, кто пришел?»

Ира стояла не шевелясь, крик усиливался: «Ну, мама же!»

Ремитько поморщился.

— Вы что, оглохли, гражданка! Успокойте ребенка.

— Это вы мне советуете? — вскинулась Ира, оставаясь в передней.

Андрюша громко заплакал. Ира все же не выдержала, скрылась в комнате, но через секунду появилась снова.

— Мне с мальчиком в поликлинику надо,— сказала она, снимая с вешалки пальто.

— Не положено,— отрезал Ремитько. — Повторяю — до конца обыска все должны оставаться на месте.

Ирина бросила пальто и подошла к телефону.

— Куда собрались звонить? — Капитан был начеку.

— Матери своей. Скажу, что у нас обыск, пусть сходит с внуком к врачу.

— Вы что, сегодня родились? — взорвался Ремитько. — Во время обыска звонить не положено.

— А что положено во время обыска? Разъясните, пожалуйста,— едва сдерживаясь, спросил Слава. — У нас опыта маловато.

— Оно и видно,— вдруг добродушно усмехнулся Ремитько,— хотя с вашей биографией могли и знать. Ну, ничего, придет с годами.

Двое гебистов обрабатывали книжный стеллаж в передней. Они брали книги одну за другой, быстро, но очень внимательно пролистывали каждую страницу, потом, растопырив обложку, трясли книгу над полом. Из некоторых выпадали старые программы концертов, наспех записанные Ирой рецепты ватрушек и пирожков. Каждая бумажка просматривалась и откладывалась в сторону. Стопки книг росли на полу.

— Обрато сами поставите или мне потом убирать? — ядовито спросила Ира.

— Не лезьте на рожон, Белоусова, — огрызнулся Ремитько.

Двое других молодцов орудовали в комнате, которая служила одновременно гостиной, столовой и Славкиным кабинетом.

— Советую вам присутствовать при обыске стола, Белоусов. — Капитан почему-то кивнул головой в сторону разоряемого буфета. — Чтобы потом не было лишних разговорчиков и нас не обвинили...

— В чем же это я могу вас обвинить? — поинтересовался Слава.

— А чтоб не жаловались, что мы чего-нибудь вам подбросили, — разъяснил капитан. — Имеете законное право.

— Вы все равно подбросите, если вам это зачем-нибудь нужно. А имею я право работать во время обыска?

— Сколько угодно, — любезно осклабился Ремитько.

Славка сел за письменный стол и застучал на машинке. Закончив переднюю, двое перешли в спальню, где был Андрюша.

— Мальчиқа уведите на кухню, — приказал гуманный капитан.

В кухне, подперев головы руками и избегая Иринино взгляда, сидели теткИ из жилконторы и с жаром обсуждали преимущество финских яиц перед отечественными.

— Не пойму, — размышляла одна. — Почему у них чистые, а у нас загаженные?

— А возьми кур, — горячилась другая. — Ихние как ошипаны! И каждые потроха в целлофане!

Покончив с гостиной, оперативная группа № 1 перешла в кухню. Андрюшу увели обратно в спальню. Едва поворачиваясь между плитой, холодильником и стиральной машиной, доблестные чекисты выгребли из шкафчиков кастрюли, банки с крупой, мясорубку, сковородки... тщательно обследовали духовку, бросая на Иру осуждающие взгляды — мол, вот неряха, вся плита жирная... в нашем доме, к примеру, все блестит.

Долгое время копались в ственных шкафах — повывтаскивали чемоданы со всяким хламом, лыжи, расстелили на полу туристскую палатку, заглянули и вытрясли каждую кеду.

— Ну, не томи, скажи,— нашли хоть что-нибудь? — перебила я Славу.

— Ни хрена. Пустяки какие-то... письмо Белинкова Союзу писателей и несколько стихотворений Мандельштама из Воронежской тетради. Ремитько был очень разочарован — денек оказался пропащий.

Обыск длился шесть часов, после чего капитан дал Славе подписать бумажку об изъятии этих нескольких криминальных листочков.

— По-моему, они собирались еще вытряхнуть во дворе одеяла и вымыть полы,— улыбнулся Слава.— Я только убиваюсь, что мой старик домой отчалил и не был при этом. Дорого бы я дал, чтобы посмотреть эту встречу на Эльбе.

Еще недели две мы ждали карательных событий — вызова Славы в Большой дом, беседы, угроз, но ничего не последовало.

Времена, действительно, изменились.

Глава 11 НАУЧНЫЕ БУДНИ

— Господи, Боже мой! — вправе воскликнуть читатель.— Да когда же они работают, в самом деле? Что делают из года в год и где их результаты?

Первое научное событие произошло в конце марта. Петр Григорьевич Миронов закончил докторскую диссертацию.

Весенним утром он приволок на кафедру два необъятных тома, предложил сотрудникам ознакомиться и назначить заседание кафедры для предварительной защиты.

— Здесь мой двадцатилетний труд,— повторял он, любовно поглаживая темно-зеленый коленкор обложки.

Тома своей величиной напоминали камуфляж, заполняющий кабинет Идадьго в 1-м акте балета «Дон-Кихот», и, разумеется, никому не пришло в голову к ним прикоснуться. Никому, кроме профессора Леонова. С помощью двух студентов шеф дотащил мироновское произведение до стоянки такси и на неделю окопался дома, погрузившись в проблемы вечной мерзлоты.

Наконец он появился, по обыкновению плотно закрыл за собой дверь и торжественно произнес:

— Ну, Ниночка Яковлевна, доложу я вам... Это полный маразм. Из какой только норы этот Миронов вылез?

— Что за риторический вопрос, Алексей Николаевич, вы же знаете, что он всю жизнь провел в этих стенах.

— Тем хуже для стен, — тряхнул головой Леонов. — В доктора я его не пущу — мы не богадельня.

— Неужели в работе нет ничего ценного?

Мой невинный вопрос повлек за собой извержение грязевого вулкана.

— Ценного? — с расстановкой переспросил шеф и сардонически хохотнул. — Это жалкий студенческий лепет, а не докторская. Нудная каша из общеизвестных фактов.

— А экспериментальная часть?

— Задворки и зады, все методы и приборы доисторические.

(Ох, злопамятный черт, не забыл установку «Урана».)

— Алексей Николаевич, ну не все же так безнадежно. Подскажите ему, как исправить работу, ваши советы могут оказаться просто бесценными... — (И что это я распелась, как соловей?)

Движением руки шеф остановил поток изящной лести.

— Конечно, подскажу. Не зря же я потратил на эту муру целую неделю! — Шеф помахал перед носом листочками, исписанными мелким угловатым почерком. — Вот список замечаний, пусть размышляет, если может... Кстати, здесь он сейчас?

Я ринулась искать Петра Григорьевича. Он сидел в мерзлотке в окружении тоскующей Оли, Эдика и Славы и рассказывал, как его внука Тюпа ненавидит рыбий жир.

— Это ужас какой-то! — с неподдельным волнением говорил Миронов. — Нипочем не заставить, ни кнутом, ни пряником. Поехали мы вчера с супругой на рынок, а Тюпочка в это время вылила рыбий жир в кактусы. Кот наш Мурзик учуял запах да и раскурочил горшок с землей. Ну, что ты будешь с ней делать! — Он обвел сотрудников восхищенным взглядом.

— Петр Григорьевич! — громко позвала я. — Вас шеф хочет видеть.

Миронов неохотно поднялся.

— Наверно, насчет диссертации? Прочел он, Нина Яковлевна?

— Понятия не имею,— пожалала я плечами,— начальство со мной не делится.

Мионов вышел.

— Хана ему, ребята, может даже не рыпаться.

— Ой, не скажи,— протянул Белоусов. — С Петрушей не так просто совладать. Он тихий, но настырный. И очень хочет в доктора.

— Но пасаран!

— Давай, заложимся на полбанки, что защитится.

Слава протянул мне руку, и Эдик разбил наши ладони, объявив, что они с Ольгой держат нейтралитет, но выпьют с любым из нас, одержавшим победу.

Мы заварили чай и как раз доигрывали третью партию в скрэбл, как в мерзлотку ворвался Мионов. Его поджатые губы и решительный вид явно показывали, что он не собирается посвящать нас в свои дела. Однако его тут же прорвало.

— Эвона,— горько сказал он, обращаясь ко мне, и помахал леоновскими бумажками,— ваш начальничек сорок семь замечаний сделал... Конечно, он и в вечной мерзлоте лучше всех разбирается, я, видишь, на уровне сороковых годсв тащусь в обозе, я «математицким» аппаратом не владею. — Мионов довольно удачно передрознил шефа.

— Может, замечания-то пустяковые, не расстраивайтесь так,— вставила сердобольная Оля.

Мионов пыхтел, с отвращением перебирая листочки. В мерзлотку заглянул Леонов.

— Петр Григорьевич, дорогой,— голос шефа вибрировал от глубокой задушевности,— еще два слова... Вы не обязаны со мной соглашаться, можете представлять работу к защите хоть завтра, но поверьте,— он прижал руки к груди,— я вам только добра желаю, в таком виде она не пройдет. Не тянет она на докторскую, никак не тянет.

Унизив таким образом Миронова в глазах его сотрудников, шеф сочувственно вздохнул и выкатился из лаборатории.

Месяца два о Миронове не было ни слуху ни духу. Петр Григорьевич взял отпуск и увез свой монументальный труд в санаторий.

Наконец темно-зеленые тома снова возникли в леоновском кабинете.

— Ни черта не переделал, ни черта...— упоенно мурлыкал шеф, шныряя глазами по разделам, параграфам и главам.

— Что, подать сюда Миронова? — с готовностью спросила я.

— Самое время, — ухмыльнулся Леонов.

Сперва разговор ученых был тихим, доносилось бормотанье Петра Григорьевича и ворчанье Алексея Николаевича. Вдруг Миронов рявкнул:

— Вздор собачий! Я двадцать лет сижу на этом...

— Хоть сто! — парировал шеф. — Ни одной свежей идеи!..

— А где ваши свежие идеи? — завизжал Петр Григорьевич. — Где вообще ваша диссертация? Кто ее видел?

— Кому надо, тот видел, — разъярился Алексей Николаевич. — А ваше... — он подыскивал нужное слово, — исследование я постеснялся бы вообще назвать диссертацией.

— Карьерист! — взвыл Миронов. — Проныра!

И тут шеф повел себя, как английский лорд.

— Считайте, что я не слышал ваших слов, — ледяным тоном сказал он, — но, пока я возглавляю эту кафедру, доктором вам не бывать.

В кабинете воцарилась тишина. Притаившись за дверью, я с ужасом зажмурилась, боясь услышать звук падающего тела. Однако вместо этого снова раздался леоновский голос, на этот раз теплый и вкрадчивый.

— Впрочем, дорогой Петр Григорьевич, ведь на нас свет клином не сошелся, не правда ли? Попробуйте счастья в Новосибирске или в Москве, ну, скажем, у академика Кудряшова. Может быть, кому-нибудь ваша диссертация и впрямь покажется интересной. Ну, а дальше — как ВАК решит...

Стоп! Всем ли известно, что такое ВАК? Конечно, посвятившие себя науке это слишком хорошо знают. А кто избежал научного поприща? Жокеи, матросы, сви-нарки, артисты, пастухи, токари-инструментальщики?.. Может, они никогда не слышали о ВАКе. Но подрастают их дети, возможно, они захотят защищать диссертации.

Поэтому я позволю себе отвлечься от мироновской драмы и рассказать непосвященным, что такое...

ВАК* (почему-то мужского рода) расположен в Москве, на улице Жданова, в невзрачном и обшарпанном домишке по соседству с Архитектурным институтом. Существует он, чтобы утверждать защищенные диссертации. Известные профессора приезжают туда раз в неделю и решают — быть или не быть.

Конечно, в ВАКе никогда не сводятся счеты, и принципиальные ученые не отыгрываются на учениках своих врагов, конечно, родственные связи, дружбы и романы не играют никакой роли — ВАК беспристрастен, неподкупен и справедлив.

Со всех концов страны прибывают сюда каждый день 200—250 диссертаций, и усталые секретарши возят на тачках по темным коридорам огромные разноцветные кирпичи. Но в каждом таком кирпиче — пятидесятилетний труд, надежда на повышение зарплаты, на дополнительную жилплощадь, на более высокую ступень социальной лестницы. Это — путь наверх.

В благополучном и «легком» варианте диссертация, провалявшись полгода на пыльных полках, утверждается членами ВАКа. Но если что не так... Ах, даже подумать об этом страшно, — ее отдадут на рецензию Черному оппоненту.

«Черный оппонент»! — хорошее название для фильма ужасов. Он представляется мне длинным, цепким, извивающимся, как водоросль, в ку-клукс-клановском балахоне — только глаза мерцают зловещим блеском сквозь узкие прорезы капюшона. Раскачиваясь и бормоча заклинания, он мохнатыми паучьими щупальцами листает диссертацию, погружает ее в кипящее озеро серной кислоты, с упоением следя, как желтеют и сворачиваются страницы, затем бросает их в ядовитый зеленый огонь, рвет на мелкие куски и раздувает по ветру, хохоча и приплясывая на голой зубчатой скале.

И если после всего этого диссертация уцелеет, Черный оппонент признает ее кондиционной.

Обычно после защиты диссертант месяцев шесть-семь ждет из ВАКа решения своей судьбы. Но если и дальше ВАК молчит, как могила, — это значит только одно: работа у Черного оппонента. Кто он однако? Друг

* Всесоюзная аттестационная комиссия.

или враг? Зарежет или спасет? Как его имя? Как к нему подступиться?

Мне хочется рассказать две правдивейшие истории про Черных оппонентов. Одна из них трагическая, другая — повеселее.

История № 1 — трагическая

Молодой человек (назовем его условно — Петя) защитил диссертацию в далеком Магадане. Прошло полтора года, но из ВАКа ни слуху ни духу. Петя похудел, не расставался с седуксеном, беспричинно кричал на жену, стал рассеян на работе, начал прикладываться к бутылке... И начальство его пожалело: «Дам-ка я тебе в Москву командировку, — сказал директор Петинского института, — свекр моей дочери член ВАКа, по другой, правда, специальности, но это пустяки. Позвонишь ему домой, скажешь, что, мол, Иван Пантелеймонович копченой рыбки и воблы прислал, можно ли занести пакетик. А там... слово за слово, объяснишь свою ситуацию. Может, он что тебе и разузнает».

Сказано — сделано. Свекр оказался участливым и добрым, специалистом по беспозвоночным. Он потолковал с «девочками» в ВАКе, и выяснилось, что диссертация нашего Пети и впрямь у Черного оппонента, фамилия его Дукадзе, и он профессор Тбилисского политехнического.

На следующий день Петя вылетел в Тбилиси. Он бродил по широким пространствам института в поисках расписания занятий. План его был незатейлив: узнать, где и когда читает лекции Дукадзе и присмотреться со стороны. Если Дукадзе на вид окажется не звероподобным...

Заметь, читатель, — не имеет права Петя взять Дукадзе за пуговицу и спросить: «Какого черта kota за хвост тянешь? Что с моей диссертацией?» Он даже не имеет права знать, что его судьба в руках ученого грузина.

Протолкался Петя по коридорам до позднего вечера, ни в одном расписании фамилии Дукадзе не встретил. Переночевал на вокзале, наутро выяснил в справочном бюро домашний адрес и телефон. Звонил — не отвечают, сел в такси, приехал в Цитрусовый тупик и устроил в кустах рододендрона напротив прелестного светло-зеленого особняка с серебристой табличкой

«Т. Н. Дукадзе» свой наблюдательный пункт. Просидел без еды и питья девять часов — никто не вошел, никто не вышел. Отправился Петя с горя в ресторан гостиницы «Иберия» и просадил там последнюю двадцатку. Переночевал, как водится, на вокзале, а на третье утро сделал жест, полный отчаяния и отваги. Он просто пришел в деканат.

— Простите, пожалуйста,— учтиво сказал Петя, — по каким дням бывает профессор Дукадзе?

В деканате воцарилась тишина. Две секретарши, замдекана и трое студентов, оживленно обсуждавших вчерашний матч «Динамо» (Тбилиси) — СКА (Ростов), с выражением нечеловеческого ужаса уставились на него.

— Господи, — прошептала секретарша, бледнея, — кто вы, зачем он вам?

Чувствуя, что происходит нечто непоправимое, Петя заблеял:

— Из Магадана я... на консультацию приехал...

— Нет нашего Теймураза Нестеровича,— хрипло выдавила секретарша.

Замдекана подошел к Пете и положил руку ему на плечо.

— Мужайтесь, молодой человек... Умер Теймураз Нестерович восемь месяцев назад. Умер совсем.

— А жена? — одревеневшими губами зачем-то спросил Петя.

— Жена как раз жива, — повеселели в деканате. — Разделалась с его архивом, продала дом. Что ей одной-то здесь делать? Переехала к сыну в Душанбе... внуков нянчить.

История № 2 — повеселее

Другой человек (скажем, Боря из Ташкента) маялся после защиты, ожидая утверждения из ВАКа около двух лет. И так же, отчаявшись, двинулся в Москву, раскинул сети шпионажа и разузнал, где его диссертация. Боря был гораздо удачливее — его Черный оппонент оказался вполне живым профессором Московского университета и, по агентурным данным, невинным и милым старичком.

Достав его домашний адрес, Боря пошел ва-банк и приехал воскресным утром в Неопалимовский переулок. Открыла ему седая дама в шелковом халате. Тол-

стый слой крема почти скрывал когда-то прекрасные черты лица. Она смутилась, но через секунду улыбнулась, пригласила Борю войти и мелодично пропела:

— Ну-усик, к тебе.

Послышалось сопенье, шарканье шлепанцев, и из тьмы коридоров появился крошечный человечек в пижаме с длинными моржовыми усами.

— Чем могу служить, молодой человек? — ласково спросил Черный оппонент.

Пугаясь собственной отваги, уверенный, что его прервут и выставят за дверь, Боря скороговоркой изложил суть дела и даже шумно сморкнулся в платок, что могло быть расценено как рыдание.

Профессор сокрушенно качал головой:

— Ужасно, ужасно... Но я решительно не видел вашей диссертации. Вы уверены, что ее дали на рецензию именно мне?

Боря поклялся.

— Чудеса! — сказал Черный оппонент, пожимая плечами, — или я совсем рехнулся?..

— Ну-сик! Что за выражение! — проворковала супруга.

— Пойдемте в кабинет, голубчик, посмотрим вместе, — тряхнул усами профессор. — Но я решительно не припоминаю даже вашей фамилии.

Они вместе перерыли письменный стол, книжные шкафы и полки. Боря палкой пошарил под диваном. Постепенно в поиски включилась вся родня. Супруга Нусика вытряхнула бельевую корзину, перевернула кверху дном спальню, заглянула в рояль. Нусикин сын — бородатый длинноволосый человек в рваных джинсах — влез на антресоли.

— Ни хрена... — раздался его хриплый голос.

— Ба, увеличитель нашелся, — ликовал внук Котик, вытаскивая из груди хлама пыльную конструкцию.

Нусикина невестка, изящная блондинка в пеньюаре, обследовала кухню и кладовку. Трехчасовая работа сблизила Борю с профессорской семьей.

— Звони на дачу, дед, — командовал Котик, — пусть Фрося там пошурует.

Через час Фрося телефонировала, что «обыскалась, но ничего такого нет». Боря пригорюнился.

— Вот что, голубчик, не расстраивайтесь, — сказал профессор Нусик и огорченно пожевал усы. — Я зав-

тра специально поеду в ВАК, выясню, у кого же все-таки диссертация.

— Чего ты удивляешься, па? ВАК такая же хамская шарага, как и наш худфонд,— проворчал сын.— Человек полжизни штаны протирает и концов не найти.

Нусик заморгал, жена укоризненно покачала головой.

— Давайте-ка чай пить, — разрядила обстановку блондинка.

Борю усадили за стол, поставили варенье, бублики и сыр и начали расспрашивать о семье, работе и ценах на ташкентском базаре. В кухне засвистел чайник, и все члены семьи стали учтиво бороться за право сбегать за ним. Победила невестка. Она внесла сопящий никелированный чайник и, поискав глазами подставку, улыбнулась нашему герою.

— Вы ближе, Боречка,— пододвиньте-ка эту штуку...

Боря взялся за «штуку» и... взвыл,— это была его диссертация, целая и невредимая, если не считать обгоревшего круга, образовавшегося на обложке в результате бесчисленных чаепитий.

Я сторонница счастливых концов. И, надеюсь, что рано или поздно Петя, Боря и тысячи других, рвущихся в науку,— станут кандидатами, докторами, членами ВАКа.

Но пока что в ВАКе заседал наш шеф профессор Леонов. Бывал он нередко и Черным оппонентом. Но, как известно, времени сосредоточиться у него не было. Потому я частенько находила на своем столе чью-нибудь диссертацию с вложенной от него запиской: «Н. Я! Я совершенно заметался! Не в службу, а в дружбу — прочтите и подготовьте мое мнение».

Глава 13

КОНЕЦ МИРОНОВСКОЙ ДРАМЫ

А что же поделявает Петр Григорьевич, где же наш бедолага? Миронов? Не внял упрямый черт предупреждению шефа: «Защищайтесь... а там, как ВАК решит». Другой на его месте после этих грозных слов засел бы за переделки на целый год. А Миронов двинул в Москву к академику Кудряшову. Неизвестно, чем обворожил он старца, но его работу приняли к защите. Шеф с чувством пожал мионовскую руку.

Зимой Петр Григорьевич защитился. Вся мерзлотная группа специально получила командировки в Москву для моральной поддержки своего босса.

Поездка была урожайной. Оля накупила в магазине «Ванда» кучу косметики, Эдик продал за сотню «Иисус Христос, Суперстар», а Слава Белоусов тиснул в журнале «Крокодил» свою первую публикацию — юмористический рассказ о том, как не чинили фановые трубы.

Петр Григорьевич вернулся на кафедру победителем. Банкет он устраивал в Москве, поэтому мы ограничились пятью бутылками шампанского и килограммом «Каракума». Все выпили, приятно захмелели и целовали Миронова в пышные щеки. Чокаясь с шефом, Петр Григорьевич фамильярно похлопал его по плечу.

— Недооцениваете вы своих коллег, дорогой Алексей Николаевич, не верите в их успех, — вот в чем ваша ошибка.

Леоновские глазки спрятались в чарующей улыбке.

— Счастлив, что ошибся, и от души поздравляю, дорогой Петр Григорьевич. Сердечно за вас рад. А вот праздновать рекомендую все же после утверждения ВАКа, надежней оно как-то.. — И шеф отодвинул от себя лабораторный бокал с шампанским.

Тень набежала на сияющее мионовское лицо, недоброе предчувствие, словно клешнями, стиснуло его сердце. И не зря...

Восемнадцать месяцев ВАК молчал, набрав в рот воды, а Леонов на все наши вопросы только пожимал плечами: «Вы же знаете, что я отстранился».

У Петра Григорьевича обострилась язва желудка, и Ольга Коровкина, прибегнув к отцовскому благу, добыла ему путевку в Ессентуки.

Наконец Леонов сжалился и обещал «против всяких правил, рискуя своей репутацией» разузнать, что и как. Из Москвы он вернулся скорбный.

— К сожалению, к великому сожалению, диссертация ваша не утверждена. Отзыв Черного оппонента самый что ни на есть отрицательный.

— А кто Черный оппонент? — глухо спросил Мионов.

— Увольте от ответа, — развел руками шеф. — Я и так сделал невозможное.

Вскоре пришел официальный ответ из ВАКа и громный отзыв Черного оппонента. Им оказался сверд-

ловский профессор Кузин, близкий друг и однокашник нашего шефа. Чисто сработано, нечего сказать...

На мионовскую беду в Университете началась новая кампания по омоложению кадров: не защитивших докторскую ученых, которым стукнуло шестьдесят, — отправлять на пенсию.

Весной мы провожали Миронова на вполне заслуженный отдых. Шеф произвел фурор, выдав на подарок десять рублей. Профессор Бузенко на радостях расстался с трешкой, остальные сотрудники также внесли посильную лепту. Мы купили спиннинг последней конструкции, а Оля, повалившись в ногах председателя месткома, принесла в зубах деньги на транзисторный приемник.

Петр Григорьевич сидел во главе стола на прощальном банкете. Его лиловые щеки повисли, мясистый нос отяжелел. Шеф с выражением прочел приветственный адрес в пурпурной с золотыми виньетками папке. Михаил Степанович впервые за двадцать семь лет пожал мионовскую руку и, будучи мал ростом, клюнул его в воротничок, символизируя поцелуй.

Мерзлотка осталась без руководителя.

Глава 14

НАЧАЛО МАРАФОНА

— Кто же будет возглавлять мерзлотку? — спросила я месяц спустя. Вакантное место не давало покоя, дразнило и манило, хотя без ученой степени получить доцентскую ставку совершенно невысказано.

Профессор Леонов взглянул на меня с пониманием, надул щеки и издал задумчивый звук «пум-пум».

— Пока не решено. Теоретики, между нами, самая подходящая фигура — Белоусов. Давно кандидат и дело свое знает. Но практики это исключено. Он все себе напортил дурацкой писаниной, о продвижении ему мечтать теперь не приходится.

— Значит, опять варяга звать? — вырвалось у меня. Это было неосторожно. Варяг Леонов нахмурился, но удачная операция с Мироновым тотчас вернула ему благодушное настроение.

— Посмотрим — разберемся, — загадочно сказал он и, пронзив меня буравчиками, добавил: — А вам, дорогая, следует живей закругляться с диссертацией.

Я затаила дыхание — неужели и впрямь? Но по инерции угрюмо буркнула:

— Я и так работаю день и ночь.

— Сколько написано страниц? — деловито и быстро спросил шеф.

— Мм... около ста, — соврала я с перепугу.

— Ну, что ж, неплохо. Принесите завтра две-три главы, начну читать.

— Да что вы! Это только «рыба», самый первый вариант. А вообще, у меня и конца не видно.

— Когда же вы увидите конец? — прищурился шеф.

— Ну, может быть, через год.

— И не выдумывайте, — замахал руками Леонов, — некогда нам рассусоливать. Если мы не займем мирановскую ставку, она быстро уплывет, охотников на факультете хватает. Так что, сроки у вас сжатые, дорогая, — он полистал записную книжку, — даю вам на все три месяца.

В голове фейерверком взорвались и рассыпались миллионы сверкающих огней, но я автоматически катилась по рельсам нытья и занудства.

— Не успеть мне, точно — не успеть. Ну, с электронной частью я благодаря вам еще справлюсь, а почвенные свойства? У меня ни одного результата нет.

— Невелика беда. Используйте кафедральные отчеты, вы вовсе не обязаны все делать сами.

С невидимых хоров невидимый оркестр грянул музыку из «Спящей», и, Леонов грациозно взмахнув авторучкой, превратился в Фею Сирени.

— Поймите о том, дорогая, — прошелестела Фея, — что, если я как руководитель даю добро, вы можете не дергаться.

— Да... вот Миронов, как уж был в себе уверен, а что вышло? — не удержалась я от провокации.

— Миронов потерпел фиаско исключительно по своей глупости. — Фея постукала себя костяшками пальцев по лысому черепу и затем по столу.

— Думаете, успею? — проскулила я, а в душе уже поднималось и росло ликование, восторг, ожидание великих перемен.

— Ольга Андреевна! — внезапно заорал Леонов своим голосом. — Товарищ Коровкина!

От неожиданности я вскочила со стула.

— Зовите сюда профорга, — повелительно сказал

шеф. — Мы включим вашу защиту в социалистическое обязательство кафедры на третий квартал.

Через десять минут новость горячо обсуждалась всеми сотрудниками.

— Ты, Нинка, — его главная ставка, — сказал Белосов, — ему, видишь, позарез нужно в противовес покойному, прости Господи, Миронову пустить в ход своих соискателей и аспирантов. У профессора должны быть ученики. И ты будешь его первым показательным выступлением.

— Да, — глубокомысленно сказал Алеша, — ты — пешка в грязной политической игре. Но хотел бы я быть этой пешкой.

Вера Городецкая выслушала новость без всякого энтузиазма.

— И охота тебе, Нинок, энергию на это тратить, ты же всю эту науку в гробу видала.

— Верка, что за демагогия? Кандидатство — это свобода, деньги. Можно сказать, мечта на глазах воплощается в жизнь.

— И что это у тебя мечта такая куцая, — усмехнулась Вера.

— Ладно, киса, не будем ссориться, — миролюбиво сказала я, но в душе насторожилась: неужели так открыто и откровенно завидует? Честно говоря, это было совсем не похоже на Веру.

На другой день шеф собрал нашу группу и сказал, что моя защита — дело чести всей кафедры и он просит Веру и Алешу оказывать мне всемерную помощь. Бондарчук с готовностью согласился — какая разница, на что убивать рабочее время? А Вера меня опять ошеломила:

— Не сердись, Нинок! Неохота мне до смерти играть в эти игры.

— Да что с тобой, Вера! Давай поднажмем вместе, защишусь, встану на ноги, тебе же легче карабкаться будет. Я кончу — ты начнешь.

Городецкая покачала головой:

— Кончай, Ниноля, сама, если так приспичило. Я уж ничего начинать не буду. Избавь меня от этого балагана, дорогая!

— Вера, ты серьезно? Ты отказываешься мне помочь?

— Да я стараюсь тебе помочь! Но ты... или не слышишь, или не понимаешь.

— Ну, спасибо. — Я попыталась иронически усмехнуться. — Это особенно мило, если вспомнить...

— Что ты для меня сделала? — подхватила Вера. — Я всегда буду помнить, как ты помогала мне в трудное время и устроила в Университет.

— Я не собираюсь попрекать тебя.

— Конечно, нет, — торопливо сказала Вера, — но даже из благодарности я не могу поступать против принципов.

— Ого, с каких это пор у тебя появились принципы? Знаешь, это просто смешно... выдавать за принципы инертность и беспомощность. Могу себе представить, что б ты делала на моем месте, если бы у тебя появилась возможность с Божьей помощью кандидатскую сострять. Ты бы не разыгрывала из себя «Королеву Шантеклера». Нет, вы только подумайте — она выше этого!..

...Впервые за этот год я возвращаюсь домой одна. Обычно мы с Верой идем пешком через Дворцовый мост, мимо Главного штаба, по Невскому, до улицы Герцена. На маленьком отрезке Невского мы забегаем в «Березку» просто так, окинуть общим взглядом ситуацию, или на другой стороне заскакиваем в магазин художфонда поглазеть на серебряные ожерелья и браслеты и выпиваем по чашке кофе с пирожным в соседней кондитерской. За эти пять минут на Невском мы всегда встречаем знакомых или полужнакомых людей.

— Знаешь, Нина, — сказала как-то Вера. — Если наступит день, что на Невском мы ни с кем не поздороваемся, значит пора помирать.

Мы доходили до кино «Баррикада», и там Вера проделывала цирковой трюк под названием «Штурм сотки». Готовый лопнуть по швам, автобус № 100, скособочившись, подползал к остановке. Грозди темных пальто и серых лиц рассыпались на мгновение, освобождая выход, и в этот миг Вера тигром бросалась вперед и намертво приклеивалась к чужому рукаву. Так она висела минут сорок и, потоптавшись на пересадке, так же штурмовала другой автобус. Дорога в один конец занимала полтора часа.

Я вспомнила, как однажды зимой она ворвалась на кафедру и, бездыханная, рухнула на стул. От тающего снега ее драная шубейка вымокла, из дыр торчали ключья меха, мокрые пряди волос прилипли ко лбу, портфель с оторванной ручкой бесформенной кучей ле-

жал у ее ног. От «бывшего» замшевого сапога потекла тонкая струйка воды.

— Вера Федоровна, у вас сапоги текут,— сказала я.

— Ясно — текут,— пожала плечами Городецкая,— и в починку отдать не могу — переобуть нечего.

Она задумчиво глядела в окно на Менделеевскую линию, потом повернулась ко мне, и я увидела на ее щеках слезы.

— Вера, что случилось?

— Не знаю. Ничего. Проезжала я сейчас мимо Финляндского вокзала...

— Ну и что там стряслось?

— Ничего. Слякоть, всюду лужи, этот идиотский броневик посередине... Народ измученный, ни улыбки, ни смеха — все злобные, мрачные, беспросветные. Убить готовы друг друга. — Вера тяжело вздохнула. — Господи, несчастная, погрязшая во лжи Россия!

— Ты бы о своих сапогах лучше думала,— съязвила я.

Вера промолчала.

...И вот впервые за этот год я шла через мост одна.

Почему меня так задел Верин отказ? Чего это я разобиделась? Разве мне и в самом деле позарез нужна ее помощь? Нет, тут что-то другое. Меня оскорбила ее независимость. Почему она может наплевать на диссертацию, а я нет? Деньги ей нужны не меньше, чем мне. В чем же дело? Мы обе знаем цену своей науке, обе прошли образцовую школу цинизма. Нас окружали серые бездарности, и все мы учились у них этим «фокусам на клубной сцене». Почему же я участвую в этом, почему так органично выросла в бумажную псевдожизнь? Я ведь была хорошим инженером и в своей шарге приносила хоть какую-то пользу. Зачем мне нужен был Университет? А диссертация? Командовать писателем Белоусовым и спекулянтами Олей и Эдиком? Господи, тоска какая! Но что я действительно хочу, что мне интересно? Не знаю. Где-то в тусклом потоке дней я оставила, забыла, потеряла себя...

А теперь я завидую Вере, ее простоте, естественности, ее пренебрежению к тому, что кажется мне значительным и важным. И вела я себя, конечно, отвратительно, надо завтра извиниться перед ней.

А наутро не хватило духу. И потом не пришлось. Леонов вовлек меня в предзащитный марафон, и не бы-

ло ни секунды, чтобы остановиться, оглядеться, придумать и осознать, что творится у меня под носом.

Наша ссора устоялась — ни мне, ни ей не хотелось выяснять отношения. Мы по-прежнему сидели в леоновском кабинете, Вера по-прежнему приветливо улыбалась, но ни разу не вызвалась мне помочь.

— Я вижу, вы поссорились с лучшей подружкой, — заметил всевидящий Леонов. — В чем дело?

Я промывчала что-то неопределенное. Но шеф оказался пронцательной бестией.

— Помогает она вам? Я специально не даю группе заданий, чтобы диссертацию оформляли.

— Да, собственно, делать уже нечего, — забормотала я, — мы с Бондарчуком справляемся.

Вскоре после этого разговора состоялось экстренное заседание кафедры. Ведущие ученые подготовили открытое письмо, осуждающее антиобщественную деятельность академика Сахарова, и ректор велел ознакомить с содержанием письма рядовых сотрудников.

Пока шеф читал, я исподтишка разглядывала своих коллег. Белоусов уставился стеклянным взглядом в притолоку двери; Рива и Сузи изучали под столом шестнадцатую страницу «Литературки», их начальник профессор Бузенко рисовал на обложке папки кошек и слонов; Григорий Йович снял крышку с часов и длинным ногтем копался в механизме; Вера Городецкая сидела, сжав голову ладонями, закрыв уши, как бы стараясь отгородиться от монотонного леоновского голоса. Когда шеф кончил, Вера подняла руку.

— Можно вопрос, Алексей Николаевич? Скажите, пожалуйста, все подписали это письмо? Никто не отказался?

— Что вы имеете в виду, Городецкая? — насторожился шеф.

— Я спрашиваю, Алексей Николаевич, — медленно повторила Вера, — никто из тех, кому поручено было подписать это письмо, не отказался это сделать?

Леонов явно растерялся, но только на секунду.

— Конечно, нет. Это наше общее, единодушное мнение, — ответил он ледяным голосом.

Вера вскочила с места, опрокинув стул, и выбежала с кафедры. Все уставились на Леонова. Он медленно поднял руку и, покрутив пальцем у виска, пробормотал:

— Психопатка какая-то...

Верина выходка его перепугала, и с этого дня шеф люто Городецкую возненавидел. Появляясь на кафедре, он подлетал к ее столу.

— Вы, конечно, не успели сделать таблицу, которую я поручил вам неделю назад?

— Успела, Алексей Николаевич. — Вера протягивала ему исписанные листы.

Он грубо выхватывал из рук бумажки и, не снимая пальто, впивался в них.

— Полно ошибок! — ликовал Леонов, обнаружив пустяковую описку. — И о чем вы только думаете?

— В основном о работе, но иногда, конечно, отвлекаясь, — объясняла Вера, вызывая своим простодушием новую волну злобы.

Он звонил теперь на кафедру каждое утро в половине девятого и требовал Городецкую к телефону. Когда заболел ее младший сын и Вера три дня не появлялась в Университете, Леонов разыскал номер детской поликлиники и проверил, правда ли, что к Даниле Городецкому был вызван врач. Если с кафедры требовался один сотрудник для отправки в колхоз, шеф посылал Веру, дежурить в агитпункте — Веру, патрулировать вечером в дружине — снова Веру.

В другое время я, конечно, заступилась бы за подругу, но наши отношения распались, и я делала вид, что ничего не замечаю. А шеф продолжал бушевать.

— Муж — тунядец, сидит на шее у народа, — кричал он, — пусть хоть жена какую-нибудь пользу приносит.

Кафедральные дамы от ужаса прижимали уши.

— Я бы повесилась на ее месте, — шептала Рива, — а с нее как с гуся вода.

Вера как будто не замечала гонений. Казалось даже, что она жалеет шефа. Как-то после очередного скандала Вера подошла к Леонову, дотронулась до его рукава и сочувственно сказала:

— Вам нельзя так волноваться, Алексей Николаевич, давление подскочит.

Леонов опешил.

— Она что, юродивая? — шепотом спросил он меня, когда Вера вышла.

Я рассмеялась. Уж очень он был похож на дворового пса, встретившего на дороге какое-то экзотическое животное. Хотел бы дотронуться лапой — да не решался, схватить зубами — но боялся. Он стоял над крошечным

существом то ворча, то отрывисто лая, наклоняя в разные стороны свою большую глупую морду.

А меня уже мучил предзащитный синдром — бессонница, тик и слезы по любому поводу. Я потеряла восемь килограммов. Август прошел как в бреду — друзья доводили графику, и мы среди ночи, усевшись по-турецки на куче карт и фотографий, поедали из кастрюли гречневую кашу.

Адские муки я претерпела с рефератом — шеф заставлял переделывать его сто раз.

— Это наиважнейший момент, — наставлял меня он. — Диссертацию вашу прочтут от силы три человека, а вот с рефератом надо держать ухо востро: мало ли в какие руки попадет... Он должен быть простым и непонятым.

В сентябре марафон подошел к концу — меня несло к защите, как реку в океан. Отпечатанная диссертация высилась на столе, карты и рисунки поражали своим совершенством, синий коленкор обложки источал упоительный запах типографского клея. Оформление этой роскоши стоило четыреста рублей, и я с некоторым сожалением снесла в комиссионку нейлоновую шубу, присланную теткой моей матери из далекой страны Америка.

В коридорах Двенадцати Коллегий появились афиши, извещавшие о моей защите, и я по пять раз в день проходила мимо, любясь фамилией Чехович, написанной почему-то славянской вязью. Все было готово, даже отзывы оппонентов, похожие благодаря шефу на оды и кантаты.

До защиты осталось 45 дней.

Глава 15

НА ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ

Я нахожусь в тяжелом раздумье, дорогой читатель! Как начать и окончить эту главу, последнюю главу сцен из научной жизни? Как вывести тебя из Двенадцати Коллегий, минуя подземные толчки грядущего землетрясения? Как состряпать пристойный «happy end» и опустить бархатный занавес, прежде чем цветущая наша кафедра превратится в груды обломков?

Можно выбрать эпическое начало, отдающее кокет-

ливой и пошловатой риторикой. Например: «Жизнь прихотлива и непредсказуема. Пролетит 35 лет, и не заметит их человек, разве что виски седые и валидол в кармане, а 35 дней могут перевернуть его судьбу».

Или без нежностей и реверансов ошеломить немислимым сюжетным взрывом. А то, по доброму русскому обычаю, не начать ли с описания природы и усытить твою бдительность, бережно введя в атмосферу элегантной ленинградской осени?

...Итак, светло-голубое небо украсилось стайкой облаков. В университетском дворе уже шуршали под ногами багровые и лимонные листья. Воздух был прохладный и легкий. За парапетом набережной тихо плескалась забрызганная осенним солнцем Нева.

Два дня назад Би-би-си передало главы из повести Вячеслава Белоусова «Всяк сюда входящий», и вчера в «Ленинградской правде» ему был посвящен подвал под названием «Паразит в обличье ученого».

Университет ходил ходуном и бурлил, как совмещенный улей-муравейник. Собрания следовали одно за другим в стройном соответствии с демократическими принципами. Перед первым, кафедральным, всех сотрудников строжайше предупредили о необходимости высказать свое мнение.

Вначале с леденящей речью выступил Леонов и превратил Белоусова в «пригоршню праха», слегка пожурил себя за недостаточную политико-воспитательную работу. Профессор Бузенко, напротив, едва снизойдя осудить Белоусова, отважно и ощутимо лягнул шефа.

Затем начали вызывать всех подряд. Женя Лукьянов назвал «эту писанину» клеветой на советский строй; Алеша Бондарчук проблеял о растлевающем влиянии чуждой идеологии; Эдик Куров, не церемонясь, охарактеризовал Славу как подонка; Григорий Йович, с трудом подыскивая слова, сказал, что не время ворошить ошибки прошлого, осужденные к тому же партией в свое время; Рива проямлила, что отродясь не слышала о подобных зверствах в нашей жизни и «кем надо быть, чтобы так злобно...»; Сусанна не явилась по причине воспаления надкостницы; Ольга Коровкина строчила протокол и избежала тем самым экзекуции.

Виновник торжества, отделенный от здорового коллектива двумя рядами стульев, словно заминированной зоной, сидел с индифферентным лицом, как бы созерцающая на экране скучный, много раз виденный фильм.

«Господи,— молила я Бога и Леонова одновременно. — Пронеси, не спрашивай моего мнения, забудь обо мне, дай возможность не вывалиться в дерьме, ну, пожалуйста, смилуйся!»

— А ваше мнение, Нина Яковлевна? — просверлил меня взглядом Леонов.

«Вот и свершилось, голубушка. Ну давай — твой ход».

— Я считаю недостойным передавать на Запад произведения, не напечатанные в Советском Союзе и искажающие жизненную правду.

...И крыша не рухнула, и пол не разверзся...

Белоусов даже взгляда в мою сторону не бросил, даже бровью не повел. Профессор Леонов взял со стола напечатанный на машинке листок.

— Позвольте зачитать проект решения, товарищи.

— Простите, можно мне?.. — Городецкая подняла руку.

Леонов взглянул на часы и сухо сказал:

— По-моему, все ясно, и мнение коллектива можно считать единодушным.

Но Городецкая словно не слышала его. Прижав руки к груди, она торопливо затараторила:

— Глупо это и подло! Белоусов знает, о чем пишет. И прав он, тысячу раз прав... И вы это знаете, и травите его за это. Смотреть на вас стыдно!

— Замолчи,— тихо сказал Белоусов.

— Прошу вас покинуть собрание, Городецкая,— отчеканил профессор Леонов.

Вера хлопнула дверью. Возникло секундное замешательство, затем Алексей Николаевич зачитал проект. Мнение кафедры было единодушным: «Старшему научному сотруднику Белоусову не место в Ленинградском университете».

На остальных заседаниях Славе уделяли не слишком много внимания, зато шефа отделявали в лучших традициях итальянской мафии. Поговаривали, что от строгача ему не отвертеться.

Два дня спустя, вопреки всем правилам приема и увольнения научных кадров, Белоусов был выгнан за «поведение, не совместимое со званием советского ученого». Я столкнулась с ним в бухгалтерии, где он пытался раздобыть очередную закорючку в обходной листок.

— Отойди от прокаженного,— проворчал он,— не рискуй перед защитой.

— Но я хочу поговорить с тобой.

— Только не здесь. Иди в музей Менделеева, туда уже лет пять не ступала нога человека. Подожди меня там.

Через десять минут мы сидели за гигантским сундуком, унизанным медными кнопками. Этот кофр был знаменит тем, что Дмитрий Иванович сколачивал его восемь месяцев и считал лучшим творением своей жизни.

— Прости меня, Славка, ради Бога. Прошу тебя, постарайся простить.

— Да брось ты свой достоевский пафос. Что, я не понимаю? Вся твоя научная карьера под угрозой. Оба вы с шефом из-за меня на паутинке качаетесь.

— Ну а с тобой?.. Что с тобой будет?

Белоусов пожал плечами.

— Кто его знает... Пока Габриела* чухается и получает инструкции, попытаюсь проявить сноровку и исчезнуть. Кану в тундру, поближе к мерзлоте. Там у меня начальник экспедиции приятель, и мое политическое лицо его особенно не волнует. И вообще, наступают там полярные ночи...

Так исчез из нашей жизни Слава Белоусов.

Целую неделю я отсиживалась дома. Боялась встретиться с Городецкой. Когда я наконец приехала на работу, Вера сразу подошла к моему столу.

— Пойдем, подышим воздухом, Нина.

Мы вышли в университетский двор и сели на скамейку. Вера вынула из сумки сигарету.

— Последняя,— сказала она со вздохом,— я тебе оставлю половину.

Вера закурила. Молчание затягивалось.

— Слушай,— наконец сказала она.— Мне давно следовало поговорить с тобой, да отвлекать не хотелось. Ты совсем замучилась, с лица сошла. Все у тебя готово?

— По-моему, да. Вашими молитвами... — Против воли мой голос прозвучал обиженно.

— Не знаю прямо, как начать. В общем, слушай, мы решили ехать.

— Куда это? — спросила я машинально, но вдруг поняла и даже зажмурилась, боясь услышать ответ.

— Куда, куда... Не в Караганду же...

— Ты что, серьезно?!

* Сленговое ленинградское название КГБ.

Вера молча кивнула.

— Да как же... И с чего это вдруг?!

— Это не вдруг, Нинок. Это зрело давно.

— Но почему, почему?.. Что-нибудь случилось?

— Конкретного ничего. Все к этому шло, и теперь... не знаю, как объяснить... это единственный выход. Нам с Левкой здесь жить невозможно... Мы просто не можем... дышать.

— А почему это я могу?

— Характер такой... Ты и в банке с углекислым газом сможешь... — Вера запнулась и покраснела. — Прости, я не хотела тебя обидеть.

— Валяй, не стесняйся.

— Не сердись, Нина. А сейчас мне очень нужен твой совет.

— Теперь-то о чем советоваться? — Мне вдруг стало все безразлично, в долю секунды Вера оказалась бесконечно далеко от меня.

— Есть два пути: попросить характеристику и... попытаться продолжать работать... или сначала уволиться.

— Поступай, как тебе удобнее.

— Мне удобнее работать, а вот тебе... шефу, наверно, спокойнее, если я уволюсь.

Я подумала о предстоящей защите и промолчала.

— Нинок, так увольняться мне? — настойчиво повторила Вера.

— А на что вы жить будете это время? А если вообще откажут?

Вера пожала плечами.

— Черт их знает, все может быть. Так что ты советуешь?

Верины сто десять рублей были теперь единственным источником дохода Городецких.

— Слушай. — Я чувствовала, что у меня заплетается язык. — А ты не можешь подождать месяц-другой?

Я представила себя, какая свистопляска начнется на факультете, как только Вера объявит о своем намерении. Пока что наш пуританский Университет оскоромился только один раз: с мехмата уехал студент-первокурсник. Это было два года назад, и с тех пор в ЛГУ не просочился ни один подозрительный по пятому пункту. А для сотрудников придумали новые учетные карточки. Выглядели они так:

Форма № 2

Учетная карточка научного работника.

Фамилия, И. О.
Национальность
Фамилия, И. О. матери
Национальность
Фамилия, И. О. отца
Национальность
Подпись:

Кадры выявляли мулатов, метисов, квартеронцев. И я, конечно, попалась. Несмотря на мой безупречный паспорт, мать моя, к сожалению, была еврейка. Такие, как я, оказались в особом списке в сейфе у проректора по кадрам товарища Катькало, квадратного человечка с жабьим лицом и водянистыми глазами. Как всемогущ был он! Никому так низко в коридоре не кланялись профессора, никого с таким трепетным вниманием не спрашивали о здоровье супруги. От него гораздо больше, чем от ученого совета, зависит моя защита, моя судьба.

Как отнесется он к Вериной выходке? Как откликнется это мне? Счастье еще, что Городецкая русская. И еще... история с Белоусовым. Все вместе... Это же трагедия для кафедры. Неужели Вера не понимает?

— Нина, мне очень неприятно, что у тебя могут быть из-за меня осложнения.

— Ты называешь это осложнениями? Это — катастрофа! Ты уедешь, а мне здесь жить и работать. А ты, что ты там будешь делать? Мыть полы, продавать жвачку, убирать чужие квартиры? И это все после Университета?

— Нина, я буду там жить, понимаешь, просто жить. А Университет... Тебе ли не знать, какая это липа.

Ни за что на свете я не признала бы теперь Верину правоту. Все мое существо протестовало против ее слов. Как животное, я хотела отстоять право на свою жизнь.

— Не такая уж липа. Во всяком случае, мне нравится то, что я делаю. А у вас просто стадный инстинкт. Знаешь, как овцы — одна испугалась, и все заметались...

Вера поднялась со скамейки.

— Не мучайся, Нина. Я все понимаю. Я подам заявление об уходе.

— Поймай! Подожди до завтра. Я посоветуюсь с шефом... по-дружески.

Вера улыбнулась.

— Как хочешь. Но в таких ситуациях дружбы обрываются... как показал опыт.

Мы молча вернулись на кафедру. Леонов уже носился по коридору в поисках Городецкой. Однако при нашем появлении не закатился в истерику, но очень пристально нас оглядел. Ну и чутье у этого проныры! Я толкнула Веру в электронку, а сама юркнула в кабинет. Леонов ворвался следом за мной.

— Что слышно? Какие новости?

Я зажмурилась, набрала воздуха и ринулась в ледяной поток... Лицо шефа не выразило ни удивления, ни гнева.

— Это можно было предвидеть,— сказал он.— Ну что ж, скатертью дорога. Но пусть сперва уходит без лишнего шума. Я все равно буду вынужден ее уволить. А так... и ей, и нам спокойнее. Впрочем, какой уж тут покой.

Я наконец обрела дар речи.

— Для меня это так неожиданно, Алексей Николаевич. По-моему, это чистое безумие.

Леонов внимательно посмотрел на меня.

— Вы думаете? А сами-то не собираетесь? — И не дав мне опомниться, добавил: — Попросите сюда Городецкую.

Весь этот час я сидела во дворе на скамейке, тупо глядя на снующий взад-вперед университетский люд. За осыпавшимся тополем зиял проем распахнутой кафедры, косо перечеркнутый шваброй. Вот через нее перешагнул Эдик, встал на цыпочки, раскинул руки и сделал попытку взлететь. Промелькнула тощая спина Алешки Бондарчука в обнимку с ундинообразной девицей... Проществовали Рива и Сузи, неся на вытянутых руках пирожки с повидлом.

— Господи, Боже мой! Если бы отец был жив, что бы он сказал о тебе...

Наконец на пороге показалась Городецкая. Я поднялась ей навстречу, но она помахала рукой и, не останавливаясь, не оглядываясь даже, направилась в сторону ректората.

Больше я ее не видела.

На следующее утро профессор Леонов позвонил мне и попросил приехать к нему домой. Он был в пижамных брюках и клетчатой рубашке. И выглядел совсем до-

машним, совсем непохожим на себя. Небритое лицо казалось осунувшимся и постаревшим.

— Я хочу откровенно разъяснить вам ситуацию, Нина Яковлевна,— сказал он. — Благодаря усилиям ваших друзей я нахожусь в довольно сложном положении сейчас, многие назвали бы его критическим... Выгнать бы их обоих вовремя, а я вел себя, как мягкосердечный дурак, теперь пожинаю плоды...

Шеф усмехнулся, и я вдруг подумала: «Ты вел себя, как порядочный человек,— так не жалея хотя бы об этом».

— Я наверняка схлопочу строгий выговор по партийной линии. Белоусов и Городецкая — это, знаете ли, слишком для одной кафедры.

Шеф замолчал, достал из баночки какую-то пилюлю и проглотил не запивая.

— Но я позвал вас не затем, чтобы жаловаться. Самое главное теперь — ваша защита, Нина (это «Нина» без отчества прозвучало почти интимно). Для нормальной работы кафедры, для ее репутации, а может, и для ее существования очень важно, чтобы вы успешно защитились. Но сегодня,— и я хочу, чтобы вы это четко себе представляли,— я не гарантирую вам стопроцентного успеха. Я вообще ничего и никому не гарантирую. Давненько коллеги ждали, когда я пошатнусь... ну и дождались. Короче, ученый совет может прокатить вас за милую душу, понимаете?

— Понимаю,— пробормотала я. Страх расплзался по телу, как нефтяное пятно по лазурной глади.

Леонов вышел на кухню и принес вазу с яблоками и сливами.

— Вы должны защититься блестяще... иначе... ну, сами понимаете, от нас камня на камне не останется. Так что, если боитесь, скажите сейчас. Защиту можно отложить. Заболеть, что ли... или попросить заболеть оппонентов. Это я могу взять на себя. Переждем до весны, пока ситуация прояснится... в лучшую для вас сторону.

В спальне зазвонил телефон. Леонов вышел и прикрыл за собой дверь.

«Боюсь ли я? И чего я боюсь больше? Если шефа все же скинут, мне с его именем на титульном листе о защите нечего и думать. Короче — «промедление смерти подобно». А сейчас я могу проскочить. Я должна проскочить».

Леонов вернулся с ключом от настенных часов и долго их заводил.

— Алексей Николаевич, я все обдумала. Я не буду откладывать. Я буду защищаться сейчас.

— Значит, ва-банк? Грудью на танк?.. — Леонов хотел было легко пошутить, но шутка не получилась. — Спасибо, — сказал он, — и постарайтесь быть в форме.

Городецкие получили разрешение невероятно быстро, и день их отъезда, 28 октября, совпал с моей защитой.

Накануне я сидела в леоновском кабинете, просматривая замечания оппонентов. В дверь постучали Оля и Эдик.

— Нинка, у Городецких сегодня проводы. Мы достали им электрический самовар. Едешь с нами?

Я виновато развела руками.

— Господь с вами. Завтра защита!

— Как знаешь... — переглянулись они и исчезли.

...Защита в двенадцать часов, а Городецкие улетают в десять. С пяти утра я брожу по квартире, голова разламывается... Наглоталась элениума еще с вечера, а сна ни в одном глазу.

Что делает сейчас Вера? В полдень, когда начнется защита, Городецкие будут в Вене... Господи, как холодно! Меня знобит.

Я накидываю на плечи пальто и включаю магнитофон. Записала вчера свою речь на пленку, да не успела прослушать. Раздается чужой, ломкий и неприятный, голос. «...Отечественные работы в области структуры слабых почв далеко опережают аналогичные исследования за рубежом. Такие ученые, как...» Я с отвращением смахиваю магнитофон со стола. Пленка сорвалась, шипит, сворачивается в змеинный клубок.

Вот они выходят из самолета в Вене. Чужой аэропорт, чужая страна. Господи! Я прижимаюсь головой к окошку. За окном серый ленинградский рассвет, моросит дождь, деревья уже почти голые, желтые листья прилипли к мокрому тротуару.

Из спальни выходит мама. Видно, ей тоже не спится.

— Нина, ты поедешь в аэропорт?

Я мотаю головой.

— И что вы все пристали ко мне? — вдруг срываюсь на крик. — Ты что, забыла, сегодня защита!

Мама не отвечает, молча скрывается в своей комнате.

Скорее бы кончился этот день. Скорее бы наступило завтра. Я достаю с полки атлас мира. Вена совсем близко...

Я мечусь по комнате в поисках свитера, натягиваю брюки и вылетаю на улицу. Мимо дома, словно ожидая меня, медленно проезжает такси.

Мы несемся по тихим, спящим улицам. Господи, удержи их! Сделай так, чтобы я их еще застала! Если я их увижу, если я их застану, все пойдет по-другому.

Машина вылетает на проспект Науки. Первые признаки жизни: хмурая толпа ждет открытия универсама, к трамвайным остановкам стекаются людские ручейки. Мы ныряем в узкий проезд между кинотеатром «Современник» и шашлычной. Вот и улица Верности, вот и Верин дом.

...Квартира Городецких открыта. На полу валяются веревки, газеты, детские книжки. В кухне — горы грязной посуды. Два разбитых горшка с кактусами, на стене — Илюшин милитаристский рисунок: синий танк преследует взлетающий самолет. В мастерской банки с высохшей краской, и всюду, на месте Левиных картин, — невыцветшие квадраты на обоях.

Я обхожу квартиру, держась за стены, как слепая. Трогаю пустые стеллажи, продавленный диван, поправляю на лампе съехавший абажур.

Вот и все.

Из квартиры выхожу на цыпочках, как после похорон. Тихо затворяю за собой дверь и пешком спускаюсь с девятого этажа.

Город ожил, кругом спуют, спешат люди. Дождь кончился, небо посветлело и прямо надо мной перечеркнуто белым, уже расплывающимся следом реактивного самолета. Я бреду по широкой улице Верности. Потом сворачиваю на еще более безликий и широкий проспект, потом еще... Я никогда здесь раньше не бывала. Неужели это Ленинград?

Я сажусь на скамейку около автобусной остановки. Рядом очкастый студент изучает «Историю КПСС». Автобуса нет и, наверное, никогда не будет. Студент отрывается от книжки и пристально смотрит на меня.

— Простите, вам плохо?

— Да нет, просто заблудилась. Не знаете, где стоянка такси?

— Направо за углом, рядом.

На стоянке единственный зеленый огонек. Я сажусь

рядом с шофером. Машина почему-то не трогается с места.

— Ну что, так и будем стоять? — слышу голос. — В который раз спрашиваю, куда едем?

— Извините, Мойка, 82. Я задержусь там ненадолго, а потом... в Университет, в главное здание, Двенадцать Коллегий.

Штерн Л. Под знаком четырех. Эрмитаж, 1984.

ГОРОД ТАМАЗ

Виктория ПЛАТОВА

ОБИТАТЕЛИ РАССКАЗ

В одном из сараев живет Эда со своим мужем Тамазом и детьми: двухгодовалым Сашкой и трехгодовалой Ленкой, а также нажитой еще до замужества тринадцатилетней Верой. Верка за детьми и смотрит. Дети то и дело лежат в больнице с желудком и в сад не ходят, а Эда злится на врачей и уверяет всех, что у них от рождения желудок жидкий, никаких болезней нет. Тринадцатилетняя Верка ругает сестру и брата матерными словами и глядит за ними с неохотой — все больше норовит взбить свои немывые патлы, а то неумело вымажет рот огрызком помады и сиганет на вокзал. Эту страсть к перрону она унаследовала от матери, которая страшно скандалит со своим мужем Тамазом.

Худой, измочаленный неудачами грузин, про которого Эда говорит: «У моего мужа мускулы, как у воробья на коленках», вывез из Грузии огромный нос, огромную кепку да плаксивые воспоминания о том, как он поссорился с папой, богатым деревенским плантатором. Папа за какую-то провинность изгнал сына-недотепу из своих владений и с тех пор, никогда, видно, не пожалел об этом. Тамаз делал в России тяжелую черную работу, мыкался-мыкался, черт знает как, прибился к Эде и опять мыкается. Эда была когда-то красивая баба. Цыганистая, худющая, остроплечая, она была красива непонятной простому глазу красотой, но время и дети ис-

сушили ее, а главное, неумный ее темперамент. Она хотела радостей жизни и не понимала, где их еще взять, как не в вине и не в любви. Поссорившись с Тамазом крикливо и матерно, она мстит ему и уходит на перрон. Тамаз выскакивает следом и сквозь стиснутые от душевной боли зубы кричит: «Зарэжу!», но она его не боится, уходит на перрон и там цепляет первого встречного неразборчивого мужика. Тому и дела нет до того, что передние зубы у Эды сгнили, на шее сухожилия обтянуты пустой кожей, и вся она похожа на заезженную, худую цыганскую лошадь, а вовсе не на ту Эду, что радовалась жизни лет двадцать назад. Мужчины, что идут с ней куда-нибудь тут же неподалеку в сумеречные поля, хотят вовсе не любить ее, а только употребить для собственного облегчения.

Тамаз знает про это, но не бросается следом, а бабьи плачет, изредка нелепо всхлипывая свое: «Зарэжу!» Его презирают и дочка Эды, и даже собственные малолетние Ленка с Сашкой. Только Нинка, родная сестра Эды, живущая в соседнем сарайчике, иногда жалеет его и приносит пол-литра, чтобы вместе распить. Тамаз скоро пьянеет и засыпает, как заплакавший ребенок, а поутру просыпается, чувствует рядом с собой теплый Эдин бок и никакой обиды на нее не помнит...

А Нинка, как выпьет, тоже часто плачет, потому что у нее своя жалкая судьба. Рыжая, с глупым беззлобным лицом, она ничем не похожа на свою сестру. Эда часто говорит, что Нинку, младшую, их мать прижила все на том же перроне. Но кто был отцом ее и брата — тоже не знает. Нинка работает официанткой в военном санатории, и там подластился к ней престарелый майор, маленький, плешивый и толстый. Она родила от него сына Витьку, но майор женат, да и не думал он, что Нинка — подавальщица-раздавальщица — ему пара. Он просто баловался. Однако со временем привык к ней, к ее доброте и необидчивости, и все ходит и ходит. Специально из Ленинграда ездит. Приедет, бывало, пол-литра привезет, «Кара-кума» двести граммов сынишке или там еще чего — но только из продовольствия. Промтоваров — чулок Нинке, духов или игрушек сыну — не покупает. Боится, что жена его с покупкой застукает и все поймет. Вообще он часто жалуется Нинке, что жена все деньги отбирает, а то бы он помогал ей — как только выпьет, так на словах и раздобрится. Нинка живет с ним потому, что ничего лучшего для се-

бя вокруг не видит, и ей льстит, что к ним во двор ходит солидный военный. Из всей любви ей больше всего нравится тот момент, когда майор при всей форме и с пакетиками в руках открывает калитку и идет прямо к ее сарайчику — и все вокруг это видят. В остальном она мало что понимает, но иногда задумывается и сильно удивляется. Удивляют ее всякие причуды любовного дела. Так, например, с ней недолго жил один — тоже офицер и тоже пожилой — так он требовал, чтобы она была голая, а на голове у нее была бы официантская ее наколочка, а на животе маленький фартучек. Он ходил к ней пару раз, пока отдыхал в санатории, майор ведь не так часто приезжает, а когда приехал, Нинка решила, может, и ему понравится, если она нацепит наколку и фартучек, но ему не понравилось — он почему-то сразу догадался об измене, надавал ей по морде и много раз обозвал дурой и еще хуже. Нинка плакала и удивлялась. Вообще ей часто достается, и она часто плачет. Майор бьет ее за измены. А предает ее обычно Эда. И всегда очень хитроумно, каким-нибудь намеком. Встретит майора на пути к Нинкиному сарайчику, прищурится и ахнет: «Ой, господи, я вас не признала, думала опять лейтенант пришел...» Или вопрется к Нинке и что-нибудь такое ввернет: «Да, чтой-то вы, Нинка, все водку пьете? А вот полковник-то, помнишь, такое вкусное вино приносил и мне еще дал попробовать...» Майор ее за это ненавидит — он бы не хотел знать про Нинкины измены, но они его сильно обижают, он бьет Нинку, грозитя порвать с ней, слово дает. С тем и уезжает. Нинка ревет ему вслѣд белугой, а тут обязательно подвернется Эдка и поддразнит: «Ну чего, дура, опять по мужику ревешь?» Нинка шмыг носом и огрызается: «Чего мне реветь, и не реву вовсе, это ты за своим реви...» — «А морда-то вся распухшая, — не унимается Эдка, — тьфу, смотреть противно!» Нинка не выдержит, взвизгнет и вцепится в лохматую Эдкину голову. Крик, визг, клочья то рыжие, то черные так и летят! Дети плачут, тянут мамок за юбки. Но растащить и мужику не под силу. И все из-за того, что Нинка не может стерпеть Эдкиного ехидства — больше в ней доброты. Она и за Витькой лучше смотрит: он у нее как-никак помоев не жрет. А Сашка с голодухи придет на кухню к жильцам, покрутится между ног да кружечкой своей игрушечной из помойного ведра и зачерпнет — пьет и причмокивает. Тут жиличка, вдова скрипача, вся из себя выходит:

«Это как же у ребенка жидкому стулу не быть? Ах, Боже мой!» Эда поддаст Сашке, заругается на него, но это она перед жиличкой только, самой ей наплевать, чем ее дети сыты. Заодно она и жиличку подденет: «Как ваш муженек,—безобидно так спросит,—себя чувствует?»—это про старика, бывшего завмага, которого вдова с собой возит. Та тут же всплеснется вся: «Вы что?! Какой он мне муженек?! Не смейте оскорблять память моего мужа! Мой муж был человеком особого склада!» Вот Эдке смеху: старуха, развалина, а выходит, бывший завмаг ей любовник—а кто ж еще, если не муж?! А уж любовник тоже хорош! Трясется весь, еле ноги таскает. Но целые дни шаркает от магазина к магазину—это у него прямо страсть: что там дают узнавать и первому встречному докладывать: «В гастрономе цыплят по рубль семьдесят выбросили...» или: «В железнодорожном дают колбасу...»—он, как бы хочет бескорыстно полезным быть, но это не так: он скажет и не уходит, а стоит и смотрит—ждет, чтобы с ним заговорили. Если заговорят, он тут же всю свою жизнь расскажет: как он во время войны в Челябинске самым большим продуктовым магазином заведовал.

— Вы знаете,—говорит он,—был только один человек, которому я подчинялся,—это был директор эвакуированного Кировского завода еврей Зальцман. А он подчинялся только Сталину! И он, этот Зальцман, был человек неограниченной власти! Однажды он вызывает меня и говорит: «Ефим, почему у моих рабочих нет сахара?» А я говорю: «Бог мой, это ж война! У других и хлеба нет, а у меня люди получают...»—«Нет, Ефим, мои люди делают танки—у них должен быть чай с сахаром! Или пеняй на себя...»

Ладно. Я взял два чемодана—один маленький со своими вещичками, а другой большой—с мануфактурой: драп, шивьет, каверкот—сел на поезд и поехал прямо на сахарный завод. А там у директора уже сидят трое, и все с бумагами. У меня никаких бумаг. Директор говорит: у меня на всех нет, я не могу Москву удовлетворить. Я вижу, это не разговор. А он все время смотрит на мой чемодан. Я молчу. Тогда он кое-как заканчивает с товарищами, а меня спрашивает: «Вы где остановились?» Я говорю: «Пока нигде». Хорошо, через полчаса мы были у него дома. Кроме отрезков, у меня еще кое-что было: ну, коньячок, ну, икорка... А вы знаете женщин? Что стало с его женой, когда я открыл

чемодан: крепсатенчик-крепдешинчик, Боже мой?! Одним словом, чтоб вас не задерживать: пятьсот тонн сахара я получил, и Зальцман меня благодарил. Да; это была война... Что вы говорите? А? Да, у меня была броня. Всю войну. Причем, когда война началась, все мои были в Кишиневе, и немцы их всех расстреляли. Тогда я хотел пойти и отомстить. Я подал заявление, а тут все стало разворачиваться, и в гастрономе тоже. И тут меня как раз вызывают в военкомат. Я положил в портфель колбаски, хорошей рыбки — так, на всякий случай, и пошел. Уже прохожу комиссию, вдруг открывается дверь и входит полковник — фамилия его была Сашко — я как сейчас помню: «Ты что здесь делаешь? Хочешь, чтоб мне Зальцман за тебя голову оторвал? Давай кончай и заходи ко мне».

Ну, я зашел, мы с ним хорошо посидели, и я пошел домой. Вот так получилось несправедливо...

Что-то перепуталось в мозгу старика, и ему действительно кажется, что с ним приключилась какая-то несправедливость и кто-то в ней виноват: он ждет сочувствия и понимания...

Серафиму, вдову скрипача, он узнал еще в Челябинске, куда она была эвакуирована с мужем. Тогда она была не то, что теперь: волосы — это были волосы, а не перекрашенные патлы; фигура — это была фигура, а не то, что теперь — теперь это ваза горлышком вниз: ноги тонкие, зада нет, зато живот и толстая круглая спина. А когда-то в этой вазе стояли цветы! А сколько он подарил ей бриллиантов? Теперь даже не узнаешь, где они. Но что ему было делать? Когда кончилась война и Симочка с мужем вернулись в Ленинград, он поехал за ней — у него никого не было в целом свете, только она. В крупные фигуры в ленинградском торговом мире он не вышел — другие времена пошли, — но кое-что у него еще водилось, и Симочка была ему рада. А теперь возит его с собой на дачу только потому, что на двоих получается дешевле комната, — теперь они деньги считают врозь. Теперь, когда у него только и осталось что пенсия. И она каждый раз устраивает скандал из-за сдачи: «Я тебе дала рубль: масло — тридцать шесть копеек, сыр сто грамм — тридцать копеек, батон — тринадцать — это семьдесят девять копеек, а где еще двадцать одна?» А он не знает, ему кажется, что он отдал — у него их нет. Стыдно перед соседями, у него делается от этого сердечный приступ. А она кричит: «Ты бы еще

больше крал! Если бы я съела столько оладий, у меня тоже сделался бы сердечный приступ!» Черта с два, она здоровая, как лошадь.

И даже Эда удивляется, зачем эти старые люди живут вместе, если они и чайку вечером не могут попить ладом. Серафима по-старушечьи копит всякую ерунду: пакетики из-под молока, коробочки от плавленых сырков, баночки и бутылочки от лекарств. «Ты когда-нибудь выбросишь это дерьмо? — спрашивает он ее. — Или ты повезешь его с собой в Ленинград?» И она немедленно бойко откликается: «Если я такое дерьмо, как ты, повезу с собой в Ленинград, так уж это наверное...» — И начинается длинная перебранка на весь вечер, хорошо слышная мне через тонкую фанерную стену.

Я живу в Нинкиной комнате и, по правде сказать, если б моя жизнь так же, как жизнь других обитателей этого дома, была на виду, они так же не поняли бы ее смысла, как я силюсь и не понимаю смысла их бедных жизней; а если бы вдруг поняли — вот уж посмеялись бы надо мной вдоволь, а может быть, ужаснулись бы и пожалели меня не меньше, чем я их. С трудом превозмогая себя, я невнимательно, зато с чувством постоянной вины, слежу за ростом моей дочери, позволяя ей болтаться во дворе с сопливыми и желудочными Сашкой и Ленкой, только чтобы высвободить время и склониться над стопкой бумаги. Я пишу, выколупывая из сердца слова, как из плохо расколотого грецкого ореха выколупывают полезные и вкусные кусочки мякоти — с трудом и наслаждением. Но сколько бы я ни писала, рассказы мои никому не нужны — редакции их не берут, и ничего, кроме муки, они мне не приносят, заражая меня тоской и болью моих героев, — но мука эта нестерпима только потом, когда рассказ уже закончен, когда отхлынет волна горячей радости труда. А в преддверии нового рассказа я сильно напоминаю себе алкоголика — от того, наверное, мне так легко понять входящего к нам на кухню по вечерам Игорька. Правда, ему хуже, чем алкоголику, он чифирщик, хотя и от водки не откажется, но его организм никогда не знает ни пресыщения, ни покоя. Чифиря, чем больше пьешь, тем больше нужно. Он дергается, корчит рожи, обнажая при этом желтые распухшие десны с торчащими огрызками зубов. Один глаз у него беспрестанно подмигивает, а другой по-бешеному круглится. Чифирь он себе варит сам в пол-литровой алюминиевой кружке, в которую

ссыпает полторы-две пачки чая, и долго кипятит на газе. Но иногда он доходит до того, что руки прыгают и кружку до газа не донести, — тогда он зовет меня, садится прямо у порога на пол и ждет. Едва пригубив из кружки, начинает хмыкать, хихикать по-дурацки, шумно глотать слюну, и над расхлобыстанным воротником грязной навывпуск рубахи начинает туда-сюда ходить его острый голодный кадык. Кожа на лице у него не красная, как у алкоголиков, а желтая, испитая, и весь он, как начифирится, становится крученный-верченный. Ни Эдка, ни Нинка брату никогда в пачке чая не отказывают, даже специально припасают, и причин для того не одна. Во-первых, бесполезно да и опасно отказывать, а во-вторых, обе они люто ненавидят его жену Валюшу и накачивают его ей назло. Есть еще и третья причина, но она потайная, совсем бессознательная и связана с последствиями. А эти сами по себе, и тут все дело заключается в том, что и Эда, и Нинка еще больше, чем ненавидят, боятся Валюшу, и единственно, в чем решаются проявить свое отношенье к ней, так это в том, что всегда потрафляют брату. Она с ним не живет, хотя зимой он перебирается из своего сарайчика в комнату — она по этому поводу без конца пишет заявления и ходит по инстанциям, но ей отдельной жилплощади не предоставляют, — летом же она на порог его не пускает. И, надо сказать, он не лезет, хотя вряд ли боится ее по той же причине, что сестры. А те уверены, что она наводит порчу. Для меня же Валюша — отрада души и глаз. Маленькая, складная необыкновенно: тонкая в талии, ножки точеные, с лицом сказочной русской прелести — рассыпчатые русые волосы — как не прихватит их сзади в узел, а на темени полукруглым гребнем, все выбьется легкая, как дымок, прядка; над большими серыми, словно только что умытыми глазами правильные — не гуще, не тоньше, не темней, не светлей, чем надо, русые брови, и чудной уточкой всегда блестящий от чистоты носик — только губы узковаты, но зато как улыбнется — все лицо озарят некрупные, все на подбор, зубки — и всегда от нее так и веет нестерпимой чистотой — до сияния, до прозрачности... И угораздило же ее выйти за Игорька! Эта печальная история всем известна до малейших подробностей: Валюша полюбила Игорька по письмам, когда он служил в армии. Он служил на Колыме, в охране, там и пристрастился к цифирю, но в письмах сказывался пограничником, так и

подписывался: «Солдат Игорь Кравчук, охраняющий на границе ваш спокойный девичий сон», — он сам придумал эту фразу и очень гордился ею. И фото свое он послал ей еще допризывное, с которого спокойно смотрел, на косой пробор причесанный, не улыбающимся строгим лицом.

А она была детдомовская, общежитская. Она говорит: «Знаете, много было парней, да все как? Ходят, душу мотают, а до церкви до венца — дорога без конца... А он замуж позвал». Она приехала, когда он демобилизовался, увидела, конечно, не слепая, за кого идет, но как бы поворачивать было некуда: уж больно своей неземной любовью нахвастала подругам, да и забеременела раньше, чем последние иллюзии потеряла. Но как родила сына, так спохватилась — не только что с Игорьком уже не жила, но стала от него всячески прятать сына — вернее, не хотела, чтоб сын своего такого отца знал и при его безобразиях рос: то в круглосуточные ясли отдавала и сама там нянечкой устраивалась, потом в садик круглосуточный — опять уборщицей нанялась, а уж потом добилась, чтоб его в интернат взяли, — тут она пообивала порогов, да во все инстанции обратилась. А надо сказать, инстанций у нее три — к каждой из них она обращалась с одинаковой надеждой на помощь: писала в райком, шла в церковь к попу и бежала, зажав в кулаке скопленные деньжата, встречать электричку, которой прибывала с городского промысла цыганка Маша — «Манюня моя» называет ее Валюша. Так вот, кто ей помог, трудно сказать, но неожиданно-негаданно в сыне ее обнаружился талант, и его, широкогрудого, крепкого паренька, взяли в школу-интернат при Консерватории, в класс духовых инструментов. Тут уж она не понадеялась ни на одну из инстанций, только на самую себя и переспала с директором этого интерната прямо в кабинете на столе — только чтоб ее Володичку-сынка часом не выперли. С тех пор всякий разговор о себе она начинает прямо с этого: «Уж я такая блядь, такая бесстыжая, на все способная...» А меж тем она к мужчинам никакого расположения не имеет. Помахивая неожиданно крупной, красной, растрескавшейся от щелочей ладонью вдоль всего своего складненького туловища, она говорит: «Ну, знаете, елозят тут, елозят чего-то, аж надоест. Не понимаю я этого...» Но все ее неприятности начались именно из-за ее привлекательности. С тех пор как сынок оказался прочно при-

строен, она домой его уже не забирала, но, чтобы ездить к нему почаще, стала работать на местном заводе в охране: сутки отработает — двое дома. В эти ходит убирать парикмахерскую и клуб, но все равно остается время к Володичке съездить. А денег ей много надо, потому что не хочет, чтобы сынок хуже других был: и джинсы ему покупает с рук, и сапоги импортные на меху, и куртку японскую, а главное, копит ему на валторну. Словом, наломается — и опять на дежурство. А ночью на проходной, когда спецтранспорта нет, можно бы и вздремнуть часок, но стал ее как раз в минуту затишья донимать начальник смены — приставал к ней. Она ему говорит: «Что ж, если я одна парня рошу, значит, у меня коленки не всегда вместе? Нет, ошибаешься!» — И шуганула его. Он обозлился и написал на нее докладную, что она спит на посту. Ее премии лишили. Вот тогда она и сказала ему: «Ты мне так сделал, а я тебе так сделаю, что тебя с завода вперед ногами понесут!» И сбегала на свидание со своей Манюней — не пожалела денег, — но уж как могла Манюня сотворить такое, чтобы буква от лозунга с крыши завода упала как раз Валюшину недругу на голову, — это, конечно, неизвестно, и самой Валюше очень странно. Однако смена начальства полного благополучия ей не принесла. Для начала она написала в партком, чтобы ей доплатили премию, потому что она хоть и такая-сякая, но это она ради сына могла пойти на все, а покарал же Бог ее начальника — значит, он поступил с ней несправедливо, написав докладную только потому, что... А в парткоме одни мужики — они вместо того, чтобы вникнуть, подняли ее на смех. От обиды она возьми и скажи одному: «Вот я ему сделала, подожди, и тебе будет!» И ни до какой Манюни дойти не успела, даже не собиралась на этот раз — и так кругом внакладе оказалась, — а у того через пару дней возьми и случись инфаркт. Тут на нее все буквально стали косо поглядывать, и, первым делом, ее стали сильно не любить женщины, стали сторониться ее и всякие гадости ей подстраивать. А Володичкиному классу как раз на день ее дежурства назначили отчетный концерт — ей просто необходимо было сменами поменяться: она стала одну просить, и ничего в этом не было прежде затруднительного, менялись сменами, если нужно, а тут ни в какую — не хочет баба на встречу пойти, так и говорит: «Могу — не могу, не твоя печаль, не хочу, и все. Кончен разговор». Валюша ей на

это и брякнула: «А пропади ты пропадом! Чтоб у тебя дача сгорела!» У той в тот же день дача и сгорела. Вот тут уж терпение у людей лопнуло. Потребовали открытого партийного собрания, стали ее обсуждать. Пришла Валюша на собрание, слушает, удивляется: «Как же вы так можете? — говорит. — Вы же тут все люди партийные, как же вы можете в такое верить? Вам же это не положено!» А ей говорят: да, нам не положено, но и тебе, ведьма, на охране стоять не положено... И постановили дело ее передать в районный психдиспансер. Врач пришел ее на дому проверять и первым делом спросил: «Вы порчу наводите?» Валюше даже жаль его стало: такой молоденький врач, должно быть, еще любознательный. Она ему тогда так ответила: «Вот вы кончили институт, работаете, вас тому-сему учили — зачем вам знать больше того, чему вас учили? Будете знать больше — все бросите и диплом свой на стол положите, без куска хлеба останетесь...» Но особенно дома она с ним разговаривать не хотела: «Пойдемте, — говорит, — я вас до вашего заведения провожу, дорогой поговорим». Вышли они, идут, она ему все про свою жизнь рассказывает и про то, конечно, как она сына своего ради с директором интерната переспала, и про то, как живет-мучается; на себя никогда копейки не потратит, до получки рубля нигде не займет, а другой раз прямо взмоется: «Господи, да пошли ты мне хоть трешницу!» — сказала, прошла шагов пять, нагнулась — и свернутую рулончиком трешку с земли подняла. Молоденький врач аж ахнул: «Что же это вы три рубля просили? Уж просили бы пятьдесят!» Она посмотрела на него чистыми своими умытыми глазами и говорит: «Ну как же вы так можете? Ведь это, чтоб я нашла — кто-то потерять должен. Три-то рубля — что ж? Это поделился со мной кто-то, у кого, может, они даже лишние, а пятьдесят человеку обидно было бы, может, он и сам до получки не дожил бы. Разве можно пятьдесят просить?» Не иначе как за эту отповедь в благодарность врач и отписал на завод: практически здорова, работать может, но с ограничением. Значит, на вахте при оружии ей не стоять. По-ихнему вышло. Стала она и на заводе уборщицей работать. Но, главное, по всему поселку слух пополз. Боятся ее, конечно, не все, но большей частью сторонятся и не любят. А жизнь ее протекает в непрерывной грязи и в непрерывной борьбе с этой грязью. С одной стороны, бабы, такие же уборщицы, как она,

запрут ее в подсобке и говорят: «Ты чего порошок, мыла да прочего домой не берешь? Лучше нас хочешь быть? Начальницу удивляешь? чего это ей хватает, а вам все мало?! Смотри: не будешь брать — прильем!» С другой стороны, они с начальницей водку пьют, ей ставят, а Валюша и сама не пьет, и на бутылку никогда не разорится — вот начальница ее и не любит, справку на совместительство не дает. И снова Валюша не знает, к кому ей вперед за помощью обратиться: то ли к попу бежать, исповедоваться, грехи замаливать, то ли к Манине, то ли в партком. На всякий случай обегает всех. А в парткоме удивляются: «Опять склоку затеваешь? Объяснись ты со своей начальницей!» — «Да как же я с ней объяснюсь? — недоумевает Валюша. — У нее ж здесь три слоя жира, — показывает она красной растрескавшейся от воды и щелочей рукой от подмышки до тонюсенькой талии. — Разве она может меня понять, если у нее тут жир, а у меня его нет?!» Справку ей все-таки дали, и она бегаёт бегом с работы на работу, копит Володичке на валторну, мотается к нему — мало у нее времени на то, чтобы вступать в лишние и ненужные ей отношения с обитателями этого дома, пусть себе боятся ее, ей так даже удобнее...

А Эдка другой раз говорит: «И чего тягается? Сыночек-то подрастет — в нем папаша сейчас и скажется, покажет он ей кузькину мать — от тогда моя жопа-то посмеется...» — Она говорит неопрятными, злыми словами, ими прикрывая свою зависть к тому светлому, что все-таки есть в Валюшиной жизни...

Ну а третья причина, по которой никто в доме не отказывает Игорьку в пачке чая, та самая — потайная, с последствиями: стоит Игорьку накачаться до одури, и начинается представление, которое дает полную разрядку всем обитателям дома, всей их застойной жизни. И все — и зрители, и соучастники на какой-то момент принимают активное участие в действии, чувствуют свою, пусть фальшивую, ненужную, но все-таки нужность. С оглушительной, даже сестер поражающей, бранью, размахивая руками, ударяя себя в грудь, раздирая рубаху, выбегает Игорек во двор, где за сараями всегда стоит грузовик, на бортах которого белыми буквами написано: «Огнеопасно», лезет в кабину — и с этого момента начинается всеобщее действие. Женщины истошно кричат, визжат дети, мотаются по двору, матери гоняются за ними, ловят за рубашки, за волосы, хватают

за руки, пытаюсь удержать подле себя, но ребяшня — и моя дочь в том числе, — чувствуя возбуждение взрослых, то и дело вывертывается и снова выныривает и кружит с визгом в пяти секундах от смертельной опасности. Мужчины, какие есть дома, вплоть до Нинкиного майора, бросаются к машине, пытаюсь выволочь обезумевшего Игорька, но он отбивается, дико крича: «Задавлю!» — и чаще всего умудряется дать газ и рвануть через двор, вопя: «Задавлю, гады!» При этом и в самом деле норочит наехать и задавить. Хорошо, если он попадает в ворота, но чаще всего сшибает забор где-нибудь посередине и дает ходу — тут уж без помощи соседей не обходится. В соседнем доме у двоих парней есть мотоциклы. Они живо откликаются на наши крики, стремглав влетают в седла, вырываются вперед газовоза, крича-проходим: «Раз-бегайсь! Пьяный за рулем! А ну с дороги, мать вашу, раздавит! Берегись!» — и так до тех пор, пока с опозданием, не слишком спеша, прибывает ГАИ. Обычно к тому времени, когда бешеная игра уже стихает в Игорьке сама собой и он, склонившись на баранку, то ли засыпает, то ли впадает в беспамятство. Черт его знает, почему, но никто не помнит случая, чтобы после этого у него отобрали права или чтобы его прогнали с работы. Штрафовали, высчитывали из зарплаты, даже на стенд «Они мешают нам жить» вешали, но права не отбирали и с работы не гнали. Должно быть, из-за того, что он соглашался держать газовоз, на котором развозит балоны по домам, у себя за сарайчиком, а в конторе гаража нет.

Произведенного эффекта, впечатлений, возбужденных воспоминаний кто как себя вел во время происшествия, куда бежал, что предпринимал, что при этом испытывал, хватает на несколько дней, да и сам Игорек на некоторое время стихает — чифирится, но не бузит. Однако наступившее затишье скоро начинает томить душу, и снова скапливается в воздухе первое ожидание чего-то...

И снова все разряжается женскими криками, воплями, этим бешеным: «Задавлю! Разбегайсь! Задавлю, гады!»

Насилу поймав дочь и закрыв ее в комнате, я стою у пролома в заборе, смотрю вслед одуревшему газовозу с надписью «Огнеопасно» на бортах, и вдруг странное чувство охватывает меня: мне кажется, жизнь моя замкнулась каким-то заколдованным порочным кругом;

кажется, если я перееду из этого дома, то попаду под такую же ветхую крышу и с жизнью столкнусь такой же бедной и неустроенной; обойденная признанием и успехом, лишенная голоса, я обречена видеть вокруг себя только ущербное, безысходно убогое...

И хочется мне, подобно Игорьку, рвануться вперед с яростным криком: «Задавлю, гады!» — и что-то снести со своего пути, неясное, лишенное очертаний...

Но я стою у провала в заборе, смотрю вслед Игорьку и думаю: а кто знает, может быть, мне повезло — я жила здесь, в этом доме, и сумела рассказать о его несчастливых и тоскующих обитателях...

Публикуется впервые.

ГОРОД

Марк ЗАЙЧИК

КРАНОВЩИЦА ГЛАДБАХ РАССКАЗ

Елизавета Ароновна Гладбах уезжала с большим трудом. 28 лет она проработала на Кировском заводе крановщицей в секретном оборонном цеху на сборке иностранных зеленых существ, изящно двигавшихся прямо на защиту Родины.

Муж ее Фима, земляк ее и одноклассник по Умани, работал на том же Кировском заводе, но в другом цеху, лекальщиком. У них была дочь Фира. Фима носил круглые железные очки, которые ему очень не шли, и белые широкие брюки из брезента. Все больше он молчал, смотрел на всех удивленно, «как не родной». Он не ругался матом, не пил, не выступал на собраниях, не участвовал в общественной жизни. Голова его всегда была покрыта. Он был вежлив и доброжелателен. Елизавета Ароновна его очень любила.

Как-то в воскресенье к ним постучалась соседка и удивленно сказала:

— Вы что сидите-то, голуби, или не знаете?

— Не знаем,— сказала Елизавета Ароновна. Радиоточка у них была выключена.

— Немец напал, радио сказало. Ворошилов выступал или, может, Молотов.

— Не может быть, у нас же с ним пакт,— не поверила Елизавета Ароновна.

Фима сидел бледный за столом, отбрасывая причуд-

ливую бледную тень на синеватую от крахмала, вышитую домами скатерть. Гладбахи собирались обедать.

— Выходит, пак этот за так,— пошутила соседка Нюра, которой довелось потом пережить своих дочек. Папироса в углу ее неясного рта дымила весело и смрадно.

Назавтра Фима, с трудом выбравшись из цепких рук Елизаветы Ароновны и Фиры, добрался, задыхаясь, до призывного пункта в конструктивном здании райсовета на другой стороне обжитого рабочими проспекта и записался в народное ополчение учиться стрелять и затем, обученным, защищать отечество в опасности.

Через две недели ровно, в понедельник, пришел в 33-ю квартиру, точно под 35-й, в которой жили и Гладбахи тоже, обожженный, добрый сосед Боря Писарев, ушедший вместе с Фимой. Вот что он рассказал, потупясь и чуть заикаясь:

— Под Кингисеппом, Лиза, вот... убило его, в общем, насмерть осколком от бомбы. В живот попало... умер легко и быстро.

— Когда? — спросила Елизавета Ароновна очень тихо.

— Да вчера,— ответил Боря.

— Ты был с ним?

— Какое, даже не видел, ребята сказали,— твердо и уверенно соврал Боря.

— Похоронили?

— В братской могиле,— еще раз соврал Боря. Лохматая его голова, в несвежих бинтах, с проступившей кое-где кровью, судорожно болела.

Вот и все, что случилось с Фимой, с его не слишком здоровым, но чрезмерно большим, не толстым телом. Душа его, сопровождаемая ангелом, пролетела в небесах в растворенные ворота на вечную жизнь.

После этого дня Елизавета Ароновна прожила четыре года в окруженном немцами Ленинграде, работая свою работу за все сокращавшийся, разбухший от воды, грубый ломоть хлеба. И дочь Фира прожила эти годы с ней.

После войны Елизавета Ароновна продолжала жить в том же доме, в той же комнате с необыкновенным цветком, распустившимся под потолком,— вышитым украинским абажуром. Странно молчаливая для своих детских лет, Фира ходила в школу, вызывая удивление девочек и учителей своим не местным лицом.

Елизавета Ароновна спину держала прямо, работала хорошо. В маленькой кабине, у самого ажурного цехового потолка, она управляла своим краном, слушая живших в металлических стропилах голубей. Нежным движением руки она укарутано перевозила бронированные плиты и башни, и таинственный секрет этой легкости всегда заставлял Елизавету Ароновну врасплох.

Так же, как и кран, она вела дом и собственную жизнь: ровно и тихо, но не без внутреннего напряжения.

Два раза после войны приходил к ней свататься оставшийся вдовым горестный вестник Боря Писарев, но не сладилось. Елизавета Ароновна, как смогла, объяснила, и он, к счастью, понял и сердца, кажется, на нее не держал. В декабре 1952 года Елизавету Ароновну, которая ехала на вторую смену, хотели выбросить на ходу из промерзшего дребезжащего трамвая, и оказавшийся в вагоне Боря, успевший уже жениться, родить и как бы все позабыть, седой, корявый, кого-то страшно бил по лицу кулаком и таким же жутким кулаком получал обратно. Нашелся еще «жидовский защитник», работавший с нею в цеху, свистала громоздкая кондукторша в сторожевом тулупе, — в общем, Елизавету Ароновну отстояли.

Боря потерял два передних зуба, синяк под его правым глазом был неестественно белым от мороза; «защитник» потерял шапку и все пуговицы от пальто. Елизавета Ароновна от ужаса и обиды никак не могла пойти остывшими ногами в высоких ботах, какое-то время она совсем не чувствовала спины и должна была отстояться у афишной тумбы на площадке перед главной проходной. Тихонько-тихонько она пошла, и, по счастью, были уже ранние синие сумерки, и шел обильно снег, и фонари слабо светили где-то в поднебесье, и никто не вглядывался в ее лицо, и артист Александрович с афиши сладко пел итальянский романс.

Весной 54-го года Елизавета Ароновна получила письмо. Родных у нее не осталось, и она была удивлена грязным конвертом в руке дочери.

— Некто Воротницкий А. И., — сказала Фира, — из тюрьмы.

— Кто это? — всполошилась Елизавета Ароновна. — Не знаю такого.

Оказалось, одноклассник и даже ухажер, «на всем белом свете один», сидит восемь лет уже за «финансо-

вые нарушения», освобождается досрочно по болезни, просит участия.

Ну кто же у них в городе не знал Абрашу Воротницкого?

С удовольствием Елизавета Ароновна вспомнила, как он выглядел 25 лет назад: светлоглазый, стройный, с очень смуглым, очень цельным лицом военачальника эпохи маккавейских войн, он шел с товарищами по солнечной стороне улицы, внимательно кивая, солнце плоско лежало на его прямых плечах.

— Здравствуйте, Лиза,— сказал он и ласково улыбнулся.

Через два месяца Елизавета Ароновна привезла его на носилках из Богом проклятого места недалеко от города Караганды,— больного дистрофией, лысого, беззубого, весьма длинного старика.

На Московском вокзале был теплый гулкий полумрак, пахло поздней сиренью, принесенной добрыми людьми из синагоги. У Воротницкого на плоском лице островками лежали слезы.

Положили его на главную в комнате кровать, а Елизавета Ароновна стала спать в противоположном углу с дочерью вместе.

Соседка Нюра с вечно забытой папиросой в углу бескровного рта приносила раз в неделю куриный бульон в кружке — у нее были родственники в деревне.

— Как Мересьеву,— благодарно косился Воротницкий, пытаясь поймать ее свободную руку.

— Кто тебя учил этому? — удивлялась Нюра и прятала руку за спину.

— Пилипенко,— отвечал Воротницкий.

— Да ты пей, пей. Кто такой этот Пилипенко? Граф?

— Почти,— смеялся Воротницкий,— кум мой лагерный.

— Ну, шути, шути, только чтоб не плакать,— заключала Нюра.

Он, как мог, старался есть не торопясь и выглядеть прилично, но Елизавета Ароновна и Нюра все равно не могли на это смотреть, на эти трясущиеся руки, на бескровные прыгающие губы, на полубезумный неотрывный взгляд на еду. В остальном же — вежливый выздоравливающий человек, сдержанный и судорожно пытающийся понять несложную ситуацию с Елизаветой Ароновной.

Затем его надо было прописать. В принципе безнадежно, но есть же в этом мире Бог.

В пятницу утром, сопровождаемая туманными остатками белой ночи, Елизавета Ароновна (она работала в этот день в третью смену) съездила в синагогу на Лермонтовский проспект и в роскошном желто-черном кафельном вестибюле пожертвовала члену двадцатки Синайскому на нужды общины 1200 рублей, снятые за день до этого с ее счета в Кировской райсберкассе. Синайский выдал ей, несмотря на сопротивление, квитанцию с печатью и подписью председателя двадцатки некоего Васильева.

Из синагоги Елизавета Ароновна отправилась в Кировский райотдел милиции. В приемной начальника отделения подполковника Измоденова К. И. она просидела часа три, глядя на порхающие ручки секретаря Марии над пишущей машинкой, похожие на прозрачные крылья стрекозы в отражении дневного окна. Заявление о прописке было подано десять дней назад. Наконец Измоденов вышел к ней — веселый, пахнущий одеколоном и табаком, добродушный русский мужчина. Когда-то он работал с нею и с Фимой на Кировском заводе, ушел в ополчение, вернулся с войны целым, но так у него все сложилось, что он стал милиционером.

— Ну, Лиза, — сказал он, с удовольствием оглядывая ее акуратную крепкую фигуру — ровесницу Октября, — будем прописывать.

И тут Елизавета Ароновна заплакала.

Воротничкий уже мог сидеть на кровати, свеся болтающиеся огромные ноги, накрытые бурым байковым одеялом, и с наслаждением щуриться на неяркое северное светило.

— Эх, вот так бы никогда и не работал, — жмурился он, как кот.

— Как же не работать для прокорма и удовольствия? — оторвалась от выпускных учебников Фира.

— А вот, Фирочка, на солнце смотреть, думать — лучше, чем дерево рубить, — непонятно отозвался Воротничкий.

— Я говорю про нормальную человеческую жизнь, — досадливо сказала Фира.

— И я, — сказал Воротничкий ласково, — только я ее мало видел и плохо знаю.

Он отколупнул сточенное наполовину лезвие старенького перочинного ножа с костяной пестрой ручкой и

аккуратно застрогал дальше какую-то бессмысленную дощечку на расстеленную на полу газету.

С Елизаветой Ароновной Воротницкий разговаривал мало, потихоньку изумленно поглядывал на ее склоненную над вязаньем открытую шею и прекрасный византийский продолговатый профиль.

Вечерами он решал шахматные задачи из Фиминого тома в мраморной обложке под названием «Тысяча избранных этюдов» самодельными лаковыми шахматами, искусно выточенными некогда, еще в первой пятилетке, даровитым хозяином из увесистой буквой доски, привезенной из нежной Умани. Воротницкий блаженно попивал горький, специально приготовленный в пол-литровой сиреневой банке из полупачки китайского «байхового» чая напиток, шевелил толстыми широкими губами, и скульптурные складки в углах его рта расходились и как бы млели. Радио он не слушал, газет не читал. Всего ему было достаточно. Фира называла эти вертикальные морщины на его щеках, про себя, естественно, про себя, — трагические борозды судьбы.

По утрам из окна Воротницкий наблюдал дворовый парламент — бабку Иру, Марию Васильевну из 69-й, дворничиху Таню с кучей метлой, инвалида Колю, Клаву из жэка, участкового Тронкина и сочувствующего трибуна-скептика Нюру. Все всегда были оживлены, размахивали руками. Тронкин регулярно подтягивал надраенные голенища, бабка Ира азартно притопывала ногами в валенках, Коля сморкался, Нюра выступала. Воротницкий со своего пятого этажа, к тому же глуховатый, слышать не мог. А говорили про него.

— Обходительный, сказать нечего, ручки все хочет целовать, я, конечно, руки за спину, а приятно. Понимает нашего брата бабу.

Оппозиционерка Клава фырчит:

— Ты гляди, подруга, как бы он тебе ребеночка через эти руки не пристроил.

Перекрикивая смех, Нюра отвечает:

— Ум твой, Клавдия, завистный. Дура ты!

— И правда, Клавка, чего городишь-то, ведь Лизин он, — сказала бабка Ира.

— Лизин! — усмехнулся Тронкин. — Мужик десять лет живой бабы не видал, и пятерых тут мало будет.

— Это тебе, казенная душа, все мало, а на ваших харчах и жить-то нельзя, не то что бабу любить, — выкрикнула и испугалась Нюра.

— Ну-ну, Иванова, какие харчи имела в виду? — тихо спросил Тронкин. — Я не посмотрю, что ты пережившая, я тебя упеку, сорока.

— Будет тебе грозить, мало ей и так досталось, — вступилась Марья Васильевна.

— А ты не лезь, страх без батьки потеряли. — Но смягчился Тронкин, и вообще отходчивый быстро.

— А Лизка-то что? Поддается? Или уж без свадьбы живут? — настаивала бабка Ира.

— Они без свадьбы не могут, не положено, — сказал Тронкин.

— Всё теперь смешалось, кто разберет? Все одно, что они, что мы, — вещала бабка.

— Не скажи, Сергеевна, уж так разбираем, так блюдем, — сказал Коля.

— Да что вы говорите? Страсть у них, и свадьба будет по страсти, и дети... — отбивалась Нюра.

— А старики ведь уже поди? За сорок Елизавете, бес в ребро, — задумчиво осудила бабка Ира.

И все это в изумрудном томном воздухе ленинградского мая, наполненном душной влагой, шелестом шин с проспекта и гортанным перекриком воробьев из свежезеленой тополиной кроны.

Потихоньку Воротницкий начал ходить. Елизавета Ароновна отпустила манжеты у выходных Фиминных брюк из благородного бостонового материала, купила в Апраксином дворе салатовую бобочку из вискозы, легкие башмаки, и он начал похаживать по комнате, заложив руки за спину, ломая слежавшуюся брючную складку острыми коленями.

Походив несколько дней, он решил спуститься на улицу и за полчаса действительно преодолел шестьдесят три крутые ступени парадной лестницы, держась руками за неудобные перила и холодную стену, нащупывая ступени слепой ступней, обливаясь потом.

— Представительный, — решили товарки во дворе.

Сидя на дальней дворовой лавке, с удовольствием слушая сладкую боль сухожилий и мышц, отвыкших работать, ощущая чистую одежду и тело, думая о Лизе, все время вокруг крутился вопрос: «Чем я заслужил?»

Плоть его не была равнодушна к удобству жизни, и острый привкус счастья жил в нем, как ребенок в матери.

В один из таких же майских дней цвета разбавленной синьки Фира познакомилась в автобусе со студен-

том военного факультета Института физкультуры имени Лесгафта. Студент поднимал короткими руками невероятную штангу на запорошенную магнезией грудь и затем выталкивал ее победно вверх чрезмерным усилием ног и тела для прославления родины. Звали его: старший лейтенант Виктор Крутенков. Вид он имел соответственный.

Близкая подруга Елизаветы Ароновны из соседнего дома, пожилая женщина Соня, обремененная детьми, мужем-астматиком и вообще самым понятием жизнь, пыталась тем не менее Елизавете Ароновне помочь. Участие ее было дружеским, разговор бескорыстным, советы — серьезными. К сожалению, она верила в приметы. Нельзя было: вытирать стол рукой и бумагой, ходить необутой, сидеть на низком, стричь ногти подряд, держать дома птиц, переворачивать обувь, носить вещи мужа и прочее. Все это она самым невероятным образом увязывала с жизнью Елизаветы Ароновны. Например, она не раз утверждала, что разбитое в спешке в день ухода Фимы на войну зеркало и залетевшая случайно в раскрытое окно птица — голубь — предрешили его судьбу.

— И теперь ты должна очень внимательно за всем следить, чтобы не напортить,— говорила Соня.

— Что не напортить?

— Не притворяйся, Лиза. Ну хорошо, я говорю о твоей жизни.

— Как Бог захочет, так и будет,— сказала Елизавета Ароновна.

— Вот,— кивнула Соня,— а ты ему помогай.

— Я ему и так помогаю. Не гневаю.

— Активнее помогай,— потребовала Соня.

В четверг утром Фира сдала на «отлично» первый выпускной экзамен — письменную математику.

— Поздравляю тебя,— сказал Воротницкий. — Кстати, что ты думаешь делать дальше? Что изучать?

— Не знаю еще, не решила. А вы? Что вы думаете делать?

— Думаю просить твою маму стать моей женой. Ты не возражаешь?

— Нет. Желаю вам счастья,— сказала кротко Фира.

Вечером того же дня Фира встретила с Виктором, позволившем себе роскошь отдыха в тяжелом труде подготовки своего тела, весящего 75 килограммов, к соревнованиям олимпиады в далеком городе Мельбурне,

чтобы там весить уже 68 килограммов, но с силой мышц как бы 75, обхитрить своих соперников и победить их в честной борьбе.

— Устал я, Фирочка,— пожаловался Виктор. Он, и правда, был бледен. Она провела ладонью по его лицу, и ему стало лучше и легче.

— Ребята в общежитии вечеринку устраивают, пойдём, может? — спросил он, совсем как не спортсмен.

— Давай лучше посидим здесь, в сквере,— сказала Фира.

— И правда, ну их, с их мутными вечеринками,— легко согласился Виктор.

Они сели в крупной выемке стены Зимнего стадиона на садовую скамью.

В акварельных стадионных сумерках на соседней скамейке парень с девушкой поочередно пили из горлышка красное вино.

— Воротницкий сегодня сказал, что хочет жениться на маме,— сообщила Фира.

— А ты?

— Пожелала им счастья.

— А мама?

— Мама не знает. Они сейчас, наверное, говорят.

— Ты не переживай, Фира. Воротницкий, мне кажется, хороший человек, по твоим судя рассказам,— успокоил Виктор.

— Хорошие в тюрьме не сидят,— сомневалась Фира.

— Ты так не говори, Фирочка, грешно,— сказал комсомолец Крутенков Виктор, 23 лет от роду.

Был он из большого села в Иркутской области, и, хотя многому выучился и в школе, и в институте, и в спортобществе, но все же доброта в нем всегда торжествовала. Невесть откуда это в нем взялось, ему даже побеждать было неловко — жалко противника. Лицо его было совсем простое: нос бесформенный, весомые скулы как надо, «боксовая» стрижка с челочкой и глубоко сидящие, широко расставленные сизые глаза на бледном от напряжения и тренировок лице. Чемпион РСФСР.

Елизавета Ароновна пришла в этот день со второй смены и, не заходя в комнату, поставила чайник на огонь, для привычного взбодрения себя и его. Посидела в темноте. Тело ее гудело от застойной работы в одном положении и горячего заводского душа. Весь день у нее, как у совсем молодой девушки, томительно ныла душа, и в комнату, где наверняка нависал громоздкими

плечами над книгой Воротницкий, войти ей было страшно.

Через две недели они с Воротницким обвенчались по обряду в Сониной отдельной квартире в присутствии нешумных гостей и благословившего их под традиционным бархатным балдахином спокойногоголосого раввина в сюртуке.

Довольно скоро после свадьбы обнаружилось, что Воротницкий — игрок. Не просто любитель шахматных задачек на досуге, а настоящий, волевой, очень искусный игрок на деньги. Получая пенсию по инвалидности (хотя ничего больного или болезненного не осталось за этот год в этой крупной, широкой фигуре с массивной, прочной, совершенно лысой головой и с прозрачными уверенными глазами), он мог сидеть дома и посвящать все время своим делам. В доме появились деньги. Много денег.

Появлялись самого невероятного вида люди, которых Воротницкий принимал за круглым.обеденным столом, покрытым кружевной скатертью.

Например, приходил изящный грузин, замечательно одетый, с благородными чертами удивительно красивого лица. В маленькой смуглой руке — кожаный портфель с тяжело мерцающей платиновой монограммой.

Или небольшой неопределенный старичок, медлительный, невозмутимый, с которым Воротницкий изредка гонял партию-другую и быстро проигрывал с кривоватой, несколько смущенной улыбкой.

Или душистый человек из Одессы, пахнувший хорошим одеколоном, с сырыми семитскими глазами так называемой сборной южной национальности, при виде которого хотелось спрятать сахарницу, но он, конечно, не воровал.

В их беседах звучали странные слова, такие, как «макароны», «мыло», «зеленщик».

Воротницкому понадобился телефон, стоявший в коридоре, и он договорился с Ньюрой о том, что оплачивает все ее коммунальные счета и забирает аппарат себе в комнату.

— Вы ведь все равно им не пользуетесь, а если когда понадобится — милости просим, — радушно сказал Воротницкий. И Ньюра, которой телефон действительно не был нужен, охотно согласилась.

Елизавета Ароновна за всем этим наблюдала с ласковым недоумением, с серебряным громыхавшим све-

том, который шел из ее счастливых глаз при виде мужа.

— Абрам, это не опасно? — вдруг за завтраком, с застывшим в руке хлебным ножом.

— Что, милая? — рассеянно щуря оценивающий глаз на задачу в журнальчике.

— Эти твои гости, дела?

— Что ты, я законов не нарушаю, меня можно только наградить... — отвлекся, подумал, — ну, скажем, орденом «Знак Почета».

И как это ни странно, Елизавета Ароновна успокаивается.

Воротницкий, между прочим, служил в армии 6 лет с 39-го года, войну закончил капитаном (это уже после демобилизации, в городе Киеве, он с удовольствием открыл в себе и развил качества, столь сурово осужденные местным горсудом), и ордена и медали на любой вкус и цвет, чудом сохраненные квартирохозяйкой, лежат в нижнем ящике комода под стопкой постельного белья в палехской сусальной коробке.

Фира уже совсем взрослая. Она поступает в Институт авиаприборостроения. Регулярно встречается со своим «физкультурником», как называет его Елизавета Ароновна. У Виктора горе: на тренировке он порвал «красивую» мышцу на своей правой чудовищной ляжке и ни в какой Мельбурн уже, конечно, не поедет. Факультет свой он закончил и получил направление в Группу советских войск в Германии, в город Лейпциг. Фира и Виктор трогают друга у друга тело руками, привыкая к любви.

Ровно через два месяца после свадьбы, за обедом, за дымящимся пурпурным борщом, Елизавета Ароновна объявляет Воротницкому и Фире, вскользь, невзначай, но сиренево побледнев: «Я беременна».

Довольно долгое молчание. Со двора неровно и громко трещит мотоцикл Юры Трифонова, Фириноного бывшего одноклассника, нескладного долговязого хулигана, призывающегося в армию. Он медленно и торжественно катается между клумб под трели дворницкого свистка.

Фира бросает ложку на стол (поплыло по скатерти алое жирное пятно), вскакивает, больно зашибив локоть, и, закусив губы, убегает, сверкая блестящими от загара, как бы лакированными солнцем ногами.

— Вот за это волнение я тебя и люблю. Сейчас понял,— объявил Воротницкий.

— Что же будет? — плачет Елизавета Ароновна.

Шум во дворе смолкает. Временное перемирие: война свободолюбивого Юры с представителем местных властей нет конца. До мокрой диабазовой мостовой венгерского города Дебрецен Юре осталось 60 дней.

Вечером пришли гости: Соня с мужем и младшим сыном. Муж — маленький, тяжелый, с брезгливым оплывшим лицом больного, с прямыми волосами народо-вольца, приглаженными назад, но какой-то все же ловкий, складный, движениями чуть ли не цирковой акробат. Соня — видом старше и ростом выше, с вульгарно полным лицом, засыпанным пудрой, с сумеречным яркими глазами и крылатым вздорным носом, делавшим ее похожей на повзрослевшую Золушку или, точнее, Снегурочку. И отличный мальчик восьми лет, с такой челкой на белоснежном лбу, с таким трогательным сероватым затылком, стриженным под машинку, и такими жадно впитывающими все блестящими глазами и оттопыренными полупрозрачными ушами, с таким пройдошным огромным ртом... в общем, обычный мальчик, со своей ролью в этой истории. Его звать Арик, или еще Лева, для школы и двора.

— Покушай, Левушка,— протягивает ему конфету «Мишка на севере» Елизавета Ароновна. — Охудал весь, еще бери, поправляйся.

— Носится целыми днями, еще бы не похудеть. Кормлю, кормлю, и все в этот проклятый мяч, кто его только придумал? — поделилась Соня.

Горка удивительных конфет в хрустальной вазочке быстро уменьшается.

— Остановись, Арик, ты не дома и не один,— говорит мать и, легко приподнявшись, отодвигает конфеты на середину стола.

Елизавета Ароновна выходит с нею в кухню, к заметному облегчению мужчин.

— Кто бы мог подумать? — спрашивает муж, кивая на включенный радиоприемник «Слава». Громовые советские новости последних месяцев кричат из него.

— Следовало ожидать,— довольно равнодушно отвечает Воротницкий, сдвигая чутким пальцем вазочку к мальчику,— ешь, Лева, поправляйся.

— Так прямо с плеча? — горячится муж.

— Так и надо, а потом бы еще и этих утопить, вот тогда бы настала нормальная жизнь, без этого кодла,— добродушно говорит Воротницкий.

— Вы не кричите, пожалуйста, как на эсеровском митинге,— нервничает муж.

— Я — монархист,— улыбается Воротницкий всем своим тяжелым вычурным лицом римского сенатора.

— Тем более, знаете, где все монархисты-то небось,— напирает глупый муж.

— Знаю,— говорит Воротницкий,— чего нам из-за них ссориться, полено им в рот, давайте лучше обедать.

— Вы не думайте,— придвигается со стулом к столу, смягчается муж,— я и сам в разумных пределах за частную инициативу.

— Во-во,— берет аккуратно Воротницкий в ладони бутылочку «Юбилейного»,— сейчас выпьем, только дамы из кухоньки подойдут.

Глаза его тускнеют, щелистая страшная улыбка куда-то уходит, он деловито возится с не желающим отщепляться штопором, и забытый Лева, вцепившийся от тошнотворного ужаса ладошками в край стула, шумно и с облегчением вздыхает.

Воротницкий поднимает медленные глаза, смотрит, смотрит.

— Ешь, Лева, конфеты, не надо волноваться,— говорит он.

А Фира тем временем энергично двигалась навстречу судьбе, ковала ее. Встретилась, неся в ажурном пространстве горла kloкочущий плач, с Виктором в розоватых сумерках в садике напротив Марининского театра, туго взяла его под руку в темном углу, набухшем от влажности, на твердой скамье, под шелестящим на ветру неостриженными кустами, внезапно горько и безутешно расплакалась.

— Как же я теперь буду с ними жить? — рефреном бормотала она, мучая Виктора весомым прикосновением груди.

— Будет, Фирочка, уймись, может, и уладится,— утешал Виктор, с наслаждением держа на ее затылке, на шее и вздрагивающих плечах одновременно суровую ладонь в рукавице сантиметровых мозолей.

— Она его любит, любит,— рыдала Фира.

— Я тебя тоже люблю.

— Возьму и поеду с тобой в Лейпциг,— зло, сквозь слезы.

— Полюби меня, Фира, навсегда,— попросил Виктор очень тихо.

— Я тебя люблю,— прошептала Фира.

Домой она уже не вернулась, институт так и остался не завосванным за Поцелуевым мостом, телефонные звонки («Да, мама, нет, мама; я все для себя решила, нечего плакать»), сжатые губы, хмурые брови, мохнатые глаза, в омут летит Фира, в омут под названием Лейпциг; районный бежевый загс, торопливые холодные поцелуи (где мама? в такой день! предательница!), Витины институтские друзья мускулистой черно-белой парадной группкой, трогательные гладиолусы от саженного ширококостного Витино соседа по комнате; чудесная ночь на Витиной коечке, плывущей в робком тумане в неизведанную даль радужного счастья и не желавшей никак возвращаться. Наконец, залитый солнцем и испещренный множеством теней перрон медленно оттолкнулся, потянулся назад, и в то же мгновение Фира из окна увидела бледное, растерянное лицо матери, неуклюже бежавшей с какой-то нелепой картонкой, перехлестнутой бумажной бечевкой. Их одинаковые длинные глаза цвета глубокой охры отразились, и мать побежала быстрее, размахивая руками, плача и крича:

— Как же торт, Фирочка, я купила вам торт.

Витя высунулся по плечи в опущенное окно и, мощно отмахивая рукой, хрипло закричал, с трудом прижимая к себе жену:

— Не бегите, мама, все будет хорошо. Приедем скоро в отпуск.

«Туту-ту»,— пропел свою бодрую песню запыхавшийся закопченный паровоз.

Елизавета Ароновна родила легко, точно в срок, маленькую синеватую девочку.

В половине третьего утра Елизавета Ароновна разбудила Воротницкого от цветных тяжелых снов, и он сразу легко сел в кровати, как молодой солдат.

— Ну что, уже, Лиза?— спросил он у Елизаветы Ароновны, колеблющаяся тень которой на тюлевой шторе беседовала по телефону с таксопарком, обведенная зеленоватым светом настольной лампы. Елизавета Ароновна сделала не совсем удачную попытку улыбнуться, и Воротницкий начал одеваться.

Через десять минут они уже выходили из звенькнувшей парадной двери в совершенно театральный, очень красивый, нереальный пейзаж. На фоне черного, звон-

кого неба, на фоне пятиэтажных домов, построенных в тридцатые годы для рабочих Кировского района города Ленинграда, на фоне воспаленных плафонов уличных фонарей, на пугающем фоне рядов незажженных окон, на фоне настоящих деревенских дорожных сугробов, в недвижимом воздухе, в абсолютной тишине валил снег. Желтоватый подсвет этой мизансцены умилял, Елизавете Ароновне захотелось плакать.

Молодой шофер с подвижным плотьядным лицом фавна дремал за рулем, подняв воротник кожанки.

— Рожаем? — живо обернулся он.

— Не говори, кума, — откликнулся Воротницкий, осторожно подсаживая жену.

Шофер вяло обиделся, пожал плечами, попросил:

— Только не в машине, мамаша, ладно?

Он поехал достаточно быстро и осторожно одновременно, демонстрируя усталый профессионализм.

И эту поездку, в тесном объятии продавленного сиденья, в тошнотворном, вкусном запахе бензина, резко чувствовавшемся в салоне старенькой «Победы», с пресным вкусом тающего во рту снега, прихваченного горстью с покатою крыши, в движущейся темноте, она запомнила навсегда.

Утром Воротницкий позвонил Соне.

— Слава Богу, — закричала она в трубку своим страшным обычным голосом и поехала в Снегиревскую больницу к любимой соседке. Воротницкий послушал гудки в трубке с облегчением. Затем он сильно напился с зазябшим грузином, который угодил к нему по обычным делам. Грузин отказывался пить армянский коньяк Воротницкого.

— Вылейте в раковину этот клопомор, Абрам Израилевич, — мягко посоветовал он, и они поехали в «офицерский» ресторан «Метрополь» на Садовой торговой улице, где их, свежий поутру, обслуживал метрдотель Юра Поташенков, большой друг еврейского народа, много позже севший на пять лет в тюрьму за тяжелые увечья, нанесенные трем египетским летчикам, обучавшимся в СССР суворовскому искусству побеждать. Они обедали-ужинали в Юрином ресторане с тяжело-весными дамами сердца, и дообедались.

Воротницкий, узнав об этом случае, обещал организовать Юре из Израйля медаль за героизм и пенсию, как узнику за еврейское дело, но, повторяю, все это случилось много позже, много позже.

— Принесите нам, Юра, пожалуйста, что-нибудь экзотическое,— элегантно потребовал Воротницкий.

В пять часов вечера грузин поклялся своей мамой, что платить будет он.

— А у меня нет мамы,— сказал Воротницкий и попросил: «Береги маму, Георгий».

— Сначала заплачу,— заупрямился грузин.

— Плати и береги,— настаивал Воротницкий.

— Плячу и берегу,— твердо сказал грузин.

Они поцеловались.

— Поедем ко мне,— сказал Воротницкий.

— Не могу, дорогой, встреча! Цветок! Таня! 19 лет! Ласточка!

— У меня теперь два цветка,— гордо сказал Воротницкий,— две ласточки.

Они расстались братьями, и грузин поехал в «Асторию», где у него был номер люкс, а Воротницкий поехал домой, где выпил по стакану отвергнутого коньяка с пришедшей с работы Нюрой и заснул не раздевшись, не разувшись.

Елизавета Ароновна всю жизнь жила в особом мире особенных воспоминаний, а не в «сладком мире грез». Она помнила всегда слишком много, даже когда помнить еще было нечего, было просто рано. Нельзя сказать, чтобы это мешало ей жить. Совсем наоборот.

Она отчетливо, скажем, помнила Фиру, бегающую по просторному уманскому дому, какой-то там предвоенной весной. Низенькая, щекастая девочка в лыжных великоватых шароварах из черной байки и крестьянских шерстяных носках поверх них. Косолапый шажок, другой, и складный, сопровождаемый смехом кувырок вперед... и дальше, дальше по изогнутой причудливо диагонали, через всю просторную горницу, устеленную грубо ткаными узорными половиками. Дед и баба сидят по стенке и (в приблизительном переводе) «собирают урожай счастья». С этой семейной картиной Елизавета Ароновна продолжает жить. Она знает, как они умерли в немецкую оккупацию, и сколько выпил, и что сказал, и что взял (после войны был суд) этот человек. Елизавета Ароновна смутно помнила этого человека. Ненавистника и злодея в нем предположить было трудно, и навсегда для Елизаветы Ароновны причины такой ненависти (смертельной, что называется) остались невыясненными. Она вообще всего этого не понимала, объяснить доступно никто не мог, да она и не спрашивала.

А маму с папой запомнила по этой улыбающейся картинке, хотя была у нее настоящая фотография в овальной рамке, с деланно горделивым лицом отца и птичьим маленьким лицом матери.

Еще она помнила тяжесть мужниного тела Фимы, его твердые руки, его плоскую юношескую грудь, коралловые следы от очков на тонком носу. Она помнила его тело в своем, его тихий учительский голос, его повадки, привычки, да что там говорить зря, когда она его любила.

Еще она все время помнила затянутое рыхлой кожей лицо Воротницкого на серой тюремной подушке — плоском сенном тюфячке... его встревоженные умоляющие глаза... его размашистый шаг, мощные худые сумки суставов, трехсложные бесконечные пальцы, мужское неостановимое дыхание.

С этим и этим она жила. Ей было интересно с собственным воображением, со своим, так сказать, частным кинематографом. Часто она просыпалась в слезах. Жизнь огромного мира огромной страны проходила вблизи нее, сжигая кожу и кислород страшными наждачными боками, неинтересная и неразгаданная.

А что, собственно, гадать?

Девочка ее, по имени Аня, росла, освоение космоса набирало темп и силу. Елизавета Ароновна ходила на работу, вела дом, как привычный штурман налаженный рейс. Воротницкий принимал по-прежнему гостей, решал задачки советских авторов с тусклыми именами, читал только что появившиеся в продаже книги в мягкой обложке с фирменным значком на предтитульном листе: «Зарубежный роман двадцатого века». Ласково поглядывая на сновавшую Елизавету Ароновну, много думал о ней.

Изредка он выходил в соседний с домом парк подышать и подумать в тишине кое о чем, посмотреть на огромный искусственный пруд, из лакированного чрева которого десятилетние мальчишки противозаконно и быстро вытягивали оранжевых и тоже, вероятно, искусственных карасей.

Его собеседником бывал пугливый пенсионер с набрякшим откровенным лицом сластолюбца, с фиолетовыми, специальными «бомбейскими» глазами скрипача из арабского струнного ансамбля, мясогубый желтоватый азиат, с тонкой полоской крашенных усов.

Случайный рассеянный первый взгляд, цепкий ки-

вок, ошибки быть не может — свой воркутинский брат, и вот они уже сидят рядом.

— Идет, грядет Чингиз-хан, — странно говорил азиат.

— У нас в Караганде говорили, что, мол, схаваем Чингиз-хана вместе с лошадыю, только дай, — щурится Воротницкий.

— Это да, раз уже употребила Россия, нету в этом краю правды.

— У вас вся, конечно, — говорит Воротницкий.

Азиат не обижается, смотрит в сторону. Там, по аллее, приближается группа местных парней, человек 5—6, с небезызвестным «Озером» во главе. Мальчик лет тринадцати подвливает к скамье.

— Дядя, дай закуриты!

— Не подаю, — мрачнеет Воротницкий.

Парни надвигаются. «Озер» перекидывает в шерба-том обезьяньем рту дважды смятую папиросу.

— Пожалел! Малышу!

Воротницкий внимательно смотрит на «Озера», «Озер» на него. Обнюхались, будем знакомы. У Воротницкого неподвижное большое лицо сфинкса, руки сцеплены на животе — молчит, а страшно. Не приблатненный, не блатной, но явно, что лучше не трогать.

— Как вы с ним?! — восторгался азиат, когда парни лениво уходят.

— Выучили, наука не хитрая, — усмехается Воротницкий. — Вас как звать?

— Шамиль Вагизович, а меня ногами в самом начале, на пересылке побили, я и дрожу с тех пор, — отвечает азиат.

— Абрам Израилевич, — представляется Воротницкий, — палками нужно этих зверей, дубовыми.

— А вы духовитый, — с уважением глядя на Воротницкого, произносит Шамиль.

— Приходите завтра, потолкуем о том о сем, — приглашает Воротницкий напоследок.

Дома дрожащая Елизавета Ароновна протягивает ему приглашение явиться к капитану Мальцеву в отдел УООП, завтра в 9 часов утра.

— Что это, Абрам?

— Повестка.

— Почему?

— Не знаю я, — очень тихо говорит Воротницкий, посвистывает и вдруг бьет со всей силы по хилой, осы-

паюшейся под обоями стене костлявым кулаком. Звук гаснет, кисть его в мелу и в крови. Он вышагивает по поддающейся сосновой половице от окна с потухшим днем к столу с разложенными Аниными тетрадами, осторожно и сильно дуя на немедленно опухшую кисть, удивленно и зло улыбаясь.

— Поедем, Лиза, в «край небритых гор»? — говорит он наконец.

— Куда это?

— К национальному большинству и справедливости.

— Как же вот так сразу? Кто пустит?

— Они и пустят, — тянет Воротницкий.

И как-то так сразу закрутилось, завертелось, и пошло, пошло... и остановилось на время в заводском комитете, где молодой соплеменник Елизаветы Ароновны чего-то взъярился и, яростно рассекая худой рукой неизвестного врага, захлебываясь от гнева, кричал: «Вскормили, вспоили, паек в войну давали...»

Елизавета Ароновна, стыдась, смотрела в пол.

— Что ж, Гладбах, если решили, как понимаю, отговаривать бесполезно. Совершаете ошибку жизни, Елизавета Ароновна. Столько пережили с нами, и только наладилось... Езжайте, — сказал начальник отдела кадров.

— Эх, Гладбах, Гладбах, — сказал начальник родного цеха штампов и приспособлений.

Было очень жарко, накурено. Над задрипанной пальмой в красном углу висел одинокий поясной портрет одинокого члена политбюро. Из-за многих слоев дыма Елизавете Ароновне показалось, что он сильно косит подведенные глаза на ее все еще красивые ноги, и она с испугом решила одеваться скромнее.

— Хорошей жизни захотела, — презрительно сказал энергичный соплеменник.

Через несколько лет Елизавета Ароновна встретила его на главной иерусалимской улице имени короля Георга Пятого, и они испуганно и согласно друг друга не признали в стеклянном горном воздухе, сильно отдававшем кипарисной хвоей в якобы наступивших густых субтропических сумерках.

В середине июля получили по почте разрешение на выезд «в течение 18 дней». Капитан Мальцев приотставал, временно, от Воротницкого на «два темпа», как отбегает столб электропередачи назад от проходящего поезда.

— Что с книгами делать будем? — спросила Елизавета Ароновна.

— Сколько их там у тебя, пакуй, черт их, — ответил Воротницкий, аккуратно и нежно завертывая шахматные словно обмасленные фигуры сначала в вату, а затем в хрусткую матовую бумагу, которую держат в мясных отделах гастрономов. Дверь их была приоткрыта, и Нюра вошла без стука, как к себе в дом, чего, в общем, не делала никогда, развал у всегда аккуратной соседки был тому причиной.

— Вы что, голуби, или собрались куда?

— Собрались, Нюрочка, — сказала Елизавета Ароновна, дрогнув.

— Во дворе болтают, неужели правда?

— Как есть, правда, — сказал Воротницкий.

— Дела, — ахнула Нюра, — обиделись, что ли?

— Сестра у меня там, на берегу моря, — пояснил Воротницкий.

— Понятно. — Нюра осторожно присела, сняв со стула Анин портфель, в котором, упакованные в полотенца, стояли глубокие тарелки (родительский подарок к рождению Фиры), и, выронив папиросу из блеклого рта, заплакала навзрыд, как плачут по покойнику. Елизавета Ароновна немедленно ей помогла, вступила Аня. Получилось неплохо: слаженно и довольно громко. Воротницкий вышел на лестницу, попробовал неуклюже закурить. Папироса пошипела, фыркнула и безрезультатно затихла.

Снизу, тяжело отдуваясь и перебирая шаркающие ступени, поднимался Шамиль.

— Вот ведь и загнали, — оценил ситуацию, оглядывая площадку и улыбаясь, Воротницкий.

— Слушок прошел... — сказал Шамиль, подняв плоское лицо.

— Верно, — ответил Воротницкий.

— Молодец, на, глотни, не робей, — пожелал Шамиль. Они уже давно были на ты.

— За все хорошее, — сказал Воротницкий и сделал большой глоток из початой бутылки.

— Давай поцелуемся.

Они поцеловались. На лестнице теснился сумрак, было прохладно и чисто. Хороший был домовый комитет в этом доме.

Через два часа Воротницкому стало плохо, лицо его побледнело и стало похоже на давешнее, тюремно-боль-

ничное. Приехала «скорая» с измотанным врачом. Он наспех, погнув иглу, сделал укол, послушал приятно холодившим стетоскопом прерывистое дыхание, померил давление, заключил: «Надо в больницу».

Нюра позвала двух соседей: Борю Писарева и отставника-вохровца Диденко в застиранных галифе, и вместе с шофером они снесли Воротницкого вниз. Елизавета Ароновна поехала с ним. Приехали так быстро, грохотала каталка, быстро семеня рядом сестра, что-то на ходу делая Воротницкому, нагнувшись к нему. И этот ужасный больничный запах хлорки и формалина.

К утру боль в сердце Воротницкого прошла. Он умер.

Пришла Нюра, повела Елизавету Ароновну домой. Юный любитель мотоспорта на безумной скорости влетел в переулок, ведущий к больнице, опасно наклонившись на вираже, разгоняя к стенам остатки низко лежащего ночного тумана.

Днем, по просьбе Елизаветы Ароновны, Соня попросила по телефону раввина о встрече, и через час женщины были уже у него, в Московском просторном районе, в двухкомнатной квартире на первом этаже, с тем осязаемым запахом тления, который всегда жил в домах у очень пожилых людей. Раввинова дочь, средних лет женщина с глазами, опущенными долу, в по-деревенски низко повязанном полушерстяном платке, провела их просторным коридором в комнату отца.

Раввин сидел за столом и быстро ел чайной ложкой из нарядного глубокого блюда молочную кашу. Подняв на пришедших глаза нежного голубого цвета, он отодвинул блюдо, промокнул сильно губы лежавшим тут же вафельным чистым полотенцем и кивнул, одновременно здороваясь и приглашая садиться.

— У меня сегодня ночью умер муж,— сказала Елизавета Ароновна сразу, словно боясь, что позже она выговорить этого не сможет,— через несколько дней мы должны были уехать в Израиль. Я хочу отвезти его тело в Иерусалим и похоронить там. Что вы советуете?

Опустив веки, старик мотнул головой.

— Не надо этого делать, уважаемая,— сказал он.— Ваш муж не удостоился умереть там и быть похороненным там. Похороните его здесь.

— Как скажете,— прошелтала Елизавета Ароновна.

— Попросите какого-нибудь старика в синагоге, дай-

те ему денег, пусть год говорит по вашему мужу поминальную молитву.

На древнем kloкочущем языке раввин пробормотал благословение Елизавете Ароновне на дорогу.

Уезжала она с Аней поздним теплым утром. Шел слабый грибной дождь. У Ньюры прыгала мокрая от слез папираса, дрожало лицо, Соня пыталась хмуриться, виднелось белое здание Пулковской обсерватории под зелеными холмами, было неожиданно уютно, и радио нектати играло томительную популярную песню «Я в весеннем лесу пил березовый сок».

Спросите у Елизаветы Ароновны, какого цвета небо над Иерусалимом, часов так в одиннадцать-полдвенадцатого дня. В конце, скажем, апреля.

Она вздрогнет, с трудом найдет элегантные очки (сдала, постарела) и, посмотрев на собеседника, скажет:

— Я недостаточно хорошо вижу для этого. Но думаю, что оно белесое. Да, белесое.

И это будет правильно. Только молодой, вооруженный хорошей оптикой глаз и развитое воображение различают тонкие синие тона вблизи горизонта, если взглянуть вверх где-нибудь в узком дворовом проходе, заштрихованном коричневой тенью.

Изредка по Иерусалиму пробегала быстрая тень от легкой тучи, прилетевшей с северо-запада, со стороны моря, и прикрывавшей на пролетное мгновение очастливленные улицы, дома, деревья, что попадет.

И кажется — вот она, жизнь, возьми, дыши, догони, но где там. Вот она пролетела, роняя капли раздражающего, не матеряльного дождя на асфальт улицы Красное море, пересекла шоссе на город Рамасу, взобралась и одарила одинокого прохожего на Французской Горке и ушла дальше по обжитым каменистым оврагам и сгоревшим бурым пустырям на Хеврон.

В Иерусалиме Елизавета Ароновна и Аня поселились в предоставленной государством двухкомнатной квартире, в новом коричнево-желтом районе, построенном в восточной части города из легко поддающегося мягкого камня. Когда Елизавета Ароновна ехала на автобусе номер восемь из центра домой, она с интересом смотрела в автобусное окно на предыдущий по остановке и застройке район. Длинные многоквартирные дома, облицованные красно-бурой плиткой, с фасадами, запятнанными выстиранным цветным бельем, из-

за которого смуглые местные хозяйки перекрикивались, не сдерживая чувств, между собой и своими многочисленными детьми, которые тем временем за разговорами разрушали энергичными действиями земное садовое пространство и муниципальное имущество, предназначенное для облегчения и удобства жизни и удовольствия глаза.

Крановщицей в Иерусалиме Елизавета Ароновна работать не могла. Ей было 58 лет, да и строительные подрядчики, когда она первое время пыталась устроиться по найму, из своих американских автомобилей, похожих на мосты в будущее из наших бедных снов, смотрели на эту элегантную даму — седая, строго натянутая прическа, прямая спина, сильные длинные ноги, неувядающая, несмотря ни на что шея — иначе. Никак не виделась в бедной Елизавете Ароновне и самым доброжелательным работодателям крановщица. Никак.

В конце концов устроилась Елизавета Ароновна бухгалтером в страховую компанию благодаря уманской полузабытой десятилетке и профсоюзному курсу переквалификации.

Но если новая жизнь кое-как поддавалась (такая игра — поддавки: больше взявший — проигрывает), то новый язык не давался Елизавете Ароновне совсем. Звуки росли во рту и твердели, с трудом вырываясь на вольную волю не похожими ни на что. Когда Елизавете Ароновне нужно было что-то сказать на иврите, она складывала фразу по-русски, и уж затем привычно с русского, по образу и подобию, на иврит. Получалось невообразимое нечто.

Во внутреннем дворе ее конторы, мощенном гранитной плитой, отчего-то всегда головокружительно пахло, и летом, и дождливой зимой — в Иерусалиме два времени года — хвойным дымом. На нижних, загибавшихся вверх ветках подбористых кипарисов (да, кинарисов! а что?) сидели нервные крупные птички с неуловимыми глазами, в желто-сером оперении.

Здесь это все с нею и случилось. Она пересекала двор в обеденный перерыв; на каменной завалинке вблизи коренастых иерусалимских олив сидели на перекуре двое незнакомых мужчин, молча отпивая запасы энергии кофе на продолжение работы в славном деле страхования машин, домов, здоровья и жизни; и что там еще осталось? Один из них, в массивных солнечных очках на пол небритого очень простого лица, посмотрел на

Елизавету Ароновну с интересом, и у той вдруг кольнуло сердце. «Очень опасно»,— подумала она и выбежала скорее на улицу. От массивной, грубо сложенной стены напротив входа в ее службу немедленно отделился, как бы шагнув из камня, двойник первого, отбросил окурки и деловито пошел за Елизаветой Ароновной в гору, уютно побряхтывая. Елизавете Ароновне стало дурно. Она остановилась, продышала немного волнение, обернулась. Никого не было. Сверху донизу эта крутая узкая улочка была абсолютно пуста, если не считать планирующей невысоко, вороны со следующей за нею по земле тенью, похожей на распластанный газетный лист, да невысокого закручивающегося пыльного смерча наверху.

— Что со мной? — с ужасом подумала Елизавета Ароновна. — Господи, спаси меня! — попросила она в отчаянии.

Опасаться ей следовало белолицего веснушчатого господина, будто не жившего на Ближнем Востоке видом — то есть парадный костюм тонкого сукна, застегнутая фиолетовая сорочка, вкось полосатый, тихогоголосый галстук, замшевые неяркие башмаки, кожа рук, лица... — ну просто астронавт.

Он вышел прямо на Елизавету Ароновну из парадного скрытого в глухом фасаде косо вверх стоящего дома.

— Простите, вы не напугались? — сказал он приятным голосом без никотинной хрипотцы.

— Нет, — чуть успокоилась Елизавета Ароновна, — вы портной?

— Почему? — засмеялся мужчина жестко очерченным ртом упряма.

— Вывеска. — И Елизавета Ароновна пальцем указала на белую табличку над входом, на которой черным фломастером от руки было написано: «Портной, прием с 8 до 17 часов».

— Нет, я из Польши, — умно ответил мужчина по-русски, — я слышу, вы недавно из России? Откуда?

— Из Ленинграда.

— О! Был во время войны в Свердловске, в Новосибирске, а в Ленинграде вот не довелось, но слышан, конечно.

А уже пошли тем временем вверх по улице, облитой нарядной солнечной глазурью.

— Как мой русский? — легко спросил господин.

— Почти у вас нет акцента,— похвалила Елизавета Ароновна. — Вы давно здесь?

— Через месяц восемнадцать лет будет,— веско сказал он. — В России меня звали Фимой.

Прямые брови его соединялись мостком редких волос. Очки сильно увеличивали глаза, так близко, близко...

Познакомились. На вершине улицы приостановились, пропуская пыльный пышущий автомобиль.

— Видите, справа под башней по кругу написано по-русски,— показал белой дланью Ефим.

— Ой, правда, только не разобрать, что!

— Написано: «Ради Сиона не умолкну, ради Иерусалима не успокоюсь», это из Исаяи,— объяснил Ефим.

— А чей дом? — зачарованно спросила Елизавета Ароновна.

— Раньше был великого князя, сейчас принадлежит московской миссии. Полдома сдают министерству сельского хозяйства, вторую половину заперли — нет денег на ремонт.

— Деловые, а денег нет,— рассудила Елизавета Ароновна.

— Москва фондов не отпускает,— улыбнулся Ефим.

Незаметно очутились в мясном ресторанчике Якова, по местному таинственному прозвищу «убийца». Яков с законом был в ладах, исправно платил налоги, в тюрьме никогда не сидел, жарил мясо на открытом противне. Откуда прозвище, никто не знал.

Две порции куриных сердец заказал Ефим, когда они с Елизаветой Ароновной с трудом разместились, зашибив колени, за низким столиком, и Яков принялся за дело. Гребнем колыхнулся над его мягко порочным лицом искусный кок смазанных чем-то волос, заскворчал лук, щепоть соли, горсть перца, и понесло в закопченной комнате дурмящий мясной дух. Прижимая сердчишки вилкой, Яков ловко половинил их широким отточенным тесаком.

— Молодец,— похвалила Елизавета Ароновна,— артист!

— Из Халеба,— просмаковал Ефим из Польши.

Уже в фиолетовых сумерках, наконец, расстались, обменявшись историями жизни, адресами (телефона у Елизаветы Ароновны не было), и договорились встретиться завтра.

— Вы мне очень нравитесь, у меня самые серьезные

намерения, — сказал на прощание «один во всем свете» Ефим. Машина его с засорившимся карбюратором была в этот день в гараже. Елизавета Ароновна разволновалась, погладила его руку.

— Я доберусь сама, до завтра, Фима, не волнуйтесь. Вот и говорите, что нет предчувствий в жизни.

Елизавета Ароновна вдруг заторопилась. Девочка ее уже была взрослая, самостоятельная, росла не совсем так, как хотела бы мать. «А вот Фира росла, как я хотела, и что вышло? — подумала Елизавета Ароновна. — А что вышло? Главное, чтобы было счастье. Нет, еще что-то есть».

И вот это что-то никак и никогда Елизавета Ароновна додумать и определить не могла.

Елизавета Ароновна заторопилась поговорить про жизнь с сыном Сонни Ариком, два года уже жившим в Иерусалиме за холмом неподалеку от нее, за бывшим дворцом английского губернатора, в пахнущей синтетической краской квартире. С вершины холма виден был город, похожий на собственный огромный макет в зеленой огромной впадине, на охряном срезе земли, на окрестных горах, вдоль натянутых дорог и сосновых сухих рощ.

Как это ни странно, но люди из ветхих северных кварталов Города, берегшие Закон, были смутно бережены в закромах ее удобно устроенной памяти. И хотя они были чужды ей и непонятны, невозможная жизнь их занимала ее чрезвычайно; от их глухих одежд; беспорядочных жилищ шел сладковатый уютный запах тления, неожиданно родной для Елизаветы Ароновны — настоящей украинской чистюли, заставлявший волноваться ее невозможно; их привлекательно-закрытая жизнь, их судорожный уклад... да мало ли что волнует женщину, например базар...

Арик, человек очень здоровый во всех отношениях, медленно вползал на коленях с захлебывающимся на спине от счастья двухлетним сыном, в спальню, в раскрытое зеркало платяного шкафа.

Арик отдыхал от действительной, утомительной службы в израильской армии. Он был достаточно молод, чтобы относиться к армейской службе как к нескончаемому спортивному соревнованию. Скажем, в троесуточном марш-броске с шестью получасовыми перерывами в восхитительно душных апельсиновых рощах он почти с удовольствием уставал, ощущая, как сгорает в нем

лишняя энергия, мгновенно испаряется лишний вес, и все его подсохшее тело становится достойным защиты Родины.

И тем не менее палаточными краткими ночами, под натруженный храп и всхлип восемнадцатилетних коллег по военному ремеслу (Арик был старшим по возрасту в роте), ему все время снилось запрокинутое, обнаженное ночное лицо жены, ее сливочное тяжеленное тело, груди, косящие по сторонам, влажная кожа выпуклого белокаменного живота... короче, жизнь, как сон... и просыпался Арик с трудом, улыбаясь смущенной сатанинской улыбкой, пряча глаза от веснушчатых сельских соседей, которым было совсем не до него в суете десятиминутных сборов и которые, кстати, считали его наивным, восторженным «русским», в открытую подсмеивались над его обязательностью, силой, акцентом и Бог знает чем еще.

В свою очередь Арику были смешны эти простоватые мальчики.

Иногда на полевых учениях они жгли на отдыхе чахлый костерок, попивали кофеек, под который Арик потихоньку «уговаривал» запасную фляжку с «84»-м коньяком.

Самое смешное, никто этого не замечал, хотя керсиновый запах напитка укутывал лесок, переваливал оживленное шоссе и хмелил заодно население небольшой близлежащей арабской деревни.

Деятнадцатилетний командир роты, белокурый кудрявый, сообразительный, облокотясь на локоть и задумчиво глядя на огонь, произносил:

— А вот скажи, Арик...?

Командира в роте не любили. Арик ему завидовал — у командира был бурный роман с замечательной рыжей психиаторшей базы, взрослой замужней женщиной, смахивавшей издали и сзади на крейсерскую яхту под свежим бризом, спешившую к жизни на полуторабалльной темной волне.

Под стрекот цикад, под глухие крики неведомых ночных птиц в ожившем запахе травы Арик длинно рассказывал о прекрасной стране России, над которой издевается асмодей, про очереди в магазины, про поэта Евтушенко, про комсомол, про команду «Зенит» — Ленинград, про Юру Трифонова и Юру Поташенкова, про сестер Пресс, про Невский проспект, про фольклорную практику на Псковском озере, про ленинградского рав-

вина Лобанова, про город Гагру, про сестер-близнят Нину и Милу, про ленинградскую погоду, про купированные поезда, про Юрия Гагарина, про отставника Диденко и политуру, про отставника Диденко и одеколон «Свежесть», про отставника Диденко и плодово-ягодное...

— В горле пересохло,— останавливался Арик, и кто-нибудь обязательно передавал ему фляжку с водой, и Арик благодарно и радостно хохотал.

Его холодом и жиром отдававший автомат лежал от ребенка на полированном серванте, привезенном из Ленинграда. Между стеклянных сдвинутых створок серванта застряла брошюра «Играет ЦСКА» в красно-синей армейской обложке.

— Что Фира пишет? — осведомился Арик, автоматически включая для гостя телевизор.

— Пишет, что дети растут, Витя пошел в дивизию на повышение. Может быть, увидимся на будущий год в Румынии.

— Дело хорошее,— одобрил Арик.

— Сейчас будем пить чай,— сказала из кухни яркая Арикова жена, привезенная им из Ленинграда с неоправданными нервными усилиями. Но Арику, конечно, виднее всех.

В телевизоре свистящий ветер атомного взрыва властно и неумолимо выдувал жизнь из бетонных, специально построенных для испытания плоских домов.

— Я буду жить всегда,— исподлобья глядя на все это безобразие, подумала Елизавета Ароновна.

Женщина от природы нелюбознательная, она была к тому же не в меру впечатлительна. С ужасом, например, наблюдала в домашнем телевизоре, включаемом очень редко и лишь дочерью, за скованными движениями толсто одетого суставчатого космонавта — похожими на передвижения многочленного насекомого по стеклу — в ледяной космической мгле. Мысль об этом бесконечном пространстве сводила Елизавету Ароновну с ума, и она ее пресекала. Телевизор с легким скандалом выключался.

Зато музыку всякую слушала всегда с удовольствием, только кротко просила Аню сделать «патефон потише». Патефоном она называла стереофоническую установку «Грюндик», похожую на пульт управления совре-

менного самолета. Любимое произведение — романс «Не уезжай, ты мой голубчик, печально жить мне без тебя», особенно в затененном двойным тюлем салоне, особенно в утреннем крушении выходного дня, в стародавнем куцем халатике, зябко придерживаемом точеной кистью под подбородком.

— Я сегодня познакомилась с женщиной, — сказала Елизавета Ароновна.

— Вы достойны большой любви, тетя Лиза, — искренне сказал Арик, — свадьба скоро?

— Мужлан ты, Левка, — возгласила жена, внося поднос с дымящимися чашками.

— Что такого? — удивился Арик. — Вы обиделись, тетя Лиза?

Елизавета Ароновна скованно и ало мотнула головой, пролив на юбку чай.

— Что ты, Арик!

В квартире за стеной соседская интеллигентная девушка на ночь глядя мыла каменный пол, мокро стуча тряпкой, распевая замечательную мелодичную песню «Сад сикомор», очень популярную в Израиле лет двадцать назад и снова набравшую силу.

«Вот саад, вот саад, сад тех сикомор», — пела девушка.

«Скоро, совсем скоро я буду счастлива опять», — в такт, про себя, подпевала ей Елизавета Ароновна под всем известный глуховатый перестук металлических ложек о керамические бока чайных кружек, сопровождающий всегда начало чаепития.

1981 г.

Зайчик М. Феномен. Эрмитаж, 1990.

ГОРОД И МИР

Марина РАЧКО

ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ

ПОВЕСТЬ

Дорогой Николас, спасибо за поздравление бабушке с ее не девяностопяти-, между прочим, а девяностосемилетием. Я еще в Вене заметила, что она вызвала у Вас особенный прилив родственных чувств (не единственный ли?). А вообще все визитеры приходят в волнение от ее долголетия. Наверное, думают: «Значит, и я могу так вот жить и жить, почти вечно... Сидеть в кресле, держать на коленях книгу, величаво кивать пожилым гостям собственных внуков...» Как-то одна гостья, и сама лет семидесяти с гаком, сказала потрясенно: «Смотрите! У нее голубые глаза!» А знакомый из старых эмигрантов (с историческим подходом) считал, считал, потом говорит: «Если не ошибаюсь, в тысяча девятьсот четырнадцатом, не правда ли, у вашей бабушки уже был, не правда ли, ребенок...» Кстати, о тысяча девятьсот четырнадцатом... По пути из Вены в Нью-Йорк наш эмигрантский самолет приземлился на час в Женеве. Узнав, где мы, бабушка не упустила лишнего повода похвастаться: «Видишь, — говорит, — я всегда добивалась своего: в четырнадцатом, перед самой войной, мы с мужем как раз собирались в Швейцарию. И вот я здесь!..»

Говоря об историческом подходе, Николас... бабушка пережила десяток русских правителей (начиная с Александра Третьего и кончая неслучайной партийной мелочью), всех своих братьев и сестер (числом пять),

всех друзей, мужа и обоих детей. Я уж не говорю о пережитых ею трех больших войнах, трех голодах, великом терроре, борьбе с космополитизмом... — семь коров тощих, семь дистрофичных. Словом, если бы давали ордена за выживание, скажем, «орден Робинзона Крузо» или «медаль за оборону Жилплощади», — бабушка была бы в первых рядах праздничных парадов.

Николас, дорогой, на Ваше поздравление бабушка вряд ли ответит: лондонскую открытку она неожиданно принялась суетливо рвать: «Нельзя, нельзя, вдруг скажут — связь с границей». Защитный рефлекс сработал по академику Вышинскому. К тому же она раздраженно оспаривает свой возраст: «Девяносто семь? Ну что глупости-то говорить!» — «Да? А сколько же тебе?» — «Ну, восемьдесят три, восемьдесят четыре максимум».

Как бабушке Америка? Как в густом тумане, я полагаю. Она наблюдает ее из окна нашего «таунхауза» на окраине Ипсиланти, штат Мичиган, откуда видны только стоянка машин и помойные баки в зелени. Вчера Наташа играла на травке перед домом с черным соседским мальчиком. Бабушка долго следила за ними с явным беспокойством, потом спрашивает:

— Ньюша, это правда, что в Америке есть негры?

— Бабушка! — говорю я в изумлении, — ты полчаса смотришь на мальчика, с которым играет Наташа. Ты что, не видишь, что он черный?!

Бабушка говорит с сомнением:

— То-то и я думаю: не то еврей...

Каждый вечер она требует, чтобы я проверила, заперты ли двери: «А то газеты пишут, что в Манхаттане большая преступность». — «Да мы-то не в Манхаттане». — «Как же, всегда говорили: Манхаттан!» — «Не Манхаттан, а Мичиган». Поджала губы и говорит упрямо: «Ну, это, может быть, ты так считаешь...»

...Николас, Ваши комплименты взволновали меня, наверное, преувеличенно, как матроса после шести месяцев плавания (исполнится через неделю) обнаруженный в кармане желудь (цветок?). Земли не видать. Сердечное спасибо за приглашение, но идея поездки в Лондон утопична, поскольку американская потогонка не дает перевести дух ни на минуту. Полцарства — за месяц беззаботности!

Так что всей вновь обретенной лондонской родне посылаю воздушные поцелуи воздушной почтой. По-

жалуйста, пишите мне. По-английски. А я буду отвечать по-русски, тогда, по крайней мере, мы не будем себя чувствовать двоечниками, которым задано написать сочинение.

Николас, Америка — «колоссаль», но Вена — все еще мое лучшее воспоминание в эмиграции, а Вы — все еще мое лучшее воспоминание в Вене.

Целую
Аня.

* * *

...Николас, честно говоря, идея описать бабушкину жизнь кажется мне бесплодной. Единственный, кто мог бы написать настоящий бестселлер, — сама бабушка (теоретически, конечно). «Руководство по выживанию»: не заглядывать вперед, не оглядываться назад... Как говорит одна наша советская приятельница: «Я знаю, почему моя тетка смогла все это перенести. Она оглохла в тридцать три года».

Разумеется, я сама никакой книги написать не могу, не только по лени и бесталанности, но и оттого, что по-настоящему, сердечно, помню только свои собственные стыды, позоры и вины. Ну что может создать человек, которому не знакомо чувство правоты?

Однако... возможность выговориться меня, признаюсь, соблазнила, поэтому давайте сделаем так: я напишу, что помню, а уж Вы превращайте, как Гоголь, эти «сцены низкой жизни» в «перл создания».

Самое первое воспоминание моей жизни — унижительное (я вас предупреждала). С бабушкой за сценой — то есть на кухне. Я сижу на высоком стуле на дачной веранде и давлиюсь пирожным «буше». Бабушкина сестра тетя Таня, статная и, что называют, «интересная», в стальных локонах, держит мою руку в своей, как в капкане, и, дразня, говорит:

— Раз не ешь пирожное, так и буду держать руку в плену!

Это еще что за чудовищное изобретение! Руку не выдернуть. Сквозь воспитанное хихиканье, я чувствую, прорываются злые, беспомощные слезы раба. Незаметному их сглатыванию мешает разбухшее во рту пирожное. И первый требовательный крик о помощи: «Баба Апа!» Апа — Агриппина.

Смутно помню первые наказания — всегда за плохой аппетит. После дневного сна из-за щеки выковыривают котлетку, с которой я спала, не решаясь выплюнуть... Вообще, я не испытывала страха перед бабушкой, скорей, мое почти беспрекословное послушание было способом остановить ее неумолчное ворчание, под которое я жила в детстве, как жители гор под шум водопада.

В нашей семье насилие не применялось. (Кошмарный летний день, когда меня обещали выпороть «сантиметром», — знаете, такой клеенчатый ремешок с сантиметровыми делениями, которым пользуются портнихи. Да так и не выпороли.)

Бабушка действовала мирным обманом. С уверенностью, которой я свято доверяла, она обещала, что у зубного будет не больно (!), что в гости, куда она меня тащит, придут дети (а их и в помине не было), что есть мороженое зимой запрещено законом и за это штрафуют. Когда же дело было сделано, я добродушно забывала обещанное.

Маму вранье раздражало, и в детстве я часто слышала ее упреки, на которые бабушка, не дослушав (никогда не дослушивала), бормотала: «Это ложь во спасение. Так и в Библии сказано... Есть ложь во зло, а есть — во спасение. Спроси кого хочешь». Библия — которую я знала только из этих бабушкиных упоминаний — казалась мне чем-то исчезнувшим и невозстановимым, как динозавр.

Из отвращения к бабушкиным методам воспитания мать действовала прямыми и категорическими ультиматумами: «Или ты сейчас же, или я...» Бедная мама, не зная, что теряет, общалась со мной посредством «замечаний» и одергиваний. Еще были порывистые объятия после выжатых из меня просьб о прощении. Они остались в памяти как самые тяжкие минуты — кусок сахара после дрессировки.

Так на веранде. Злая и униженная, с рукой в плену, я вдруг вижу, что по зеленому склону к дому торопливо идут, почти бегут наши городские — мама и дедушка — оба в белой чесуче, на ярком солнечном ветру... Приехали, чтобы спасти меня от смешного позора. И мой торжествующий крик, и рука свободна, и обе сестры, с беспокойством приникшие к окну, и захлебывающийся бег по траве прямо в дедовы объятия, и говор, говор вокруг. Что случилось? А случилась война.

Войной в нашей семье, как, впрочем, и всем, заведовала бабушка. И поскольку она была всю жизнь убеждена, что доверять можно только ближайшим родственникам (вообще во всем, в чем бабушка была уверена, она была уверена раз и навсегда), то ни Сталину, ни Риббентропу, ни знакомым она не доверяла и, в отличие от остального населения России, загодя готовилась к войне.

В огромном буфете по имени Нотр-Дам, нерешительно презираемая своим польским, благородных кровей мужем, она постепенно накапливала «хлам». На широких ароматных полках расставлены были бутылки тягучего подсолнечного масла и прозрачные водочные («А зачем вода в бутылках?» — «А ну, сейчас же из буфета!»), мешочки с крупами, мукой и горохом (особенно обрати внимание на горох, мой мальчик), большие холщовые мешки постоянно обновляемых сухарей, десятки коробков спичек (я любила к ним принохиваться, и вообще — ко всему), «палочки» дрожжей; рафинад, пачки печенья и россыпи репчатого лука... Все это выменивалось в блокаду на краюшки белого хлеба, завернутые во влажные тряпки куски шпига, на «шоколадный лом» и маленькие бежевые осколки глюкозы, пока они не исчезли даже с барахолки. Как мне помнится по бабушкиным рассказам, самым главным обменным фондом были почему-то спички и репчатый лук.

Кстати, Ник, а Вы вообще знаете слово «барахолка»? Это «блошинный рынок». Только в вашем выражении игра смысловая, а в нашем — лингвистическая, с прелестным, многозначным, в этом случае пренебрежительно-собирательным окончанием «ка» (которому вообще-то положено быть уменьшительным, но с которым даже слово «ночь», превращаясь в «ночку», не делается короче, а приобретает лихой, разбойный оттенок). Только не уличайте меня, пожалуйста, в лингвистическом невежестве — я ведь Пи Эйч Ди * не прошу.

Позже, когда слово «барахолка» исчезло из обихода (вместе с последней возможностью свободной купли-продажи), народ много экспериментировал с этим окончанием «ка» — почти всегда иронично. Например, недозволённая властью деятельность, произведения искусств, книги и вообще запретные плоды получили широко распространившееся название «запрещенка»; студенты-ме-

* PhД — доктор философии (амер.).

дики называли занятия по анатомии «расчлененкой» (хотя на мой вкус это уже изощренка), а смерть, вечную разлуку и эмиграцию — должно быть, с намеком на причастность Запада — стали называть неверморкой — от never more*.

Значит, война...

Мы жили (чуть не написала «тогда», а на самом деле «всегда») на Разъезжей улице в огромной квартире, которая до революции принадлежала бабушкиным родителям (т. е. нашей с Вами общей прабабке и моему прадеду) Юлии и Галактиону Ш.

Я родилась, как принято у людей моего поколения, в 1937-м, и к тому времени квартира давным-давно была коммунальной. Так что, например, залу с мраморным камином, мелькавшую без конца в рассказах родственников, я впервые увидела лет в двенадцать, когда мне пришлось провести врача к больной соседке. Обычно у этих соседей никто не бывал — там муж был мизантроп. Уж не помню, жулик он был или высокопоставленный партиец, что так оберегал свой внутренний мир, но только на стук он никогда не кричал, как другие: «Войдите!», а каждый раз бесшумно появлялся сам и быстро прикрывал за спиной дверь. Оба они были тонные, немножко путали аристократизм с чванством, и их подчеркнутая вежливость доходила до того, что они всё называли полными именами: «Валентин, захвати, пожалуйста, из кухни картофель»; «Серафима, не забудь сервировать сельдь»...

До okazji с врачом я представляла залу только по предновогодним бабушкиным воспоминаниям: распахнутые белые двери, мерцающая ель вдаль и толпа детей (шестеро своих и гости) с бабушкой впереди с разбегу летит из гостиной, как по катку, по скользкому паркету через весь сорокаметровый простор... И чисто, пахнет воском с мандаринами, наступает новый 1900 год, и на платяном шкафу в прихожей плохо припрятана гигантская круглая коробка от «Норда».

«Воронью слободку» моего времени, даже если представить ее отдельной квартирой, трудно было назвать роскошной или уютной, но в ней осталось какое-то, знаете, обаяние, общее для многих больших, темноватых

* Никогда больше (англ.).

петербургских квартир. Высокие окна на север, на крытую диабазом Разъезжую; планировка, такая неожиданная, словно архитектор сам не знал, на что наткнется за углом. По длинному коленчатому коридору можно было бы пустить автобус и даже сделать пару остановок. Последний его поворот выводил на кухню размером с самолетный ангар, которую освещало только одно окно — в достоевский двор. За кухней еще шла «людская» со ступенькой. Темная «вторая прихожая» — с лепниной и белой кафельной печью — была когда-то столовой. От нее фанерной стенкой отгородили часть с окнами и сделали отдельной комнатой. Там жила прабабушка Юлия, которая вовремя, перед войной, умерла.

Ну и все в таком же духе: застекленные книжные шкафы с изданиями 1890-х годов, дубовый Нотр-Дам с очертаниями настоящего, корниловский сервиз...

С балкона в нашей комнате (бывшей гостиной) были видны Пять углов — перекресток Разъезжей, Загородного и Троицкой-Рубинштейна — и старинный дом-утиг. Его башенка, похожая на кронверк Петропавловки, украшала закатное небо. В квартире жили семейные истории и призрак «брата Жени», мистификатора и художника, умершего молодым от туберкулеза.

Мировые катастрофы бабушка принимала бодро. Она, по-моему, жила не разумом и даже не чувством, а инстинктом и поэтому довольно легко управлялась с иррациональным. После революции действия новых властей нельзя было предугадать, их можно было только унюхать, и это было по ней. Скажем, когда стали конфисковать золото и серебро... Нет, нет, в том-то и дело... Бабушка бросилась действовать не тогда, когда начали конфисковать, а когда «пошел слух», что начнут! Люди рациональные этому слуху не верили: ну, отберут настоящие драгоценности у настоящих богачей, но не столовые же ложки... Бабушка, без колебаний и сожалений, в два дня снесла все, что можно, в Торгсин, мелочи спрятала в надежное место, а на завтра пришли отбирать столовые ложки.

Только не подумайте, что она всегда побеждала в этой борьбе рационального с иррациональным. В тот раз, например, властям стало подозрительно, что в квартире нотариуса-поляка нет никакого золота, и деда на всякий случай арестовали. Вместе с дюжиной сосе-

дей и знакомых он простоял трое суток в набитой конторе. Правда, методы дознания были еще детские: пить не дают, в уборную не водят... Но и народ ведь был еще непривычен — кто-то умер от одного стояния. Дед, однако, про спрятанное не сказал. Почему? Знал, что не поможет? Из шляхетской гордости? Или на этот раз бабушка решила не доверять даже ближайшим родственникам? Через три дня его освободили. Был призван «брат Шура», врач-педиатр, поправить дедово здоровье.

Слушая рассказы об этом эпизоде, я каждый раз иезуитски спрашивала бабушку: «А что ты ЧУВСТВОВАЛА в эти три дня?» И она неизменно отвечала: «Да уж ДЕЛАЛА, что могла» (в том смысле, что хлопотала об освобождении). И это был искренний ответ: бабушка не помнила своих чувств, потому что каждое ее чувство немедленно превращалось в действие.

Словом, у нас сохранилась сахарница Фраже...

Когда «пошел слух», что частные квартиры будут превращать в коммунальные, бабушка опередила власти и заселила квартиру родственниками и друзьями. Загадочным образом она уже разбиралась во всем этом революционном сюрреализме: «жактах», «прописках», «управдомах», без тени смущения ввела в свой словарь мутантское выражение «жилплощадь».. Боже мой, какие слова вырастила советская эпоха! Как будто в учреждения вступили тысячи хлестаковских Осипов и указом Президиума Верховного Совета ввели в стране «галантерейное обхождение»...

...Из бабушкиных историй того времени:

Приходит управдом. «У вас большая вечеринка намечается, так мы пришлем своего человека». — «Ой, ну что вы, у нас ведь соберутся только близкие, а тут вдруг чужой человек...» — «Да он тихий, интеллигентный, студент, посидит в уголку, семейные альбомы посмотрит». — «Ой, а нельзя ли как-нибудь обойтись без него?» — «Ну, составьте список гостей и занесите, мы посмотрим...» Посмотрел список и говорит: «Можете не беспокоиться, нет нужды никого посылать — у нас тут, я вижу, три своих человека».

Соседи Лещинские (тоже по рассказам). Муж — поляк, приятель деда, кажется, офицер... жена Лизочка, болезненная, и двое сыновей. В 36-м старшему семнадцать, младшему четырнадцать. Имя старшего неважно,

а младшего — Кирилл. У меня сохранилась фотография вечеринки 36-го года в квартире «тети Мани» на Загородном: конец стола, задвинутого в тюль эркера, и за ним наши с Вами родственники, молодые и миловидные, в каких-то пикантных сочетаниях. Например, аппетитная жена мамино брата Вади хозяйски привалилась к инженеру Зимбицкому, тетки Таниному мужу... А у самого Вади лицо, которое американцы определили бы как «all russian boy»* ...И вот где-то в середине этой самой вечеринки, веселой, как все «пиры во время чумы», раздался телефонный звонок. Хмуро звонил старший сын Лещинских: у Кирилла температура, он заболел, пусть родители идут домой. Лизочка нервно спрашивала в трубку: «Да что случилось? Он был абсолютно здоров!» Женщины сочувственно столпились у телефона. И вдруг в трубке раздался голос Кирилла, такой звенящий, что его слышали все стоявшие вокруг: «Мама! Не приходите! Здесь НКВД!..» И гудки. В мертвом молчании Лещинские оделись. Какой-то рационалист из гостей сказал: «Не ходите! Детей не тронут!» Лизочка только посмотрела на говорившего, и потом этот взгляд все художественно описывали... На следующий день правую часть ее лица парализовало — ночью взяли не только самого Лещинского, но и Кирилла. Когда началась война, старший сын увез Лизочку в Москву...

Война вымела и других соседей, осталась только семья «чужих» в девятиметровой каморке у лестницы — скромный и милый рабочий по фамилии, не поверите, Свинтусов, с революционно настроенной женой и сыном, не поверите, Гарри, моим ровесником. В этой же комнате, размером как раз в четыре гроба, жил призрак «брата Жени».

Интересно, что из всей войны я помню только два три летних эпизода. Все остальное, как кажется, происходило зимой. Зимой и вечером.

А тут — день и жара, и дядя Вадя, мамин брат Владислав, дома на «побывке» (значит, перед отправкой на фронт, значит — летом или ранней осенью 41-го).

Толстая годовалая кузина Ленка, с огромным бантом на трех волосинах, стояла у стула и самозабвенно ела манную кашу из глубокой тарелки. Меня, четырех-

* Типично русский парень (англ.).

летнюю, эти воспитатели, мама и дядя, поставили на обеденный стол и уговаривали с него прыгнуть. Оба они, загорелые и белозубые, в майках, стояли шагах в полтора. Дядя протягивал руки и говорил: «Прыгай, не бойся, я тебя поймаю!» Мои страдания усиливались тем, что за минуту до этого он подбрасывал к высокому потолку и ловил Ленку, ее белые волосины взлетали от ветра, но толстая физиономия была совершенно спокойна, и глаз с терпеливой надеждой косил на кашу. А мне нужно было сделать всего один прыжок до его сильных рук, и я боялась. Я видела, что маме стыдно за меня — она стояла с напряженным лицом и все вскрикивала: «Да прыгай, трусиха!» Наконец дядя сжалился, шагнул сам и крепко стиснул меня в объятьях. Кажется, именно с тех пор в моей голове засело убеждение, что благородная снисходительность к слабости есть неременная черта мужского характера. А солдатский запах остался моим тайно любимым на всю жизнь — загара, курева и кожаных ремней.

Откуда-то из тех же дней (или часов?) помню, как я, энергично кривляясь, с наслаждением повторяю: «Дя-дя-Ва-дя, дя-дя-Ва-дя!» — так удобно для детских упражнений, словно создано для начинающих... И Ленка бессмысленно вторит: «Дя-дя-Ва-дя!» А кто-то говорит весело: «И эта туда же!» И — Ленке, отчетливо выговаривая: «Папа! Па-па!»

После ухода дяди на фронт (and to eternity*) его жена увезла Ленку к своим родителям. Перед отъездом произошел довольно напряженный спор между ней и бабушкой — оставаться или не оставаться — чуть ли не единственный, во время которого я помню бабушку в ярости. И все потому, что не победила, не настояла на своем. Несмотря на ее запугивания (с поднятым крестным знаменем, как боярыня Морозова: «Ты горько раскаешься — ты потеряешь комнату!»), невестка, хоть и расстроенная, но не поддавшаяся бабушкиному гипнозу, увезла дочку. Дяди Вади́на жена считала жизнь в провинции во время войны безопаснее и сытнее (в чем оказалась абсолютно права). Бабушке же нюх на этот раз изменил: «К Питеру?! Немца?! Да на тыщу верст не подпустят! Что глупости-то говорить... Считается вторая столица!» В конце приводился, как всегда, сокрушительный аргумент: «Если не веришь мне, выйди на кухню и спроси кого хочешь!»

* И в вечность (англ.).

Но спрашивать, собственно, было уже некого. Все эвакуировались. Маме предложили уехать с Публичной библиотекой, в которой она работала, но бабушка простерла свою железную волю, и мы остались.

Последние поезда ушли под бомбами, на развалинах продуктовых Бадаевских складов жители собирали в кастрюли сахарный песок, окна заклеили крест-накрест полосками бумаги, «опустили, пожалуйста, синие шторы», и с улицы просочилось новое, но не требующее объяснений слово БЛОКАДА.

Затем в памяти моей торчит один эпизод, который кажется каким-то поворотным, на рубеже, отделяющем летнюю картинку с дядей от собственно Блокады. Эпизод такой: в моем вполне мирном и бессмысленном сне раздался ужасный грохот и дребезг стекла. Я скорей проснулась в привычной уже надежде, что сейчас все кончится, но оказалось, что это не во сне, а на самом деле. Наверное, я закричала, заплакала — не помню... Помню недолгий ужас и потом маму. Как она решительно взяла меня на руки и поднесла к балконной двери. Старый двухэтажный дом напротив горел, как на цветной картинке, — пламя рвалось из окон. Улица Разъезжая была театрально освещена. Не знаю, на что смотрела мама, но я действительно, как в сентиментальных кинофильмах, сразу увидела большую куклу, лежавшую на мостовой среди не то вещей, не то... И я стала спрашивать в тоске, которую помню даже сейчас:

— А девочка? А где же девочка?

Вот когда мама вспомнила уроки бабушкиной «лжи во спасение». Если бы ко мне тогда приставить датчики, они зафиксировали бы, как застрекотали все иммунные системы, лихорадочно вырабатывая психологию выживания. И через несколько минут я твердо усвоила, что дом, перед тем как ему гореть, бывает оставлен жителями. Что всех их эвакуируют в безопасное место, в первую очередь детей с мамами. Куклу, конечно, даже и такую большую, можно забыть в спешке или просто оставить, потому что там, куда их эвакуируют, знаешь, какие куклы!.. Ого-го! С жадной готовностью я усвоила бабушкино убеждение, что мир устроен правильно и плохое случается только с теми, кто бестолков, непредусмотрителен и все делает не так, как «принято».

Я стала относиться к несчастным и обездоленным с легким чувством превосходства.

Дорогой НЫК! (такая транскрипция «i» дается в эмигрантском русско-английском разговорнике, чтобы приблизить нас к английскому произношению).

Вот теперь я понимаю проблему писания писем из-за границы — словно начинаешь не письмо, а жизнеописание. Обо всем вроде надо рассказывать с самого начала, иначе не понять; все новости — сугубо местного значения; проблемы другие, даже шутки приобрели американский акцент. Так что разрыв, который был между нами из-за того, что Вы росли в Лондоне, а я в Ленинграде, увеличился на Америку.

До сих пор моя главная эмоция в здешней жизни — нервная смесь восторга и страха. Страх будит по ночам, а восторг доходит до спазм в горле.

Восторг, во-первых (в школьной последовательности), от природы и климата. Природа ни за какие здания, заборы, пакгаузы и брандмауэры не отступает. Плющ на проводах (!), который здесь почему-то не опасен. Улицы, тесные от кленов или яблонь, весной и осенью превращаются в рекламные открытки. Интересно, что в Ипсиланти осенью не бывает ветра. Деревья опадают, и листья лежат под ними пестрыми кучками — под каждым своя.

Провинциальные города (по контрасту с советскими) поражают меня больше всего. Умудрились сохранить красоту и природу даже на задах автобусных станций, даже у городских помоек... Словом, куда они девают все свое уродство и грязь, я поняла только, когда приехала в Детройт. Вот там все это и есть. Оставлено на развод.

В середине ноября, в день моего рождения (в Ленинграде обычно день первого снега и вечных зимних сумерек, а здесь солнечный и почти жаркий) отправились компанией на ферму, где делают сидр. Огромный красный амбар — как на открытках «Home, sweet home» — внутри весь уставлен бумажными кошелками с разноцветными яблоками. Яблочный дух такой сильный, что уже перестает быть запахом и становится литературным персонажем. У старинного дома — румяные и приветливые герои Карстен Мак-Каллерс: «where are you from, ma'm? From Russia?! Lord! Is it in Siberia?» *

Во-вторых, экономика тире богатство. Не богатых

* «Вы откуда, мэм? Из России?! Боже правый! Это в Сибирии?» (англ.).

людей. Богатых, по-настоящему, по-здешнему, я вообще не видела. Ни у каких миллионеров в домах не была. Нет, я имею в виду богатство страны, ее супермаркетов, «забегаловок», государственных школ, общественных уборных, клиник для нас, бедных... А главное — удобно. Вам, наверное, непонятно, что у человека могут слезы благодарности наворачиваться на глаза, когда он покупает карандаш с резинкой на конце. А бутерброд с горячей котлетой... А зубной кабинет отдыха!.. А рожать, говорят, так удобно, что даже стыдно.

В-третьих (на самом деле во-вторых, переходящее в во-первых) — доброжелательство и уважение, я бы сказала, ко всему живому. В этом смысле медсестры, официантки и кассирши с последнего места в Советском Союзе здесь переместились на первое. В детские сады маленькие дети рвутся и даже демонстративно показывают, что любят воспитателей больше, чем родителей. С учителями шутят!! С профессорами спят.

И так далее, и так далее, и так далее... и, наконец, дорога! Наконец — потому что она находится точно на границе и на пике моих восторгов и страхов.

Недавно мы с мужем и Наташей (которой теперь шесть) подъезжали впервые к Чикаго. И так случилось, что наш въезд пришелся как раз на вечерние часы пик — между 4-мя и 5-ю пополудни. Дорога в Чикаго входит пятирядная, с бетонными стенками, поднятая над предместьем на уровень крыш и последних этажей. По ней летят, не снижая еще скорости, в пять рядов, как-то умудряясь вылетать на нужных съездах и влетать в редкие просветы между плотно идущими машинами с так называемых «мерджей». (И я думаю: что за американцы в этих машинах? Те, про кого их главный мужчина сказал: «Какими вы не будете?» Ну хорошо, а я-то что здесь делаю, Анна Иванна Обломова?) Среди автомобилей мчатся гигантские, закрывающие небо грузовики. Между ними иногда вспыхивает низкое солнце и слепит водителей. Следишь за машинами и знаками так напряженно, что не успеваешь взглянуть на город, который разворачивается под дорогой. Над ней и под ней проходят еще другие дороги предгородской развязки, так что временами видишь сразу сотни машин, летящих навстречу, над, вбок... Машины меняют ряды, обгоняют друг друга, как конькобежцы. И такой же вот все время звук: вжик-вжик! Звук скорости. Боже милостивый! И не то что даже страшно, а как-то заво-

роженно. Уж и за ребенка, притулившегося на заднем сиденье, перестаешь бояться, а только думаешь залихватски: «Ну, все!!..»

Наш с Вами персонаж заметно поздоровел — мне смешно вспомнить, как подруги говорили: «Ты с ума сошла везти с собой девяностолетнюю старуху — она у тебя умрет в дороге!» А бабушка — как Иван-дурак из «Конька-Горбунка» — прыгнула в кипящее молоко и помолодела. Тут гавайский банан, там флоридский апельсин, глядишь — гипертонии как не бывало. Каждое утро она обходит солдатским шагом наш квартал и пытается заговаривать с соседями.

— Бабушка, они американцы, они по-русски не понимают.

И бабушка сердито говорит:

— Но простейшие-то слова они должны знать!

Я чувствую: в ней живет не истребленная возрастом уверенность, что она сможет приспособить к себе всякую новую жизнь. Но все мои попытки приспособить ЕЕ к новой жизни разбиваются о боярское, допетровское упрямство. «Халлэ!» — говорит она громко уходящим из дома американцам. И на поправки детей: «Ну вот еще, будете меня учить... Всегда считалось, что „Халлэ“ значит „До свидания“».

Поехали с бабушкой в здешнюю ратушу — горсовет — Сити Холл устраивать ей пенсию — пособие-SSI. Первая в Америке унылая очередь из стариков и неудачников. Комфортабельная, конечно: на всех хватает стульев, тепло, светло, играет тихая музыка. Чиновником, занимавшимся бабушкиным делом, оказался пожилой джентльмен. Я облегченно вздохнула — молодые чиновницы здесь обычно словно зачарованные — в ушах музыка, во рту жвачка, в глазах *La dolce vita* *. Муж говорит про них: «Эти — из страны Донтгиведемия» (от «Don't give a damn») **. На лице же нашего чиновника было написано, что он честен, опытен и доброжелателен. Он не раздражался на тупых иностранцев, а, наоборот, старательно выговаривал слова, чтобы я легче его понимала:

— Есть ли у вашей бабушки здесь состояние, счет в банке?

— Н-нет (еще с изумлением).

* Сладкая жизнь (итал.).

** Наплевать (англ.).

— В Европе или вообще в какой-нибудь другой стране?

— Нет (уже с огорчением).

— Какие ценности и деньги она привезла с собой? — (И, заметив мое поглупевшее лицо, особенно разборчиво): — Я имею в виду драгоценности стоимостью свыше тысячи долларов, старинные монеты... такого рода вещи...

(Вот те на! Я думала, что хоть чиновники осведомлены о советском исходе — один чемодан на человека, 90 долларов на нос, 3 серебряные ложки советского производства... Или он тоже думает, что Россия — это в Сибири. Черт подери, мы одна шестая или мы не одна шестая?..)

— Нет, нет, ничего... У нее ничего нет.

Чиновник поднял на меня спокойные, пронизательные глаза:

— В таком случае, что же вас заставило привезти ее с собой?

Вот уж действительно.

Когда я занимаюсь английским, я выхожу минут на пятнадцать за дом, на лужайку и пытаюсь загорать. Все это время бабушка стоит в проеме, придерживая металлическую дверь на пружине. Сильные очки делают ее голубые глаза всевидящими.

— Ньюшенька! Не лежи на солнце... опасно... разжижение мозгов... мне ли не знать, я ж сколько медсестрой работала... (Она уже забывает, кому в чем можно подвирать).

И через три минуты снова, нежно:

— Ньюшка! Как врач тебе говорю: не лежи на солнце, а то помрешь, оставишь меня одну... Надо думать о старом человеке... Чего бы в дом не пойти — тебе все равно, а старому человеку спокойнее.

И еще через три минуты, и еще... Ласково и неотступно. И стоит в дверях, как наказание Господне.

Однажды в минуту просветления бабушка сделала на редкость пронизательное замечание. Из какого-то ее высказывания стало ясно, что тут ей плохо, а ТАМ — было хорошо. «Ну что именно там было лучше?» — «Там, — сказала бабушка, — у меня было свое место!»

Бедные эмигрантские старики! Потеряв СВОЕ место, они теперь от растерянности пытаются занять ВСЕ. И вот бабушка почти круглосуточно занимает угол дивана в нашей американской бездверной гостиной и «сла-

бым манием руки» контролирует передвижение всех родов войск.

Я зарабатываю машинописью, сижу обычно в подвале, подальше от бабушки, пока не услышу ее боевые трубы:

— Нюша! Нюша! Скорей...

— Ну что еще?

— Наташа говорит по телефону!

— И что?

— Разве она умеет?

— Умеет.

— Но все равно нельзя, сейчас гроза...

— Тьфу ты! Господи!

— Нельзя; нельзя... во время грозы нельзя пользоваться телефоном... Так и в телефонной книге всегда было написано: «За-пре-ще-но»!.. и штраф... у-у-у! Соловейчик, наш квартуполномоченный, однажды позвонил!.. Потом все решали, кому платить... Ах, здесь можно?.. Ну да, может, здесь грозы другие... почему знать... климат... А я тогда так решила остроумно: у нас каждый платил по 30 копеек...

И тут я уйду в свое королевство и крепко захлопываю за собой дверь подвала...

...Видите, особенность этого истязательства заключается в том, что главным наслаждением моей жизни (после любви) всегда было (и есть, и будет) общение. И вот теперь бабушка ежеутренне начинает «Goethes Gespräche»:

— Почему так жарко?! (это требовательно). Сентябрь всегда считался осенним месяцем. А!.. (это озаренно). Тут солнце, наверное, низкое, ближе к земле...

Но ничего, скоро приедет еще одна пожилая родственница, тетушка мужа, и тогда мои «Разговоры с Гете» перейдут в настоящие «Unterhaltungen» (der russische Emigranten)*.

Теперь Вы понимаете, как радуется меня наша переписка. Не дает потерять квалификацию. Так что пишите.
Целую Аня.

...Как все же поучительно, что даже ленинградская блокада, ставшая для одних леденящим душу (на этот раз в прямом смысле) случаем массового уничтожения,

* По аналогии с «Беседами немецких эмигрантов» Гете.

для других превратилась в синоним детства — с маминной любовью, с бабушкой-дедушкой, с праздниками, страхами, с новыми!..

«Новое» началось с перестановки. По распоряжению бабушки Норт-Дам и зеркальный шкаф перегородили бывшую гостиную на светлую часть с обеденным столом и «зашкафную», где вокруг печки-буржуйки спали на двух высоких кроватях мы с бабушкой и дед — на нейтральной полосе, на бархатной оттоманке.

Регулярно стал появляться еще жилец — бабушкина подруга, смешливая, в седых кудрях, с детским именем Люлюша. Всегда поздно вечером, держась за сердце и показывая жестом, что сейчас... отдышится... и все расскажет. Она летела сначала вниз по своей темной лестнице, потом вверх — по нашей... Люлюша ночевала у нас потому, что боялась умереть одна. Укладывали гостью «в квадрате». На светлой половине (уже совершенно темной — синие шторы гордо прикрыты старыми бархатными занавесями с «лямбрикенами»), отодвинув обеденный стол, составляли вместе четыре низких, уголками, кресла. Получался мягкий, обтянутый «суровым полотном», огражденный, как заборчиком, спинками кресел квадрат — самая уютная постель в доме. И хотя полноценный взрослый мог спать в квадрате только по диагонали, мне никогда не разрешали поменяться с Люлюшей местами. В девять меня отправляли «за шкаф», а гостя еще долго кашляла и хрипло смеялась на другой половине. И, согреваясь у себя под ватным одеялом, я утешалась нашептанным в ухо бабушкиным аргументом, что зато мне безопасно за огромным непоколебимым Норт-Дамом, а Люлюша в ее квадрате — как на передовой.

У одного писателя, моего ровесника, есть пародийный рассказ о том, как лейтенант и сержант пошли в разведку. Там была такая фраза: «Раздался выстрел. Лейтенант упал как подкошенный. Сержант насторожился». Примерно то же самое произошло с бабушкой. Когда ввели продуктовые карточки и на всю семью мы получили один рабочий паек — мамин; когда мужчины практически исчезли из домашнего обихода; когда соседка Вера, вернувшись с работы, увидела холм кирпичей вместо дома, в котором утром оставила дочь и мать, — бабушка насторожилась и решила поехать за советом к «брату Шуре» — врачу-педиатру.

Брат Шура был в нашей семье притчей во языцех: он никогда не пил, лежа на спине, чтобы не поперхнуться, никогда не гладил кошек — из-за глистов, а собак — из-за блох... Все самодеятельное лечение, производимое бабушкой, делалось именем брата Шуры: марганцовка, соляная кислота «от вялости кишок», шелковый салол от поноса, капли датского короля... И на коммунальной кухне безапелляционное: «Господи, мне ли не знать! У меня брат-то Шура — врач!»

В гости к брату Шуре, как и в любое путешествие по блокадному Ленинграду, бабушка взяла меня с собой («Убьют — так вместе!»). Инструкция: всегда держать ребенка за руку, не отпуская ни на шаг, особенно с тех пор, как «пошли слухи» о каннибализме. Бабушка расплачивается в трамвае — я, по инструкции, вцепляюсь в ее пальто и ни при каких обстоятельствах не отпускаю. «Если что — ори!» Я прожила, держась за руку, до 46-го года, до третьего класса школы...

Брат Шура жил со второй, «молодой» женой и новыми детьми, моими ровесниками (хотя им полагалось быть мне дядей и тетей). Тетя была даже на год младше. Наш с бабушкой блокадный визит запомнился мне как первый.

Ну, жили они, понятно, в бывшей зале своей бывшей квартиры в бывшем доме купца Дехтерева на бывшей Фурштадтской, за бывшей Лютеранской церковью. (Да и сейчас там живут.) Это одна из неожиданно тихих улочек, отходящих от шумного Литейного, со старинными деревьями и особнячками. В парадном сохранились матовые стекла с прозрачным узором, и вдруг покажется, что за ними все еще идет бывшая жизнь... А войдешь... Холод, запустенье и мраморный камин, выкрашенный шаровой краской в цвет линкора.

На дверях Шуриной квартиры, обитых неведомой миру материей «гранитоль», было чуть не 15 электрических звонков — «воронья слободка», видимо, была не нашей чета. Однако ни один звонок не работал, потому что электричество, по новому, военному выражению, уже «скапутилось». И мы стали стучать...

О, средневековые стукі военного времени! У каждого жильца — свой условный. Два длинных, три коротких; на мотив «Старого барабанщика»... К нам стучали «Чижиком-пыжиком» («Нюшка другой мелодии не знает». Чушь. Просто валили на ребенка, а на самом деле всей семье медведь на ухо наступил.)

Постучишь и прислушиваешься у глухих дверей с замиранием сердца. Неужели назад, не отогревшись, не повидавшись?.. Опять на мороз?!... И вдруг слышится что-то, чуть громче стука собственного сердца, — дверь хлопнула как будто или показалось? Нет, еще звук и еще... шаги! Бабушка говорит: «Поздоровайся, не забудь». И с сомнением: «Нина Иванна вообще-то из аристократической семьи»...

Дверь нам открыл такой персонаж, что я сразу забыла скуку долгой дороги и почувствовала себя в театре. Представьте мачеху из «Двенадцати месяцев» на сцене старого ТЮЗа на Моховой в исполнении, скажем, актрисы Викланд. Ну да... Вам не представить... Словом, взбитые кудельки, румянец, наведенный остатками свекольной парижской пудры, театральные заплатки, французские булавки вместо пуговиц... И сладкое сопрано: «Ах, какая большая стала Галина девочка!» Это и оказалась молодая аристократка.

(Нина Иванна была предметом веселого изумления всей семьи — как она с ее водевильной внешностью, фиалками на шляпах, с доверчивостью и невинностью курсистки, так и не научившись пришивать пуговицы, без жалоб все это пережила и вырастила двух здоровенных детей. К старости она даже начинала какие-то административные хлопоты по поводу поездки к заграничным родственникам. Правда, мне запомнился из этой эпопеи только один эпизод. Однажды она позвонила в дверь коммуналки в городе Калинин, где жила Марина, дочь «брата Шуры» от первого брака, тоже врач... И когда Марина открыла дверь, она увидела взмыленную Нину Иванну, только что с поезда, которая в изнеможении прислонилась к дверному косяку и сказала:

— Слушай, Марина, у тебя случайно нет блата в Кремле?)

...В зале на Фурштатдтской нужно было аукаться, и не только потому, что она была огромной, но туда во времена уплотнения втиснули мебель со всей докторской квартиры, и она превратилась в антикварный магазин, оккупированный беженцами. На старинной ширме сушилась пахучая детская простынка, записанная тетей. Сдвинув ее украдкой, я увидела перламутровых аистов, летящих по черному лаковому небу.

Мы с бабушкой сразу потерялись в мебельных дебрях, и я осталась на той половине, где играли дети. Тетя с дядей мне понравились: они были озорные, румя-

ные и замурзанные — достойная массовка деревенской детворы из «Двенадцати месяцев».

В разгар игры (разумеется, прятки) меня занесло в глухой лабиринт с дубовыми виноградными гроздьями по стенам. Я вылетела туда на цыпочках и оказалась посреди как бы декорации кабинета. Под светом зеленой керосиновой лампы сидели действующие лица. Бабушка — прямо в пальто, примостившись у письменного стола и молча (тревожный знак). В кожаном кресле сидел ее мужской вариант — что уже было смешно, — но на нем еще был засаленный плюшкинский халат и черная академическая шапочка. Семья положительно жила в традициях «ТЮЗа». Брат Шура тоже сидел молча и постукивал карандашом по бумагам. Вдруг он сказал отчетливо, как на сцене: «Апа, Антону (это дедушка)... Антону с его язвой, скорей всего, не выжить» — и поднял глаза. Мы смотрели друг на друга, и у меня было дурацкое чувство, что я забыла свою реплику. Потом он поманил меня пальцем. Несмотря на нелепую театральность всей сцены, я не посмела не подойти.

Вблизи лицо брата Шуры меня поразило. До сих пор я видела своих близких или веселыми, или расстроенными по какому-нибудь конкретному поводу. А тут впервые, кажется, реализовалось для меня слово «печаль» — что-то, что вызвано не конкретным горем и не может быть рассеяно сиюминутной радостью. Думаю, это было первое замеченное мною интеллигентное лицо. С какой-то непонятной (и потому обидной) шуткой брат Шура осмотрел мое горло и пощупал железки... Когда он меня отпустил, я сразу ушла подавленная, не захотела даже подслушивать — и напрасно, потому что, похоже, именно во время этого разговора бабушка решила, кому жить, кому умирать, а кому, между прочим, «вырезать» гланды.

Мы с мамой приехали на трамвае к огромной, как деревня, «Шуриной» больнице. Была осень и закат. Дядя и тетя играли со мной в парке, показывали укромные уголки и научили находить и есть кислющие ягоды барбариса (тайком, конечно, — немытое в обеих семьях приравнивалось к цианистому калию. Источником заразы считался некий фольклорный «мужик»: «Пойди вымой сейчас же, а то вдруг мужик на базаре плюнул, почем знать»)...

До сих пор помню прелесть запущенного парка, наше хихиканье, ягоды барбариса... Появились мама и брат Шура (на этот раз в белом халате, но при тубейке) и позвали к врачу. Я беспечно заторопилась, чтобы скорей вернуться. К тому времени я уже бывала у врачей, но они еще не делали мне больно. И, только оглянувшись на детей, я мельком удивилась, что они так смиренно стоят, прислонясь друг к другу, и с интересом смотрят мне вслед. Тетя даже слабо помахала ручкой с вялым цветком. Медицинские дети знали об экзекуции и участвовали в заговоре.

Все, что потом делали со мной в кабинете, делали очень быстро. Главный прием (на редкость отработанный) — не дать ребенку опомниться. Огромная медсестра села в зубо врачебное кресло (еще мне незнакомое), посадила меня на колени и вдруг обхватила могучими руками, не давая рывнуться. Ноги стиснула чугунными коленями. Сзади вторая зажала локтями мою голову. И тут врач, показавшийся мне единственным человеческим существом в этом белом застенке (возможно, потому, что был представителем «исчезающего вида» — мужчиной), сказал серьезно: «Открой рот, детка, тогда я все сделаю очень быстро». Я помню даже то мгновение, когда животный протест, выгнувший мое тело дугой, был побежден бабушкиным голосом с небес: «Ну разве взрослый сделает ребенку плохое?! Что глупости-то говорить!» Я открыла рот и отдалась на милость незнакомца.

Боль была действительно короткой, или ее затмило короткое беспомыслие, и самым тяжелым, кроме плена медсестерских объятий, оказалась необходимость полоскать режущее и кровоточащее горло марганцовкой, тем более, что одна из сестер все время раздраженно повторяла: «Господи, пять лет девице и не умеет полоскать горло!.. Тогда будем прижигать...» И опять моей надеждой оставался только врач. В ответ на мой панический взгляд он сказал голосом верховного судьи: «Ничего, пусть просто подержит там марганцовку и потом выплюнет...» И обе мегеры, ворча, смирились. Врач с видимым трудом, по знакомству, преодолевал равнодушные: «Смотри-ка, от чего ты избавилась!» И показал зажатые в шипцах две розовые сросшиеся клещки — мою уникальную glandу.

Когда меня передали на руки маме, я все время от нее отворачивалась, чтобы как-то выразить возмущение

предательством, — разговаривать было категорически запрещено, под угрозой жуткого слова «прижигать».

Потом меня надолго оставили одну на кожаном диване в большом пустом кабинете — не белом медицинском, а нормальном, с письменным столом и книжными шкафами. Всхлипывать было больно, глотать слезы еще больнее, и я утихомирилась. От старинного сумеречного кабинета веяло послеоперационным покоем. Есть (если с Вами это случалось) такой момент перехода после операции, когда пациент перестает быть просто плотью, парализованной страхом боли (или смерти), и потихоньку становится опять тем, кем он был до операции, — скептиком, кокетливой дамой, ребенком из хорошей семьи... Стекла темных шкафов в кабинете еще отражали розовое небо, значит, и времени-то прошло всего ничего — закат просто сполз ниже, к самым барбарисовым кустам... В воображении начали рисоваться сцены будущего — славной и энергичной жизни с удаленными гландами...

Прокрались на цыпочках дядя с тетей. Их румяные сочувственные лица совсем меня растрогали. «Все. Тебе больше ничего делать не будут. Дадут холодного молока»...

Дальше впечатления слились в чудный сон выздоравливающего. Вкус холодного молока с кровью и дети, которые незаконно пытались меня смешить (смеяться после удаления гланд тоже больно), были только началом. В кабинет, где мама закутывала меня поверх пальто в огромную шаль, вошел неожиданно (сердце мое екнуло) высоченный офицер!... Со всеми здоровался за руку... совершенно, к сожалению, не козырял. Мама сказала (задабривая, и потому с излишним восторгом): «Нюшка! Это Георгий Алексан-ч! Помнишь?»... Ко мне наклонилось узкое-узкое лицо с глубокой ямкой на подбородке. «Поехали?» — и пробное приглашающее движение руками — не испугаюсь ли.

Мне было неловко у него на руках, бляха шинельного ремня набила синяк на коленке, к тому же я стеснялась его обнять, держала руки по швам, и поэтому меня от него относил. Наконец он с натугой сказал: «Держись-ка за мою шею». Тогда я положила руку на погон, как в танце, и украдкой нащупала три маленьких звездочки старшего лейтенанта.

Георгий Александрович принес меня не к трамваю, как я ожидала, а к автомобилю, первому в моей жиз-

ни, военному, взревевшему при нашем появлении! Автомобиль был открытый, поэтому меня и закутали в идиотскую шаль. По дороге быстро стемнело, так что ничего не стало видно, да и глаз было не открыть из-за ветра, и мама кричала мне в ухо: «Нюшка! Финляндский вокзал!.. Нева, Нюшка! Переезжаем Литейный мост!» Горло ныло, но момент счастья был уже зафиксирован, и, чтобы не дать чувству растаять, я все время восторженно повторяла про себя: «Боже мой, я еду в автомобиле!»

Дома нас встретила бабушка. Лицо ее судорожно подергивалось от ответственности за совершенное злодеяние и от решимости немедленно сделать все, что принято. В комнате уже было тепло, и для меня приготовлена жидкая манная каша с малиновым сиропом, имевшая вкус «Приключений Буратино».

Старлей оказался совершенно штатским душой, уж действительно Георгий Алексанч, а не товарищ лейтенант — все время поправлял свою портупею, как бретельку. Он отпустил машину и остался у нас ночевать, сказав, что утром доберется до фронта на трамвае (!) — как на какую-нибудь паршивую службу.

Подруга Милочка перебежала площадку «навестить болящую». За ней тенью пришла Вера. (Даже я понимала, что Вера живет по инерции, и старалась не смотреть в ее огромные глаза. Вообще в блокаду у всех были большие и красивые глаза.) Зажгли коптилки. Меня не погнали за шкафом, а разрешили остаться на дедовой оттоманке, под одеялом. К моему беззвучному восторгу старлей вдруг открыл мертвое пианино. Глядя на меня и сладко смущая, он начал наигрывать то, что потом назвали «Лейтенантским вальсом» (за рефлексию, я полагаю) и даже запел легким баритоном:

Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука...

Танцевали, сдвинув обеденный стол. (Этой мерой решались все пространственные проблемы. Я была уверена, что в нашей комнате можно сделать все что угодно, провести сессию Верховного Совета — если сдвинуть обеденный стол.) Протанцовывая мимо меня, каждый считал долгом сделать замечание: «Только не разговаривай!», «Не вздумай петь...», «Не прыгай, ради

Бога!» И я послушно сдерживалась, горячо прижимая к себе курчавого, с черным шелковым лицом Тома, единственного молодого человека среди моих игрушек. Помню, что Люлюша вдруг ни с того ни с сего сменила хриплый смех на хриплый плач, чуть не испортив вечер, но на нее цыкнули, и она все извинялась...

Водопровод замерз в яркий солнечный день необычайной красоты. Меня посадили на санки, я обняла руками и ногами два вставленных друг в друга пустых ведра, мама крикнула: «Н-но, мертвые!», очень этим меня насмешив, и пустилась в галоп. Ей ведь тогда было, не правда ли, всего двадцать пять лет. Летели по бульвару со спиленными деревьями, мама смешила меня и оглядывалась посмотреть, как я смеюсь. Город заиндевел. Изморозь приравняла трупы присевших отдохнуть на тумбах у ворот к кариатидам, украсила развалины и сделала одинаковыми здания — сквозь нее едва просвечивал цвет. Прикатили, судя по всему, на Дворцовую набережную — заиндевелая голубизна торжественных фасадов осталась в памяти. Там былолюдно, и я было обрадовалась, но, увы, возбуждение оказалось паническим — гранитные ступени обледенели, и спускаться к прорубям стало почти невозможно. Одна закутанная фигура уже лежала у парапета и так странно, неестественно шевелилась, что хотелось, чтобы она наконец застыла. Небольшие пятнышки яркой крови на снегу поселили панику и в моем сердце.

Мама и еще две молодые женщины, тоже в ватниках цвета хаки, образовали недлинную цепочку до проруби. Я подавала им пустые ведра. Это был один из немногих запомнившихся моментов настоящего страха. Вот мама в белой ушанке наклоняется над черной-черной водой, опускает ведро, наполняясь, оно тянет ее вниз... Как в кошмаре. Помню безумное напряжение, с которым я сверху смотрела на сиреневые сцепившиеся пальцы с побелевшими суставами и молилась, как бабушка: «Господи! Спаси и помилуй, не дай им расцепиться!» Одна закутанная попросила воды. Эта просьба вызвала мое глубокое возмущение, но женщина, стоявшая наверху, сердито мотнула головой, и я вздохнула с облегчением. Наконец напарницы стали тянуть маму. Как я боялась, что они отпустят! Один раз она подскользнулась, я инстинктивно сделала шаг вперед и ус-

лышала хриплый, неузнаваемый крик: «Назад! Сейчас же! От края!»

Потом все три, сидя на санках, курили «козьи ножки». Один закутанный, единственный из всех, принес ломик и пытался очистить ступени, слабо постукивая по мощной наледи. Я глазела, как взлетают снопы осколков и загораются на голубом фоне дворцов. Я опиралась на ватную мамину спину, слушала негромкие прокуренные голоса женщин, и счастье мое было таким острым!.. Не научилась еще жалеть себя.

Настроение мне испортил такой эпизод. Вокруг нас начала крутиться девчонка, постарше меня, серолицая и наглая. Все лезла и лезла поближе и крутила на пальце пустой бидон. Я не могла даже от нее отвернуться, потому что боялась, что бидон сорвется и полетит мне в голову. Он и летал, конечно, я пригibasь, а девчонка хохотала. Потом подошла уж совсем близко и говорит:

— А я все сама делаю! И карточки отовариваю!.. Съела?

Высунула язык, крутанулась на льду и отошла.

Собрались домой. Я уже не «ехала барыней», а должна была идти сзади и придерживать ведра. Отойдя от толпы, мама вдруг сказала:

— Сбегай-ка, позови ту девочку, я дам ей немного воды.

Я совершенно взбеленилась:

— Почему этой противной девчонке?! Вон та тетенька у вас просила... Почему не ей?

И мать, сразу раздраженно, как обычно, сказала:

— Потому что давать надо не тому, кто просит, а тому, кому нужнее...

«Не проси» было третьей заповедью в материнском Евангелии — после «не убий» и «не укради». Как я потом завидовала людям, умеющим просить — обаятельно, победительно! А я все ждала, когда заметят, что мне нужнее. Вообще в мое время все приниженные формы просьб: «покорнейше прошу», «нижайше прошу» перевели в как бы достойные: «убедительно прошу», «настойчиво прошу», «прошу вас русским языком», «как человека тебя прошу», «в последний раз прошу по-хорошему». Но в моем лексиконе и теперь «просить» последнее слово — после «отчаяться».

Вы спрашиваете, была ли бабушка доброй. В детском понимании — да. Она не дергала за волосы расчесывая (что большая редкость)... Она никогда не раздражалась. Она раздражала. Так что с ней недобрым всегда становился ты сам.

Если она хотела, чтобы мать сделала что-нибудь против своей воли, она озабоченно повторяла: «Как пристану, как пристану к Гальке! Интересно — сделает или нет?» Повторение было ее оружием, разрушительным, как вода и время. Во все ожесточенные, зуб за зуб, споры с матерью, продолжавшиеся десятилетиями (!), как неперемный рефрен-упрек, припев-напоминание, как красная тряпка матадора, все эти десятилетия входила история про золотые часики. Случай с ними произошел в блокаду, и его героем был капитан Галкин...

Помню свой возбужденный бег вниз по лестнице, на свежем снегу Разъезжей военный открытый грузовик с грудой тонких бревнышек, молниеносную вороватую разгрузку, слово «кубометр», от которого веет жаром... В кузове — взъерошенный мятый человечек. «Капитан, это моя дочь Аня»... И человечек слетает на снег, взметая облако, шелкает каблуками, жестко и серьезно козыряет: «Капитан Галкин. Весьма польщен»... Потом скатерть-самобранка из вещевого мешка, небольшой пир с неперемной Милочкой... Мне дали глотнуть водки, и меня тошнило у печки...

Назавтра, в густо-синих сумерках утра я подглядываю из-под одеяла и вижу капитана Галкина в дверях, надолго припавшего к маминой руке... Мама говорит голосом принцессы из «Снежной королевы»: «Галкин, вы всем нам спасли жизнь». Его печальный ответ был загадочным. Он сказал: «И совершенно бескорыстно, заметьте!» Опять долгий-долгий взгляд на маму и: «Как только представится случай, совершу еще какое-нибудь служебное преступление, чтобы вас увидеть. Прощайте, гордая полячка. Я, пожалуй, поплету себя...» И я уползаю обратно под одеяло переживать и хихикать.

К вечеру обнаружилась пропажа часов — «с бриллиантовыми розочками» и «на 16-ти камнях». Бабушка прямо обвинила в этом капитана Галкина и произнесла слова: «Написать начальнику воинской части». Мама от этих слов впала в ярость и сказала: «Не суйся не в свое дело!» — «Как это не мое дело?!» Дальше пошел неинтересный «зуб за зуб», с маленьким, правда, пере-

рывом, когда я, не удержав любопытства, спросила: «Мама, а почему Галкин сказал, что спас нас бескорыстно?»

Но главное было в обнаруженном мною пределе бабушкиного понимания людей. Капитан Галкин был за гранью ее интуиции. Но не моей. Я знала шестым чувством, что такие люди часиков не крадут, и мама знала, а бабушка — нет.

Вообще ее слепота к чувствам была поразительна. Мы приходили из кино, уже после войны — мама мрачная, с крепко сжатым ртом, я опухшая от слез. Бабушка приветливо спрашивала:

— Что смотрели?

— «Рим — открытый город».

— Красивая вещь?

— Пьесы Чехова, например, бабушку* страшно раздражали: «И ноют, и ноют... — говорила она. — И чего ноют? Все, слава Богу, живы-здоровы, одеты-обуты... Войны нет, все хорошо!»

Нет, нет, она была доброй. Она помогала в беде, откликалась на понятные ей реальные несчастья. На чувства — никогда. Они с мамой как два ангела-хранителя стояли за моими плечами: ангел-хранитель тела и ангел-хранитель души. На двух противоположных концах колеблющейся шкалы: мама — чистого принципа, бабушка — чистого прагматизма.

Капитан Галкин никогда больше не появился. Мама думала трагически и возвышенно — потому что убит, бабушка — приземленно — потому что бежал с часиками.

Надо сказать, что в коммунальной квартире именно бабушка, единственная, всегда была признанным арбитром. И как раз потому, я думаю, что действовала не по справедливости, а по доброте, то есть чутьем определяла, где кто уступит, и таким образом склоняла всех к мировой.

Я помню, что бабушкина беспринципность начала терзать меня довольно рано. И вот вам одно из моих первых разочарований.

Однажды (зимой и вечером) в дверь нашей комнаты поскреблись, и после кодовых вопросов бабушка впустила маленького Гарри Свинтусова. Мало ему было, что он Гарри — при рождении неначитанная паспортистка написала в его метрике вместо Гарри — Гарий (по аналогии с Юрием и Макарием?) Родители послушно и

церемонно называли его Гарий, взрослые — Гарик, а сверстники — Гарька. Бабушка относилась к Гарику брезгливо, хотя он был чистым и добродушным мальчиком. По-моему, ее отвращало даже не его плебейское происхождение, а то обстоятельство, что Гарик не мог выучить ее полного имени — Агриппина Галактионовна. И каждый раз — сотни за мою жизнь, — когда он простецки называл ее «тетя Апа», она неизменно бормотала: «Тоже мне, племянник нашелся».

На этот раз Гарик сказал то, что рано или поздно говорили все блокадные дети (кроме счастливых): «Тетя Апа, мамка с работы не пришла». И заплакал. Выяснилось, что мать Гарика в больнице для дистрофиков (его отец умер первым в нашей квартире — слишком доверял газетам и ничего не запас), а самого Гарика определяют в детский дом. Попросили поддержать его у нас несколько часов.

Накануне мама, в несчетный раз, дочитала мне любимую книгу «Леди Джэн, или Голубая цапля», где в такой же вот ситуации сиротства бедная, но добрая семья приютила маленькую оборванку, не зная, конечно, что она потерявшаяся аристократка и что всех ждет хэппи-энд. И я стала горячо просить бабушку оставить Гарика жить у нас (хотя он как-то явно не укладывался в нашу жизнь). Бабушка, пойманная врасплох, не успевшая подготовить лжи во спасение, сердитым шепотом останавливала эти мольбы. Бедный Гарик сидел у буржуйки. Дотрагиваться до него мне было категорически запрещено — чтобы на меня не переползли его вши... Маленький пария: зеленовато-белое лицо, а шея такая слабая и длинная, что голова не держалась, и время от времени он ронял ее на плечо, как младенец. Мне все хотелось дать Гарику понять, что его отправляют в детдом — детский синоним слову катастрофа — не из-за меня, а из-за бабушки, но предавать «своих» по маминому кодексу «хорошо-плохо» было низостью, и я только пихала Гарику не самые любимые игрушки. А когда бабушка вышла из комнаты (грозящим пальцем напомнив не прикасаться, упаси Боже...), Гарик вдруг вяло и взросло: «А, не переживай, я все равно помру». Все смотрел и смотрел на огонь в печурке, пока его не увели. А игрушки забыл.

Потом у нас с бабушкой, естественно, была ссора, одна из немногих, в которых бабушка сказала осмысленную тираду законченным предложением. Когда я,

рыдая, ее заклеяла: «Если бы не ты, моя мама взяла бы Гарика!», бабушка жестко ответила: «Если бы не я, твоя мама легла бы на оттоманку, обняла бы тебя, и вы бы обе умерли». И это была чистая правда.

Я думаю, детская память безжалостна, как приبلудная дворянка, — немедленно выделяет в семье вожака. Иначе я бы запомнила деда («Дед тебя обожал»). Из рассказов бабушки он, разумеется, встает человеком, говорившим одни банальности: «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи»; «Никогда не одалживай денег друзьям — потеряешь и друзей, и деньги», и все в таком роде. Впрочем, это, кажется, с его легкой руки темный чулан с барахлом в нашей квартире стали называть «жилплощадью»...

Блокадного деда я помню словно в одной сцене — он лежит на оттоманке с вялой улыбкой, а я прыгаю на нем верхом, и его покорность и слабость разогревают мой энтузиазм. И бабушкино: «Оставь деда в покое» звучит как: «Не мешай деду умирать»...

Потом в какое-то минутное пробуждение среди ночи — бабушка держит полысевшую дедову голову у себя на локте, как ребенка, и поит его из заварочного чайника, прямо из носика... Тревога этой неестественной сцены... И мама, которая почему-то оказывается у нас в комнате, говорит: «Ш-ш, спи, спи... дедушке просто нехорошо, сейчас пройдет...»

И вот снежным, белым утром дед лежит на обеденном столе на полосатом чистом наматраснике. Его мертвость меня не пугает и не огорчает. (Потому что я привыкла к мертвым? Или, как легкораненый, почувствовала, что жизненно важные центры не задеты?) Когда взрослые выходят из комнаты, я цепляюсь за свисающий край наматрасника и, скользя ногами по полу, выгнувшись, уезжаю далеко под стол, как на качелях. Р-раз! И другой! И вдруг снизу, из-под стола вижу чье-то взрослое лицо, и мне сразу до холодного пота делается ясным мое кощунство... 23 февраля 1942 года — День Красной Армии.

Чувство утраты пришло позже и, как многие другие потери в моей жизни, преобразовалось в упрек бабушке, в еще одну черную косточку на счетах наших с ней отношений.

Со смертью деда мы потеряли «служащий паек» и шанс выжить. Но в Ленинграде вымерзло, кажется, все, кроме блата, так что уже через неделю бабушка, никогда до тех пор не служившая, устроилась секретаршей в мужскую среднюю школу номер триста с чем-то на углу улиц Правды и Социализма. Вместе со службой она получила приют в теплой канцелярии для себя и меня на восемь часов рабочего дня, паек и возможность подкармливаться в школьной столовой. Платой была пустующая дядина комната, куда вселились два дистрофика, желавшие умереть с ленинградской пропиской.

Школа, в которую бабушка поступила, до революции столетие с лишним была петербургской Первой мужской гимназией и помещалась в типично петербургском бело-желтом здании на углу Ивановской и Кабинетской. Учились там, из тех, кого помню,— композиторы Глинка и Римский-Корсаков (кажется, и живший неподалеку, на Загородном), а до этого Вильгельм Кюхельбекер... А преподавал там Лев Пушкин, к которому частенько заезжал туда племянник Александр... Ну, словом, это была мечта культуртрегера...

Свою новую должность бабушка называла (и от других требовала) «делопроизводитель», относилась к ней с дореволюционной чиновничьей добросовестностью, держала в столе туфли на каблуках и пенсне.

Как-то очень быстро она и в школе завоевала право распоряжаться — я думаю; ее неколебимая уверенность в собственной непогрешимости действовала на людей, даже и на интеллигентных. Кроме того, она была поразительно толкова в полубессмысленном деле бюрократии и охотно спасала учителей от неприятностей — в том случае, если они признавали ее, бабушкину, необходимость и полезность. И почти все соглашались на эту игру, за исключением, по-моему, особенно нервных и тонких людей. Но и они часто смирялись — во время войны инстинкт самосохранения, естественно, сильнее рефлексий и гордости. Бабушка же была воплощением этого инстинкта — комиссаром семейной безопасности.

Чтобы я не скучала, меня брали на уроки. Мальчиков в классах я презирала. Как и предсказывал «брат Шура», голодание давалось им тяжелее, чем девочкам, — они были вялыми, тупыми, многие засыпали на уроках, разомлев в тепле, и писались, и учительницам стоило невероятного труда вдальбивать арифметику в

шишковатые, обритые из-за вшей головы. Когда я выходила (задрал нос) из класса вместе с учительницей, они провожали меня такими взглядами, какими большая собака провожает обнаглевшую кошку, посмевавшуюся пройти вблизи.

Между прочим, в 44-м, всего через несколько месяцев после снятия блокады, когда я сама пошла в школу и после уроков приходила к бабушке в канцелярию, меня-таки ждало возмездие. Путь в канцелярию лежал через вестибюль и был увит терниями. Мои косы были издерганы, черный передник изодран, ранец расписан чернилами... А когда лоб мне рассекли металлическим углом фанерного ранца, бабушка начала встречать меня на улице. Вот это были мальчишки! И как немного им, стервецам, понадобилось, чтобы ожить. Или это были уже другие, привозные?..

Строители Первой мужской гимназии не озаботились бомбоубежищем, но создали монастырский сводчатый коридор без окон. Во время очередной бомбежки вместе с младшими мальчишками попала туда и я. Пол коридора покрывали квадратные каменные плиты, как на старых тротуарах, под сводами мерцали синие звезды аварийных лампочек. Учительница сказала: «Внимание! Тишина!», и стало слышно, как снаружи, в опасном городе поет сводящим с ума голосом сирена воздушной тревоги. И именно опасность подмывала выбежать и посмотреть, что там случается, когда мы прячемся...

Учительница «велела» нам сесть в два ряда — спиной к стене, лицом друг к другу — и вытянуть ноги. (Я убеждена, что слово «велеть» в русский язык вернули дети. Смешно было говорить: «учительница просит» — это допускало бы возможность отказа; слово «приказывает» было слишком непедagogично, отдавало казармой. И тогда дети вытащили из сказок этот чудный архаизм некоего государства: «Царь велел своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вод».)

...Коридор был узким, так что, когда все сели, ноги образовали частую гребенку. «Ну, кто у нас новенький?» — гулко спросила учительница и поманила меня пальцем. «Девчонка, девчонка», — заговорили наперебой мальчишки. «Онка-онка» — повторило эхо. «Что значит — девчонка?! Петров, тебя кто учил так говорить? Нужно говорить: девочка. А зовут ее Анечка». Тут мои дистрофики взялись за животы: «Ой, не могу — А-неч-ка!» Од-

нако оживились, в них даже появилось что-то человеческое, задвигались, сплели ноги потеснее.

Мне нужно было пройти с завязанными глазами по всей длине коридора, не наступив, естественно, ни на одну ногу. «Поднимай повыше колени,— прошептала учительница, завязывая мне глаза и нос душным шарфом, а то заденешь за их ботинки. Не бойся, не бойся, только старайся. Я тебе буду подсказывать, куда ступать...» И вот в полной темноте, холодея, делаю первый осторожный шаг — пусто, пронесло... Второй... «Правее, правее,— кричит учительница, и я впервые слышу, как мальчики смеются. Чему они там смеются? — Давай, давай! Не бойся! Вот молодец так молодец!»

В конце коридора меня, взмокшую от усилий, приняла другая учительница, развязала глаза и поздравила с боевым крещением. Я лопалась от гордости, хотя, оглянувшись на переплетение ног, мимолетно изумилась собственной ловкости. Все хихикали и аплодировали. С достоинством мастера спорта я села в конец ряда. Мальчики уже казались симпатичнее, учительницы — просто прелесть. Наверху уютно погромыхивало (помню беспечный тон, которым всегда говорилось: «Это далеко-о, не в нашем районе»), впереди был остаток дня в теплой канцелярии, новая картинка для раскрашивания, подаренная директором школы...

Наступила очередь второго новенького. Его вывели из медкабинета, и он растерянно взглянул на полсотни косточек, которые ему предстояло переступить. «Не бойся! — надрывалась я. — Я запросто прошла!» — «Она прошла», — смеялись мальчики. И эхо: «Ла-ла!» И вот ему завязали глаза. «Раз, два, три!» — скомандовала учительница, как и мне. И тут она сделала знак рукой, и все бесшумно убрали ноги — только мои остались лежать на полу. «Давай, не бойся! Левее-правее!» И новичок, идиотски задирая колени, балансируя и с не замеченной от возбуждения соплей под носом, затанцевал, как страус, по пустому коридору. Я не знала, плакать мне — и тем выразить истинные чувства, или смеяться — чтобы не показывать их. И, конечно, как и всегда потом в жизни, выбрала второе...

А тут и бомбежка кончилась (как написал бы Лев Толстой в своих сказках).

Реакции моих женщин на смерть деда были характерными: бабушкина — спастись, материнская —

страдать. Она и выбрала — донорство. Тогда многие этим занимались, потом, кстати, десятилетиями не могли отвыкнуть и без этого даже плохо себя чувствовали.

Однажды (само собой, зимой и вечером) мы с холода вошли в парадное, где стены и лестница были такими же серыми и обшарпанными, как в любом другом, но где было тепло и горел свет (аварийный, конечно. Вообще не только война, но и все детство прошло в полутьме, поэтому ярко горевшее электричество — во Дворце пионеров, например, — всегда казалось роскошью). Лестница была узкой, как в обычном жилом доме. Мать оставила меня на площадке, наказав ждать, не сходя с места (если что — ори), подбодрила улыбкой, все еще белозубой, и ушла в дверь направо.

«Зал ожидания» — что за эклектическое выражение! Какая-то помесь эллинского с орвелловским. Вообще же больше всего приходилось ждать в коридорах — темноватых и холодноватых, как чистилище. В преддверии ада — кабинета зубного врача, например. Дети ждали больше всех, постарше — уткнувшись в книги. Это выработывало в наших характерах чугунную мечтательность, замедленные реакции, пассивность... Революция, Николас, вывела русских «Детей подземелья» из подземелья и поставила в очередь.

...На лестничной площадке, где я потихоньку грезила, шаркая спиной по грязной стене, вдруг наступило неприятное безлюдье, и я занервничала. Прошло, вероятно, четверть часа, от беспокойства выросшее в «долго»... Неожиданно дверь справа (куда все ушли) распахнулась, и сердце мое остановилось: из дверей стали по-одному выходить потусторонние существа в белом. Белым закрыты были даже ступни ног, головы и поллица. Оставались только глаза и кисти рук. Они шли быстро, гуськом, не обгоняя друг друга. За дверью все по очереди делали одинаковый шаг в сторону, дотрагивались до стены, потом шаг обратно в свой потусторонний строй, и быстрым, бесшумным полубегом, цепочкой, через лестничную площадку — в дверь налево. Дверь мягко захлопнулась, и я так и не «заорала».

Следующее «долго» на лестнице не было ни души, и я маялась и маялась, подвывая от тревоги. Наконец левая дверь открылась, и оттуда снова пошли белые, но на этот раз уже по-человечески, разболтанно, иногда парами... Даже слышно было бормотанье. Только тут

я сообразила, что это и есть «доноры» и среди них — мама, но, как ни вглядывалась, узнать не могла. Вдруг один отделился от строя и шагнул ко мне. Я отшатнулась, но белая рука поймала мои пальцы и впихнула в них марлевый пакетик. Вгляделась в глаза под маской — не мама, но явно женщина. Глаз подмигнул. Я облегченно засмеялась, кровь прилила к щекам... но «спасибо» сказать забыла, и это долго потом портило мне радость от чужой доброты. А в марле оказался осколочек глюкозы.

Мирная домашняя жизнь проходила вечером у буржуйки. Уже в темноте мы с бабушкой возвращались домой после очередей и «отоваривания продуктовых карточек» (вечной памяти Осипа), и по дороге она всегда рассказывала мне поучительные истории про детей, эти карточки потерявших. У бабушки, бесспорно, был талант заронить в детскую душу страх и робость — гарантии послушания. Метод простой — несколько конкретных запоминающихся деталей, которые при всей их безвкусоности и примитивности остаются во впечатлительном детском сознании на всю жизнь, как осколок, недоступный скальпелю: «...А девочка так испугалась, что потеряла карточки, что залезла под кровать, а мать ее оттуда — чугунной кочергой. Потом устала сердиться и говорит: «Ну, вылезай уж, все, не буду больше наказывать...» А девочка-то молчит и не шевелится. Мать потянула за валенок, валенок снялся, и оттуда карточки-то и выпали»; «...Они как раз поднялись уже к своей двери, мать и спрашивает: «А где карточки?» А девочка вспомнила, что забыла карточки в магазине, да как побежит вниз по лестнице, и со всего бегу-то и упала. А ступени-то каменные, так мозг, говорят, так и брызнул... Никогда по лестнице не бегай! Что бы ни случилось, иди спокойно, держась за перила». (И можете поверить, я никогда не бегала по лестницам. Так и вставляли перед глазами бабушкины живые картинки, и я сама судорожно хваталась за перила... за руку... за подол...

На нашей Разъезжей улице всегда задувало, как в трубе, и последние шаги до парадного я бежала бегом и тащила бабушку за полу ее подбитого ватой зеленого пальто. Открыв тяжелую дверь, мы входили в египетские тьмы и холод парадного. Но (улучшение номер 1)

там не было ветра. Бабушка чиркала заранее приготовленной спичкой. При ее свете мы быстро (но не порывисто, чтобы не задуть огонек) поднимались два пролета. А там уже глаза привыкали к темноте, окна на лестнице начинали чуть светиться, и третий пролет мы проходили ощупью.

Дверь нашей квартиры (все тридцать пять лет, что я в ней жила) не запиралась на ключ. В одной ее створке была щель для почты, как во многих старых квартирах. Над этой щелью изнутри была прибитая мощная задвижка. Все «свои» просовывали палец в почтовую щель и отодвигали задвижку. Воры же додуматься до этого примитивного секрета не смогли. Однажды после войны — когда воровство из преступления превратилось в род занятий — какой-то специалист даже выпилил наш бездействующий замок, сломанный еще, как говорит бабушка, «в мирное время» (т. е. до 1914 года), но так и не нашел задвижки. Даже цыганки, послевоенная саранча, безнадежно царапались в наши двери — через почтовую щель они все были хорошо видны, включая тех, которые прятались, присев на корточки, на ступенях следующего пролета. (Старая цыганка проникновенно шептала в щель: «Слушай, красивая, если сделаешь, что скажу, работать никогда не будешь. Будешь ходить под шляпкой и с ридикиюлем»).

...Словом — войти в квартиру «своим» не требовало времени, что было и вообще важно, а особенно при моем нетерпении попасть в тепло и безопасность.

Внутри кожа с удовольствием регистрировала те считанные градусы, на которые температура в квартире была выше, чем на лестнице, — паркет и многослойные обои стойко держали тепло.

В комнате мы сразу не раздевались, а сначала растапливали буржуйку: несколько полешек, две ножки от «венских» стульев, щепки, наструганные от дверцы кухонного стола, горсть пустых катушек и книга (все заранее приготовленное).

Когда пространство вокруг буржуйки согревалось, бабушка перевязывалась крест-накрест шалью и начинала уютно сновать. А я — с ногами на оттоманку, под плед, и там вместе со мной в тепле притулялись оттаившие куклы и книжки с картинками.

(Перевязанные крест-накрест шали были частью бабушкиного спасательного ритуала — «Брат Шура... почки... не дай Бог, цистит... одна девочка схватила — на-

крик кричала...» Поэтому шерстяные рейтузы штопались-перештопывались, валенки береглись как зеница ока... В последнюю военную зиму в бабушкиной школе поставили силами детей роскошный спектакль по ершовскому «Коньку-Горбунку». Представляли в Доме культуры, я играла шамаханскую царицу в кисее и сарафане. По низу сцены тянуло холодом, и бабушка, к ужасу постановщицы и других мамаш, настояла на том, чтобы я играла в валенках. Помню, как чья-то интеллигентная мама нервно говорила: «Ну вы сами подумайте, может дочь солнца носить валенки?!» И как бабушка вдруг поставила ее в тупик с находчивостью простолюдники: «А вы-то почему знаете, что носят дочери солнца?»)

...Я терпеливо ждала, когда стукнет входная дверь,— мамин приход окончательно поселял в моем сердце вечерние мир и покой. Помню свою бурную радость, когда мама пришла раньше обычного: «Вдруг снаряд шальной как бабахнул!.. Мы — врассыпную.. Мчались какими-то огородами.. И кому-то я что-то при-нес-ла!» И из газетного кулька — две турнепсины, огромные, со свежим овощным запахом огородной земли.

А помню тягостный поздний приход, когда я уже в постели, расстроенная, подслушиваю ее рассказы из-за шкафа: «Мальчиков-ремесленников стаскивали в братские могилы... Весь день... Сколько там было!.. Целое поколение».

Но обычная картина: мать торопливо моется в лохани у самой буржуйки, сливает в ведро, подтирает лужу, относит куда-то там слить воду (я даже не знаю, куда, я за пределы комнаты почти не выхожу), потом смазывает обмороженные руки довоенным ланолином и наконец-то пристраивается рядом со мной для ежевечернего ритуала — чтения перед сном.

Две страницы сказок Гауфа на ночь были как ложка рыбьего жира — единственное даже не лекарство, а противоядие, оказавшееся под рукой. Поэтому детские книги мать сжечь не дала (невзирая на бабушкино: «Что, и эту, грошовую, нельзя? Старую? Да ей копейка цена. Тьфу!»). В книгах было все, чего мне не хватало в жизни: лето, например, отцы, щенки и мороженое, но главное — они не давали забыть мамин критерий «хорошо-плохо» среди разгула бабушкиных критериев «спасительно-губительно». Беда только, что в книгах все было лучше, чем потом в жизни: отец, скажем, ко-

гда я с ним встретила, не пошел ни в какое сравнение с отцом из гайдаровской «Голубой чашки».

Сохранили все-таки «джентльменский» набор: Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Толстого. От Тургенева остался только один роман, самый редко читаемый — «Дым». Поэтому о нем у меня долго было какое-то скобоченное, салонное представление, пока я не прочла, уже в школе, «Записки охотника».

Полное собрание сочинений Достоевского бабушка сожгла первым, и не без злорадства — она не любила Достоевского за пессимизм: «Если девушка, то непременно несчастная, униженная, вся в слезах... Если собака, так обязательно какая-то больная, паршивая, ухо опущено, и глаз гноится...»

Все детство я помню на обеденном столе толстую тисненую кожаную подставку для чайника. Переворачивая ее иногда, я каждый раз вздрагивала: на оборотной муаровой, замызганной стороне крупно чернела надпись с твердыми знаками: «ХРИСТОС И АНТИ-ХРИСТ» — последнее проклятье сожженного Мережковского.

Кажется, я никогда не видела, чтобы взрослые ели, — только однажды (если правильно помню) я застала человека за едой, но деликатность подсказала мне немедленно отвернуться и уйти. Это было днем и при солнце: мы с бабушкой зашли к какой-то домово- общественной деятельности. На стук никто не откликнулся, но дверь была открыта, и мы вошли. Эта женщина сидела за столом, и перед ней на тарелке лежала освещенная солнцем дымящаяся горка речного жемчуга. Он переливался перламутровым матовым сиянием и, что называется, дышал. Женщина ела его маленькой чайной ложкой. Нас она не заметила, даже не повернула головы. Помню, что я вышла первая, а бабушка за мной.

— Это что?

— Называется «рис».

Ни голода, ни зависти я не почувствовала, просто запомнилось навсегда.

Из блокадной еды у меня была любимая, «так себе» и ненавистная. К ненавистной относилась «хряпа» — горячее ярко-зеленое варево из лебеды (это такой серебристый сочный сорняк, вырастающий на пустырях). К

счастью, хряпа появлялась только летом, то есть очень редко. «Так себе» были ши из крапивы и «дуранда» — сухие зеленые жмыхи. Они были почти безвкусными сухарями, но не противными, и грызть их в углу оттоманки, рассматривая картинки в книге, было даже удовольствием. Любимыми были глюкоза и яичный порошок, которым, как соусом, заливали быстро растаявшие в Нотр-Даме макароны. Но самым деликатесом был студень из столярного клея. «Считалось», что столярный клей, довольно долго сохранявшийся в Ленинграде в виде плит, похожих на желатиновые, варился в свое время из свиных и говяжьих костей. Его заваривали кипятком, добавляли лавровый лист, перчинку... А бабушка еще разводила к нему горчицу, припасенную для горчичников. Получалось объедение! Мне студня почти не давали, ну разве один кусочек — «с вилки». Боялись, что детский желудок не вынесет его химической атаки. Может быть, поэтому он остался в памяти таким соблазном, даже помню вкус, и до сих пор кажется аппетитным.

Главные ухищрения придумывались, чтобы избежать цинги. Ели сырой репчатый лук, дрожжи, проросший горох... Закладывали горсть гороха между двумя мокрыми тряпочками, следили, чтобы они оставались влажными. Через пару дней горох прорастал. Разглядывая этот зачаток жизни — миниатюрное белое растение, сплющенное между двумя разбухшими половинками горошины, я грезил, что в ящиках на балконе разведу бобы, и мы будем есть их полными мисками, со свиной, как герои «Хижины дяди Тома».

Когда кончился горох, бабушка приуныла, но соседка Свинтусова надоумила ее делать настой из хвои. Поздней осенью ездили на трамвае в Сосновский парк на Выборгской стороне и собирали мешки свежих сосновых игл. Раскладывали их в банки, заливали кипятком, добавляли чуть сахарина и настаивали в холодном месте. Кажется, так. Бабушка, конечно, знает точно, но в ее голове уже смешались все рецепты. Получался терпкий напиток, похожий на сосновую туалетную воду.

Все-таки у меня появились на деснах язвочки со странным названием «стоматит». Их как-то средневеково лечили, присыпая сахарной пудрой. И бабушка раздобыла для меня эту пудру, отдав взамен что-то, все равно причитавшееся советской власти.

Из кулинарных впечатлений остался еще один ве-

чер, видимо, уже зимой 43-го, когда бабушка взяла меня в кино. Даже мама потом сердилась на отчаянность этого поступка («Что за страсть к развлечениям!»), потому что в случае бомбежки из многолюдного кинозала трудно спастись. А зал-таки был набит битком, и я, совершенно загипнотизированная, увидела впервые в жизни цветной американский соблазн под названием «Багдадский вор». Алё, блокадники, помните, как смуглый воришка и бледный принц оказались на восточном базаре? Как воришка прямо с крыши проткнул шестом огромный, круглый, зеленый плод... Это что?! И зал одним дыханием: «Арбу-уз!» Принц стащил пухлую лепешку и макнул в тягучее, золотистое... А это-то что?! И зал: «Ме-ед!» Еще ярко помню сковородку с жареной, с жарящейся, скворчащей колбасой на ладони у черного джинна... Остальное — смутно.

Зато после сеанса нас ждало настоящее зрелище: над углом Невского и Владимирского, над кинотеатром «Титан», в голубом свете софитов шел воздушный бой. Люди, задрав головы, следили за серебряными самолетиками. Своих было не отличить от немцев, однако счастливое волнение передавалось по воздуху, как ветрянка, — за нас дрались! Выла сирена, но никто не уходил. Помню, что толпа была довольно молчалива и только аристократического вида высокая старуха уронила в снег фетровую шляпу и прокричала тонким голосом: «Бейте их, мальчишки!» А я прыгала, прыгала и все прыгала, повизгивая, на одном месте.

Николас! Ваше письмо начинается на пять с плюсом: «Анна, или Вы сказались?» А дальше уже пошла всякая чепуха про возможное охлаждение, обиды и прочее. Николас, я не писала не потому, что забыла, или обиделась, или еще из-за каких-нибудь там глупостей, даже не из-за того, что так уж занята, — а именно потому, что сказилась. (Откуда Вы слово-то такое узнали? Его даже у Даля нет.)

Мои старушки, будучи сами в относительном порядке, меня привели в такой беспорядок, что я трачу все душевные силы на убаюкивание в себе зверя. Я пыталась избавиться от старушечьего безумия, записывая их перлы в дневник, потом смотрю — все уже было: у Гоголя, у Салтыкова-Щедрина, у Островского. Они у меня обе точно спрыгнули со страниц русской классики:

одна — представительница «провинциального дворянства», другая — «столичного». Даже говорят цитатами. Бабушка из угла дивана, как старая помещица из окошка: «Васька, Васька! Ты зачем?.. Что тащишь?.. — Да гуся, барыня. — Куда? Кто велел? — Да молодой барин, кто ж еще? — А ну, позови его сюда! — Позвать можно, дак ведь он не пойдет...» Ну и протчая.

После семейного обеда Наташа возбужденно сообщает: «Бабушка! А у меня запор!» Бабушка сразу кричит с дрожью в голосе:

— Нюша! Нюша! Клизму! Надо сразу!.. Нету?! Надо сбежать купить, объяснить как-то по-американски, показать пальцами (показывает), что уж делать... Поймут... И здесь люди... Заворот кишок!..»

Мужнина тетушка (представительница столичного дворянства) спрашивает мелодично: «Что у Наташи?»

Я злобно говорю: «Ничего страшного, мелкие проблемы с желудком».

Тетушка сразу же мелодично советует: «От желудка помогает картошка».

Муж, выразительно покашливая, кивает примирительно: «А как же...»

Тут я все-таки спрашиваю с бесплодным, но неудержимым сарказмом: «От какой болезни помогает картошка? От запора или от поноса?»

«Ну я уж не знаю, от какой болезни, — с мелодичным достоинством парирует тетушка, — но всегда говорили, что от желудка помогает картошка».

Грубая старшая дочь спрашивает с дивана: «А поджопник от желудка не помогает?», ну и так далее...

Физически все бабушкины прошлого века механизмы, как говорят американцы, *amazingly intact**, однако постоянный, ежеминутый страх всего, которого она не стыдится и не скрывает, а, наоборот, старается дрожжами своими губами и руками передать мне, чтобы я предприняла некие спасительные действия, — вот что меня изводит. Потому что страх этот (к ужасу и отвращению) находит по какой-то не отмершей еще пуповине болезненный отклик и в моем сердце.

Давно, к сожалению, отошли в прошлое бабушкины бодрые *mot* первых месяцев. Теперь уже все наши со-

* В изумляющем порядке (англ.).

седские дети выучили кое-что по-русски и кричат на ходу ее «простейшие» слова: «Бабушка! Нанада!» (Это так она от них отмахивается, когда они пробегают слишком близко: «Не надо! Не надо!» И торопливо — с крыльца.) Бабушка боится детей.

Она боится: негров, наших опозданий (начиная с пятиминутных), почтальонов, конвертов с английскими надписями. Вскрывает их — рвет дрожащими пальцами — и пытается прочесть («...по-латыни-то я могу... ого-го! В гимназии всегда была первой ученицей...»). Ждет депортации. «Вот и в газетах пишут о гражданстве... На старости-то лет как стану персоной нон грата...»

Она перестала гулять — не потому, что ослабла, а потому, что испугалась, — и теперь только тихо шаркает по дому и неустанно добивается своего. Я и мелочи — вот все, что ей осталось, чтобы удовлетворять свою насущную потребность — управлять жизнью.

Единственная форма разговора, которая с ней всегда, сколько я себя помню, получалась — зуб за зуб. Любое обобщение в разговоре, или метафора, или шутка просто бесили ее как оскорбление. И такая, оскорбленная, она легко возвращает собеседника к изматывающему цеплянию друг за друга банальных (и для нее бесспорных) аргументов, в котором она непобедима. Правда, теперь, от слабости, она стала применять детские уловки, даже иногда затыкает уши.

— Наташа! Не ходи в носках, надень тапки, простудишься! Наташа!..

— Бабушка, оставь ее, здесь тепло, здесь все так ходят.

— Мало ли что все, погоди, потом начнется ревматизм, боль в суставах... Брат-то Шура врач... «Ревматизм только лижет суставы, а кусает сердце»... Не дай Бог!.. Наташа! Надень тапки... Надо бы ей валеночки такие короткие достать, как у тебя были после войны... А то в носках — вот она у вас все и простужается...

— Агриппина Галактионна, — говорит муж. — Вы у нас чистый Декарт — на все ищите причину.

— Что? Не слышу, дорогой. Плоховато стала слышать... Наташа! Надень, деточка, тапки...

Р-р-р!

Каждое утро с раздражением, не утихающим годами, я наливаю ей кофе так, чтобы оно перелилось через край чашки и пролилось на блюдце. И все эти годы она приговаривает: «Что так мало? Лей, лей через край — я

не половинкина дочка»... Точно как тридцать лет назад — всегда наполовину заваленный чем придется стол (накрыто на краешке), и бабушка подносит налитую до краев чашку не к самым губам, а на миллиметр не донося, втягивая чай с оглушительным канализационным звуком. И мать с точно таким же, как у меня сейчас, а тогда возмущавшим меня, раздражением говорит:

— Мама! Не сербай, пожалуйста!

— Ну вот еще, будешь меня учить... Что я, не знаю, как себя вести... В гимназии специально учили манерам. Мадам как ее... француженка... Гостей ведь нет. А при своих-то так аппетитнее.

По-моему, ей ни разу в жизни не пришло в голову, что со своими тоже нужно считаться...

Однажды днем заскочила соседка-американка, я угощала ее кофе и, собрав усилием воли разбежавшееся стадо английских глаголов, вела разговор. Мы сидели на кухне, собирался дождь. Бабушка вдруг пришаркала из гостиной и стала задергивать занавески на окне, с безумным трудом дотягиваясь до них через раковину и все время попукивая от напряжения.

— Бабушка, не надо, нам будет темно.

— Как же, в грозу... все шторы задернуть... В Литве в сорок седьмом шаровая молния!.. ого-го!

— Бабушка, давай я помогу тебе дойти до дивана (и под руки, преодолевая ее явное сопротивление, — в гостиную, где шторы уже, конечно, задернуты). Посиди спокойно, пожалуйста, у меня гостя.

Но через несколько минут — неумолимое шарканье, постукиванье палки и новые попытки, кряхтенье, пуканье, бормотанье. На третий раз американка спрашивает с исследовательским интересом:

— Doesn't she drive you crazy?

— She certainly does.

— So? Why don't you try a nursing home? *

Все американки, с которыми я приятельствую, похожи в одном: если они чувствуют себя плохо, они немедленно предпринимают что-то, чтобы чувствовать себя хорошо. Довольно естественно вообще-то. За ценой не постоим. (Особенно, если платят другие). Терпели-

* — А она тебя не доводит до сумасшествия?

— Конечно, доводит.

— Ну? тогда почему не попробовать богадельню? (англ.)

вость к душевным страданиям объясняется ими лишь пассивностью и русской склонностью к мазохизму. Вообще, многие американцы превращают, по-моему, свое записанное в конституции право на «pursuit of happiness» (стремление к счастью) в право на «feeling good» (что я бы перевела как «душевный комфорт»).

На бабушку стали находить затмения — явно от страхов, а не от старости. Вчера были гости, я уговорила-заставила ее подняться к себе пораньше: «Посиди в кресле, почитай». В своей комнате она увидела за окном огни городка.

— Задерни скорей шторы, а то ходят с собаками... светят фонариками, лучи через окно пускают... в газетах пишут — смертельно... Мало ли что...

Я разубеждала, как могла, вроде успокоила:

— А-а, ну и слава Богу.

Потом вдруг:

— А немцы близко?

— Немцы?! (Я даже не сразу поняла, что она имеет в виду войну.) Какие немцы? Ты что, бабушка! Война кончилась сорок лет назад.

Она даже как будто смутилась.

— Да что ты? — говорит. — Так войны нет?

— Войны нет, все хорошо — как в чеховских пьесах.

— Не слышу, дорогая... Все нормально? Можно смело садиться в кресло?

Я потому и взялась писать, что все уж так сегодня сошлось: Ваше письмо о Германии, бабушкины страхи... Судя по письму, Вы в полном восторге от старой доброй Deutschland, хотя школьников, значит, учат кое-как? Шопенгауэра не проходят? Здесь тоже.

И мы, кстати, только что пришли от немцев, из гостей — от одного завсегдага Вагнеровских фестивалей. Принимали тепло, только все вглядывались друг другу в лица: мы — не мелькнет ли антисемитизм, они — не мелькнет ли подозрение в антисемитизме. Тамошняя бабушка за ужином тоже показала класс, уверяла, что голод в Соединенных Штатах не наступает только потому, что немцы все время помогают голодающим американцам продуктами... Слопали апфель тортен, послушали отрывок из «Тангейзера» (я хотела попросить что-

нибудь из «Нюрнбергских мастерзингеров» — удержалась), повспоминали Вену. Ну чем не эсэсовский вчерок?

Так... На кого бы еще пожаловаться? На детей, конечно. Но это надо писать отдельный донос. В следующий раз...

Поклонитесь от меня Великой Германии, родине нашей общей прабабушки Юлии Юлиановны.

Целую, хайль Гитлер, Ньюша.

P. S. Посылаю с письмом очередную порцию своих обрывков. И снова целую.

Дорогой Николас!

Не писала потому, что сидела остолбеневшая от чувства вины. Месяца полтора назад я поднялась из подвала поздно, часов в одиннадцать. Весь день предвкушала, что посмотрю по телевизору «Корабль дураков». В гостиной бабушка громко сосала конфету. Я, как детсадовская воспитательница, хлопнула в ладоши и сказала (тем бодрее, чем меньше рассчитывала на успех): «Время! Старушкам пора подняться к себе. Теперь наша очередь смотреть телевизор». Вся детскость с бабушки моментально слетела, и она ответила с коммуналной интонацией: «Ну и смотрите! Гостиная — общая комната. А то будут мне указывать, когда уходить!..» Первый раунд был проигран. Я ушла в кухню, вымыла какую-то тарелку, попила... «Корабль дураков» уже начался. В сущности, меня погубила страсть к кино — будь фильм похуже, я бы ушла от греха, а тут не выдержала, под села к телевизору. Бабушка, не помнящая зла, добродушно комментировала: «Кто это? Это не Женя, Алин муж? Нет? А как похож. И глаза, и брови... Понесся куда-то...» Накаляясь, я мысленно перечисляла, чего я из-за нее лишена в жизни... Краем глаза заметила, что фильм замечательный... Вдруг бабушка затеяла игру: взяв в рот карамель, она давала ослабнуть вставной челюсти, и челюсть с конфеткой перекачивались у нее во рту с громким костяным стуком. Пять минут, десять минут... Тут я увидела, что я встала, подошла к бедной старушке, забрала в горсти отвисшую старческую кожу на щеках и шее и стала ее с остервенением сжимать, в общем — душить... Продолжалось это доли секунды, но в эти доли я испытала шизофреническое наслаждение. Бабушка не испугалась, только

обозлилась, обругала меня чертом собачьим и все легко забыла после взятки — мисочки желе. А я?..

Когда я волокла старушку с собой в чуждый мир, я мысленно обязалась ее беречь и ухаживать за ней, а должна была обязаться — ЛЮБИТЬ. Моя забота — ничтожная компенсация испарившейся детской любви. Долг. Крест. Я лихорадочно распахиваю одну за другой какие-то забытые дверки в душе, тереблю воспоминания — ничего, сухие корни, ни ростка... Я вечно обездоливаю ее — например, не давая побеждать в мелких ежедневных конфликтах, хотя знаю, что именно победа необходима ей для самоутверждения. Ту борьбу воль, которую она сама двадцать с лишним лет моей жизни кончала неукоснительно, любой ценой — победой (пользуясь ложью, моральным шантажом, абы чем), я теперь, испытывая особенное отвращение к таким победам, кончаю простым насилием: увожу, крепко взяв под руку, в свою комнату, стригу ногти, купаю (мытья она ненавидит и боится; стоит голая, чуть не плача от беспомощности, но все еще сильная волей, и, подняв артритный палец, говорит зловеще: «Нюшка! Прокляну!..»).

Да что там оправдываться необходимостью, ее же благом... Иногда я просто не в силах дать ей победить — по мелкости души! Любящий уступил бы, необходимость скрасил лаской — уговорил бы, успокоил, расцеловал... А я все вспоминаю, как мать передергивало, когда бабушка собиралась ее обнять. И меня теперь точно так же передергивает. Когда я вхожу в ее комнату, глаза мои, чувствую, тускнеют, губы складываются куриной попкой... Летом у меня все тело покрылось сначала чесоточной сыпью, а потом гнойными язвами. Здешние врачи назвали это аллергией к растению «roison ivu», но как ни называй — это были язвы Суллы, болезнь тиранов.

До сих пор я хоть гордилась — что выполняю долг, тяжкий, годами... Но если, действительно, это ничто в сравнении с любовью, даже беззаботной и безответной... что же мне остается для самоутешения? То-то я смотрю: как странно — выполнение (христианского?) долга каким-то образом не спасает мою душу, а губит. Мельчит, обесцвечивает — отнимает Божьи дары...

С ней, Николас, жутко теперь бывает — как будто мы обе стоим на краю могилы. То вдруг ей показалось, что мы в Финляндии, на даче, как перед революцией, — «Закрывай окна, а то там финны ходят». То сидит, со-

бравшись в дорогу, прижав к себе вещи: альбом с рождественскими открытками, пачку печенья, спрашивает озабоченно: «А когда нас по домам-то?» А то вдруг начинает одеваться, натягивает пальто. «Бабушка! Ночь на дворе». — «Да знаю (раздраженно), что я, ребенок... Немцы придут, так вы, небось, все сбежите, оставите меня на поругание...» (!)

— Бабушка! Да я когда-нибудь тебя оставляла?!

— Что? Не слышу, дорогая.

Мне вдруг сейчас вспомнилось: в вымытом хлоркой коридоре поликлиники, после двухчасового томления в очереди, убивающего решимость, мы с бабушкой стоим перед дверью зубокабинета, где через несколько минут начнут не спеша удалять мой засидевшийся молочный зуб, без укола, без новокаина, без обезболивания. И меня уже знобит в предчувствии бездушного крика: «Следующий!»

— Бабушка, миленькая, давай уйдем, ну, пожалуйста, я не могу!..

И она смотрит на меня на все решившимися голубыми глазами и говорит бесповоротно:

— А ты — ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ.

Вот это, пожалуй, единственное, чему она меня научила.

Конечно, я могла никому не рассказывать про свое злодейство, но мне нужно было чье-нибудь утешение: «Забудь. Ты — не душительница старух!» Русским такое рассказать невозможно. Я попробовала на одном своем приятеле, самом отпетом, — алкоголизм, дебоширство, бесхозные дети от тайги до Британских морей... и даже он был шокирован. Муж увидел, что я расстроена, и говорит:

— А потому что как свой крест несешь?! Разве кресты так носят? Надо, чтобы он как штык стоял, как флаг! А у тебя?.. Клонится, за кочки цепляется... Тьфу, противно смотреть!..

Так что вся надежда, Ник, на Вашу иностранность. Целую и посылаю остатки записей.

Аня.

Еще один веселый блокадный вечер начался со слез, бабушкиных (!) Она вернулась с собрания жильцов, поздно — Люлюша уже забралась в свой квадрат. Из обрывков разговора, который я подслушивала, выгля-

дывая из-за Нотр-Дама, как химера, стало ясно, что Ленинград готовятся сдать немцам. И я слышала, что бабушка, чьим единственным ругательством было «черт собачий», сказала сквозь слезы: «Сволочи! Вот сволочи!» — как соседка Свинтусова. И от этого злобного слова у меня мурашки пошли по спине.

На собрании бабушку учили тактике уличного боя. Более того, она объявила маме и Люлюше, что на балконе будет установлен пулемет и она, как «ответственная квартиросъемщица» (Осип, салют!), назначена пулеметчицей. Тут обе слушательницы начали так смеяться, что грех было не воспользоваться случаем. Я вылетела из-за шкафа, кувырнулась в квадрат и каталась там от хохота, пока кресла не раздвинулись и мы с Люлюшей не оказались на полу.

Кажется, в один из этих дней раздался в нашу дверь легкий, не условный стук. Бабушка, в отличие от остальных все еще готовая схватиться со смертью, долго визитера не впускала. Наконец вошел странный солдат в замызганной, нестандартной какой-то форме, стащил с головы пилотку (это зимой!) и сказал простуженно: «Здравствуйте, Апочка!»

Дальше на несколько секунд я отвлеклась от их разговора, чтобы насмерть влюбиться, — такое лицо я видела потом только однажды, у юного Жерара Филиппа. Трагически красивое лицо. Я опомнилась, когда увидела, что бабушка в чем-то категорически ему отказывает.

— Нет, Кирилл! — и головой, руками, всем телом: — НЕТ!

— Тетя Апа! — вдруг заговорил мой принц, как Гарик Свинтусов... Штрафбат... смерть... Они бросают в бой без винтовок!

(Я лихорадочно пыталась представить: бросают? Как бросают? Сбрасывают с парашютами?!)

— Тш-ш, тш-ш, — зашипела бабушка. На лице ее отразилась такая сердитая паника, как будто ребенок, всегда «считавшийся» здоровым, вдруг отвернул край рубашки и показал гноящуюся рану.

Пришелец послушно зашептал:

— Только до утра... Комендантский час... Патрули и мороз...

И бабушка, со страстью:

— Ребенок!.. Рисковать?! Ты же дезертир!

Тут он взглянул на меня. Слово «дезертир» меня парализовало. Дезертир — хуже фашиста, и я отвела глаза.

Волнение ушло с лица моего принца, оно стало мертвенно-спокойным. Оно отчуждалось с каждой секундой. Оно становилось чужим не только бабушке, но и мне... О, вернись! Ведь я не смогу забыть тебя всю жизнь!

Он медленно, медленно надевал пилотку. А когда бабушка нетерпеливо перекрестила его, зло усмехнулся и вышел (To end*.)

Дальше как будто все произошло так: канонерская лодка «Бира» (название непонятно) застряла в Ладожском озере на ремонте и зазимовала во льду. «В кейптаунском порту, с пробоиной в борту «Жаннетта» обновляла такелаж»... «Команда корабля решила взять шефство над одной из школ осажденного города». Божий перст указал на Первую мужскую гимназию.

И вот помню долгое закутывание, ледяные сумерки ноября? декабря? Огромный военный грузовик с брезентовым верхом, красочные бабушкины наставления: «Дыши в шарф... Схватишь ангину... нарывы в горле... гной трубочкой вытягивать...» Потом многочасовая трясучка в темени. Холода сперва не помню, только тесноту. С нами ехало несколько молоденьких распорядительниц, все незнакомые (наверное, дамочки-чиновницы из роно, вытеснившие учительниц для такой дух захватывающей поездки). Всю дорогу они пели, чтобы нас подбодрить, пока не охрипли. Мы тоже подпевали, я послушно — в шарф. Среди семи-восьмилетних мальчиков, которыми был набит грузовик, затесались только две девочки: я и дочка одной из учительниц Маша, обеим по пять с половиной. Все были закутаны так, что не могли пошевелиться, но все же под конец мы, как-то сразу, начали замерзать. Мальчики захныкали. Мороз действительно был трескучий.

В какой-то момент грузовик вдруг пошел резко вниз (внутренности остались наверху), тряхнуло, дамочки завоскликали: «Ладога! Ладога!», и одна сказала с чувством: «Пронеси, Господи!» Нас пошло трясти, как на ухабах, — это мы съехали на лед.

Мне показалось, что машина даже не притормозила — ее продолжало подбрасывать, мальчики выли, я

* Навстречу концу (англ.).

изо всех сил сдерживала тошноту, тем более что рядом уже кого-то рвало. И вдруг брезентовый полог перед нами откинулся, и на борт грузовика взлетели два черных ангела. О Боже, это были воины! Не мятые, запыленные пехотинцы, которых мы иногда видели в Ленинграде, не полуштатские презируемые мной лейтенанты с бретельками, а моряки! Черные бушлаты, мерцающие пуговицы... А когда один поднял ногу, чтобы переступить через кого-то, стали видны воспетые уличной поэзией «клеши». (Одеты они были, прямо скажем, не по сезону, но это уже замечание еврейской «mother of two»*, как говорят американцы.) Тогда же мы замерли. Вой и хрип прекратились. Меня перестало мутить. В свете «летучих мышей» лица моряков были такими... надежными, такими мужскими... И один из них гаркнул не какое-нибудь банальное: «Здравствуйте, ребята!» или «Товарищи октябрята!», а:

— Аврал, салага! Сейчас будем швартоваться!

И мальчики, как говорили мы в детстве, «сразу оживели» и даже делали попытки самовольно разматывать шарфы и шали, ставшие вдруг старушечьими.

Канонерская лодка, за которую мы так беспокоились по дороге («Как мы на ней поместимся?», «А на ней что, парус?»), оказалась стальной машиной не хуже линкора. Я увидела ее издали, из-за распахнутого брезента, еще стоя на борту грузовика. Память моя рисует корабль в огнях, как потом на невских парадах, но думаю, что это аберрация. В остальном картина поразила неестественностью — урчащий и пыхающий паром серый корабль посреди снежного поля. И по этому полю — от полыньи вокруг корабля до грузовика — цепочка черных бушлатов. Нас передавали по рукам, как ведра на пожаре. И каждый тормозил или чмокал в онемевшее лицо или терся одеколонной щекой... Так, с замиранием сердца, почти перелетая из одних сильных рук в другие, все тридцать, или сколько нас было, — по длинющему трапу, через дымящуюся полынью... Из-за последнего плеча мелькнула книжная картинка — палуба корабля, и сразу благодное, полное запахов еды тепло чего там — кубрика, камбуза... Военная сказка девятьсот и одной ночи.

Дальше так — все дети были заранее распределены между моряками, но когда нас раскутали и обнаружи-

* Мать двоих детей (англ.).

лись две девочки, началось какое-то лестное для нас обеих волнение. Желаящих взять под свое шефство именно девочек оказалось довольно много, и капитан принял такое соломоново решение:

После ужина, во время которого мы опьянели и засыпали, пристроив головы между тарелками, нас с Машей повели в офицерскую кают-компанию. Дверь туда была закрыта, перед ней толпились матросы. Один опустился на корточки и объяснил, что в комнате, куда я войду, будут сидеть на нескольких стульях офицеры (среди них капитан) и что я должна выбрать из них «шефа» — просто подойти к тому, кто мне больше всех понравится... Открылась дверь, и за моей спиной наступила полная тишина. Переступив очень высокий порог, я сразу увидела седого человека, как будто только что стершего с лица улыбку, и безоглядный детский инстинкт сказал: этот! Помню, что справедливости ради я быстро обвела глазами остальные лица, но все они были чужими и начальственными. Со вскриком радости я кинулась к своему избраннику — он едва успел встать — и была с размаху заключена в крепкие объятия мичмана Федора Ивановича Поливанова.

Вокруг поднялся шум и гогот, подошел капитан и сказал, не без зависти по-моему: «Что, мичман, любовь с первого взгляда?» И, прижимаясь к своему первому избраннику, я не подозревала, конечно, что, выбрав мичмана Поливанова, выбрала жизнь...

Маша такой определенностью чувств не обладала, она долго стеснялась, не знала, кого выбрать, и наконец подошла к тому, кто был ближе.

Пять дней на «Бире» прошли как в кино: я спала на подвесной «койке» с крошечной лампочкой в изголовье, матросы научили меня танцевать «яблочко» и петь «Варяга». Вообще, мы, девочки, оказались в особом положении. «А ну, Анечка-Манечка! — говорил кто-нибудь. — Айда машинное отделение смотреть!» И подхватывали на руки, и ссыпались по крутой, не то слово — вертикальной, лестничке вниз, грохоча сапогами... И в голове таяло бесшабашно бабушкино наставление: «...Всегда спускайся медленно, держись за перила... головой о железную ступеньку...» и так далее.

Я кокетничала и даже позволила себе покапризничать, так что однажды мне сделал замечание какой-то интеллигентного вида матрос. Но мой мичман сразу заморгал, засипел (голоса как такового у Поливанова не

было), замахал руками, засмеялся и как-то загладил неловкую минуту.

Когда же эта рождественская сказка кончилась, мы были закутаны опять в наши тряпки (каждый с сувениром — матросским полосатым воротником) и посажены тем же манером в грузовик. (Помню зависть к одному очкарику, у которого поверх мехового капора была надета подаренная бескозырка.) Но на этот раз мичман Поливанов и его корабельный сын, матрос Саша, отправились меня провожать. Интересно, что огромный добродушный Саша, по которому я безнаказанно карабкалась, как обезьяна по мачте, тоже почти не пользовался голосом, а только жестами и мимикой. Саша тащил рюкзачок с сухим пайком — для Анечки «на потом». И когда на месте встречи они увидели мою маму, мою дистрофичную, но все еще красавицу, они предложили донести обе тяжести — Анечку и паек — до самого дома.

Так нашей семье на последнюю блокадную зиму был послан ангел в чине мичмана, а с ним пайки и охапки дров. На каких попутках, трамваях или патрульных машинах они с Сашей добирались? Что их тянуло к нам? То ли, что заподозрит всякий взрослый? Семейные уют и тепло? Или просто благородство души? А могли они чувствовать, что маленькая девочка, росшая в женском обществе, любила (и действительно искренне, горячо, почти болезненно любила) каждого появлявшегося в ее жизни мужчину и испытывала сердечную боль, когда он исчезал?.. С их появлением, всегда неожиданным и всегда с тайной надеждой ожидаемым, в доме начиналась праздничная суэта. Зажигались копилки и свечные огарки, и в их уютном дрожащем свете на стол вытряхивались победно и катились консервные банки (я с визгом ныряла за укатившимися под пыльную мебель), свертки, расплывался по комнате запах тушенки, какао и американского шоколада, приглашалась Милочка, заводился патефон... Жилое пространство раздвигалось... В заброшенной маминой комнате стелились чистые ледяные простыни...

Через восемнадцать лет, в 61-м — я помню это точно, потому что моей старшей дочери было несколько месяцев — в воскресенье, на пороге нашей (все той же) комнаты снова появилась, как призрак, знакомая пара: Федор Иванович, старенький, но совершенно не изме-

нившийся, и Саша — заматеревший. Интересно, что, когда они пришли, нас снова было трое, мужа не было дома — к сожалению. Мы с мамой с воплями на них повисли (бабушка вела себя сдержанно — как всегда имела по поводу неожиданных гостей, что называется, собственное мнение), начали хлопотать, расспрашивать, накрывать на стол. Вытащили все, что было в доме, все припасенные для праздников шпроты и маринады, варенье, соленые грибки... нашли в буфете початую бутылку вина, вытащили фотографии... Но я видела, что Саша все мрачнел и мрачнел, и даже Федор Иванович, который, лучась, рассказывал о своих дочках, как-то растерялся. Когда дело дошло до первой рюмки, Саша вдруг порывисто встал, как и раньше — ни слова не говоря, снял с гвоздя продуктовую сетку, сделал какой-то сложносочиненный жест и вышел. На наше недоумение Поливанов законфузился, замахал руками и засипел, что Саша ничего... сейчас, одну минутку... только слетает за водкой... И снова оживленно заговорил. Бабушка помрачнела и стала с настырной выразительностью поглядывать на мичмана. Я чувствовала, что что-то неладно, и бестолково переживала... Прошло полчаса, Саша не возвращался. Поливанов опять засуетился и сказал, что сейчас... ничего... он сбегает за Сашей и через минутку назад. Он выскочил почти бегом... и не вернулся никогда — ни он, ни Саша.

Мы с мамой, расстроенные, долго стояли у окна, все высматривали их на улице и гадали, что случилось. Мать не открывала своих предположений, но я и так знала, что они романтические: Саша 20 лет назад влюбился в маленькую девочку, ждал, наконец приехал в надежде... а она качает на руках младенца...

Я сосредоточилась на своем — на чувстве вины: надо было, наверное, самой «слетать» за водкой... ведь (с их точки зрения) какая встреча без «пол-литры»? Какие воспоминания?..

А сзади ходила наша «представительница окружающей действительности» и неостановимо бубнила: «Такая сеточка... Надо ведь, самую лучшую выбрал... Прочная была, а главное, размер такой удобный...»

Ей-богу, иногда мы были в собственной стране как иностранцы.

Детали утра 27 января 1944 года. (Впрочем, это могло быть утро 28-го или 29-го. В России новости сообщают народу только после того, как правители решат,

что с ними делать.) Есть даже какое-то смутное ощущение, что это было в марте — потому что помнится весна.

Меня разбудил и сразу поразил грохот парадной двери. Трехлетний опыт подсказывал, что блокадник, как дикий зверь, издает шум только в чрезвычайных обстоятельствах, — грохот мог быть лишь наглостью победителя или умирающего. Но и на предсмертный кураж это было не похоже — умирали в блокаду обычно покорно: садились передохнуть на тумбу у ворот или не просыпались утром... И пока по коридору до нашей двери стучали торопливые шаги, я все больше возбуждалась и, притаившись под одеялом, ждала сюрприза. Но когда забарабанили по-управдомски в дверь и громкий голос Милочки, с каким-то звоном, не дожидаясь — «Кто там?», нарушая все коды, сказал, ничего не объясняя: «А ну, вставайте, сони!», я даже высунула из-под одеяла нос, который тут же заледенел.

Ах, я помню этот Милочкин проход по нашей холодной загроможденной комнате — в распахнутом халате, мимо «квадрата», со встрепанной головой, к окну, и, о Боже, одним движением, как леди Гамильтон, она срывает синюю штору! Напрочь, с треском!

Мама, ахнув, кидается к черной тарелке радио, и левитановский баритон, как родственник, переживший с нами блокаду, рокошет над останками города: «...должавшаяся девятьсот дней и ночей, — секундная пауза, и шалыпинское — снята!»

И последняя картинка блокады: бабушка в несвежей фланелевой ночной рубаше, сорванная с постели, в пене на габсбургском носу, наяривает на пианино «Собачий вальс».

Тарарам — пам-пам,
Тарарам — пам-пам,
Тарарам-па, ум-па, ум-пам-пам!

Но все-таки был у меня взрыв ужасного, безутешного детского горя по поводу блокады, только оно обрушилось на меня года через два после ее снятия или около того... И случилось это в школе.

Но сначала немножко об этом времени, чтоб Вы представили...

В 44-м, шести лет от роду, я поступила в бывшую Стаюнинскую гимназию на бывшей Кабинетской, напротив бывшей Синодальной типографии. (А по-настоящему — в 320-ю женскую школу на улице Правды.) Клас-

са до 9-го мы смотрели в окна на огромную полукруглую фреску — Бог-вседержитель на облаке. Потом ее замазали. Да уж поздно...

Стиль школы, словно по гимназическим традициям, был не советским, директриса, уютная старушка, ввела уроки рукоделия, другая старушка, в солдатской гимнастерке, помню, изображала куропатку из рассказа Пришвина, которая, защищая от ястреба птенцов, притворялась хромой и уводила хищника от гнезда. А моя соседка по парте Нюся Брук была самым смешливым человеком на свете... Словом, в школе все шло славно. Но на улице...

На улице были Брянские леса! Наша Правда за время войны просела посередине, так что по всей длине улицы — от Звенигородской до Разъезжей — шла глубокая канава, заполненная водой и железобетонным ломом разбитого города. И по этим железобетонным островам прыгали, как брянские партизаны, вооруженные уличные мальчишки. Стреляли из рогаток — обрезками железа, а зимой закатывали в снежки обломки льда.

Самое страшное было учиться во вторую смену — с 3-х до 8-ми. Кончали в темноте. Матери распределяли дежурства, так что кто-нибудь из них ждал у дверей школы. Каждая немедленно обрастала слева и справа двумя шеренгами девочек. Все старались оказаться поближе к ней, отпихивались и ссорились. Странные эти построения, похожие на пчелиные рои с маткой посередине, начинали медленно двигаться от Стаюнинской гимназии под массированным обстрелом с островов.

— Хулиганье! — кричали простонародные матери. — Бандюги! Щас милицию позову.

— Молчи, блядь! — отвечали дети.

— Постыдитесь, мальчишки! — взывали интеллигентные матери. — Это же девочки, вы должны их защищать!

— Мадам! — кричали с островов. — Внимание! Пли! И залп!

На загаженном углу Правды и Социализма рои расходились в разные стороны. У каждого парадного и подворотни две-три пчелки отцеплялись от роя и ныряли в свой улей. Остальные после короткой борьбы за место смыкали ряды, и рой, жужжа, полз дальше.

К великому облегчению моего детства, со мной на одной лестнице жила одноклассница Лена Чулкова. Мы

старались держаться вместе, так что даже в самые жуткие моменты этих одиссей нас (как и всех собравшихся вдвоем девочек) выручала спасительная смесь страха и смеха. Мы жили в самом дальнем от школы конце квартала. По дороге наш рой все таял, таял... В доме 10, огромном, обычно оставалась дежурная мама, в дом 6 ныряла Ася Колодезникова, и на последние три больших дома мы оставались одни, вцепившись друг в друга и умиравшие от страха и смеха. На обломках домов, как индейцы на горных пиках, маячили враги. Я служила главной мишенью, потому что Лена была закутана в серый оренбургский платок и походила на взрослую, а у меня на голове розовел вязаный фунтик с помпоном и лентами под подбородком. «Делай вид, что ты тетка!» — сердилась Лена. Легко сказать! Но я все же горбилась и придерживала прыгающий помпон.

Коммуналка Лены Чулковой была прямо над нашей, и их с матерью большая комната — точно над нашей с бабушкой, так что летом мы прекрасно могли бы, используя балкон, играть хоть в «Таинственный остров»... Но никогда не играли — Лена была реалистом и скептиком с самого раннего детства. Она встречала жизнь во всей ее наготе, и жизнь, словно стараясь соответствовать, никогда для нее не принаряжалась, не манила и не баловала...

Несмотря на одинаковую нищету всех кругом, бабушка разрешала мне дружить с детьми очень выборочно. С Леной — да, потому что ее мать Ксения Ивановна была купеческой дочкой, кончившей гимназию. «Раньше наверху жил генерал, забыла фамилию. У него была дочка Варенька, хроменькая. Ей разрешали с нами играть... Но, конечно, сначала зашла генеральша, познакомилась... видит, люди приличные...» Бабушка — охранительница жизненных трафаретов.

Сходились мы с Леной так: в школе заранее договаривались, скажем, на шесть часов вечера. В шесть бабушка и Ксения Ивановна одновременно открывали двери квартир на крошечную лестницу. Оба ее пролета слабо освещались свечными огарками, которые они держали в руках. По крайней мере становилось видно, что там никого нет.

— Можно пускать? — громко спрашивала бабушка.

— Пускайте!

И бабушка отпускала мое плечо. Перекликаясь с

Леной, я мчалась через две ступеньки, все равно немного боясь, но и предвкушая удовольствие от общества. «Все в порядке,— говорила Ксения Ивановна, перегибаясь через перила с верхней площадки. — Встречайтесь в девять».

Играли обычно у Лены, в крошечной комнате, одной из двух, принадлежавших «тете Мусе». Хозяйка была пожилая, деликатная и веселая. В горло у нее был вставлен металлический клапан (который мне было неловко рассматривать), и говорить она могла, только нажав на этот клапан. Сначала раздавался сип, а уж потом ее голос, как на пластинке со старинной записью голоса Льва Толстого. Поэтому в первую секунду после сипа я каждый раз ожидала услышать что-нибудь значительное, но «тетя Муся» говорила, например: «...Кх-х-х... играй, Адель, не знай печали...» Лена стеснялась тетки, особенно когда та пыталась напевать, и «тетя Муся», смеясь как на старой пластинке, смущенно уходила к себе.

Комната, в которой мы играли, во время войны оставалась нежилой и наполовину превратилась в кладовку. Я очень ее любила — в ней было столько разных вещей, что можно было представить себе все что угодно. Среди других глупых игр помню одну, на которую мы решались только в минуты душевного подъема. Над письменным столом в этой комнате расплывалось по стене сырое пятно (их этаж был последним), а на столе стояла старая бронзовая настольная лампа. Мы зажигали лампу, брались за руки, а свободными руками — одна держалась за лампу, а другая тихонько водила по сырому пятну. И в какой-то момент нас довольно сильно дергало током. Законов электричества мы, само собой, не знали — это был чистый эмпиризм, как в первобытном обществе.

В нашей семье в литературных вкусах царствовал максимализм, прикрывавший некоторое невежество. Поэтому от Пушкина, Лермонтова и Алексея Константиновича Толстого меня вели прямо к Некрасову — Майкову — Фету (тоненький сборничек «Стихи о природе» — например, «Мороз — Красный нос»). А Ксения Ивановна была словно из другого мира. Очень добрая, чуть ироничная и невзрачная, с янтарными (мещанскими) капельками в ушах, она бормотала-напевала все русские жестокие романсы и всех поэтов от Полежаева до Вертинского. Эти их стихи и романсы производили на

меня такое впечатление, словно я после жизни среди статуй попала вдруг в возбуждающее общество живых, кокетливых женщин, может быть, чуть вульгарных, но остроумных и сердечных. Когда нам вместо игры хотелось притулиться ко взрослому, мы приходили (особенно я всегда тянула Лену) в ее комнату с креслами, покрытыми отглаженными полотняными чехлами, с фарфоровыми статуэтками в ореховой горке. Она подавала нам на крахмальных салфетках то, что мы тогда называли чаем, и в двадцатый раз (после моих молений и Лениных ворчаній) декламировала, чуть жеманничая:

Затянет крепом тронный зал.
Сегодня
Народ дает последний бал
По милости Господней...
И, как всегда, король там был
Галантен неизменно,
Он перед плахой преклонил
Высокое колено...

У меня — озноб по спине.

В самом конце 44-го вернулся отец Лены. К тому времени бабушка уже солгала мне, что мой отец погиб на фронте, а мама уже солгала бабушке, что дядя Вадя «пропал без вести». В дневных и ночных снах мне снилось, как я его, пропавшего, нахожу...

Меня пригласили к «верхним жильцам» на семейное торжество. Спазм зависти я встретила возмущенно и, действительно, вскоре почувствовала искреннюю радость и возбуждение — это подставила плечо вся детская классическая литература, предпочитающая братство равенству. К тому же воспитание у нас было такое идеалистическое, что ненадолго все вернувшиеся с фронта отцы показались общими (это пионерская дочка Гайдара, столичного крысолова).

Меня принарядили, и при тускло загоревшемся электричестве я в безумном нетерпении, но чинно, как сиротка, поднялась наверх. Сердце ходило ходуном, когда я пожала руку немолодому майору. Лицо обманчиво деревенского склада (как у Булгакова), прямые белые волосы, легко падавшие на прозрачные глаза... Кожа его быстро краснела, и напрягались все жилы, когда он смеялся, курил и закашливался.

Пока родственницы из Тарховки «сервировали» привезенный майором паек, Лена, не похожая на себя, воз-

бужденно рассказала мне в маленькой комнатке, что отец был на фронте не просто майором — комиссаром! (А подать сюда ляпкина-тяпкина Полевого — иконописный комиссар, дарующий мудрым словом жизнь отчаявшимся...)

На столе были крахмальные салфетки, просунутые в кольца с монограммами, сгущенка в хрустальных блюдечках, фарфоровые чашки и серебряные ложки с витыми тонкими ручками. Ксения Ивановна смущала меня, поминутно прижимаясь к мужу и оглаживая его. Лена не слезала с его колен. Но когда распределяли места за столом, рядом с героем великодушно посадили меня. (Я до сих пор этим тронута.) Я смотрела на комиссара как на священника и во время обеда дала себе слово стать хорошим человеком.

В середине чаепития мы с Леной на минуту отвлеклись от своего соседа, потому что Ксения Ивановна рассказывала что-то смешное про нас самих. Я подалась вперед, рука с куском булки лежала на скатерти. И вдруг эту мою руку что-то страшно обожгло. Так, что я громко вскрикнула, рука дернулась, из глаз брызнули слезы, сгущенка растеклась по белоснежной скатерти. Я в испуге схватилась за обожженное место и вдруг услышала, что майор смеется, а за ним и Лена. В следующую секунду стало понятно, что это была шутка — накалив в кипятке две серебряные ложки, майор приложил их к нашим блокадным семилетним запястьям. Я тоже стала, сглатывая слезы, смеяться, а тогда и другие — облегченно.

Все-таки шутка обидела меня, и остаток чаепития шляхетская гордость подбивала меня уйти, а иудейская охранительность человеческих связей — остаться. Я осталась.

После обеда комиссар затеял с нами игру: стоя и разговаривая с дамами, он вдруг неожиданно, не меняя выражения лица (только глаза расширились), кидался нас ловить. Мы со смехом (Лена — искренним, я — уже с нервным) кидались кто куда. В какой-то момент мы бросились вон из комнаты. В тусклом коридоре, несясь по направлению к нашей кладовке, я услышала за собой командорский шаг кованых сапог. Лена куда-то исчезла. Влетев в комнатку, я спряталась в углу между письменным столом и тяжелым диваном. Комиссар тут же меня настиг и загородил выход из закутка. Особенно страшно было, что он молчал, только смеялся без-

звучно, одним сипом. Опершись на стол и на спинку дивана и повиснув на руках, он начал, сначала медленно, потом все быстрее, делать ногами велосипедные движения, так что кованые подошвы его армейских сапог попеременно оказывались у самого моего лица. Увернуться мне было некуда, и от предчувствия удара в лицо я почти теряла сознание. Продолжалось это вечно, пока сквозь туман дурноты я не увидела рядом с красным лицом майора бледное Ленино. Она смотрела на отцовскую руку. Я тоже безнадежно скосила на нее глаза — рука опиралась на круглое подножие бронзовой лампы. Медленно, как во сне, Лена положила свою руку на руку отца, а другой начала водить по сырому пятну на стене. В следующий момент майор дернулся, встал на ноги и ушел.

Через полгода он умер от травмы, полученной при обстоятельствах, о которых все рассказывали по-разному. И я снова стала бывать у «верхних жильцов».

Как только появилась возможность вставить выбитые стекла в маминой заброшенной комнате, мои женщины сдали ее двум молодым курсантам военно-морского училища: Вите и Леве. Лева был некрасивый, чувствительный и семейственный, играл на пианино классическую музыку и испрашивал у бабушки разрешения приводить серьезных девушек в семейный дом. Витя был красавец и жуир, девушек водил к себе в комнату, а на пианино играл «Путь далекий до Тепперери». Оба были обаятельны, смешливы, любили готовить «мечту гурмана» — макароны по-флотски и постоянно закатывали «семейные обеды» с розыгрышами и музыкой нашего старенького, но хорошего пианино, на котором что ни играй — все звучало благородно. Для Левиных и Витиных — разного сорта — девушек перед обедами долго готовилась соответствующая атмосфера, и я неизменно участвовала во всех заговорах. Витя был влюблен в маму, я была влюблена в Витю — словом, в дом вернулась юность, только чужая. Оба молодых человека успели немножко повоевать, и на Витином лице остался небольшой осколочный шрам, который делал его неотразимым. С курсантами мой и без того любимый дом стал лучшим в мире.

И вот в субботу, чудный день накануне выходного, вместо последнего урока нам обещали кино. Фильм назывался «Жила-была девочка», в нем играла Наташа

Защипина, моя ровесница. Повеселевшие и беззаботные, накануне воскресенья, 200 девочек — полшколы — сидели в безумной тесноте на скамьях в актовом зале. Строгие наши учительницы даже не очень останавливали смех и болтовню. Никто, видно, толком не знал, что за фильм — все приготовились развлекаться...

Но погас свет, опустились оставленные на этот случай синие шторы, и за единственным окном — экрана — мы снова увидели блокаду. Только на этот раз мы переживали ее не за себя, а за двух девочек-ровесниц. И то, что в жизни мы встретили как само собой разумеющееся, увиденное со стороны вдруг ударило по нашим сердцам невыносимой болью и состраданием.

Наташа Защипина, похожая на меня, стояла перед зеркалом в уже пустой квартире (в соседней комнате — умирающая) и, завернувшись в проеденное молью боа, пела:

Частица черта в нас
Горит в недобрый час...
Огонь в груди моей —
Ты с ним шутить не смей!

Когда на экране умерла последняя мать, тихий вой в зале окреп и зазвенел.

Две оставшиеся вдвоем девочки бежали по летним, пыльным развалинам... Выла сирена... «Скорее, скорее!» — кричали мы из зала, но Наташа остановилась завязать шнурок на ботинке... «Сними ботинок! Беги!»... Потом взрыв. «А-а-а!» зала, туча дыма рассеивается, и ужас на лице девочки (ею сыгранный, нами пережитый), которая осталась ОДНА!

В этот момент в разных концах зала несколько зрительниц постарше потеряли сознание. Фильм остановили, зажгли свет, учительницы бросились к упавшим и вытащили их в проход. В зале стоял тяжелый стон. Директриса с выражением бестолкового ужаса на лице объявила срывающимся голосом, что дальше кино показывать не будут. И тут я стала, единственный раз в жизни, свидетельницей и участницей стихийного бунта.

— Нет! Нет! — закричали, завизжали, заплакали две сотни голосов. — Нет! Нет! Нет! — Ноги застучали по полу с силой отчаяния, старая гимназия заходила ходуном.

Испуганные учительницы сначала не понимали, что перестать показывать фильм — значит оставить Наташу Защипину сидеть на окровавленной куче щебня... не

зимой, когда ран не видно под ватниками, а летом, когда тело так беззащитно и кровь сворачивается страшными темными лужицами, подернутыми пылью.

Наконец до взрослых дошло, что они ничем не смогут усмирить нас, кроме фильма. Училка в гимнастерке, ковыляя, как пришвинская куропатка, пробежала к механику и скомандовала продолжать показ.

И мы по праву досмотрели, как в тихую, белую госпитальную палату входит, прихрамывая, высокий и стройный, затянутый в португезу, с седеющими висками и всепонимающим взглядом — ОТЕЦ.

Гром победного салюта на экране слился с облегчающим плачем зала.

Я помню, что бежала домой одна, не обращая внимания на обстрел со стороны лужи, и всю дорогу рыдала. Оба курсанта оказались в нашей комнате, Витя схватил меня на руки и укачивал, бормоча шутки, а мама сзади, через его плечо, давала мне валерьянку и вытирала Витину шею, по которой текли мои неостановимые слезы.

Как у многих детей этого поколения, мое сердце было разбито не жизнью, а искусством — каким бы там оно ни было. Мы мало чего ждали и уж точно ничего не требовали от жизни, а от искусства — всего.

Дорогой Николас, кажется, я давно Вам не писала. Год? Жизнь перед глазами менялась, мельтешила, как картинка на экране компьютера. Но сейчас остановилась, и в душе покой — я приняла бабушку как хроническую болезнь. Утром встаем — на «comode». Бабушка говорит: «Вот накопила! Слышишь? И льется, и льется...» Потом кофе — так, чтобы все кругом было залито, — мы не половинкины дочки. Приходит женщина черная помочь, милая, говорит улыбаясь: «Всье харшоу». Бабушка спрашивает: «А где все-то? Папа здесь? А Эдуард?»

А где Америка-то? Ау!

Муж как-то утешал меня, что бабушка мне — не наказание, а испытание... Это для меня очень важно, потому что испытание может кончиться, его можно выдержать. Испытание — это знак даже некоторой избранности. Вот ведь! Все еще охота в избранные. стыдно. Но зато страх прошел, страх наказания. Потому что куда я могу попасть в конце концов? Опять в темно-синюю комнату с окном на соседскую стену. Для обозрения —

серая вставная челюсть и обвислые лиловые ягодицы. И вечный припах — несвежего тела и свежей мочи. С другой стороны, если помечтать о награде... На днях подруга, которая много лет наблюдает мою жизнь с бабушкой, сказала мне: «Анька, ты святая, ты попадешь в рай!» Да? И там у ворот меня будет ждать бабушка.

...Между прочим, она вот тут как раз говорит, чтобы Рачинских — не принимать! Они, говорит, какие-то нагловатые...

Николас, я хочу поделиться с Вами опытом, как участник чистого эмпирического эксперимента. Я поняла, что у человека, в сущности, есть только один выбор: исполнение долга перед собой или перед другими. Если вдруг Вы еще не решили, не сидите между двух стульев, не задумываясь выбирайте первый. Его, по крайней мере, можно выполнить, в принципе. Выбрав второй, вы автоматически попадаете в неудачники. И не говорите мне, что перед первым будут в конце жизни вставать тени кредиторов. Второму они тоже свет застят. Вообще, Вы заметили, что в невыполнении долга всегда обвиняют только того, кто выполнял, выполнял, а потом один раз не выполнил?.. Так что выбирайте долг перед собой, Ни-кола-с, Ни-двора-с, потому что, скорей всего, это и есть то, чего хочет от нас не общество, не литература, черт бы ее побрал, а Господь. Верьте мне! А если не верите, выйдите на кухню и спросите кого хотите.

Вчера в очередной раз приходила медсестра от здешнего собеса — Медикейта. Бабушка — в панику: «Это кто?!» — «Не бойся, это доктор, проверит твое здоровье». — «Да зачем? У меня брат-то, Шура, врач. Уж он не допустит».

Медсестра все же успешно ее осмотрела. Сердце — секунда в секунду, как Большой Бен; кишечник — с пропускной способностью Туннеля Линкольна. «А как у нее с давлением?» Сестра говорит: «Да лучше, чем у вас». Она стояла, наклонившись над бабушкиным креслом, и вдруг повернула ко мне в полутьме лицо и сказала с ухмылкой: «Seems she will last forever».*

Рачко М. Через не могу. Эрмитаж, 1990.

* «Похоже, она будет жить вечно» (англ.).

ГОРОД

Сергей ДОВЛАТОВ

ЛИШНИЙ РАССКАЗ

*Александру Гроссу, неудержимому
русскому деграданту, лишнему человеку
и возмутителю спокойствия*

Как обычно, не хватило спиртного, и, как всегда, я предвидел это заранее. А вот с закуской не было проблем. Да и быть не могло. Какие могут быть проблемы, если Севастьянову удавалось разрезать обыкновенное яблоко на шестьдесят четыре дольки?!

Помню, дважды бегали за «стрелецкой». Затем появились какие-то девушки из балета на льду. Шаблинский все глядел на девиц, повторяя:

— Мы растопим этот лед... Мы растопим этот лед...

Наконец подошла моя очередь бежать за водкой. Шаблинский отправился со мной. Когда мы вернулись, девушек не было.

Шаблинский сказал:

— А бабы-то умнее, чем я думал. Поели, выпили и ретировались.

— Ну и хорошо,— произнес Севастьянов,— давайте я картошки отварю.

— Ты бы еще нам каши предложил! — сказал Шаблинский.

Мы выпили и закурили. Алкоголь действовал неэффективно. Ведь напиться как следует — это тоже искусство...

Девушкам в таких случаях звонить бесполезно. Раз уж пьянка не состоялась, то все. Значит, тебя ждут сплошные унижения. Надо менять обстановку. Обстановка — вот что главное.

Помню, Тофик Алиев рассказывал:

— Дома у меня рояль, альков, серебряные ложки... Картины чуть ли не эпохи Возрождения... И — никакого секса. А в гараже — разный хлам, покрышки старые, брезентовый чехол... Так я на этом чехле имел половину хореографического училища. Многие буквально уговаривали — пошли в гараж! Там, мол, обстановка соответствующая...

Шаблинский встал и говорит:

— Поехали в Таллинн.

— Поедем, — говорю.

Мне было все равно. Тем более, что девушки исчезли.

Шаблинский работал в газете «Советская Эстония». Гостил в Ленинграде неделю. И теперь возвращался с оказией домой.

Севастьянов вяло предложил не расходиться. Мы попрощались и вышли на улицу. Заглянули в магазин. Бутылки оттягивали наши карманы. Я был в летней рубашке и в кедах. Даже паспорт отсутствовал.

Через десять минут подъехала «Волга». За рулем сидел угрюмый человек, которого Шаблинский называл Гришаня.

Гришаня всю дорогу безмолвствовал. Водку пить не стал. Мне даже показалось, что Шаблинский видел его впервые.

Мы быстро проскочили невзрачные северо-западные окраины Ленинграда. Далее следовали однообразные поселки, бедноватая зелень и медленно текущие речки. У переезда Гришаня затормозил, распахнул дверцу и направился в кусты. На ходу он деловито расстегивал ширинку, как человек, пренебрегающий условностями.

— Чего он такой мрачный? — спрашиваю.

Шаблинский ответил:

— Он не мрачный. Он под следствием. Если не ошибаюсь, там фигурирует взятка.

— Он что, кому-то взятку дал?

— Не идеализируй Гришу. Гриша не давал, а брал. Причем в неограниченном количестве. И вот теперь он под следствием. Уже подписку взяли о невыезде.

— Как же он выехал?

— Откуда?

— Из Ленинграда.

— Он дал подписку в Таллинне.

— Как же он выехал из Таллинна?

— Очень просто. Сел в машину и поехал. Грише уже нечего терять. Его скоро арестуют.

— Когда? — задал я лишний вопрос.

— Не раньше, чем мы окажемся в Таллинне...

Тут Гришаня вышел из кустов. На ходу он сосредоточенно застегивал брюки. На крепких запястьях его что-то сверкало.

«Наручники?» — подумал я.

Потом разглядел две пары часов с металлическими браслетами.

Мы поехали дальше.

За Нарвой пейзаж изменился. Природа выглядела теперь менее беспорядочно. Дома — более аккуратно и строго.

Шаблинский выпил и задремал. А я все думал — зачем? Куда и зачем я еду? Что меня ожидает? И до чего же глупо складывается жизнь!...

Наконец мы подъехали к Таллинну. Миновали безликие кирпичные пригороды. Затем промелькнула какая-то готика. И вот мы на Ратушной площади.

Звякнула бутылка под сиденьем. Машина затормозила. Шаблинский проснулся.

— Вот мы и дома, — сказал он.

Я выбрался из автомобиля. Мостовая отражала расплывчатые неоновые буквы. Плоские фасады сурово выступали из мрака. Пейзаж напоминал иллюстрации к Андерсену.

Шаблинский протянул мне руку.

— Звони.

Я не понял.

Тогда он сказал:

— Нелька волнуется.

Тут я по-настоящему растерялся. Я даже спросил от безнадежности:

— Какая Нелька?

— Да жена, — сказал Шаблинский, — забыл? Ты же первый и отключился на свадьбе...

Шаблинский давно уже работал в партийной газете. Положение функционера не слишком его тяготило. В нем даже сохранилось какое-то обаяние.

Вообще я заметил, что человеческое обаяние истребить довольно трудно. Куда труднее, чем разум, принципы или убеждения. Иногда десятилетия партийной работы оказываются бессильны. Честь, бывает, полностью утрачена, но обаяние сохранилось. Я даже знавал, пред-

ставьте себе, обаятельного начальника тюрьмы в Мордовни...

Короче, Шаблинский был нормальным человеком. Если и делал подлости, то без ненужного рвения. Я с ним почти дружил. И вот теперь:

— Звони,— повторил он...

В Таллинне я бывал и раньше. Но это были служебные командировки. То есть с необходимыми бумагами, деньгами и гостиницей. А главное — с ощущением пошлой, но разумной цели.

А зачем я приехал сейчас? Из редакции меня уволили. Денег в кармане — рублей шестнадцать. Единственный знакомый торопится к жене. Гришаня — и тот накануне ареста.

Тут Шаблинский задумался и говорит:

— Идея. Поезжай к Бушу. Скажи, что ты от меня. Буш тебя охотно приютит.

— Кто такой Буш?

— Буш — это нечто фантастическое. Сам увидишь. Думаю, он тебе понравится. Телефон — четыре, два нуля, одиннадцать.

Мы попрощались. Гришаня сидел в автомобиле. Шаблинский махнул ему рукой и быстро свернул за угол. Так и бросил меня в незнакомом городе. Удивительно, что неделю спустя мы будем работать в одной газете и почти дружить.

Тут медленно опустилось стекло автомобиля, и выглянул Гришаня.

— Может, тебе деньги нужны? — спросил он.

Деньги были нужны. Более того — необходимы. И все-таки я ответил:

— Спасибо. Деньги есть.

Впервые я разглядел Гришанино лицо. Он был похож на водолаза. Так же одинок и непроницаем.

Мне захотелось сказать ему что-то приятное. Меня поразило его благородство. Одалживать деньги перед арестом, что может быть изысканнее такого категорического неприятия судьбы?...

— Желаю удачи,— сказал я.

— Чао,— коротко ответил Гришаня.

С работы меня уволили в начале октября. Конкретного повода не было. Меня, как говорится, выгнали «по совокупности». Видимо, я позволял себе много лишнего.

В журналистике каждому разрешается делать что-то одно. В чем-то одном нарушать принципы социалисти-

ческой морали. То есть одному разрешается пить. Другому — хулиганить. Третьему — рассказывать политические анекдоты. Четвертому — быть евреем. Пятому — беспартийным. Шестому — вести аморальную жизнь. И так далее. Но каждому, повторяю, дозволено что-то одно. Нельзя быть одновременно евреем и пьяницей. Хулиганом и беспартийным...

Я же был пагубно универсален. То есть разрешал себе всего понемногу.

Я выпивал, скандалил, проявлял идеологическую близорукость. Кроме того, не состоял в партии и даже частично был евреем. Наконец, моя семейная жизнь все более запутывалась.

И меня уволили. Вызвали на заседание парткома и сказали:

— Хватит! Не забываете, что журналистика — передовая линия идеологического фронта. А на фронте главное — дисциплина. Этого-то вам и не хватает. Ясно?

— Болес или менее.

— Мы даем вам шанс исправиться. Идите на завод. Проявите себя на тяжелой физической работе. Станьте рабкором. Отражайте в своих корреспонденциях подлинную жизнь.

Тут я не выдержал.

— Да за подлинную жизнь, — говорю, — вы меня без суда расстреляете!

Участники заседания негодующе переглянулись. Я был уволен «по собственному желанию».

После этого я не служил. Редактировал какие-то генеральские мемуары. Халтурил на радио. Написал брошюру «Коммунисты покорили тундру». Но даже и тут совершил грубую политическую ошибку. Речь в брошюре шла о строительстве Мончегорска. События происходили в начале тридцатых годов. Среди ответственных работников было много евреев. Припоминаю какого-то Шимкуса, Фельдмана, Рапопорта... В горькоме ознакомились и сказали:

— Что это за сионистская прокламация?! Что это за мифические евреи в тундре?! Немедленно уничтожить весь тираж!...

Но гонорар я успел получить. Затем писал внутренние рецензии для журналов. Анонимно сотрудничал на телевидении. Короче, превратился в свободного художника. И наконец занесло меня в Таллинн...

Около магазина сувениров я заметил телефонную

будку. Припомнил цифры: четыре, два нуля, одиннадцать...

Звоню. Отвечает женский голос:

— Слушаю! — (У нее получилось — «свушаю»). — Свушаю, мивенький!

Я попросил к телефону Эрика Буша. В ответ прозвучало:

— Его нет. Я прямо вовнуюсь. Он дал мне своо не задерживаться. Так что приходите. Мы свавно побовтаем...

Женщина довольно толково продиктовала мне адрес. Объяснила, как ехать.

Миниатюрный эстонский трамвай раскачивался на поворотах. Через двадцать минут я был в Кадрриорге. Легко разыскал полуразрушенный бревенчатый дом.

Дверь мне отворила женщина лет пятидесяти, худая, с бледно-голубыми волосами. Кружева ее лилового пеньюара достигали золотых арабских туфель. Лицо было густо напудрено. На щеках горел химический румянец. Женщина напоминала героиню захолустной оперетты.

— Эрик дома,— сказала она, — проходите.

Мы с трудом разминулись в узкой прихожей. Я зашел в комнату и обмер. Такого чудовищного беспорядка мне еще видеть не приходилось.

Обеденный стол был завален грязной посудой. Ключья зеленоватых обоев свисали до полу. На рваном ковре толстым слоем лежали газеты. Сиамская кошка перелетала из одного угла в другой. У двери выстроились пустые бутылки.

С продавленного дивана встал мужчина лет тридцати. У него было смуглое мужественное лицо американского киногероя. Лацкан добротного заграничного пиджака был украшен гвоздикой. Полуботинки сверкали. На фоне захламленного жилища Эрик Буш выглядел космическим пришельцем.

Мы поздоровались. Я неловко и сбивчиво объяснил ему, в чем дело.

Буш улыбнулся и неожиданно заговорил гладкими певучими стихами:

— Входи, полночный гость! Чулан к твоим услугам. Кофейник на плите. В шкафу голландский сыр. Ты братом станешь мне. Галине станешь другом. Люби ее, как мать. Люби ее, как сын. Пускай кругом бардак...

— Есть сладкие булочки! — вмешалась Галина.

Буш прервал ее мягким, но величественным жестом: — Пускай кругом бардак — есть худшие напасти! Пусть дует из окна. Пусть грязен наш сортир... Зато — и это факт — тут нет советской власти. Свобода — мой девиз, мой фетиш, мой кумир!

Я держался так, будто все это нормально. Что мне оставалось делать? Уйти из дома в первом часу ночи? Обратиться в «Скорую помощь»?

Кроме того, человеческое безумие — это еще не самое ужасное. С годами оно для меня все более приближается к норме. А норма становится чем-то противоземным.

Нормальный человек бросил меня в полном одиночестве. А ненормальный предлагает кофе, дружбу и чулан...

Я напрягся и выговорил:

— Быть вашим гостем чрезвычайно лестно. От всей души спасибо за уют. Тем более, что, как давно известно, все остальные на меня плюют...

Затем мы пили кофе, ели булку с джемом. Сиамская кошка прыгнула мне на голову. Галина завела пластинку Оффенбаха.

Разошлись мы около двух часов ночи.

У Буша с Галиной я прожил недели три. С каждым днем они мне все больше нравились. Хотя оба были законными шизофрениками.

Эрик Буш происходил из весьма уважаемой семьи. Его отец был доктором наук и профессором математики в Риге. Мать заведовала сектором в республиканском институте тканей. Годам к семи Буш возненавидел обоих. Каким-то чудом он почти с рождения был антисоветчиком и нонконформистом. Своих родителей называл «выдвиженцами».

Окончив школу, Буш покинул Ригу. Больше года плавал на траулере. Затем какое-то время был пляжным фотографом. Поступил на заочное отделение Ленинградского института культуры. По окончании его стал журналистом.

Казалось бы, человеку с его мировоззрением такая деятельность противопоказана. Ведь Буш не только критиковал существующие порядки. Буш отрицал саму историческую реальность. В частности — победу над фашистской Германией.

Он твердил, что бесплатной медицины не существует. Делился сомнениями относительно нашего приоритета в космосе. После третьей рюмки Буш выкрикивал:

— Гагарин в космос не летал! И Титов не летал!.. А все советские ракеты—это огромные консервные банки, наполненные глиной...

Казалось бы, такому человеку не место в советской журналистике. Тем не менее Буш выбрал именно это занятие. Решительный нонконформизм уживался в нем с абсолютной беспринципностью. Это бывает.

В творческой манере Буша сказывались уроки немецкого экспрессионизма. Одна из его корреспонденций начиналась так:

«Настал звездный час для крупного рогатого скота. Участники съезда ветеринаров приступили к работе. Пахнущие молоком и навозом ораторы сменяют друг друга...»

Сначала Буш работал в провинциальной газете. Но захолустье быстро ему наскучило. Для небольшого северного городка он был чересчур крупной личностью.

Два года назад Буш переехал в Таллинн. Поселился у какой-то стареющей женщины.

В Буше имелось то, что роковым образом действует на стареющих женщин. А именно— бедность, красота, саркастический юмор, но главное— полное отсутствие характера.

За два года Буш обольстил четырех стареющих женщин. Галина Аркадьевна была пятой и самой любимой. Остальные сохранили к Бушу чувство признательности и восхищения.

Злые языки называли Буша альфонсом. Это было несправедливо. В любви к стареющим женщинам он руководствовался мотивами альтруистического порядка. Буш милостиво разрешал им обрушиваться на себя водопады горьких, запоздалых эмоций.

Постепенно о Буше начали складываться легенды. Он беспрерывно попадал в истории.

Однажды Буш поздно ночью шел через Кадриорг. К нему подошли трое. Один из них мрачно выговорил:

— Дай закурить.

Как в этой ситуации поступает нормальный человек? Есть три варианта сравнительно разумного поведения.

Невозмутимо и бесстрашно протянуть хулигану сигареты.

Быстро пройти мимо, а еще лучше — стремительно убежать.

И последнее — нокаутировав того, кто ближе, срочно ретироваться.

Буш избрал самый губительный, самый нестандартный вариант. В ответ на грубое требование Буш изысканно произнес:

— Что значит — дай? Разве мы пили с вами на брудершафт?!

Уж лучше бы он заговорил стихами. Его могли бы принять за опасного сумасшедшего. А так Буша до полусмерти избили. Наверное, хулиганов взбесило таинственное слово — «брудершафт».

Теряя сознание, Буш шептал:

— Ликуйте, смерды! Зрю на ваших лицах грубое торжество плоти!..

Неделю он пролежал в больнице. У него были сломаны ребра и вывихнут палец. На лбу появился романтический шрам...

Буш работал в «Советской Эстонии». Года полтора его держали внештатным корреспондентом. Шли разговоры о том, чтобы дать ему постоянное место. Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сторону. Сотрудники прилично к нему относились. Особенно стареющие женщины. Завидев Буша, они шептались и краснели.

Штатная должность означала многое. Особенно — в республиканской газете. Во-первых, стабильные деньги. Кроме того, множество разнообразных социальных льгот. Наконец, известную степень личной безнаказанности. То есть главное, чем одаривает режим свою номенклатуру.

Буш нетерпеливо ожидал зачисления в штат. Он, повторяю, был двойственной личностью. Мятежность легко уживалась в нем с отсутствием принципов. Буш говорил:

— Чтобы низвергнуть режим, я должен превратиться в один из его столпов. И тогда вся постройка скоро зашатается...

Приближалось 7 ноября. Редактор вызвал Буша и сказал:

— Решено, Эрнст Леопольдович, поручить вам ответственное задание. Берете в секретариате пропуск. Едете в морской торговый порт. Беседуете с несколькими западными капитанами. Выбираете одного, наибо-

лее лояльного к идеям социализма. Задаете ему какие-то вопросы. Добиваетесь более или менее подходящих ответов. Короче, берете у него интервью. Желательно, чтобы моряк поздравил нас с шестьдесят третьей годовщиной Октябрьской революции. Это не значит, что он должен выкрикивать политические лозунги. Вовсе нет. Достаточно сдержанного уважительного поздравления. Это все, что нам требуется. Ясно?

— Ясно,— ответил Буш.

— Причем нужен именно западный моряк. Швед, англичанин, норвежец, типичный представитель капиталистической системы. И тем не менее лояльный к советской власти.

— Найду,— заверил Буш,— такие люди попадаются. Помню, разговорился я в Хабаровске с одним матросом швейцарского королевского флота. Это был наш человек, все Ленина цитировал...

Редактор вскинул брови, задумался и укоризненно произнес:

— В Швейцарии, товарищ Буш, нет моря, нет короля, а следовательно, нет и швейцарского королевского флота. Вы что-то путаете.

— Как это нет моря? — удивился Буш. — А что же там есть, по-вашему?!

— Суша,— ответил редактор.

— Вот как,— не сдавался Буш. — Интересно. Очень интересно... Может, и озер там нет? Знаменитых швейцарских озер?!

— Озера есть,— печально согласился редактор,— а швейцарского королевского флота — нет... Можете действовать,— закончил он,— но будьте, пожалуйста, серьезнее. Мы, как известно, думаем о предоставлении вам штатной работы. Это задание — во многом решающее. Желаю удачи...

Таллиннский порт расположен в двадцати минутах езды от центра города.

Буш отправился на задание в такси. Зашел в редакцию портовой многотиражки. Там как раз отмечали со-рокалетие фотографа Левы Баранова. Бушу протянули стакан ликера. Буш охотно выпил и сказал:

— Мне нельзя. Я на задании.

Он выпил еще немного и стал звонить диспетчеру.

Диспетчер рекомендовал Бушу западногерманское торговое судно «Эдельвейс».

Буш выпил еще один стакан и направился к четвертому пирсу.

Капитан встретил Буша на трапе. Это был типичный морской волк, худой, краснолицый, с орлиным профилем. Звали его Пауль Руди.

Диспетчер предупредил капитана о визите советского журналиста. Тот пригласил Буша в каюту.

Они разговорились. Капитан довольно сносно объяснялся по-русски. Коньяк предпочитал — французский.

— Это «Кордон бло», — говорил он, — рекомендую. Двести марок бутылка.

Сознавая, что пьянеет, Буш успел задать вопрос:

— Когда ты отчаливаешь?

— Завтра в одиннадцать тридцать.

Теперь о деле можно было и не заговаривать. Накануне отплытия капитан мог произнести все что угодно. Кто будет это проверять?

Беседа велась откровенно и просто.

— Ты любишь женщин? — спрашивал капитан.

— Люблю, — говорил Буш, — а ты?

— Еще бы! Только моя Луиза об этом не догадывается. Я люблю женщин, выпивку и деньги. Ты любишь деньги?

— Я забыл, как они выглядят. Это такие разноцветные бумажки?

— Или металлические кружочки.

— Я люблю их больше, чем футбол! И даже больше, чем женщин. Но я люблю их чисто платонически...

Буш пил, и капитан не отставал. В каюте плавал дым американских сигарет. Из невидимой радиоточки долетала гавайская музыка. Разговор становился все более откровенным.

— Если бы ты знал, — говорил журналист, — как мне все опротивело! Надо бежать из этой проклятой страны!

— Я понимаю, — соглашался капитан.

— Ты не можешь этого понять! Для тебя, Пауль, свобода — как воздух! Ты его не замечаешь. Ты им просто дышишь. Понять меня способна только рыба, выброшенная на берег.

— Я понимаю, — говорил капитан, — есть выход. Ты же немец. Ты можешь эмигрировать в свободную Германию.

— Теоретически это возможно. Практически — исключено. Да, мой папаша — обрусевший курляндский немец. Мать — из Польши. Оба в партии с тридцать шестого года. Оба — выдвиженцы, слуги режима. Они не подпишут соответствующих бумаг.

— Я понимаю, — твердил капитан, — есть другой выход. Иди в торговый флот, стань матросом. Добейся получения визы. И, оказавшись в западном порту, беги. Проси убежища.

— И это фикция. Я ведь на плохом счету. Мне не откроют визы. Я уже добивался, пробовал... Увы, я обречен на медленную смерть.

— Понимаю... Можно спрятать тебя на «Эдельвейсе». Но это рискованно. Если что, тебя будут судить как предателя...

Капитан рассуждал очень здраво. Слишком здраво. Вообще, для иностранца он был на редкость компетентен. У трезвого человека это могло бы вызвать подозрения. Но Буш к этому времени совершенно опьянел. Буш ораторствовал:

— Свободен не тот, кто борется против режима. И не тот, кто побеждает страх. А тот, кто его не ведает. Свобода, Пауль, — функция организма. Тебе этого не понять! Ведь ты родился свободным, как птица!

— Я понимаю, — отвечал капитан...

Около двенадцати ночи Буш спустился по трапу. Он то и дело замедлял шаги, вскидывая кулак — «рот фронт»! Затем растопыривал пальцы, что означало — «виктория»! победа!...

Капитан с пониманием глядел ему вслед...

На следующий день Буш появился в редакции. Он был возбужден, но трезв. Его сигареты распространяли благоухание. Авторучка «Паркер» выглядывала из бокового кармана.

Буш отдал статью машинисткам. Называлась она длинно и красиво: «Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба!»

Статья начиналась так:

«Капитана Пауля Руди я застал в машинном отделении. Торговое судно «Эдельвейс» готовится к отплытию. Изношенные механизмы требуют дополнительной проверки.

— Босса интересует только прибыль, — жалуется капитан. — Двадцать раз я советовал ему заменить

цилиндры. Того и гляди лопнут прямо в открытом море. Сам-то босс путешествует на яхте. А мы тут загораем, как черти в преисподней...»

Конец был такой:

«Капитан вытер мозолистые руки паклей. Борода его лоснилась от мазута. Глиняная трубка оттягивала квадратную челюсть. Он подмигнул мне и сказал:

— Запомни, парень! Свобода — как воздух. Ты дышишь свободой и не замечаешь ее... Советским людям этого не понять. Ведь они родились свободными, как птицы. А меня поймет только рыба, выброшенная на берег... И потому — я вернусь! Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба! Душистого хлеба свободы, равенства и братства!..»

— Неплохо, — сказал редактор, — живо, убедительно. Единственное, что меня смущает... Он действительно говорил нечто подобное?

Буш удивился:

— А что еще он мог сказать?

— Впрочем, да, конечно, — отступил редактор...

Статья была опубликована. На следующий день Буша вызвали к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет пятидесяти. Его лицо выражало полное равнодушие и одновременно крайнюю сосредоточенность.

Редактор как бы отодвинулся в тень. Мужчина же при всей его невыразительности распространился широко и основательно. Он заполнил собой все пространство номенклатурного кабинета. Даже гипсовый бюст Ленина на обтянутом кумачом постаменте уменьшился в размерах.

Мужчина поглядел на Буша и еле слышно выговорил:

— Рассказывайте.

Буш раздраженно переспросил:

— О чем? Кому? Вообще, простите, с кем имею честь?

Ответ был короткий, словно вычерченный пунктиром:

— О встрече... Мне... Сорокин... Полковник Сорокин...

Назвав свой чин, полковник замолчал, как будто вконец обессилев.

Что-то заставило Буша повиноваться. Буш начал пересказывать статью о капитане Руди.

Полковник слушал невнимательно. Вернее, он почти дремал. Он напоминал профессора, задавшего вопрос ленивому студенту. Вопрос, ответ на который ему заранее известен.

Буш говорил, придерживаясь фактов, изложенных в статье. Закончил речь патетически:

«Где ты, Пауль?! Куда несет тебя ветер дальних странствий? Где ты сейчас, мой иностранный друг?!»

— В тюрьме,— неожиданно ответил полковник.

Он хлопнул газетой по столу, как будто убивая муху, и четко выговорил:

— Пауль Руди находится в тюрьме. Мы арестовали его как изменника родины. Настоящая его фамилия — Рютти. Он — беглый эстонец. В семидесятом году рванул на байдарке через Швецию. Обосновался в Гамбурге. Женился на Луизе Рейшвиц. Четвертый год плавает на судах западногерманского торгового флота. Наконец совершил первый рейс в Эстонию. Мы его давно поджидали...

Полковник повернулся к редактору:

— Оставьте нас вдвоем.

Редактору было неловко, что его выгоняют из собственного кабинета. Он пробормотал:

— Да, я как раз собирался посмотреть иллюстрации.

И вышел.

Полковник обратился к Бушу:

— Что вы на это скажете?

— Я поражен. У меня нет слов!

— Как говорится, неувязка получилась.

Но Буш держался прежней версии:

— Я описал все, как было. О прошлом капитана Руди не догадывался. Воспринял его как прогрессивно мыслящего иностранца.

— Хорошо,— сказал полковник,— допустим. И все-таки случай для вас неприятный. Крайне неприятный. Пятно на вашей журналистской репутации. Я бы даже сказал: идеологический просчет. Потеря бдительности. Надо что-то делать...

— Что именно?

— Есть одна идея. Хотите нам помочь? А мы, соответственно, будем рекомендовать вас на штатную должность.

— В КГБ? — спросил Буш.

— Почему в КГБ? В газету «Советская Эстония».

Вы же давно мечтаете о штатной работе. В наших силах ускорить это решение. Сроки зависят от вас.

Буш насторожился. Полковник Сорокин продолжал:

— Вы могли бы дать интересующие нас показания.

— То есть?

— Насчет капитана Руди... Дайте показания, что он хотел вас это самое... Употребить... Ну, в смысле полового извращения...

— Что?! — приподнялся Буш.

— Спокойно!

— Да за кого вы меня принимаете?! Вот уж не думал, что КГБ использует подобные методы!

Глаза полковника сверкнули бритвенными лезвиями. Он побагровел и выпрямился:

— Пожалуйста, без громких слов. Я вам советую подумать. На карту поставлено ваше будущее.*

Но тут и Буш расправил плечи. Он медленно вынул пачку американских сигарет. Прикурил от зажигалки «Ронсон». Затем спокойно произнес:

— Ваше предложение аморально. Оно идет вразрез с моими нравственными принципами. Этого мне только не хватало — понравиться гомосексуалисту! Короче, я отказываюсь. Половые извращения — не для меня!.. Хотите, я напишу, что он меня спаивал? А впрочем, и это не совсем благородно...

— Ну что ж, — сказал полковник, — мне все ясно. Боюсь, что вы на этом проиграете.

— Да неужели у КГБ можно выиграть?! — расхохотался Буш.

На этом беседа закончилась. Полковник уехал. Уже в дверях он произнес совершенно неожиданную фразу:

— Вы лучше, чем я думал.

— Полковник, не теряйте стиля! — ответил Буш...

Его лишили внештатной работы. Может быть, Сорокин этого добился. А скорее всего редактор проявил усердие. Буш вновь перешел на иждивение к стареющим женщинам. Хотя и раньше все шло таким же образом.

Как раз в эти дни Буш познакомился с Галиной. До этого его любила Марианна Викентьевна, крупный торговый работник. Она покупала Бушу сорочки и галстуки. Платила за него в ресторанах. Кормила его вкусной и здоровой пищей. Но карманных денег Бушу не пола-

галось. Иначе Буш сразу принимался ухаживать за другими женщинами.

Получив очередной редакционный гонорар, Буш исчезал. Домой являлся поздно ночью, благоухая луком и косметикой. Однажды Марианна не выдержала и закричала:

— Где ты бродишь, подлец?! Почему возвращаешься среди ночи?!

Буш виновато ответил:

— Я бы вернулся утром — просто не хватило денег...

Наконец Марианна взбунтовалась. Уехала на курорт с пожилым работником главка. Рядом с ним она казалась моложавой и легкомысленной. Оставить Буша в пустой квартире Марианна, естественно, не захотела.

И тут возникла Галина Аркадьевна. Практически из ничего. Может быть, под воздействием закона сохранения материи.

Дело в том, что она не имела гражданского статуса. Галина была вдовой знаменитого эстонского революционера, чуть ли не самого Кингисеппа. И ей за это дали что-то вроде пенсии.

Буш познакомился с ней в романтической обстановке. А именно — на берегу пруда.

В самом центре Кадриорга есть небольшой затененный пруд. Его огибают широкие липовые аллеи. Ручные белки прыгают в траве.

У берега плавают черные лебеди. Как они сюда попали — неизвестно. Зато всем известно, что эстонцы любят животных. Кто-то построил для лебедей маленькую фанерную будку. Посетители Кадриорга бросают им хлеб...

Майским вечером Буш сидел на траве у пруда. Сигареты у него кончились. Денег не было вторые сутки. Минувшую ночь он провел в заброшенном киоске «Союзпечати». Благо на полу там лежали старые газеты.

Буш жевал сухую горькую травинку. Мысли в его голове проносились отрывистые и беспокойные, как телеграммы:

«...Еда... Сигареты... Жилье... Марианна на курорте... Нет работы... К родителям обращаться стыдно, а главное — бессмысленно...»

Когда и где он ел в последний раз? Припомнились два куска хлеба в закусочной самообслуживания. Затем — кислые яблоки над оградой чужого сада. Найден-

ная у дороги ванильная сушка. Зеленый помидор, обнаруженный в киоске «Союзпечати»...

Лебеди скользили по воде, как два огромных черных букета. Пища доставалась им без видимых усилий. Каждую секунду резко опускались вниз точеные маленькие головы на изогнутых шеях...

Буш думал о еде. Мысли его становились все короче: «...Лебедь... Птица... Дичь...»

И тут зов предков отозвался в Буше легкой нервической дрожью. В глазах его загорелись отблески первобытных костров. Он замер, как сеттер на болоте, вырвавшийся из городского плена...

К десяти часам окончательно стемнеет. Изловить самоуверенную птицу будет делом минуты. Ощипанный лебедь может вполне сойти за гуся. А с целым гусем Буш не пропадет. В любой компании будет желанным гостем...

Буш преобразился. В глубине его души звучал охотничий рожок. Он чувствовал, как тверд его небритый подбородок. Доисторическая сила пробудилась в Буше...

И тут произошло чудо. На берегу появилась стареющая женщина. То есть дичь, которую Буш чуял на огромном расстоянии.

Вовек не узнают черные лебеди, кто спас им жизнь!

Женщина была стройна и прекрасна. Над головой ее кружились бабочки. Голубое воздушное платье касалось травы. В руках она держала книгу. Прижимала ее к груди наподобие молитвенника.

Дальнозоркий Буш легко прочитал заглавие — «Ахматова. Стихи».

Он выплюнул травинку и сильным глуховатым баритоном произнес:

Они летят, они еще в дороге,
Слова освобожденья и любви,
А я уже в божественной тревоге,
И холоднее льда уста мои...

Женщина замедлила шаги. Прижала ладони к вискам. Книга, шелестя страницами, упала на траву.

Буш продолжал:

А дальше — свет невыносимо щедрый,
Как сладкое, горячее вино...
Уже душистым, раскаленным ветром
Сознание мое опалено...

Женщина молчала. Ее лицо выражало смятение и ужас. (Если ужас может быть пылким и радостным чувством.)

Затем, опустив глаза, женщина тихо проговорила:

Но скоро там, где жидкие березы,
Прильнувши к окнам, сухо шелестят,—
Венцом червонным заплетутся розы,
И голоса незримо прозвучат...

(У нее получилось — «говоса»).

Буш поднялся с земли.

— Вы любите Ахматову?

— Я знаю все ее стихи наизусть,— ответила женщина.

— Какое совпадение! Я тоже... А цветы? Вы любите цветы?

— Это моя свобода! А птицы? Что вы скажете о птицах?

Буш кинул взгляд на черных лебедей, помедлил и сказал:

Ах, чайка ли за облаком кружится,
Малиновки ли носятся вокруг...
О незнакомка! Я хочу быть птицей,
Чтобы клевать зерно из ваших рук...

— Вы поэт? — спросила женщина.

— Пишу кое-что между строк,— застенчиво ответил Буш...

День остывал. Тени лип становились длиннее. Вода утрачивала блеск. В кустах бродили сумерки.

— Хотите кофе? — предложила женщина. — Мой дом совсем близко.

— Извините,— поинтересовался Буш,— а колбасы у вас нет?

В ответ прозвучало:

— У меня есть все, что нужно одинокому сердцу...

Три недели я прожил у Буша с Галиной. Это были странные, наполненные безумием дни.

Утро начиналось с тихого взволнованного пения. Галина мальчишеским тенором выводила:

Эх, истомилась, устала я,
Ночью и днем... Только о нем...

Ее возлюбленный откликнулся низким простуженным баритоном:

Эх, утону ль я в Северной Двине,
А может, сгину как-нибудь иначе...
Страна не зарыдает обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут...

Случалось, они по утрам танцевали на кухне. При этом каждый напевал что-то свое.

За чаем Галина объявляла:

— Называйте меня сегодня Верочкой. А с завтрашнего дня — Жар-Птицей...

Днем она часто звонила по телефону. Цифры набирала произвольно. Дождавшись ответа, ласково произносила:

— Сегодня вас ожидает приятная неожиданность.

Или:

— Бойтесь дамы с вишенкой на шляпе...

Кроме того, Галина часами дрессировала прозрачного, стремительного меченосца. Шептала ему, склонившись над аквариумом:

— Не капризничай, Джим. Помаши маме ручкой...

И наконец, Галина прорицала будущее. Мне, например, объявила, разглядывая какие-то цветные бусинки:

— Ты кончишь свои дни где-нибудь в Бразилии.

(Тогда — в семьдесят пятом году — я засмеялся. Но сейчас почти уверен, что так оно и будет.)

Буш целыми днями разгуливал в зеленом халате, который Галина сшила ему из оконной портьеры. Он готовил речь, которую произнесет, став нобелевским лауреатом. Речь начиналась такими словами:

«Леди и джентльмены! Благодарю за честь. Как говорится — лучше поздно, чем никогда...»

Так мы и жили. Мои шестнадцать рублей быстро кончились. Галининой пенсии хватило дней на восемь. Надо было искать какую-то работу.

И вдруг на глаза мне попало объявление — «Срочно требуются кочегары».

Я сказал об этом Бушу. Я не сомневался, что Буш откажется. Но он вдруг согласился и даже просиял.

— Гениально, — сказал он, — это то, что надо! Давно пора окунуться в гущу народной жизни. Прильнуть, что называется, к истокам. Ближе к природе, старик! Ближе к простым человеческим радостям! Ближе к естественным цельным натурам! Долой метафизику и всяче-

скую трансцендентность! Да здравствует молот и наковальня!..

Галина тихо возражала:

— Эринька, ты свабый!

Буш сердито посмотрел на женщину, и она затихла...

Котельная являла собой мрачноватое низкое здание у подножия грандиозной трубы. Около двери возвышалась куча угля. Здесь же валялись лопаты и две опрокинутые тачки.

В помещении мерно гудели три секционных котла. Возле одного из них стоял коренастый юноша. В руке у него была тяжелая сварная шуровка. Над колосниками бился розовый огонь. Юноша морщился и отворачивал лицо.

— Привет,— сказал ему Буш.

— Здорово,— ответил кочегар,— вы новенькие?

— Мы по объявлению.

— Рад познакомиться. Меня зовут Олег.

Мы назвали свои имена.

— Зайдите в диспетчерскую,— сказал Олег,— представьтесь Цурикову.

В маленькой будке с железной дверью шум котлов звучал приглушенно. На выщербленном столе лежали графики и ведомости. Над столом висел дешевый репродуктор. На узком топчане, прикрыв лицо газетой, дремал мужчина в солдатском обмундировании. Газета едва заметно шевелилась. За столом работал человек в жокейской шапочке. Увидев нас, приподнял голову:

— Вы новенькие?

Затем он встал и протянул руку:

— Цуриков, старший диспетчер. Присаживайтесь.

Я заметил, что бывший солдат проснулся. С шуршанием убрал газету.

— Худ,— коротко представился он.

— Люди нужны,— сказал диспетчер.— Работа не сложная. А теперь идемте со мной.

Мы спустились по шаткой лесенке. Худ двигался следом. Олег помахал нам рукой, как старым знакомым.

Мы остановились возле левого котла, причем так близко, что я ощутил сильный жар.

— Устройство,— сказал Цуриков,— на редкость примитивное. Топка, колосники, поддувало... Температура на выходе должна быть градусов семьдесят. Обратная — сорок пять. В начале смены заготавливаете уголь. Пол-

ную тачку загружать не советую — опрокинется... Уходя, надо прочистить колосники, выбрать шлак... Пожалуй, это все... График простой — сутки работаем, трое отдыхаем. Оплата сдельная. Можно легко заработать сотни полторы...

Цуриков подвел нас к ребятам и сказал:

— Надеюсь, вы поладите. Хотя публика у нас тут довольно своеобразная. Олежка, например, буддист. Последователь школы «дзен». Ищет успокоения в монастыре собственного духа... Худ — живописец, левое крыло мирового авангарда... Работает в традициях метафизического синтетизма. Рисует преимущественно тару — ящики, банки, чехлы...

— Цикл называется «Мертвые истины», — шепотом пояснил Худ, багровый от смущения.

Цуриков продолжал:

— Ну а я — человек простой. Занимаюсь в свободные дни теорией музыки. Кстати, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттена?

До этого Буш молчал. Но тут его лицо внезапно исказилось. Он коротко и твердо произнес:

— Идем отсюда!

Цуриков и его коллеги растерянно глядели нам вслед.

Мы вышли на улицу. Буш разразился гневным монологом:

— Это не котельная! Это, извини меня, какая-то Сорбонна!.. Я мечтал погрузиться в гущу народной жизни. Okрепнуть морально и физически. Припасть к живительным истокам... А тут? Какие-то дзенбуддисты с метафизиками! Какие-то блядские политональные наложения! Короче, поехали домой!..

Что мне оставалось делать?

Галина встретила нас радостными криками.

— Я так пвакава, — сказала она, — так пвакава. Мне было вас так жавко...

Прошло еще дня три. Галина продала несколько книг в букинистический магазин. Я обошел все таллинские редакции. Договорился о внештатной работе. Взял интервью у какого-то слесаря. Написал репортаж с промышленной выставки. Попросил у Шаблинского двадцать рублей в счет будущих гонораров. Голодная смерть отодвинулась.

Более того, я даже преуспел. Если в Ленинграде меня считали рядовым журналистом, то здесь я был почти

корифеем. Мне поручали все более ответственные задания. Я писал о книжных и театральных новинках, вел еженедельную рубрику «Другое мнение», сочинял фельетоны. А фельетоны, как известно, самый дефицитный жанр в газете. Короче, я довольно быстро пошел в гору.

Меня стали приглашать на редакционные летучки. Еще через месяц — на учрежденческие вечеринки. О моих публикациях заговорили в Эстонском ЦК.

К этому времени я уже давно покинул Буша с Галиной. Редакция дала мне комнату на улице Томпа — льгота для внештатного сотрудника беспрецедентная. Это значило, что мне намерены предоставить вскоре штатную работу. И действительно, через месяц после этого я был зачислен в штат.

Редактор говорил мне:

— У вас потрясающее чувство юмора. Многие ваши афоризмы я помню наизусть. Например, вот это: «Когда храбрый молчит, трусливый помалкивает...» Некоторые ваши фельетоны я пересказываю своей домработнице. Между прочим, она закончила немецкую гимназию.

— А,— говорил я,— теперь мне все понятно. Теперь я знаю, откуда у вас столь безукоризненные манеры.

Редактор не обижался. Он был либерально мыслящим интеллигентом. Вообще, обстановка была тогда сравнительно либеральной. В Прибалтике — особенно.

Кроме того, дерзил я продуманно и ловко. Один мой знакомый называл этот стиль «почтительной фамильярностью».

Зарабатывал я теперь не меньше двухсот пятидесяти рублей. Даже умудрялся платить какие-то алименты.

И друзья у меня появились соответствующие. Это были молодые писатели, художники, ученые, врачи. Полноценные, хорошо зарабатывающие люди. Мы ходили по театрам и ресторанам, ездили на острова. Короче, вели нормальный для творческой интеллигенции образ жизни.

Все эти месяцы я помнил о Буше. Ведь Таллинн город маленький, интимный. Обязательно повстречаешь знакомого хоть раз в неделю.

Буш не завидовал моим успехам. Наоборот, он радостно повторял: «Действуй, старик! Наши люди должны занимать ключевые посты в государстве!»

Я одалживал Бушу деньги. Раз двадцать платил за него в Мюндибаре. То есть вел себя как полагается. А что я мог сделать еще? Не уступать же было ему свою должность!

Честное слово, я не избегал Буша. Просто мы относились теперь к различным социальным группам.

Мало того, я настоял, чтобы Буша снова использовали как внештатного автора. Откровенно говоря, для этого я был вынужден преодолеть значительное сопротивление. История с капитаном Руди все еще не забылась.

Разумеется, Бушу теперь не доверяли материалов с политическим оттенком. Он писал бытовые, спортивные, культурные информации. Каждое его выступление я старался похвалить на летучке. Буш стал чаще появляться в редакционных коридорах.

К этому времени он несколько потускнел. Брюки его слегка лоснились на коленях. Пиджак явно требовал чистки. Однако стареющие женщины (а их в любой редакции хватает) продолжали, завидев Буша, мучительно краснеть. Значит, его преимущества таились внутри, а не снаружи.

В редакции Буш держался корректно и скромно. С начальством безмолвно раскланивался. С рядовыми журналистами обменивался новостями. Женщинам говорил комплименты.

Помню, в редакции отмечалось шестидесятилетие заведующей машинописным бюро Лорейды Филипповны Кожич. Буш посвятил ей милое короткое стихотворение:

Вздыхаю я, завидевши Лорейду...
Ах, что бы это значило по Фрейду?!

После этого Лорейда Филипповна неделю ходила сияющая и бледная одновременно...

Есть у номенклатурных работников одно привлекательное свойство. Они не злопамятны хотя бы потому, что ленивы. Им не хватает сил для мстительного рвения. Для подлинного зла им не хватает чистого энтузиазма. За многие годы благополучия их чувства притупляются до снисходительности. Их мысли так безжизненны, что это временами напоминает доброту.

Редактор «Советской Эстонии» был человеком добродушным. Разумеется, до той минуты, пока не становился жестоким и злым. Пока его не вынуждали к этому соответствующие инструкции. Известно, что порядочный человек тот, кто делает гадости без удовольствия...

Короче, Бушу разрешили печататься. Первое время его заметки редактировались с особой тщательностью. Затем стало ясно, что Буш изменился, повзрослел. Его

корреспонденции становились все более объемистыми и значительными по тематике. Три или четыре очерка Буша вызвали небольшую сенсацию. На фоне местных журналистских кадров он заметно выделялся.

В декабре редактор снова заговорил о предоставлении Бушу штатного места. Кроме того, за Буша ратовали все стареющие женщины из месткома. Да и мы с Шаблинским активно его поддерживали. На одной летучке я сказал: «Необходимо полнее использовать Буша. Иначе мы толкнем его на скользкий диссидентский путь...»

Трудоустройство Буша приобрело характер идеологического мероприятия. Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сторону. Судьба его могла решиться в обозримом будущем.

Подошел Новый год. Намечалась традиционная конторская вечеринка. Как это бывает в подобных случаях, заметно активизировались лодыри. Два алкоголика-метранпажа побежали за водкой. Толстые девицы из отдела писем готовили бутерброды. Выездные корреспонденты Рушкис и Богданов накрывали столы.

Работу в этот день закончили пораньше. Внештатных авторов просили не расходиться. Редактор вызвал Буша и сказал:

— Надеюсь, мы увидимся сегодня вечером. Я хочу сообщить вам приятную новость.

Сотрудники бродили по коридорам. Самые нетерпеливые заперлись в отделе быта. Оттуда доносился звон стаканов.

Некоторые ушли домой переодеться. К шести часам вернулись. Буш щеголял в заграничном костюме табачного цвета. Его лакированные туфли сверкали. Сорочка издавала канцелярский шелест.

— Ты прекрасно выглядишь,— сказал я ему.

Буш смущенно улыбнулся:

— Вчера Галина зубы продала. Отнесла ювелиру две платиновые коронки. И купила мне всю эту сбрую. Ну как я могу ее после этого бросить!..

Мы расположились в просторной комнате секретариата. Шли заключительные приготовления. Все громко беседовали, курили, смеялись.

Вообще, редакционные пьянки — это торжество демократии. Здесь можно подшутить над главным редактором. Решить вопрос о том, кто самый гениальный журналист эпохи. Выразить кому-то свои претензии. Произ-

нести неумеренные комплименты. Здесь можно услышать, например, такие речи:

— Старик, послушай, ты — гигант! Ты — Паганини фоторепортажа!

— А ты, — доносится в ответ, — Шекспир экономической передовицы!..

Здесь же разрешаются текущие амурные конфликты. Плетутся интриги. Тайно выдвигаются кандидаты на Доску почета.

Иначе говоря, каждодневный редакционный бардак здесь становится нормой. Окончательно воцаряется типичная для редакции атмосфера с ее напряженным, лихорадочным бесплодием...

Буш держался на удивление чопорно и строго. Сел в кресло у окна. Взял с полки книгу. Погрузился в чтение. Книга называлась «Трудные случаи орфографии и пунктуации».

Наконец всех пригласили к столу. Редактор дождался полной тишины и сказал:

— Друзья мои! Вот и прошел еще один год, наполненный трудом. Нам есть что вспомнить. Были у нас печали и радости. Были достижения и неудачи. Но в целом, хочу сказать, газета добилась значительных успехов. Все больше мы публикуем серьезных, ярких и глубоких материалов. Все реже совершаем мы просчеты и ошибки. Убежден, что в наступающем году мы будем работать еще дружнее и сплоченнее... Сегодня мне звонили из Центрального Комитета. Иван Густавович Кэбин шлет вам свои поздравления. Разрешите мне от души к ним присоединиться. С Новым годом, друзья мои!..

После этого было множество тостов. Пили за главного редактора и ответственного секретаря. За скромных тружеников — корректоров и машинисток. За внештатных корреспондентов и активных рабкоров. Кто-то говорил о политической бдительности. Кто-то предлагал создать футбольную команду. Редакционный стукач Игорь Гаспль призывал к чувству локтя. Мишка Шаблинский предложил тост за наших очаровательных женщин...

Комната наполнилась дымом. Все разбрелись с фужерами по углам. Закуски быстро таяли.

Торшина из отдела быта уговаривала всех спеть хором. Фима Быковер раздавал долги. Завхоз Мелешко сокрушался:

— Видимо, я так и не узнаю, кто стянул общественный рефлектор!..

Вскоре появилась уборщица Хильда. Надо было освободить помещение.

— Еще минут десять,— сказал редактор и лично протянул Хильде бокал шампанского.

Затем на пороге возникла жена главного редактора — Зоя Семеновна. В руках она несла громадный мельхиоровый поднос. На подносе тонко дребезжали чашечки с кофе.

До этого Буш сидел неподвижно. Фужер он поставил на крышку радиолы. На коленях его лежал раскрытый справочник.

Потом Буш встал. Широко улыбаясь, приблизился к Зое Семеновне. Внезапно произвел какое-то стремительное футбольное движение. Затем могучим ударом лакированного ботинка вышиб поднос из рук ошеломленной женщины.

Помещение наполнилось звоном. Ошпаренные сотрудники издавали пронзительные вопли. Люба Торшина, вскрикнув, потеряла сознание...

Четверо внештатников схватили Буша за руки. Буш не сопротивлялся. На лице его застыла счастливая улыбка.

Кто-то уже звонил в милицию. Кто-то — в «Скорую помощь»...

Через три дня Буша обследовала психиатрическая комиссия. Признала его совершенно вменяемым. В результате его судили за хулиганство. Буш получил два года — условно.

Хорошо еще, что редактор не добивался более сурового наказания. То есть Буш легко отделался. Но о журналистике ему теперь смешно было и думать...

Тут я на месяц потерял Буша из виду. Ездил в Ленинград устраивать семейные дела. Вернувшись, позвонил ему — телефон не работал.

Я не забыл о Буше. Я надеялся увидеть его в центре города. Так и случилось.

Буш стоял около витрины фотоателье, разглядывая каких-то улыбающихся монстров. В руке он держал половинку французской булки. Все говорило о его совершенной праздности.

Я предложил зайти в бар «Кунгла». Это было рядом. Буш сказал:

— Я там должен.

— Много?

— Рублей шесть.

— Вот и хорошо,— говорю,— заодно рассчитаемся. Мы разделись, поднялись на второй этаж, сели у окна.

Я хотел узнать, что произошло. Ради чего совершил Буш такой дикий поступок? Что это было — нервная вспышка? Помрачение рассудка?

Буш сам заговорил на эту тему:

— Пойми, старик! В редакции — одни шакалы...

Затем он поправился:

— Кроме тебя, Шаблинского и четырех несчастных старух... Короче, там преобладают свиньи. И происходит эта дурацкая вечеринка. И начинаются все эти похабные разговоры. А я сижу и жду, когда толстожопый редактор меня облагодетельствует. И возникает эта кривоногая Зойка с подносом. И всем хочется только одного — лягнуть ногой этот блядский поднос. И тут я понял — наступила ответственная минута. Сейчас решится — кто я? Рыцарь, как считает Галка, или дерьмо, как утверждают все остальные? Тогда я встал и пошел...

Мы просидели в баре около часа. Мне нужно было идти в редакцию. Брать интервью у какого-то прогрессивного француза.

Я спросил:

— Как Галина?

— Ничего,— сказал Буш,— перенесла операцию... У нее что-то женское...

Мы спустились в холл. Инвалид-гардеробщик за деревянным барьером пил чай из термоса. Буш протянул ему алюминиевый номерок.

Гардеробщик внезапно рассердился:

— Это типичное хамство — совать номерок цифрой вниз!..

Буш выслушал-его и сказал:

— У каждого свои проблемы...

После того дня мы виделись редко. Я был очень занят в редакции. Да еще готовил к печати сборник рассказов.

Как-то я встретил Буша на ипподроме. У него был вид опустившегося человека. Пришлось одолжить ему немного денег. Буш поблагодарил и сразу же устремился за выпивкой. Я не стал ждать и ушел.

Потом мы раза два сталкивались на улице и в трам-

вае. Буш опустился до последней степени. Говорить нам было не о чем.

Летом меня послали на болгарский кинофестиваль. Это была моя первая заграничная командировка. То есть знак политического доверия ко мне и явное свидетельство моей лояльности.

Возвратившись, я услышал поразительную историю.

В Таллинне праздновали 7 ноября. Колонны демонстрантов тянулись в центр города. Трибуны для правительства были воздвигнуты у здания Центрального Комитета. Звучала музыка. Над площадью летали воздушные шары. Диктор выкрикивал бесчисленные здравницы и поздравления.

Люди несли транспаранты и портреты вождей. Милиционеры следили за порядком. Настроение у всех было приподнятое. Что ни говори, а все-таки праздник.

Среди демонстрантов находился Буш. Мало того, он нес кусок фанеры с деревянной ручкой. Это напоминало лопату для уборки снега. На фанере зеленой гуашью было размашисто выведено:

«Дадим суровый отпор врагам мирового империализма!»

С этим плакатом Буш шел от Кадриорга до фабрики роялей. И только тут наконец милиционеры спохватились. Кто это — «враги мирового империализма»? Кому это — «суровый отпор»?..

Буш не сопротивлялся. Его сунули в закрытую черную машину и доставили на улицу Пагари. Через три минуты Буша допрашивал сам генерал Порк.

Буш отвечал на вопросы спокойно и коротко. Вины своей категорически не признавал. Говорил, что все случившееся — недоразумение, допущенное по рассеянности.

Генерал разговаривал с Бушем часа полтора. Временами был корректен, затем неожиданно повышал голос. То называл Буша Эрнстом Леопольдовичем, то кричал ему: «Расстреляю, собака!»

В конце концов Бушу надоело оправдываться. Он попросил карандаш и бумагу. Генерал, облегченно вздохнув, протянул ему авторучку:

— Чистосердечное признание может смягчить вашу участь...

Минуту Буш глядел в окно. Потом улыбнулся и красивым стелющимся почерком вывел:

«Заявление».

И дальше:

«1. Выражаю чувство глубокой озабоченности судьбами христиан-баптистов Прибалтики и Закавказья!

2. Призываю американскую интеллигенцию чутко реагировать на злоупотребления Кремля в области гражданских свобод!

3. Требую права беспрепятственной эмиграции на мою историческую родину — в Федеративную Республику Германию!

Подпись — Эрнст Буш, узник совести».

Генерал прочитал заявление и опустил его в мусорную корзину. Он решил применить старый, испытанный метод. Просто взял и ушел без единого слова.

Эта мера, как правило, действовала безотказно. Оставшись в пустом кабинете, допрашиваемые страшно нервничали. Неизвестность пугала их больше, чем любые угрозы. Люди начинали анализировать свое поведение. Лихорадочно придумывать спасительные ходы. Путаться в нагромождении бессмысленных уловок. Мучительное ожидание превращало их в дрожащих тварей. Этого-то генерал и добивался.

Он возвратился минут через сорок. То, что он увидел, поразило его. Буш мирно спал, уронив голову на кипу протоколов.

Впоследствии генерал рассказывал:

— Чего только не бывало в моем кабинете. Люди перерезали себе вены. Сжигали в пепельнице записные книжки. Пытались выброситься из окна. Но чтобы уснуть — это впервые!...

Буша увезли в психиатрическую лечебницу. Происшедшее казалось генералу явным симптомом душевной болезни. Возможно, генерал был недалек от истины.

Выпустили Буша только через полгода. К этому времени и у меня случились перемены.

Трудно припомнить, с чего это началось. Раза два я сказал что-то лишнее. Поссорился с Гасплем, человеком из органов. Однажды явился пьяный в ЦК. На конференции эстонских писателей возражал самому товарищу Липпо...

Чтобы сделать газетную карьеру, необходимы постоянные возрастающие усилия. Остановиться — значит капитулировать. Видимо, я не рожден был для этого. Затормозил, буксуя, на каком-то уровне, и все...

Вспомнили, что я работаю без таллиннской прописки. Дознались о моем частично еврейском происхождении. Да и контакты с Бушем не укрепляли мою репутацию.

А тут еще начались в Эстонии политические беспорядки. Группа диссидентов обратилась с петицией к Вальдхайму. Потребовали демократизации и самоопределения. Через три дня их меморандум передавало западное радио. Еще через неделю из Москвы последовала директива — усилить воспитательную работу. Это означало — кого-то разжаловать, выгнать, понизить. Все это, разумеется, помимо следствия над авторами меморандума.

Завхоз Мелешко говорил в редакции:

— Могли обратиться к собственному начальству! Выдумали еще какого-то Хайма...

Я был подходящим человеком для репрессий. И меня уволили. Одновременно в типографии был уничтожен почти готовый сборник моих рассказов. И все это для того, чтобы рапортовать кремлевским боссам — меры приняты!

Конечно, я был не единственной жертвой. В эти же дни закрыли ипподром — рассадник буржуазных настроений. В буфете Союза журналистов прекратили торговлю спиртными напитками. Пропала ветчина из магазинов. Хотя это уже другая тема...

В общем, с эстонским либерализмом было покончено. Лучшая часть народа — двое молодых ученых — скрылись в подполье...

Меня лишили штатной должности. Рекомендовали уйти «по собственному желанию». Опять советовали превратиться в рабкора. Я отказался.

Пора мне было ехать в Ленинград. Тем более, что семейная жизнь могла наладиться. На расстоянии люди становятся благоразумнее.

Я собирал вещи на улице Томпа. Вдруг зазвонил телефон. Я узнал голос Буша:

— Старик, дождись меня! Я еду! Вернее — иду пешком. Денег — ни копейки. Зато везу тебе ценный подарок...

Я спустился за вином. Минут через сорок появился Буш. Выглядел он лучше, чем полгода назад. Я спросил:

— Как дела?

— Ничего.

Буш рассказал мне, что его держат на учете в психиатрической лечебнице. Да еще регулярно таскают в КГБ.

Затем Буш слегка оживился и понизил голос:

— Вот тебе сувенир на память.

Он расстегнул пиджак. Достал из-за пазухи сложенный вчетверо лист бумаги. Протянул мне его с довольным видом.

— Что это? — спросил я.

— Стенгазета.

— Какая стенгазета?

— Местного отделения КГБ. Видишь название — «Щит и меч». Тут масса интересного. Какого-то старшину ругают за пьянку. Есть статья о фарцовщиках. А вот стихи про хулиганов:

Стиляга угодил бутылкой
В орденоносца-старика!
Из седовласого затылка
Кровь хлещет, будто с родника...

— А что, — сказал Буш, — неплохо...

Потом начал рассказывать, как ему удалось завладеть стенгазетой:

— Вызывает меня этот чокнутый Сорокин. Затекает свои идиотские разговоры. Я опровергаю все его доводы цитатами из Маркса. Сорокин уходит. Оставляет меня в своем педерастическом кабинете. Я думаю — что бы такое захватить Сереге на память? Вижу — на шкафу стенгазета. Схватил, засунул под рубаху. Дарю тебе в качестве сувенира...

— Давай, — говорю, — сожжем ее к черту! От греха подальше.

— Давай, — согласился Буш.

Мы разорвали стенгазету на клочки и подожгли в унитазе.

Я начинал опаздывать. Вызвал такси. Буш поехал со мной на вокзал. На перроне он схватил меня за руку:

— Что я могу для тебя сделать? Чем я могу тебе помочь?

— Все нормально, — говорю.

Буш на секунду задумался, принимая какое-то мучительное решение.

— Хочешь, — сказал он, — женись на Галине? Уступлю как другу. Она может рисовать цветы на продажу. А через неделю родятся сиамские котята. Женись, не пожалеешь!

— Я, — говорю, — в общем-то женат.

— Дело твое, — сказал Буш.

Я обнял его и сел в поезд.

Буш стоял на перроне один. Кажется, я не сказал, что он был маленького роста.

Я помахал ему рукой. В ответ Буш поднял кулак — «рот фронт»! Затем растопырил пальцы — «виктория!» Поезд тронулся...

Шестой год я живу в Америке. Со мной жена и дочь Катя. Покупая очередные джинсы, Катя минут сорок топчет их ногами. Затем проделывает дырки на коленях...

Недавно в Бруклине меня окликнул человек. Я прищелкнул и узнал Гришаню. Того самого, который вез меня из Ленинграда.

Мы зашли в ближайший ресторан. Гришаня рассказал, что отсидел всего полгода. Затем удалось дать кому-то взятку, и его отпустили.

— Умел брать — сумеи дать, — философски высказался Гришаня.

Я спросил его — как Буш? Он сказал:

— Понятия не имею. Шаблинского назначили ответственным секретарем...

Мы договорились, что созвонимся. Я так и не позвонил. Он тоже...

Месяц назад я прочитал в газетах о капитане Руди. Он пробыл четыре года в Мордовии. Потом за него вступились какие-то организации. Капитана освободили раньше срока. Сейчас он живет в Гамбурге.

О Буше я расспрашивал всех, кого только мог. По одним сведениям, Буш находится в тюрьме. По другим — женился на вдове министра рыбного хозяйства. Обе версии правдоподобны. И обе внушают мне горькое чувство.

Где он теперь, диссидент и красавец, шизофреник, поэт и герой, возмутитель спокойствия — Эрнст Леопольдович Буш?!

ВСТРЕТИЛИСЬ, ПОГОВОРИЛИ

РАССКАЗ

Все считали его неудачником. Даже фамилия у него была какая-то легкомысленная — Головкер. Такая фамилия полагается невзрачному близорукому человеку, склонному к рефлексии. Головкер был именно таким человеком.

В школе его умудрились просто не заметить. Учителя на родительских собраниях говорили только про отличников и двоечников. Среднему школьнику, вроде Головкера, уделялось не больше минуты.

В самодеятельности Головкер не участвовал. Рисовать и стихи писать не умел. Даже читал стихи, как говорится, без выражения.

Уроков физкультуры не посещал. Был освобожден из-за плоскостопия. Что такое плоскостопие — загадка. Я думаю — всего лишь повод не заниматься физкультурой.

Учитель пения говорил ему:

— Голоса у тебя нет. И души вроде бы тоже нет.

Учитель скорбно приподнимал брови и заканчивал:

— Чем ты поёшь, Головкер?..

Общественной работой Головкер не занимался. В театр ходить не любил. На пионерских собраниях Головкера спрашивали:

— Чем ты увлекаешься? Чему уделяешь свободное время? Может, ты что-нибудь коллекционируешь, Головкер?

— Да, — вяло отвечал Головкер.

— Что?

— Да так.

— Что именно?

— Деньги.

— Ты копишь деньги?

— Ну.

— Зачем?

— То есть как зачем? Хочу купить.

— Что?

— Так, одну вещь.

— Какую? Ответь. Коллектив тебя спрашивает.

— Зимнее пальто, — отвечал Головкер...

Закончив школу, Головкер поступил в институт. Тогда считалось, что это — единственная дорога в жизни. Конкурс почти везде был огромный. Головкер поступил осмотрительно. Подал документы туда, где конкурса фактически не было. Конкретно — в санитарно-гигиенический институт.

Там он проучился шесть лет. Причем так же, как в школе, остался незамеченным. В самодеятельности не участвовал. Провокационных вопросов лекторам не задавал. Девушек избегал. Вина не пил. К спорту был равнодушен.

Когда Головкер женился, все были поражены. Уж очень мало выделялся Головкер, чтобы стать для кого-то единственным и незаменимым. Казалось, Головкер не может быть предметом выбора. Не может стать объектом предпочтения. У Головкера совершенно не было индивидуальных качеств.

И все-таки он женился. Лиза Маковская была его абсолютной противоположностью. Она была рыжая, дерзкая и привлекательная. Она курила, сквернословила и пела в факультетском джазе. Вокруг нее постоянно толпились спортивные, хорошо одетые молодые люди.

Все ухаживали за Лизой. Замуж она так и не вышла. А на пятом курсе родила ребенка. Девочка была похожа на маму. А также на заместителя комсорга по идеологии.

Короче, Лиза превратилась в женщину трудной судьбы. Высказывалась цинично и раздраженно. К двадцати пяти годам успела разочароваться в жизни.

И тут появился Головкер. Молчаливый, застенчивый. Приносил ей не цветы, а овощи и фрукты для ребенка. Влечения своего не проявлял. Мелкие домашние поручения выполнял безукоризненно.

Как-то они пили чай с мармеладом. Девочка спала за ширмой. Головкер встал. Лиза говорит:

— Интродукция затянулась. Мы должны переспать или расстаться.

— С удовольствием, — ответил Головкер, — только в другой раз. Я могу остаться в пятницу или в субботу.

— Нет, сегодня, — раздражительно выговорила Лиза, — я этого хочу.

— Я тоже, — просто ответил Головкер.

И затем:

— Останусь, если вы добавите мне рубль на такси. С возвратом, разумеется...

Так они стали мужем и женой. Муж был инспектором-гигиенистом в управлении столовых. Жена, отдав ребенка в детский сад, поступила на фабрику. Работала там в местной лаборатории.

А потом начались скандалы. Причем без всяких оснований. Просто Головкер был доволен жизнью, а Лиза нет.

Головкер приобрел в рассрочку цветной телевизор и шкаф. Купил в зоомагазине аквариум. Стал задумываться о кооперативе. Лиза в ответ на это говорила:

— Зачем? Что это меняет?

И дальше:

— Неужели это все? Ведь годы-то идут...

Лиза, что называется, задумывалась о жизни. Прерывая стирку или откладывая шитье, говорила:

— Ради чего все это? Ну хорошо, съем я еще две тысячи пирожных. Изношу двенадцать пар сапог. Съезжу в Прибалтику раз десять...

Головкер не задумывался о таких серьезных вещах. Он спрашивал: «Чем тебя не устраивает Прибалтика?» Он вообще не думал. Он просто жил, и все.

Лишь однажды Головкер погрузился в раздумье. Это продолжалось больше сорока минут. Затем он сказал:

— Лиза, послушай. Когда я был студентом первого курса, Дима Фогель написал эпиграмму: «У Головкера Бобá по́па втрое шире лба!» Ты слышишь? Я тогда обиделся, а сейчас подумал: все нормально. По́па и должна быть шире лба. Причем как раз втрое, я специально измерял...

— И ты,— спросила Лиза,— пять лет об этом думал?

— Нет, это только сегодня пришло мне в голову...

Через год Лиза его презирала. Через три года — возненавидела.

Головкер это чувствовал. Старался не раздражать ее. Вечерами смотрел телевизор. Или помогал соседу чинить «Жигули».

Спали они вместе редко. Каждый раз это была ее неожиданная причуда. Заканчивалось все слезами.

А потом началась эмиграция. Сначала это касалось только посторонних. Потом начали уезжать знакомые. Чуть позже — сослуживцы и друзья.

Евреи, что называется, подняли головы. Вполголоса беседовали между собой. Шелестели листками папиросной бумаги.

В их среде циркулировали какие-то особые докумен-

ты. Распространялась какая-то внутренняя информация. У них возникли какие-то свои дела.

И тут Головкер неожиданно преобразился. Сначала он небрежно заявил:

— Давай уедем.

Потом заговорил на эту тему более серьезно. Приводил какие-то доводы. Цитировал письма какого-то Габи.

Лиза сказала:

— Я не поеду. Здесь мама. В смысле — ее могила. Здесь все самое дорогое. Здесь Эрмитаж...

— В котором ты не была лет десять.

— Да, но я могу пойти туда в ближайшую субботу... И наконец — я русская! Ты понимаешь — русская!

— С этого бы и начинала, — реагировал Головкер и обиженно замолчал. Как будто заставил жену сознаться в преступлении.

И вот Головкер уехал. Его отъезд, как это чаще всего бывает, слегка напоминал развод.

Эмиграция выявила странную особенность. А может быть, закономерность. Развестись люди почему-то не могли. Разъехаться по двум квартирам было трудно. А вот по разным странам — легче.

Поэтому в эмиграции так много одиноких. Причем как мужчин, так и женщин. В зависимости от того, кто был инициатором развода.

Три месяца Головкер жил в Италии. Затем переехал в Соединенные Штаты.

В Америке он неожиданно пришелся ко двору. На родине особенно ценились полоумные герои и беспутные таланты. В Америке — добросовестные налогоплательщики и честные трудящиеся. Головкер пошел на курсы английского языка. Научился водить машину. Работал массажистом, курьером, сторожем. Год прослужил в кар-сервисе. Ухаживал за кроликами на ферме. Подметал на специальной машине территорию аэропорта.

Сначала Головкер купил медальон на такси. Потом участок земли на реке Делавер. Еще через год — по внутренней цене — собственную квартиру на Леффертс-бульваре.

Такси он сдал в аренду. Землю перепродал. Часть денег положил на срочный вклад. На оставшиеся четырнадцать тысяч купил долю в ресторане «Али-баба».

Жил он в хорошем районе. Костюмы покупал у Блюмингдейла. Ездил в «Олдсмобиле-ридженси».

По отношению к женщинам Головкер вел себя любезно. Приглашал их в хорошие недорогие рестораны. Дарил им галантерею и косметику. Причем событий не форсировал.

Американок Головкер уважал и стеснялся. Предпочитал соотечественниц без детей. О женитьбе не думал.

Три раза он побывал в Европе. Один раз в Израиле. Дважды в Канаде.

Он продавал дома, квартиры, земельные участки. Дела у него шли замечательно. Он был прирожденным торговым агентом. Представителем чужих интересов. То есть человеком без индивидуальности. Недаром существует такой короткий анекдот. Некто звонит торговому агенту и спрашивает: «Вы любите Брамса?»...

При этом Головкер был одновременно услужлив и наделен чувством собственного достоинства. Сочетание редкое.

С Лизой он не переписывался. Слишком уж трудно было писать из одного мира — в другой. С одной планеты — на другую.

Но он помогал ей и дочке. Сначала отправлял посылки. Впоследствии ограничивался денежными переводами.

Это было нормально. Ведь они развелись. А дочка, та вообще была приемная. Хотя ее как раз Головкер вспоминал. Например, как он зашнуровывает крошечные ботинки. Или застегивает ускользящие пуговицы на лифчике. И еще — как он легонько встряхивает девочку, поправляя рейтузы.

Лизу он не вспоминал. Она превратилась в какую-то невидимую инстанцию. Во что-то существенное, но безликое. В своего рода налоговое управление.

А потом неожиданно все изменилось. У Головкера возникла прямо-таки навязчивая идея. Причем не исподволь, а сразу. В один прекрасный день. Головкер даже помнил, когда именно это случилось. Между часом и двумя семнадцатого августа восемьдесят шестого года.

Головкер ехал на машине в офис. Только что завершилась выгодная операция. Комиссионные составили двенадцать тысяч.

Автомобиль легко скользил по гудронированному шоссе. Головкер был в светло-зеленом фланелевом костюме. В левой руке его дымилась сигарета «Кент».

И вдруг он увидел себя чужими глазами. Это бывает. А именно: глазами своей бывшей жены. Вот мчится за рулем собственного автомобиля процветающий бизнесмен Головкер. Совесть его чиста, бумажник набит деньгами. В уютной конторе его ждет милостивая секретарша. Здоровье у него великолепное. Гемоглобин? Он даже не знает, что это такое. У него все хорошо. Гладкая от лосьона кожа. Дорогие ботинки не жмут. И вот Лиза смотрит на этого человека. И думает: какое сокровище я потеряла!

Так и появилась у Головкера навязчивая идея. А именно: он должен встретиться с женой. Она поймет и убедится. А он только спросит: «Ну, как?» — и все. И больше ни единого слова... «Ну; как?..»

Головкер представлял себе момент возвращения. Вот он прилетает. Едет в гостиницу. Берет напрокат машину. Меняет по курсу тысячу долларов. А может быть — две. Или три.

Потом звонит ей: «Лиза? Это я... Что значит — кто? Теперь узнала?.. Да, проездом. Я, откровенно говоря, довольно-таки бизи... Хотя сегодня, в общем, фри... Извини, что перехожу на английский...»

Они сидят в хорошем ресторане. Головкер заказывает. Лизе — дичь. Себе что-нибудь легкое. Немного спаржи, мусс... Коньяк? Предпочитаю «Кордон блё». Армянский? Ну, давайте...

Головкер провожает Лизу домой. Выходит из машины. Распахивает дверцу. «Ну, прощай». И затем: «Ах да, тут сувениры».

Головкер протягивает Лизе сапфировое ожерелье. «Ведь это твой камень». Затем — пластиковый мешок с голубой канадской дубленкой. Учебный компьютер для Оли. Пакет с шерстяными вещами. Две пары сапог.

Затем он мягко спрашивает:

— Могу я оставить тебе немного денег? Буквально — полторы-две тысячи. Чисто символически...

Он мягко и настойчиво протягивает ей конверт.

Она:

— Зайдешь?

— Прости, у меня завтра утром деловое свидание. Подумываю о скромной концессии. Что-нибудь типа хлопка. А может, займусь электроникой. Меня интересует рынок.

Лиза:

— Рынок? Некрасовский или Кузнечный?

Головкер улыбается:

— Я говорю о рынке сбыта...

Вечером Лиза сидит у него в гостинице. Головкер снимает трубку:

— Шампанского.

Затем:

— Ты полистай журналы, я должен сделать несколько звонков. Хэлло, мистер Беляев! Головкер спикинг. Представитель «Дорал эдженси»...

Шампанское выпито. Лиза спрашивает:

— Мне остаться?

Он — мягко:

— Не стоит. В этой пуританской стране...

Лиза перебивает его:

— Ты меня больше не любишь?

Головкер:

— Не спрашивай меня об этом. Слишком поздно...

Вот они идут по набережной. Заходят в Эрмитаж. Разглядывают полотна итальянцев. Головкер произносит:

— Я бы купил этого зеленоватого Тинторетто. Надо спросить — может, у большевиков есть что-то для продажи?..

Мысли о встрече с женой не покидали Головкера. Это было странно. Все должно быть иначе. Первые годы человек тоскует о близких. Потом начинает медленно их забывать. И наконец остаются лишь контуры воспоминаний. Расплывчатые контуры на горизонте памяти, и все.

У Головкера все было по-другому. Сначала он не вспоминал про Лизу. Затем стал изредка подумывать о ней. И наконец стал думать о бывшей жене постоянно. С волнением, которое его удивляло. Которое пугало его самого.

Причем не о любви задумывался Головкер. И не о раскаянии бывшей жены своей. Головкер думал о торжестве справедливости, логики и порядка.

Вот он идет по Невскому. Заходит в кооперативный ресторан. Оглядывается. Пробегает глазами меню. Затем негромко произносит:

— Пошли отсюда!

И всё. «Пошли отсюда». И больше ни единого слова...

Мысль о России становилась неотступной. Воображаемые картины следовали одна за другой. Целая чере-

да эмоций представлялась Головкеру: удивление, раздражение, снисходительность. Ему четко слышались отдельные фразы на каждом этапе. Например, у фасада какого-то случайного здания:

— Пардон, что означает — «Гипровторчермет»?

Или — в случае какого-то бытового неудобства:

— Большевики меня поистине умиляют.

Или — за чтением меню:

— Цены, я так полагаю, указаны в рублях?

Или — когда речь пойдет о нынешнем правительстве:

— Надеюсь, Горбачев хотя бы циник. Идеалист у власти — это катастрофа.

Или — если разговор пойдет об Америке:

— Америка не рай. Но если это ад, то самый лучший в мире.

Или — реплика в абстрактном духе. На случай, если произойдет что-то удивительное:

— Фантастика! Непременно расскажу об этом моему дружку Филу Керри...

У него были заготовлены реплики для всевозможных обстоятельств. Выходя из приличного ресторана, Головкер скажет:

— Это уже не хамство. Однако все еще не сервис.

Выходя из плохого, заметит:

— Такого я не припомню даже в Шанхае...

Головкер вечно что-то бормотал, жестикулировал, смеялся. Путал английские и русские слова. Вдруг становился задумчивым и молчаливым. Много курил.

И вот он понял: надо ехать. Просто заказать себе визу и купить билет. Обойдется эта затея в четыре тысячи долларов. Включая стоимость билетов, гостиницу, подарки и непредвиденные расходы.

Времена сейчас относительно либеральные. Провокаций быть не должно. Деньги есть.

Оформление документов заняло три недели. Билет он заказал на четырнадцатое сентября. Ходил по магазинам, выбирал подарки.

Выяснилось, что у него совсем мало друзей и знакомых. Родители умерли. Двоюродная сестра жила в Казани. С однокурсниками Головкер не переписывался. Имена одноклассников забыл.

Оставались Лиза с дочкой. Оленьке должно было исполниться тринадцать лет. Головкер не то чтобы любил эту печальную хрупкую девочку. Он к ней привык.

Тем более, что она, почти единственная в мире, испытывала к нему уважение.

Когда мать ее наказывала, она просила:

— Дядя Боря, купите мне яду...

Головкер привязался к девочке. Ведь материнская и отцовская любовь — совершенно разные. У матери это прежде всего — кровное чувство. А у отца — душевное влечение. Отцы предпочитают тех детей, которые рядом. Пусть они даже и не родные. Потому-то злые отчимы встречаются гораздо реже, чем сердитые мачехи. Это отражено даже в народных сказках...

Лизе он купил пальто и сапоги. Оле — шубку из натурального меха и учебный компьютер. Плюс — рубашки, джинсы, туфли и белье. Какие-то сувениры, авторучки, радиоприемники, две пары часов. Короче, одними подарками были заполнены два чемодана.

Деньги Головкеру удалось поменять из расчета один к шести. Головкер передал какому-то Файбышевскому около семисот долларов. В Ленинграде некая Муза передаст ему четыре тысячи рублей.

Летел Головкер самолетом американской компании. Как обычно, чувствовал себя зажиточным туристом. Небрежно заказал себе порцию джина.

— Блу джинс энд тоник, — пошутил Головкер, — джинсы с тоником.

Бортпроводница спросила:

— Вы из Польши?

Неужели, подумал Головкер, у меня сохранился акцент?..

В Ленинградском аэропорту ему не понравилось. Все казалось серым и однообразным. Может быть, из-за отсутствия рекламы. К тому же он прилетел сюда впервые. Так уж получилось. Тридцать два года здесь прожил, а самолетом не летал.

Головкер подумал: что я испытываю, шагнув на родную землю? И понял: ничего особенного.

Поместили его в гостинице «Октябрьская». Вскоре приехала Муза — нервная и беспокойно озирающаяся по сторонам. Оставила ему пакет с деньгами.

Головкер испытывал страх, усталость, волнение. Больше часа он провел в гостинице, а Лизе так и не звонил. Что-то его останавливало и пугало. Слишком долго, оказывается, Головкер этого ждал. Может быть, все последние годы. Может, все, что он делал и пред-

принимал, было рассчитано только на Лизу. На ее внимание?

Если это так, задумался Головкер, сколько же всего пронесится мимо? Живешь и не знаешь — ради чего? Ради чего зарабатываешь деньги? Ради чего обзаводишься собственностью? Ради чего переходишь на английский язык?

Головкер взглянул на часы — половина десятого. Припомнил номер телефона — четыре, шестнадцать... И дальше — сто пятьдесят шесть. Все правильно. Четыре в кубе... Он совершенно забыл математику. Но телефон запомнил — четыре, шестнадцать... А потом — те же шестнадцать в квадрате. Сто пятьдесят шесть...

Потрясенный, Головкер услышал звонок, раздавшийся в его собственной квартире. Один раз, другой, третий...

— Кто это? — спросила Лиза.

И через секунду:

— Говорите.

И тогда он глухо выговорил:

— Квартира Головкерова? Лиза, ты меня узнаешь?

— погоди, — слышит он, — я выключу чайник.

И дальше тишина на целую минуту. Затем какие-то простые, необязательные слова:

— Ты приехал? Я надеюсь, все легально? Как? Да ничего... В бассейн ходит. У тебя дела? Ты путешествуешь?

Головкер помолчал, затем ответил:

— Экспорт-импорт. Тебе это не интересно. Подумаю о небольшой концессии, типа хлопка...

Далее он спросил как можно небрежнее:

— Надеюсь, увидимся?

И для большей уверенности прибавил:

— Я должен кое-что вам передать. Тебе и Оле.

Он хотел сказать: у меня два чемодана подарков. Но передумал.

— Завтра я работаю, — сказала Лиза, — вечером Ольга приглашена к нахимовским. Послезавтра у нее репетиция. Ты надолго приехал? Позвони мне в четверг.

— Лиза, — проговорил он забытым жалобным тоном, — еще нет десяти. Мы столько лет не виделись. У меня два чемодана подарков. Могу я приехать? На машине?

— У нас проблемы с этим делом.

— В смысле — такси? Я же беру машину в рент...

Вот он заходит (представлял себе Головкер) к человеку из «Автопроката». Слышит:

— Обслуживаем только иностранцев.

Головкер почти смущенно улыбается:

— Да я, знаете ли... Это самое...

— Я же говорю,— повторяет чиновник,— только для иностранцев. Вы русский язык понимаете?

— С трудом,— отвечает Головкер и переходит на английский...

Лиза говорит:

— То есть, конечно, приезжай. Хотя, ты знаешь... В общем, я ложусь довольно рано. Кстати, ты где?

— В «Октябрьской».

— Это минут сорок.

— Лиза!

— Хорошо, я жду. Но Олю я будить не собираюсь...

Тут начались обычные советские проблемы. «Автопрокат» закрылся. Такси поймать не удавалось. Затормозил какой-то частник, взял у Головкера американскую сигарету и уехал.

Приехал он в двенадцатом часу. Вернее, без четверти двенадцать. Позвонил. Ему открыли. Бывшая жена заговорила сбивчиво и почти виновато:

— Заходи... Ты не изменился... Я, откровенно говоря, рано встаю... Да заходи же ты, садись. Поставить кофе?.. Совсем не изменился... Ты носишь шляпу?

— Фирма «Борсолино»,— с отчаянием выговорил Головкер.

Затем стащил нелепую, фисташкового цвета шляпу.

— Хочешь кофе?

— Не беспокойся.

— Оля, естественно, спит. Я дико устаю на работе.

— Я скоро уйду,— ввернул Головкер.

— Я не об этом. Жить становится все труднее. Гласность, перестройка, люди возбуждены, чего-то ждут. Если Горбачева снимут, мы этого не переживем... Ты сказал — подарки? Спасибо, оставь в прихожей. Чемоданы вернуть?

— Почтой вышлешь,— неожиданно улыбнулся Головкер.

— Нет, я серьезно.

— Скажи лучше, как ты живешь? Ты замужем?

Он задал этот вопрос небрежно, с улыбкой.

— Нет. Времени нет. Хочешь кофе?

— Где ты его достаешь?

— Нигде.

— Почему же ты замуж не вышла?

— Жизнь так распорядилась. Мужиков-то достаточно, и все умирают насчет пообщаться. А замуж — это дело серьезное. Ты не женился?

— Нет.

— Ну, как там в Америке?

Головкер с радостью выговорил заранее приготовленную фразу:

— Знаешь, это прекрасно — уважать страну, в которой живешь. Не любить, а именно уважать.

Пауза.

— Может, взглянешь, что я там привез? Хотелось бы убедиться, что размеры подходящие.

— Нам все размеры подходящие, — сказала Лиза, — мы ведь безразмерные. Вообще-то спасибо. Другой бы и забыл про эти алименты.

— Это не алименты, — сказал Головкер, — это просто так. Тебе и Оле.

— Знаешь, как вас теперь называют?

— Кого?

— Да вас.

— Кого это — вас?

— Эмигрантов.

— Кто называет?

— В газетах пишут — «наши зарубежные соотечественники». А также — «лица, в силу многих причин оказавшиеся за рубежом»...

И снова пауза. Еще минута, и придется уходить. В отчаянии Головкер произносит:

— Лиза!

— Ну?

Головкер несколько секунд молчит, затем вдруг:

— Ну, хочешь потанцуем?

— Что?

— У меня радиоприемник в чемодане.

— Ты ненормальный, Оля спит...

Головкер лихорадочно думает — ну, как еще ухаживают за женщинами? Как? Подарки остались за дверью. В ресторан идти поздно. Танцевать она не соглашается.

И тут он вдруг сказал:

— Я пойду.

— Уже?.. А впрочем, скоро час. Надеюсь, ты мне позвонишь?

— Завтра у меня деловое свидание. Подумываю о небольшой концессии...

— Ты все равно звони. И спасибо за чемоданы.

Не за чемоданы, обиделся Головкер, а за чемоданы с подарками. Но промолчал.

— Так я пойду,— сказал он.

— Не обижайся. Я буквально падаю с ног.

Лиза проводила его. Вышла на лестничную площадку.

• — Прощай,— говорит,— мой зарубежный соотечественник. Лицо, оказавшееся за рубежом...

Головкер выходит на улицу. Сначала ему кажется, что начался дождь. Но это туман. В сгустившейся тьме расплываются желтые пятна фонарей.

Из-за угла, качнувшись, выезжает наполненный светом автобус. Неважно, куда он идет. Наверное, в центр. Куда еще могут вести дороги с окраины?

Головкер выходит. Оказывается между пустырем и нескончаемой кирпичной стеной. Вдали, почти на горизонте, темнеют дома с мерцающими желтыми и розовыми окнами.

Откуда-то доносится гулкий монотонный стук. Как будто тикают огромные штампованные часы. Пахнет водорослями и больничной уборной.

Головкер выкуривает последнюю сигарету. Около часа ловит такси. Интеллигентного вида шофер произносит: «Двойной тариф». Головкер механически переводит его слова на английский: «Дабл такс». Почему? Лучше не спрашивать. Да и зачем теперь Головкеру советские рубли?

В дороге шофер заговаривает с ним о кооперации. Хвалит какого-то Нуйкина. Ругает какого-то Забежинского.

Головкер упорно молчит. Он думает: кажется, меня впервые приняли за иностранца.

Затем он расплачивается с водителем. Дарит ему стандартную американскую зажигалку. Тот, не поблагодарив, сует ее в карман.

Головкер машет рукой:

— Приезжайте в Америку!

— Бензина не хватит,— раздается в ответ...

На освещенном тротуаре перед гостиницей стоят две женщины в коротких юбках. Одна из них вяло приближается к Головкеру:

— Мужчина, вы приезжий? Показать вам город и его окрестности?

— Показать,— шепчет он каким-то выцветшим голосом.

И затем:

— Вот только сигареты кончились.

Женщина берет его под руку:

— Купишь в баре.

Головкер видит ее руки с длинными перламутровыми ногтями и туфли без задников. Замечает внушительных размеров крест поверх трикотажной майки с надписью «Хиروهаккер Альтшуллер». Ловит на себе ее кокетливый и хмурый взгляд. Затем почти неслышно выговаривает:

— Девушка, извиняюсь, вы проститутка?

В ответ раздается:

— Пошлости говорить не обязательно. А я-то думала — культурный интурист с Европы.

— Я из Америки,— сказал Головкер.

— Тем более... Дай три рубля вот этому, жирному.

— Деньги не проблема...

Неожиданно Головкер почувствовал себя увереннее. Тем более, что все это слегка напоминало западную жизнь.

Через пять минут они сидели в баре. Тускло желтели лампы, скрытые от глаз морскими раковинами из алебаstra. Играла музыка, показавшаяся Головкеру старомодной. Между столиками бродили официанты, чем-то напоминавшие хасидов.

Головкеру припомнилась хасидская колония в районе Монтиселло. Этаким черно-белый пережиток старины в цветном кинематографе обычной жизни...

Они сидели в баре. Пахло карамелью, мокрой обувью и водорослями из близко расположенной уборной. Над стойкой возвышался мужчина офицерского типа. Головкер протянул ему несколько долларов и сказал:

— Джинсы с тоником.

Потом добавил со значением:

— Но без лимона.

Он выпил и почувствовал себя еще лучше.

— Как вас зовут? — спросил Головкер.

— Мамаша Люсенкой звала. А так — Людмила.

— Руслан,— находчиво представился Головкер.

Он заказал еще джина, купил сигареты. Ему хотелось быть любезным, расточительным. Он шепнул:

— Вы типичная Лайза Минелли.

— Минелли? — переспросила женщина и довольно сильно толкнула его в бок: — Размечтался...

Людмилу тут, по-видимому, знали. Кому-то она махнула рукой. Кого-то не захотела видеть: «Извиняюсь, я пересяду». Кого-то даже угостила за его, Головкера, счет.

Но Головкеру и это понравилось. Он чувствовал себя великолепно.

Когда официант задел его подносом, Головкер сказал Людмиле:

— Это уже не хамство. Однако все еще не сервис...

Когда его нечаянно облили пивом, Головкер засмеялся:

— Такого со мной не бывало даже в Шанхае...

Когда при нем заговорили о политике, Головкер высказался так:

— Надеюсь, Горбачев хотя бы циник. Идеалист у власти — это катастрофа...

Когда его спрашивали про Америку, в ответ звучало:

— Америка не рай. Но если это ад, то самый лучший в мире...

Раза два Головкер обронил:

— Непременно расскажу об этом моему дружку Филу Керри...

Потом Головкер с кем-то ссорился. Что-то доказывал, спорил. Кому-то отдал галстук, авторучку и часы.

Потом Головкера тошнило. Какие-то руки волокли его по лестнице. Он падал и кричал: «Я гражданин Соединенных Штатов!..»

Что было дальше, он не помнил. Проснулся в своем номере, один. Людмила исчезла. Разумеется, вместе с деньгами.

Головкер заказал билет на самолет. Принял душ. Спустился в поисках кофе.

В холле его окликнула Людмила. Она была в той же майке. Подошла к нему, оглядываясь, и говорит:

— Я деньги спрятала, чтобы не пропали.

— Кип ит,— сказал Головкер,— оставьте.

— Ой,— сказала Людмила,— правда?! Главное, чтоб не было войны!..

Успокоился Головкер лишь в самолете компании «Панам». Один из пилотов был черный. Головкер ему

страшно обрадовался. Негр, правда, оказался малоразговорчивым и хмурым. Зато бортпроводница попалась общительная, типичная американка...

Летом мы с женой купили дачу. Долгосрочный банковский заем нам организовал Головкер. Он держался просто и уверенно. То и дело переходил с английского на русский. И обратно.

Моя жена спросила тихо:

— Почему Рон Фини этого не делает?

— Чего?

— Не путает английские слова и русские?

Я ответил:

— Потому что Фини в совершенстве знает оба языка...

Так мы познакомились с Борей Головкером.

Месяц назад с Головкером беседовал корреспондент одного эмигрантского еженедельника. Брал у него интервью. Заинтересовался поездкой в Россию. Стал задавать бизнесмену и общественному деятелю (Головкер успел стать крупным жертвователем Литфонда) разные вопросы. В частности, такой:

— Значит, вернулись?

Головкер перестал улыбаться и твердо ответил:

— Я выбрал свободу.

Континент, 1988, № 58

ГОРОД

ПАМЯТИ

Вадим НЕЧАЕВ

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ КУДА-НИБУДЬ

ПОВЕСТЬ

1

В полете от Южно-Сахалинска до Хабаровска Борис Коробейников не проронил ни слова. Он словно не верил, что наконец-то вырвался на свободу, пусть и относительную. Костлявый, сумрачный, он сидел в кресле, глядя прямо перед собой независимо и отчужденно,— человек в социальном смысле без будущего.

Сопровождающий его — поэт местного значения Вениамин Гонт — не терял времени зря: он исписал свой блокнот высококалорийными рифмами типа: Знамя — Пламя — Племя — Темя. Безнадежное молчание Коробейникова служило для Гонта еще одним доказательством его болезни.

Они приземлились в аэропорту прямо в бабье лето; Коробейников тяжело вздохнул, как будто впервые увидел всю прелесть бытия. Гонт осторожно подтолкнул его к автобусу. Те, кто их видел по дороге до автобусной станции и от автобусной станции до железнодорожного вокзала, могли бы подумать, что меж ними есть родственная связь.

Вениамин Гонт бережно вел подопечного, твердо держа его за рукав. Коробейников безусловно подчинялся направляющей руке своего брата? или друга? или проводника? Они вместе вошли в здание вокзала. Гонт оплатил два билета до Москвы, затем они точно так

же — рядом и вместе — вышли наружу и направились в ресторан.

Построенный сравнительно недавно, из стекла и бетона, он долетел в тайгу, как случайный выдох западной цивилизации. Впрочем, будь он выстроен в казарменном стиле, он и тогда бы не пустовал. Он стоял на перекрестке воздушных путей с Большой Земли на Сахалин, Камчатку и Курильские острова, на перекрестке больших денег и безудержных трат.

Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, они сели в дальнем углу под пыльным деревом, потерявшим здесь свое имя. Гонт с увлечением читал меню.

— Омлет, чанахи, редиска, варенец, творожники. Есть пиво недельной давности, икра зернистая. Это сгодится. Китовое мясо в консервах, а ну его к черту. Вырезки нет, крабов нет, овощей нет, будем есть омлет. Ты как считаешь?

Коробейников ничего не ответил.

Гонт уже привык к его молчанию.

Он сделал заказ, не забыв для себя бутылку сухого вина, и как бы между прочим спросил Коробейникова:

— За каким дьяволом тебя погнало в Японию?

— А как он думает? — тихим, невзрачным голосом сказал Коробейников. — Он думает, что это случайно. Лодка сбилась с курса. И штормовой ветер погнал ее к иноземным берегам.

— Если тебе трудно, можешь не рассказывать.

— Отчего же? Это ведь записано в истории моей болезни. Я на самом деле плыл в Японию, чтобы увидеть сад камней.

— Сад камней? — удивился Гонт. — Но ведь это анахронизм.

— Отчего же? Не меньший анахронизм, чем Кельнский собор.

— Так то ведь собор. А это просто камни.

— В простоте и живет мудрость. Вера тоже проста, а ты ее не чувствуешь.

— Значит, ты специально плыл в Японию, чтобы увидеть сад камней? А как же ты намерен был вернуться? — спросил Гонт, принимая все за детскую игру.

— Тем же самым путем, — флегматично сказал Коробейников.

— Но тебя задержали пограничники, — сказал Гонт.

— Да, уже в нейтральных водах, — уточнил Коробейников.

— И что же ты им сказал?

— То же самое. Правду. Она всегда кажется невероятной. Лжи верят охотнее.

— Согласись, что твоя версия неправдоподобна.

Коробейников не успел ответить, как к ним за столик подсел сахалинский бич, порядком нагруженный.

— Не помешаю, ребята? — ласково спросил бич.

— Отнюдь, — сказал Коробейников.

Гонт настороженно покосился в сторону незнакомца.

— А вчера здесь одного салагу пришили, слышали небось?

— Это меня пришили, а он вполне здоровствует, — возразил Коробейников.

— Так кто он, этот гад? — и бич ударил кулаком по столу.

— Не знаю, — тихо ответил Коробейников. — Он всюду. То здесь, то там.

— Уж не этот ли фраер? — бич ткнул бараньей косточкой в замшевый пиджак Гонта.

Тот почувствовал, что, как он и предполагал, назревает скандал.

— Ша, я лицо официальное, сопровождаю больного к месту назначения, — сказал Гонт.

— Ах ты, сука, закону жолу лижешь! — бич расходился все пуще, готовый на жестокую ссору, лишь бы повод подвернулся.

— Я не сука, я поэт.

— Поэт ты суковатый. Ты зачем его закандалил?

— В отчий дом везу на тихое поселение, — сказал Гонт миролюбиво.

— Да, он везет меня, — вставил Коробейников. — В последний путь куда-нибудь.

«Граждане, объявляется посадка на рейс Хабаровск — Иркутск», — заговорил репродуктор чеканным девичьим голосом.

Бич хмуро посмотрел на Гонта:

— Мы с тобой еще когда-нибудь разберемся, — он заторопился, допил бутылку пива и на ходу бросил: — Съешьте бутерброд, а то жаль, добро пропадает.

Гонт с облегчением вздохнул. Он не хотел быть втянутым в историю. Он знал, что любыми путями выпутается, но могла сорваться тогда эта командировка.

— Ты что будешь заказывать? — милостиво обратился он к Коробейникову.

Тот презрительно пожал плечами.

— Меня там кормили супами и кашами. Я уже забыл вкус настоящей пищи... Но он ведь уже сделал заказ. Или он в самом деле идиот.

— Ты же был в особом отделении, кажется? — смеялся ему Гонт.

— Да, оттуда редко выходят на волю.

— И как тебя лечили? — для Гонта психбольница представлялась как заграница, ужасная и привлекательная одновременно.

— Аминазином, инсулиновыми шоками, серебром и, как и всюду, политзанятиями. Врачи, они же власти, как и ты, считали, что я собирался покинуть Родину. Зачем, ради чего — об этом они не думали.

— Значит, они тебя вылечили, раз отпустили с Богом?

— Ну да, они разобрали меня на части, это делается просто. Пару раз накачают тебе кислород под черепную коробку, и ты почти готов.

— И на сколько ж частей? — поинтересовался Гонт.

— На четыре.

— На какие же именно?

— На девочку, сокола, моего дядю и Лермонтова.

— Скромностью ты не страдаешь. А где ты родился, мой друг?

— В Туле.

— В каком месяце?

— В сентябре.

— А сегодня какое число?

— Двадцать пятое августа, 1970 года от Рождества Христова.

— Все правильно.

— Он решил, что я круглый идиот, хоть сам несет в себе распад и разложение.

— Твой дядя жив? — Гонт решил не обижаться, тем более что его все больше занимал разговор с Коробейниковым.

— Нет, он умер. Он завещал мне свои знания и свой опыт жизни. Но я не вынес его воспоминаний. Как Лермонтов не вынес присутствия Мартынова.

— Это кто говорит сейчас?

— Возможно, Лермонтов.

— А как говорит сокол? — Гонт осторожно улыбнулся, пряча под веками невольное чувство превосходства.

— Сокол в клетке молчит. Это превосходно понял мой лечащий врач, сексопатолог Фисташкин. Он от-

пустил меня, чтоб я мог собраться. Но предупреждаю, что для рифм меня использовать нельзя.

— Поэзия питается здравым смыслом,— любезно пояснил Гонт.— Даже если поэту и кажется, что он пишет не чернилами, а кровью.

— Или красной краской,— язвительно добавил Коробейников.— И все-таки мне жаль его, на черта он связался со мной в эту историю.

— Видишь ли, я порядком оторвался от цивилизации,— охотно стал объяснять Гонт.— Закис, задубел среди сопок. А тут подвернулась такая оказия — бесплатный проезд в столицу и обратно, плюс командировочные. Я и не устоял. Как говаривала моя бабка, слаб на передок. В Москве предстоят выступления областных поэтов, диспуты и, главное, девочки.

— За мой счёт... В сухой реке пустой челнок плывет.

— В тебе, как ни странно, тоже чувствуется поэтическая жилка.— Гонт с удовольствием отхлебнул из стакана сухого вина, которое Коробейникову было строгонастроено запрещено.— Если хочешь знать, мой отец был истинный поэт. Он исчез двадцати семи лет от роду.

— Я тоже хочу исчезнуть отсюда,— сказал Коробейников.

Но теперь Гонт его не слушал. Он попал на любимую тропинку. О своем отце он мог рассуждать сколько угодно, тем более что его он совсем не помнил.

— Мой отец был надеждой русской поэзии,— Гонт поднял вверх указательный палец.— Он был веселый, как и я, талантливый и смелый человек. До сих пор о нем ходят легенды. Он исчез, пропал, сгинул. И я несущего крест.

— Поверх нейлоновой сорочки.

— У тебя есть отец? — с надрывом сказал Гонт.— Я знаю, что есть.

— Это не имеет значения,— сказал Коробейников.

— Еще как имеет. Мое поколение страдает безотцовщиной. Именно поэтому я стал бродягой. Дорога — моя вера. Гитара — моя молитва, а встречи — моя пища.

— Он не жалеет о том, что оставляет, он покидает то, что наступает.

— Мы оба сироты. Мы не имеем корней и традиций,— Гонт почти прослезился.

— И в этом он находит свое оправдание, не так ли?

— Говори мне ты,— вспыхнул Гонт.— Что это за дурацкая манера обращаться к человеку в третьем лице.

— Не могу. На вы — незаслуженно, а на ты — не могу. Язык не поворачивается. «Ты» можно сказать брату, другу, врагу. С кем меня связывает что-то существенное и личное. А нас связала только оказия.

— Я тебе, можно сказать, честь оказываю. Или ты предпочел бы, чтобы твоим сопровождающим был громила-санитар?

— Возможно, — сказал медленно и напряженно Коробейников, — но эта игра с Гонтом не случайна. Он сам ее не понимает. И я не до конца разгадал ее, но чувствую, что кроется тут тайный замысел.

Гонт смутился:

— Я по натуре провинциальный актер и если играю шута, то играю так, будто я король Лир.

— А может, Розенкранц?

— Полегче на поворотах. Я не такая блядь, как ты думаешь.

— О нет, ты современный человек. Посмотрим только, как ты запоешь, когда из тебя душу вытряхнут.

— Надеюсь, ты в дороге не сбежишь?

— Я кому-нибудь что-либо должен? — сказал с ухмылкой Коробейников. — Мне дал Господь неделю свободы, отчего же ею не воспользоваться.

— Но ты подведешь меня и... себя. Или ты хочешь оказаться в смирительной рубашке, — рассудительно сказал Гонт, скрывая внезапный страх, что узник и в самом деле сбежит.

Коробейников сжал губы, задумался. Он на что-то решался в уме. И вдруг он произнес — ты.

— Кому должен давать отчет в дороге?

Гонт вздрогнул, заюлил, заметался взглядом. Он вспомнил, что инструкция запрещала ему передавать какие-либо сведения больному, представлявшему социальную опасность. Но он ведь их и не имел, кроме самой общей установки. И он честно, хотя и не желая того, признался:

— Я не знаю, кому.

— Впрочем, это, наверное, пустяки, правильно я говорю, Вениамин?

— Конечно, — улыбнулся растроганно Гонт, наконец-то его назвали по имени, — пустая формальность. Кто-то войдет в купе, спросит, как ты себя ведешь, и затем выйдет. Мы с тобой даже имени не узнаем.

Коробейников облегченно откинулся на спинку кресла, он даже немного вспотел от волнения. Они затеяли

с ним опасную игру, теперь-то это ясно, втянули в нее Гонта, не раскрывая перед ним своих карт. Но что за роль ему предуготовили? Ах, бедный Гонт, он не раскусит ее до самой развязки. Он слаб и тщеславен — подходящее орудие для всего, что угодно.

Гонт между тем пришел в себя, одумался и понял, что ляпнул лишнее.

— Учти, я тебе ничего не говорил, и ты ничего не знаешь,— предупредил он Коробейникова строго.

— К сожалению, мы оба ничего не знаем. Мне это не нравится. А тебе? — спросил Коробейников.

— Все это чепуха,— ответил Гонт. — Вероятно, так положено. Я не из их лагеря, вот тебе крест. Мне дали подписать какую-то бумажку, я и читать ее не стал, подмахнул подпись, и с концом.

— Я тебя понимаю,— сказал Коробейников, мучительно думая о своем. — Тебе такой фарт выпал, на казенные харчи съездить в столицу, ты уже оформляешь командировку, а тут какую-то паршивую бумажку подсовывают, ты сплюнул в сторону и подписал.

— Ну и подписал,— с раздражением сказал Гонт,— да что в этом особенного. Поступаешь работать в ящик — тоже такую бумажку подписываешь. Я ж тебе объясняю, это формальность. Как будто сам с этим дела не имел.

— Не имел,— отчеканил Коробейников,— только одно скажу: коли ноготок увяз, то птичке всей пропасть.

— Я, наоборот, тебе помочь хочу. От моих показаний ведь кое-что зависит.

— Вот ты и проговорился. Если ты должен давать показания, значит, мне дело шьют.

— У тебя определенно мания подозрительности. Ты весь обед мне испортил. — Гонт со злостью чиркнул спичкой и закурил короткую сигарету. — Я поэт, я ни от кого не завишу и никому не подчиняюсь, заруби это себе на носу.

— Кроме своей жены-сказочницы, которую он изредка колотит, но утром этого не помнит.

— Кто это тебе донес? — спросил Гонт, слегка покраснев, но не смутившись.

— Он не может простить своей жене, что у нее ребенок не от него, а от первого мужа.

— Ты знаешь обо мне гораздо больше, чем я о тебе. Только каким способом, неужто и туда дошли обо мне слухи?

— Представь себе, нет,— в первый раз улыбнулся Коробейников, отчего лицо его стало детски-лукавым,— у нас в основном обсуждают государственных деятелей. Психи очень увлекаются политикой.

— Почетная привилегия,— заметил Гонт. — Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и сума.

— А если тюрьма?

— Я закон уважаю.

— Закон — что дышло, повернешь — и вышло... У тебя много было женщин?

Гонт усмехнулся не без гордости:

— Порядочно.

— Ну и как? — Коробейников с безумным интересом уставился в лицо Гонта, словно в нем можно было прочесть летопись прекрасных и позорных приключений.

— Не понимаю,— сказал Гонт.

— Как это — много женщин? — не успокаивался Коробейников.

— А черт знает как!.. Но, в общем, я ни об одной не жалею.

— Кем же они были?

— Кто попало, тут не выбираешь,— Гонт оживился. — Официантки, продавщицы, из студии телевидения, кого случай пошлет. Парочка замужних.

— Разом?

— Нет, по отдельности. Хотя бывало и разом. Да ты не перебивай. Последняя по счету парикмахерша.

Он вспомнил свое знакомство с ней. «Вы свободны сегодня вечером?» — спросил он, сидя перед зеркалом, в котором отражалась ее полная и красивая рука с опасной бритвой. «Осторожно, я порежу вас», — сказала она, нежно проведя лезвием по его намыленной щеке. «Пожалуйста, вы мне так нравитесь, что я готов остаться со шрамом, так сказать, на память о вас». Она засмеялась, прислонившись к его плечу животом.

— Мы заночевали с ней в саду, недалеко от дороги. Было сыро и холодно, но мы согрели друг друга. Ведь только так можно узнать человека, ты не согласен, мой скворец? Она ничуть в меня не влюбилась, а просто пожалела бедолагу. А может, в тот момент, когда я растелил пиджак на траве и мы легли, она меня и любила. Тут в чем смысл? Когда делаешь первые шаги. Первые шаги в тучах. Это как охота с укрытием и маневром, и заранее не загадаешь: пустым вернешься или с дичью. И вот стреляешь, она летит, летит и падает у

твоих ног. Глаза ее закрыты, тело обмякло... и слабый стон.

Мне интересно, чтоб все в первый вечер состоялось. На хрена kota за хвост тянуть. Ох, уморительный помню случай. Занесло меня случаем в один заштатный городок. Там я увидел ее, работала она секретаршей в каком-то учреждении. Прямо обалдел, до чего она хороша была. Как говорится, девушка моей мечты. Назначил ей свидание на вечер. Думал, ей лет двадцать, а оказалось двадцать семь, к тому же, замужем, и ребенок есть. Пришли мы к ней ночью, а до часу бродили по пустырям и целовались. Прокрались по коридору на цыпочках. Рискованная женщина, могли ведь засечь соседи. Муж ее, военный, был на учениях. Сын уже спал, в другой комнате Я овладел ею за шкафом. Так был нетерпелив, что не в силах был дожидаться, пока она постель разложит. Договорились, что уйду я на рассвете, а то сынишка увидит. И, как на грех, проспали. Открываю я зенки, а он с таким немым удивлением и ужасом на меня смотрит. Я — шмыг под одеяло. Вошла она в комнату и невозмутимым тоном говорит: «Костик, это тетя Маша, она была у нас в гостях и задержалась». Я под одеялом чуть от смеха не подыхаю. Она увела сына в другую комнату, а после на кухню, чтобы я незаметно вышел, а через полчаса я вернулся уже в качестве собственной персоны. Мама церемонно нас знакомит, и я вижу по его глазам, что стервец узнал меня и в лице даже перекосялся. Стоит он передо мной, шестилетний, худенький, чуть раскосый, с большими очками на маленьком лице, и молча ненавидит. Я после говорю ей: «Пропала ты, голубушка, ведь он узнал меня». И что же ты думаешь! Действительно узнал и обо всем догадался. Отец его по приезде первым делом спросил: «А скажи, Костик, кто был у нас в гостях? Может, тетя какая или дядя какой?» Мать стоит ни жива, ни мертва. Костик посмотрел на нее, зыркнул сквозь очки и медленно так тянет: «Нет, папа, никого у нас не было». «Может, ты забыл? — недоверчиво переспрашивает отец, важный подполковник. — Если честно все расскажешь, я тебе хороший подарок сделаю». «Нет, папа, я помню, что у нас никого не было», — отвечает мальчуган убежденно. «Ну, ладно, — говорит отец, — иди играй в войну, хотя ты это и не любишь». Все это она мне позднее расписала перед своим отъездом во Владивосток, куда перевели ее дражайшего с повышением по службе.

С мужем чуть не разошлась, но ей отсоветовали подруги. Мне она до сих пор не изменяет, несмотря на ухаживания интересного главного инженера какой-то стройки. На последнее письмо ее я не ответил, потому что у меня другая была. Я их люблю, и ненавижу, и не могу без них дня прожить.

— Ну, а любовь? — спросил Коробейников. — Настоящая любовь у тебя была?

— Это выдумка эмигрантов — внешних и внутренних. Нет, такой любви не бывало, если не принимать за нее сексуальное наваждение от какой-нибудь легендарной тунейдки Елены, из-за которой Троя погибла.

— Почему же? — спокойно возразил Коробейников. — Даже у меня она была.

— У тебя? — сказал Гонт. — Не смей пассажиров.

— Я жил тогда в Царицыне у дяди, — продолжал он ровным и бесцветным голосом. — Между прочим, у них был гусь. А попал он к ним так. Однажды дядя шел по рынку и думал, какой бы подарок сделать на день рождения своей дочери. Видит, продается красноклювый гусь с черными умными глазами. То ли он был под шафе, то ли идея ударила в голову, как нередко бывает у русских людей, только купил он этого гуся. Приносит его домой, все от него в восторге, учат его и холят. Тут я приехал. Он мне очень понравился. Понятливый был необыкновенно. Звали его почему-то Катюшей, хотя он был мужского рода. Надо же так случиться, что Катюша в меня влюбился. Объяснялось это, вероятно, тем, что он всем поднадоел, а я был человек свежий, и он мне казался диковинкой. Когда я садился обедать, он лежал под столом у моих ног и ждал, когда я угощу его конфетой. Он очень любил сладкое. На прогулке он всегда шел рядом, очень гордый, вытянув шейку и поводя на меня своим черным глазком. На улице рядом со мной он никого и ничего не боялся. Если же я оставлял его дома, он так кричал и метался, что я вынужден был либо возвращаться, либо брать его с собой... Я заболел и лежал с высокой температурой. Катюша сидел возле меня на стуле и ждал, когда я заговорю с ним. Иногда он терся об меня своей головкой. Как-то я задремал и слышу, меня будит хриплый гортанный голос: «Борис, ты забыл принять лекарство». Я выздоровел и уехал работать на Сахалин. Катюша, писали мне, перестал есть, заболел и тосковал. Вскоре его зарезали, потому что он все равно бы умер.

— Чепуха все это,— сказал Гонт,— я человек земной. Я так понимаю: гусь есть гусь, женщина есть женщина, для каждого из них есть свое назначение.

— Ну да, роза есть роза, есть роза,— сказал Коробейников.

2

Милая моя зайка.

Пишу тебе с дороги и потому буду краток, как Александр Македонский. Я еду в Москву, еду в Москву, еду в Москву, этим повторением я подчеркиваю свою неожиданную удачу. Две недели назад я встретил на улице Яна Фисташкина. Он узнал, что я опять болтаюсь без работы, и предложил мне маленькую авантюру вроде той, когда тебе на голову кладут яблоко и сбивают его выстрелом. Ему требовался сопровождающий для одного его пациента, которого выписали из больницы как тихобезнадежного и должны транспортировать к родителям в Подмосковье. Условия поездки: бесплатная дорога туда и обратно плюс командировочные. Пациенту двадцать два года, это очень странный молодой человек, к которому я никак не могу подобрать ключика. Подозреваю, что он почти нормален. Перед отъездом главврач больницы дал мне строгие и жесткие инструкции насчет него.

За время твоей командировки я написал кучу стихотворений. Дорогая, не упрекай меня за этот поспешный отъезд. Для тебя всегда, наверное, я буду блудный сын, который тебе дороже, чем если бы я был примерным мужем.

В Москве я намерен провести неделю, не более. Я повидаюсь с моим почтенным руководителем, и, если он одобрит последний цикл моих стихотворений, мне, возможно, удастся их напечатать. Кроме того, в Литинституте мне надо взять положительную характеристику, иначе на острове меня не примут даже в оформители рекламы.

За меня ты не волнуйся. Со мной гитара, а также шприц и лекарство на тот случай, если узник мой взбунтуется. Кстати, он подсказал мне одну идею: почему бы тебе не взять к себе дочку, а я постараюсь быть для нее снисходительным отцом.

На этом заканчиваю. Узник мой уже спит. Мы пока вдвоем с ним в купе. Поезд несется мимо величествен-

ных лесов. На душе у меня спокойствие и умиротворенность.

Целую тебя. Твой Вениамин.

3

Перед отходом поезда к нему подошел полный человек в чесучовом костюме и соломенной шляпе. На вид ему было лет пятьдесят. Глаза под низкими мохнатыми бровями смотрели в сторону. Он спросил:

— Вениамин Гонт? — взяв его под руку, отвел на несколько шагов. — На ближайшей станции вас встретит человек в такой же шляпе, как на мне, и спросит, не жарко ли было в пути. Вы передадите ему отчет за первый день пути.

— За кого вы меня принимаете, товарищ? — громким шепотом сказал Гонт. — Я не имею к вашей организации никакого отношения.

— Разве вы не сопровождающий? — таким же шепотом сказал тот.

— Я! И что из этого? Я случайный человек. Я даже не медик.

— Это вы все объясните Сидорову, — сказал тот скучно.

— А как ваша фамилия?

— Тоже Сидоров, — ответил тот без улыбки.

Гонт не выдержал и рассмеялся, он еще сохранял чувство юмора.

Сидоров сделал вид, что не заметил насмешки над собой.

— Как вел себя ваш подопечный? — спросил он.

— Превосходно. Я не встречал более здравомыслящего человека, — сказал Гонт с издевкой.

— В этом-то все и дело. Вообще-то вы знаете его историю? — Сидоров оглянулся озабоченно. Свою роль он знал наизусть, и ему хотелось скорее закончить ее, чтобы спокойно выпить пива у ларька.

— Я ознакомлен с историей его болезни, — сказал Гонт и тоже оглянулся. Он не сомневался, что его узник наблюдает за ним.

— История эта носит не только медицинский характер, вы понимаете, что я хочу сказать?

— Я не посвящен в ее тонкости, — небрежно заметил Гонт.

— Не блефуйте,— сказал Сидоров грубо. — Не советую вам выкобениваться. Вы осведомлены достаточно. Зачем вы хотите усложнить свою жизнь? Она у вас и так нелегкая. — Он взглянул на вокзальные часы. — У вас семья, институт, а вы собираетесь испортить с нами отношения. Достаточно одного нашего сигнала, чтобы вы провалились на очередном экзамене и вылетели оттуда, как пробка. Не лезьте на рожон, вот мой совет. Постарайтесь в пути вести дневник, тогда вам легче будет отчитываться перед нами. А чтобы он ничего не заметил и самому не запутываться, обозначайте политические разговоры словами из детской игры: холодно, тепло, жарко. А теперь, милый мой, пойдёмте и выпьем пива перед дальней дорогой.

Гонт, как ни странно, согласился. Они встали в очередь, и Сидоров вынул из кармана какой-то пакетик, развернул клочок газетной бумаги, вынул оттуда вяленую воблу, ловко очистил ее и ногтем большого пальца разделил ее пополам.

— Мировая закуска, не правда ли? — сказал он, передавая половинку Гонту.

— Да,— согласился Гонт, превозмогая стыд.

— А вы, кстати, не забыли закрыть купе на ключ? — спросил мимоходом Сидоров.

— Конечно, нет.

— Похвально. Вы хорошо запомнили инструкции,— заметил Сидоров. — Не дай Бог, если он решится на побег. Вам, мой друг, этого не простят. Если без дураков, вы мне симпатичны. Предпочитаю иметь дело с интеллигенцией, ваш брат все схватывает с полуслова. У меня, между прочим, тоже неплохая библиотека. Я покупаю не отдельные книги, а сразу собрание сочинений. У меня есть тридцать томов нашего классика Максима Горького, собрание сочинений Шолохова и Кочетова, эти люди правильно жизнь понимают. А там какого-нибудь Бабеля однотомничек я и даром не возьму. Вот когда выпустите вы свое собрание, я вас тоже приобрету,— и Сидоров ласково улыбнулся Гонту.

— Вам придется долго ждать,— Гонт в ответ улыбнулся Сидорову.

Сидоров отхлебнул пива и причмокнул от удовольствия.

— Я пью жизнь маленькими глотками. Я никуда не тороплюсь. Я звезд с неба не хватаю, но зато у меня в нашем ответственном деле не было ни одного прокола.

Я верю, что мой час еще настанет. Если вы, молодой человек, примете на вооружение мою философию, то еще встретитесь с собственным собранием. Ведь вы не из тех, кто рассчитывает на посмертную славу, не так ли? Ваш путь только начинается, один неверный шаг, и вы испортите его. Я думаю, что это не последняя наша встреча, в том случае, если вы будете паннкой. От вас ничего особенного не требуется. Запоминать и записывать ваши разговоры, только и всего. А услуги мы никогда не забываем. Вы сдали свою книгу в издательство. И сколько она лежит? А мы ее незаметно подтолкнем, и, глядь, она уже на прилавках магазинов. Пора, мой друг, пора выходить на широкую читательскую аудиторию. Вам, батенька, уже двадцать семь стукнуло. Плох тот солдат, который не носит в своем ранце... Чего он не носит? Фляжки с водкой? Шутить изволите? Маршальского жезла, вот чего. Не терплю неудачников. Вы знаете, что делают коты с кастрированным собратом? Они его загрызают. Закон природы.

Когда Гонт вернулся, Коробейников сидел у окна и внимательно смотрел на удаляющуюся фигуру в чесучовом костюме и соломенной шляпе.

— Не правда ли, похож на затейника из дома отдыха трудящихся? — сказал он, не поворачивая головы.

— На затейника? — углубленный в свои мысли, Гонт пожал плечами. — Не думаю.

— И что ты нашел с ним общего? — продолжал в том же шутливом тоне Коробейников. — Он, наверное, большая шишка. И обещал тебе в издательстве свою поддержку.

— От него кое-что зависит, — согласился с ним Гонт.

— А ведь вы не были знакомы! — как бы вскользь бросил Коробейников. — Любопытно, как вы быстро спелись!

— Он меня видел пару раз на публичных выступлениях, — солгал Гонт.

— И он у тебя попросил автограф? — ухмыльнулся Коробейников и потер свой щетинистый подбородок. — Отрекомендовался, поди, как страстный библиофил. Недурно, недурно. А ты и растаял. Все ему и выложил за кружкой пива.

— Что ты ко мне привязался? Я не стукач, запомни это.

— А кто ты тогда?

— То есть как? — опешил Гонт.

— Вот именно. Какова твоя роль в прошлом и нынче?

— Кем мне только не приходилось быть! — сказал Гонт не без рисовки.

— А может, выть?

Гонт твердо посмотрел на Коробейникова:

— И это тоже. А более служдать.

— Что это значит? — улыбнулся Коробейников.

— Это неологизм. Обозначает он такие действия, как служить, следить и судить. Человек, насильно запряженный в социальную колесницу, не работает, а служит, притворяясь верноподданным, судит других и следит за тем, чтоб его не раскусили. Теперь в моей биографии пишут, что я узнал, почем фунт лиха, в качестве журналиста, кинооператора и матроса рыболовного сейнера. Что я познал таким образом жизнь. А для меня это были случайные занятия, потому что по натуре я перекати-поле, и ни к чему нет у меня призвания. Единственно, что я люблю и понимаю, — это стихи.

— Которыми ты соблазняешь мечтательных девиц? И в этом твоя сущность?

— Не темни, — сказал Гонт.

— Когда из жизни исчезает человек, то общество разделяется на несколько четких категорий, расписанных соответственно их ролям. Положим, это — начальник, судья, солдат, зэка, придурок, мечтатель, то есть лишний человек.

— А кто я, по-твоему? — спросил Гонт.

Коробейников пренебрежительно махнул рукой:

— Ты всадник без головы. Иначе деятель культуры.

— А хочешь шприц получить в одно место?

— Извините, гражданин начальник. Больше не буду, — сказал с ехидцей Коробейников.

— То-то же. Каждый сверчок знай свой...

— Шесток, — закончил за Гонта Коробейников.

— И уважай своего медбрата.

— Разрешите дышать, гражданин начальник.

— Разрешаю.

— А как же я могу дышать, если меня разняли?

— Дыши сам и дай дышать другим.

— Нет, Гонт, ты все-таки охранник, хотя и никудышный. Тебя приставили ко мне, чтоб я мог кому-то все выложить. А ты должен все это запомнить и передать по назначению. Скажи, что ты знаешь обо мне. Тебя,

положим, вызовут в станционный сортир и возьмут за шкурку или за грудки. Рукой за горло, коленом на грудь: что, мол, думает Коробейников по тому поводу или по этому, как он оценивает цвета времени или погоды, что видит или хотя бы бормочет во сне. А ты — пшик. Лопнешь, как мыльный пузырь. Потому что, помимо комплекса неполноценности, как у всякой безотцовщины, ты страдаешь манией величия. Ты нелюбопытен, милый мой стражник.

— Ладно, говори. Только чтоб какую-нибудь историю. Я не терплю метафизику. Ну, хотя бы о своих соседях по палате.

4

Линькову, соседу моему, было девятнадцать лет. Он, как и я, считался безнадежным. Золотушный мальчик с ватками в ушах, слова цедил по каплям, всех сторонился. Предмет острот и шуток в стенной газете «Психи — на трудовой вахте». Я бы назвал его ангелом в изгнании. Из всех занятий он предпочитал плести лапти и делать свистульки, украшенные берестой. Изделия его, между прочим, приносили доход, они продавались, насколько я слышал, в лавке народного творчества. А где же еще процветать этому самому народному творчеству, как не в дурдоме, оазисе свободомыслия с решетками на окнах.

История Линькова проста. Пятнадцати лет от роду он влюбился без памяти, как английский бард Байрон в свое отроческое время, и нетрудно догадаться, что она была старше его на несколько лет. Как знать, зачем ей-то сдалась его любовь. То ли она развлекалась им, то ли согревалась. Представь себе поселок на двадцать тысяч, отделение милиции, заводик с дымящейся трубой, отец — пьяница неисправимый, мать — убогая женщина, хромоножка, лужи во дворе, осенняя тоска и такая ослепляющая любовь, которая, наверно, даже этот мерзопакостный уголок с драками, скотоложеством и свальным грехом превращает в провинцию рая. Взрослые подсмеивались над ним и тем паче над ней, пока все не оборвалось самым тривиальным образом. Она влюбилась в стопроцентного мужчину, который однажды затащил ее на стройку и там стоя овладел ею. Неделю она не смотрела на Линькова, спокойно и жестоко объясни-

ла, что их встречам не суждено продолжаться, с ее стороны все это была блажь и детская глупость. Когда он подрастет, он поймет ее. Она лелеяла надежду на замужество, но киномеханик Зевс Спиридонов бросил ее через месяц. Спасаясь от позора (собственно, какого позора — что ее бросили?), она завербовалась поваром в геологическую партию, где пошла по рукам, спускаясь по ступенькам иерархической лестницы — от начальника партии до шурфовщика, бывшего зэка Васьки Флюса, который впоследствии немало этим хвастался. Он же всем с гоготом добавлял, что, напившись, она вспоминала про свою настоящую любовь — мальчика Линькова.

Тот покушался на свою жизнь, решил повеситься на чердаке, да веревка попалась гнилая, а на вторую попытку уже отчаяния не хватило. Он обратился к Богу и стал готовиться в монастырь. Возлюбил Христа, разучил по гаммам Евангелие, имел видения. Так в страстной его вере, в молитвах и размышлениях истекли два года, и вдруг Линькова призвали в армию. Это его-то, полузадушенного, дышащего на ладан, избранника Господнего, тут-то его призвали в казармы, чтобы служить атомом будущей войны. Провели по всем медицинским службам, раздев донага, поинтересовались, не страдал ли венерической болезнью, постучали по коленной чашечке и мимоходом признали годным. Служить он решительно отказался из-за своих религиозных убеждений, и военком, сжалившись над отроком, которого ждал военный трибунал, отправил его напрямик в дурдом. Там принялись за его обработку инквизиторы в белых халатах, выпрямляя его сознание инсулиновыми шоками и прочей дьявольщиной.

Не минуло и трех месяцев, как Линьков стал интересоваться политическими новостями и революционными переворотами, стал цитировать передовые статьи, и его, представь себе, выбрали политинформатором. Затем на медицинской комиссии он заявил, что глубоко ошибался, что вся его прошлая жизнь была заблуждением, что Христос — это опиум для народа и нет выше назначения, чем судьба солдата. Нет презреннее клички, чем интеллигент, нет почетнее слова, чем солдат. Его чуть было не выписали, но сгоряча он признался, что по ночам его соблазняет голос атомным бомбоубежищем. Тут врачи насторожились. (Уж слишком неправдоподобен был переворот во взглядах пациента.) Один из них страховки ради спросил, как Линьков относится к уставу ар-

мейской службы. На что Линьков без запинки ответил, что знать устав важнее, чем Новый Завет. Так, сказал с удовлетворением пособник Антихриста, а что сделает Линьков в случае опасности вооруженного нападения? Линьков поколебался и бодро сказал, что он нажмет кнопку и выпустит на врага пять тысяч ракет с ядерными боеголовками, чтобы от него не осталось даже воспоминания. В своем усердии Линьков явно пересолил, и медкомиссия (не без основания) догадалась, что пациент, неисправимый грешник, разыгрывает всех и, мало того, злостно издевается над святыми для нашего общества понятиями. Он получил в результате неопределенный срок, что значит до самой смерти. Наши койки рядом привинчены были. Я думаю, он долго не протянет.

— Кому нужны такие жертвы? — сказал Гонт. — Для чего ты меня испытываешь? Я, слава Богу, человек здоровый, люблю землю, охоту, женщин и не вижу проку в самопожертвовании.

— А где твой светоч?

— Какой к чертям светоч? — скривился в ухмылке Гонт.

— Как выражались русские мыслители, светоч разума.

— В пятке — вот где, — вспыхнул Гонт. — Ахиллесово место, я уже на нем мозоль натер. Надо жить, не думая, куда, зачем и почему.

— Жить во мраке... А ты хорошо помнишь свое прошлое? — спросил Коробейников.

— Как по нотам. Особенно то, что связано с бабами. Я даже места и погоду запоминаю лишь в том случае, если рядом со мной была моя женщина.

— А у меня сплошной провал в памяти. Ни улиц не помню, ни знакомых, ни имен своих учителей. Как будто еду в умершую страну. Что я там буду делать? Впрочем, дело у меня всегда найдется.

— Да, на твою пенсию не разживешься, — сказал жестоко Гонт, — как ты будешь жить, ума не приложу.

— В России жить нельзя, но спастись можно.

— Чем?

— Хотя бы стихами, как ты пытаешься это делать.

— Стихи — игра. Как очко, как преферанс. Словом мир не изменишь.

— А разве мир в этом нуждается? — сказал Коробейников. — В этом нуждается только человек.

— Мне этого и довольно,— заметил Гонт.— Я не верю в высшие материи, здесь нет моей вины, что я не могу верить.

— Вины нет, но есть беда,— спокойно возразил Коробейников.— И есть зло, которое ты сеешь, не замечая.

— Ты не прав. Зло происходит помимо моей воли. А я только зритель. Я по ту сторону. Говорят, жизнь не праздник, а борьба. Для меня же — наоборот. А если праздник, то никто никому не должен, а каждый делится с другими всем, что он имеет. Я странствующий трубадур, и все мое достояние — это гитара и песни.

— Твоими устами да мед пить. Будущее покажет,— сказал Коробейников,— во что обратится для тебя эта дорога. Спасешься ты или погибнешь!

— Вот и поразмысли над этим. А я пойду пока в ресторан и закажу там себе мерзавчик и отбивную.

ЭПИЛОГ

По прибытии в Москву Гонт передал отчет седьмому Сидорову, который на этот раз был в темно-синем плаще и шляпе сталинских времен. В отчете все дни путешествия были помечены словом «жарко». Сдав подопечного Коробейникова на руки родителям, Гонт с легкой души запил, найдя приют сразу у двух московских приятельниц. Привезя цикл стихов о паутине в Бристольском заливе, он проскочил очередные экзамены и получил в Литинституте лестную характеристику. Миссия его была окончена, и обратно он предпочел лететь на ТУ-104. Только на Сахалине он узнал от психиатра Яна Фисташкина потрясающую новость: Коробейников мертв. Его нашли повешенным в сарае возле дома. Следствие велось молниеносно и пришло к выводу, что Коробейников покончил с собой. Хотя свидетели показали, что в день смерти Коробейникова видели с двумя неизвестными в поселке мужчинами в чесучовых костюмах и соломенных шляпах.

Для Гонты иллюзий не осталось: это были Сидоров № 8 и Сидоров № 9. А он, Гонт,— их приспешник, и нет теперь ему оправдания. Через две недели беспробудного пьянства у него началась белая горячка. Со всех сторон, чудилось ему, на него лезут крысы в маленьких со-

ломенных шляпах. Спасаясь от них ночью, он голый выбежал на улицу. Его подобрала «Скорая помощь» и отвезла в психбольницу. Главврач Фисташкин почему-то положил его на ту же койку, которую совсем недавно занимал раб Божий Коробейников.

Спустя два года Гонт закончил заочно Литинститут, выпустил книжечку стихов и стал членом... Союза писателей. Со сказочницей своей он расстался. Один из первых экземпляров книги с теплой надписью он подарил начальнику местного КГБ Семенову.

Нечаев В. Одиноким сдается угол. Париж — Нью-Йорк, «Третья волна», 1986.





ГОРОД
И МИР

5 руб.